

Н О В Ы Й М И Р



*Привет
первой сессии
Верховного Совета
СССР*

ЯНВАРЬ 1938

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ЯНВАРЬ

МОСКВА
1938

Уполн. Главлита Б—32784. ^{Статформат Б/5 176 × 250.} Объем 20 печ. л. по 64.000 знак. Техн. ред. С. Гуревич.

Одано в набор 21/XII—37 г. Подписано к печати 10/I—38 г. Тир. 70.000. Зак. 3225.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре.	5
СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.	10
ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ НАРОДА.	12
ЛЕНИН И СТАЛИН В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ СССР:	
По твоим заветам все исполнилось, русский сказ.	17
Два сокола, перевод с украинского.	20
Он живет, перевод с даргинского.	21
Твоим бойцом я стану, перевод с армянского.	23
Исполни веков, перевод с таджикского.	24
Слава Сталину будет вечная, русская былина.	25
Ленинская правда, белорусская сказка.	30
Как Федосья Никитишна у Ленина была.	32
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Хлеб, повесть.	33
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ. — О ком поет народ. (Отрывок из посмертной поэмы о Сталине).	90
ДЖАМБУЛ. — Поэма о наркоме Ежове.	92
МИХ. ШОЛОХОВ. — Тихий Дон, роман, продолжение.	97
СЕРГЕЙ МАРКОВ. — Заморский капитан. Донат, китовый дружок, стихотворения.	118
АЛ. МАЛЫШКИН. — Люди из захолустья, роман, продолжение.	123
★	
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВЧК — ОГПУ — НКВД.	209
С. ДЗЕРЖИНСКАЯ. — Памяти Феликса Дзержинского.	218
ИЗБРАННИКИ НАРОДА.	220
ЗА РУБЕЖОМ	
Г. МЕЗЕНЦЕВ. — Возвращение.	232
ЭДГАР СНОУ. — Вожди и герои китайского народа.	250
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	
В. КИРПОТИН. — Великий русский поэт Н. А. Некрасов.	284
ИВ. АНИСИМОВ. — Байрон.	293
АЛ. ЗОТОВ и П. СЫСОЕВ. — Успехи советской живописи (К открытию выставки «Индустрия социализма»).	303
К. СИТНИК. — Выставка грузинского искусства.	313

★

Речь товарища И. В. Сталина

на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре

Председательствующий. Слово предоставляется нашему кандидату товарищу Сталину.

Появление на трибуне товарища Сталина встречается избирателями бурей оваций, которая длится в течение нескольких минут. Весь зал Большого театра стоя приветствует товарища Сталина. Из зала непрерывно раздаются возгласы: «Да здравствует великий Сталин, ура!», «Творцу самой демократической в мире Советской Конституции товарищу Сталину, ура!», «Да здравствует вождь угнетенных всего мира, товарищ Сталин, ура!»

Сталин. Товарищи, признаться я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня сюда, на собрание: скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать, какую именно речь? Все что нужно было сказать перед выборами уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще можно прибавить к этим речам?

Требуется, говорят, раз'яснения по некоторым вопросам избирательной кампании. Какие раз'яснения, по каким вопросам? Все, что нужно было раз'яснить, уже раз'яснено и перераз'яснено в известных обращениях партии большевиков, комсомола, Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, Осоавиахима, Комитета по делам физкультуры. Что еще можно прибавить к этим раз'яснениям?

Конечно, можно было бы сказать эдакую легкую речь обо всем и ни о чем (**легкий смех**). Возможно, что такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране (**смех, аплодисменты**). Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех нас, большевиков, как говорится, «от работ полон рот». Я думаю, что не стоит.

Ясно, что при таких условиях хорошей речи не скажешь.

И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать хотя бы кое-что (**шумные аплодисменты**).

Прежде всего я хотел бы принести благодарность (**аплодисменты**) избирателям за доверие, которое они оказали (**аплодисменты**).

Меня выставили кандидатом в депутаты и избирательная комиссия Сталинского округа советской столицы зарегистрировала меня как кандидата в депутаты. Это, товарищи, большое доверие. Разрешите принести вам глубокую большевистскую благодарность за то доверие, которое вы оказали партии большевиков, членом которой я состою и лично мне, как представителю этой партии (**шумные аплодисменты**).

Я знаю, что значит доверие. Оно, естественно, возлагает на меня новые, дополнительные обязанности и, стало-быть, новую, дополнительную ответственность. Что же, у нас, у большевиков, не принято отказываться от ответственности. Я ее принимаю с охотой (**бурные продолжительные аплодисменты**).

Со своей стороны я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина (**бурная, долго несмолкающая овация. Возглас из зала: «А мы все за товарищем Сталиным!»**). Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом (**аплодисменты**), перед рабочим классом (**аплодисменты**), перед крестьянством (**аплодисменты**), перед интеллигенцией (**аплодисменты**).

Далее, я хотел бы, товарищи, поздравить вас с наступающим всенародным праздником, с днем выборов в Верховный Совет Советского Союза (**шумные аплодисменты**). Предстоящие выборы это не просто выборы, товарищи. Это действительно всенародный праздник наших рабочих, наших крестьян, нашей интеллигенции (**бурные аплодисменты**). Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных и действительно демократических выборов, никогда! История не знает другого такого примера (**аплодисменты**). Дело идет не о том, что у нас будут выборы всеобщие, равные, тайные и прямые, хотя уже это само по себе имеет большое значение. Дело идет о том, что всеобщие выборы будут проведены у нас как наиболее свободные выборы и наиболее демократические в сравнении с выборами любой другой страны в мире.

Всеобщие выборы проходят и имеют место и в некоторых капиталистических странах, так называемых, демократических. Но в какой обстановке там проходят выборы? В обстановке классовых столкновений, в обстановке классовой вражды, в обстановке давления на избирателей со стороны капиталистов, помещиков, банкиров и прочих акул капитализма. Нельзя назвать такие выборы, даже если они всеобщие, равные, тайные и прямые, вполне свободными и вполне демократическими выборами.

У нас, в нашей стране, наоборот, выборы проходят в совершенно другой обстановке. У нас нет капиталистов, нет помещиков, стало-быть, и нет давления со стороны имущих классов на неимущих. У нас выборы проходят в обстановке сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции, в обстановке взаимного их доверия, в обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации и некому, собственно, давить на народ для того, чтобы исказить его волю.

Вот почему наши выборы являются единственными действительно свободными и действительно демократическими во всем мире (**шумные аплодисменты**).

Такие свободные и действительно демократические выборы могли возникнуть только на почве торжества социалистических порядков, только на базе того, что у нас социализм не просто строится, а уже вошел в быт, в повседневный быт народа. Лет 10 тому назад можно было бы дискутировать о том, можно ли у нас строить социализм или нет. Теперь это уже не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта, который пронизывает всю жизнь народа. На наших фабриках и заводах работают без капиталистов. Руководят работой люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях работают труженики земли без помещиков, без кулаков. Руководят работой люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту, это и называется у нас свободной, социалистической жизнью.

Вот на этой базе и возникли у нас новые, действительно свободные и действительно демократические выборы, выборы, примера которых нет в истории человечества.

Как же после этого не поздравить вас с днем всенародного торжества, с днем выборов в Верховный Совет Советского Союза! (**Бурная овация всего зала**).

Дальше я хотел бы, товарищи, дать вам совет, совет кандидата в депутаты своим избирателям. Если взять капиталистические страны, то там между депутатами и избирателями существуют некоторые своеобразные, я бы сказал, довольно странные отношения. Пока идут выборы, депутаты заигрывают с избирателями, лебезят перед ними, клянутся в верности, дают кучу всяких обещаний. Выходит, что зависимость депутатов от избирателей полная. Как только выборы состоялись и кандидаты превратились в депутатов, — отношения меняются в корне. Вместо зависимости депутатов от избирателей, получается полная их независимость. На протяжении 4-х или 5-ти лет, т. е. вплоть до новых выборов, депутат чувствует себя совершенно свободным, независимым от народа, от своих избирателей. Он может перейти из одного лагеря в другой, он может свернуть с правильной дороги на неправильную, он может даже запутаться в некоторых ма-

хинациях не совсем потребного характера, он может кувыркаться, как ему угодно, — он независим.

Можно ли считать такие отношения нормальными? Ни в коем случае, товарищи. Это обстоятельство учла наша Конституция и она провела закон, в силу которого избиратели имеют право досрочно отозвать своих депутатов, если они начинают финтить, если они свертывают с дороги, если они забывают о своей зависимости от народа, от избирателей.

Это замечательный закон, товарищи. Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет и он должен вести себя по линии, по которой ему дан наказ народом. Свернул с дороги, избиратели имеют право потребовать назначения новых выборов, и депутата, свернувшего с дороги, они имеют право прокатать на вороних (**смех, аплодисменты**). Это замечательный закон. Мой совет, совет кандидата в депутаты своим избирателям, помнить об этом праве избирателей, — о праве досрочного отзыва депутатов, следить за своими депутатами, контролировать их и, ежели они вздумают свернуть с правильной дороги, смахнуть их с плеч, потребовать назначения новых выборов. Правительство обязано назначить новые выборы. Мой совет — помнить об этом законе и использовать его при случае.

Наконец, еще один совет кандидата в депутаты своим избирателям. Чего нужно вообще требовать от своих депутатов, если взять из всех возможных требований наиболее элементарные требования?

Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин (**аплодисменты**), чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин (**аплодисменты**), чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были также свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин (**аплодисменты**), чтобы они были также мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин (**аплодисменты**), чтобы они были также правдивы и честны, каким был Ленин (**аплодисменты**), чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин (**аплодисменты**).

Можем ли мы сказать, что все кандидаты в депутаты являются именно такого рода деятелями? Я бы этого не сказал. Всякие бывают люди на свете, всякие бывают деятели на свете. Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой, то ли он хорош, то ли он плох, то ли

мужественен, то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищи, семья не без урода (**смех, аплодисменты**). О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного, неформального типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь: «Люди, говорит, неопределенные, ни то, ни се, не поймешь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан» (**смех, аплодисменты**). О таких неопределенных людях и деятелях также довольно метко говорится у нас в народе: «так себе человек — ни рыба, ни мясо» (**общий смех, аплодисменты**), «ни богу свечка, ни черту кочерга» (**общий смех, аплодисменты**).

Я не могу сказать с полной уверенностью, что среди кандидатов в депутаты (я очень извиняюсь перед ними, конечно) и среди наших деятелей не имеется людей, которые напоминают скорее всего политических обывателей, которые напоминают по своему характеру, по своей физиономии людей такого типа, о которых говорится в народе: «ни богу свечка, ни черту кочерга» (**смех, аплодисменты**).

Я бы хотел, товарищи, чтобы вы влияли систематически на своих депутатов, чтобы им внушали, что они должны иметь перед собой великий образ великого Ленина и подражать Ленину во всем (**аплодисменты**).

Функции избирателей не кончаются выборами. Они продолжают на весь период существования Верховного Совета данного созыва. Я уже говорил о законе, дающем право избирателям на досрочный отзыв своих депутатов, если они сворачивают с правильной дороги. Стало быть, обязанность и право избирателей состоят в том, чтобы они все время держали под контролем своих депутатов и чтобы они внушали им — ни в коем случае не спускаться до уровня политических обывателей, чтобы они — избиратели внушали своим депутатам — быть такими, каким был великий Ленин (**аплодисменты**).

Таков, товарищи, мой второй совет вам, совет кандидата в депутаты, своим избирателям. (**Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают и обращают свои взоры в правительственную ложу, куда проходит товарищ Сталин. Раздаются возгласы: «Великому Сталину, ура!», «Товарищу Сталину, ура!», «Да здравствует товарищ Сталин, ура!», «Да здравствует первый ленинец — кандидат в депутаты Совета Союза — товарищ Сталин! Ура!»**).

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

О количестве избирателей, голосовавших за кандидатов блока коммунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет СССР 12 декабря 1937 года

В течение 15 и 16 декабря 1937 года в Центральную избирательную комиссию поступили данные от ряда отдаленных избирательных участков, от поездов и пароходов в пути, от которых до сих пор не было полных сведений. В связи с этим количество избирателей по СССР окончательно определилось в 94.138.159 человек (на 498.681 чел. больше, чем было объявлено 15 декабря), равно как увеличилось количество принимавших участие в голосовании до 91.113.153 человек (на 793.807 чел. сравнительно с тем, что было объявлено 15 декабря), что составляет 96,8% к числу избирателей.

Получение указанных данных дало Центральной избирательной комиссии возможность подытожить количество голосов, поданных по всем округам ЗА кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Во всех избирательных округах по выборам в СОВЕТ СОЮЗА ЗА кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 89.844.271 человек, что составляет 98,6% всего числа участвовавших в голосовании. Бюллетеней, признанных недействительными на основании ст. 90 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», оказалось 636.808. Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии кандидатов — 632.074.

Во всех избирательных округах по выборам в СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ от СОЮЗНЫХ республик ЗА кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 89.063.169 человек, что составляет 97,8% всего числа участвовавших в голосовании. Бюллетеней, признанных недействительными на основании ст. 90 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», оказалось 1.487.582. Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии кандидатов — 562.402.

По отдельным союзным республикам итоги выборов в Совет Союза и в Совет Национальностей (от союзных республик) даются в следующей таблице:

НАИМЕНОВАНИЕ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ	Число избирателей	Участвовало в голосовании		Голосовало за кандидатов блока коммунистов и беспартийных			
		В абс. цифрах	В % к числу избират.	В Совет Союза		В Совет Национальностей	
				В абс. цифрах	В % к числу голосовавших	В абс. цифрах	В % к числу голосовавших
Р.С.Ф.С.Р.	60.571.292	58.623.335	96,8	57.687.755	98,4	57.142.882	97,5
Украинская ССР	17.539.876	17.156.273	97,8	16.980.303	99,0	16.799.399	97,9
Белорусская ССР	3.007.342	2.929.666	97,4	2.892.815	98,7	2.884.244	98,4
Азербайджанская ССР	1.648.877	1.577.117	95,6	1.564.183	99,2	1.555.523	98,6
Грузинская ССР	1.940.547	1.866.189	96,2	1.849.932	99,1	1.847.367	99,0
Армянская ССР	620.220	596.675	96,2	592.146	99,2	592.682	99,3
Туркменская ССР	691.925	651.962	94,2	647.345	99,3	644.329	98,8
Узбекская ССР	3.548.441	3.319.216	93,5	3.286.897	99,0	3.274.473	98,6
Таджикская ССР	774.864	738.099	95,3	728.656	98,7	726.064	98,4
Казахская ССР	2.995.367	2.901.072	96,9	2.882.844	99,4	2.862.726	98,7
Киргизская ССР	799.408	753.549	94,3	731.395	97,1	733.480	97,3
ИТОГО по СССР	94.138.159	91.113.153	96,8	89.844.271	98,6	89.063.169	97,8

Во всех избирательных округах по выборам в Совет Национальностей от АВТОНОМНЫХ республик, АВТОНОМНЫХ областей и НАЦИОНАЛЬНЫХ округов число избирателей составляет 10.353.188 человек. В голосовании приняли участие 9.954.133 человека, то-есть 96,2%. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало в этих округах 9.757.435 человек, то-есть 98,0% всего числа участвовавших в голосовании. Бюллетеней, признанных недействительными на основании ст. 90 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», оказалось 61.784. Бюллетеней, в которых зачеркнуты фамилии кандидатов — 134.914.

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.**

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ НАРОДА

Сплотившись вокруг партии Ленина—Сталина, советский народ вступил в тысяча девятьсот тридцать восьмой год под знаменем несокрушимого морального и политического единства. Это единство было продемонстрировано 12 декабря 1937 г., когда девяносто миллионов избирателей Советского Союза единодушно голосовали за блок коммунистов и беспартийных, за партию Ленина—Сталина, за торжество социалистических порядков.

1937 г. был годом дальнейшего разгрома троцкистско-бухаринских шпионско - диверсантских фашистских гнезд, годом, когда во стократ выросла опасность новой мировой войны. В это время Сталинский Центральный Комитет нашей партии и Советское Правительство объявили и провели самые демократические выборы в мире, всеобщие, прямые и равные, при тайном голосовании.

Каждый трудящийся нашей огромной страны оставался в избирательной кабинке наедине со своей гражданской совестью. Никакого самого сильного давления никто не оказывал на избирателя. И вот в такой обстановке совершенно свободного волеизъявления более 98 проц. всего числа голосовавших отдали свои голоса непобедимому сталинскому блоку коммунистов и беспартийных.

Победа сталинского блока коммунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет свидетельствует о полнейшем политическом и моральном единстве населения нашей стра-

ны, красноречиво показывает, что Советское Правительство имеет такие глубокие корни в стране, которых не имело и не может иметь ни одно другое правительство в мире.

Простое сравнение положения в мире капитализма с тем, что происходит у нас, в стране социализма, делает понятным, почему политика партии Ленина—Сталина получила единодушную поддержку и одобрение народов СССР.

Не успев оправиться от прошлого экономического кризиса, хозяйство буржуазных стран встретило новый, 1938 год в обстановке начинающегося третьего большого экономического кризиса со времени окончания мировой империалистической войны. Какие лишения несет он рабочему классу, можно судить по тому, например, что за время с сентября по декабрь 1937 г. огромная армия безработных в США, где кризис уже начался, увеличилась на 2 миллиона человек. Использование производственной мощности сталелитейных заводов США упало в середине декабря до 23,5 проц. Производство средств потребления в фашистской Германии, где промышленность средств производства работает сейчас на подготовку войны, ниже, чем до 1929 г. Неминуемо дальнейшее ухудшение положения рабочего класса и трудящихся масс крестьянства во всех буржуазных странах.

Десятки и сотни миллионов людей в Китае, Испании и Абиссинии испытывают ужасы войны, варварской фа-

шистской бойни, сопровождающейся разрушением сел, городов и накопленных веками и тысячелетиями культурных ценностей, массовыми убийствами женщин и детей.

Не удивительно, что даже буржуазная печать вынуждена была с грустью размышлять по поводу наступления нового года. Эндековская польская газета «Гонец варшавски» писала: «1937 г. не принес ничего положительного. Мы были свидетелями дальнейшего политического и морального разложения в стране. Господствующий у нас режим никого не удовлетворяет. Нынешний сейм (где из 205 членов — 70 одних только помещиков. — *Ред.*) и сенат лишены авторитета. Накаленная атмосфера польской деревни разряжается от времени до времени взрывами». Орган крупных польских промышленников «Политика господарска» вынужден признать: «Бедность, или, точнее, нищета, является наиболее характерной чертой нашего хозяйства».

Мужественно борясь за свободу и независимость от фашистских интервентов, готовясь к решительным боям с международным капитализмом, пролетарии и угнетенные народы капиталистического мира с надеждой взирают на радостный и ликующий мир социализма, приветствуют свободную семью народов СССР. Джек Нильсен, рабочий на земляных работах в Центральном парке Нью-Йорка, рассказывает: «Я целое лето работал на овощных плантациях в штате Нью-Джерси. Сколько добра прошло через мои руки!.. А что у меня осталось от всего этого добра? Я не могу даже угостить своих ребятшек праздничным пудингом из тыквы. У вас (в СССР. — *Ред.*), я слышал, плоды земли принадлежат тому, кто ее обрабатывает. Вот это порядок, о котором мы не перестаем мечтать». («Правда», 5 декабря 1937 г.).

Прошедший последний год второй сталинской пятилетки снова показал сотням миллионов пролетариев и крестьян капиталистического мира,

всему передовому человечеству, как велики преимущества социалистической системы хозяйства, какую обеспеченную, уверенную и счастливую жизнь создает советская власть всем трудящимся, уничтожив навсегда эксплуатацию человека человеком; как под живительным солнцем нашей родины расцветают таланты и дарования свободных творцов новой жизни.

С полным правом принимает наш народ приветствие испанского писателя Антонио Мачадо, который писал: «1937 год был для русского народа годом труда, достижений и заслуженной славы. Этот год был больше, чем годом счастливым: это был год жизни, плодотворной творениями мира и культуры. Как счастливы вы, русские друзья, что приходите к новому, 1938 году со спокойной совестью, которую не может омрачить ни один постыдный поступок, с радостью завершеного труда, окруженные любовью трудящихся всего мира!». («Правда», 1 января 1938 г.).

Та дорога к счастью, светлая, лучистая, широкая, о которой поет наш народ в своих песнях, посвященных памяти бессмертного гения и борца за освобождение человечества Владимира Ильича Ленина, стала еще шире, светлей, лучистей в новом, 1938 году.

Величайшим достижением прошлого года является развитие стахановского движения, что ведет к росту производительности труда, решающему фактору в соревновании двух систем — социалистической и капиталистической. О размахе движения можно судить по тому, например, что лишь в одном Донбассе насчитывается уже более 25 тысяч шахтеров, дающих по две нормы выработки. Московский станкозавод им. Орджоникидзе, вырастивший талантливого стахановца фрезеровщика Гудова, выполнившего за смену 90 норм, имеет несколько сот рабочих стахановцев, которые дают две-три нормы выработки.

Труд, сделавшийся в нашей стране делом чести и славы, превратившийся в творчество передовых людей рабочего класса, привел к тому, что промышленность СССР, еще в 1936 году вышедшая по валовой продукции на первое место в Европе и второе в мире, продолжает неуклонно расти. Наша родина стала могучей индустриальной державой, оснащенной высокой техникой.

В 1937 году советским народом одержаны новые величайшие победы в сельском хозяйстве. Осуществляя сталинские указания, совхозы и колхозы добились небывалого урожая в семь миллиардов пудов зерна.

Прорезан канал между Москвой и Волгой. Благородное знамя нашей родины водружено над Северным полюсом. Наши смелые героические летчики совершили могучий прыжок через Арктику, проложив путь из Европы в Америку.

Резко повысился уровень жизни трудящихся. Народный доход в 1937 году был впятеро больше, чем в царское время, в 1913 году. За годы второй пятилетки средняя сумма сбережений одного вкладчика увеличилась более чем в семь с половиной раз.

На страх врагам растет мощь нашей непобедимой Красной армии. Уверенный в своих силах, Советский Союз вел последовательную политику мира между народами, организации всего прогрессивного человечества против фашистских поджигателей войны.

Фашистские разведки нашли послушных агентов в троцкистско-бухаринской банде изменников и предателей родины, убийц рабочих и крестьян. Они готовили войну трудовому народу, распродавали нашу священную, родную землю японской военщине, германским фашистам и польским панам, мечтали о возврате власти капиталистов и помещиков над трудящимися.

Величайшей победой партии Ленина — Сталина и всего советского на-

рода явился разгром троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических гнезд, выкуривание вражеской нечисти из всех щелей и нор, куда бы она ни упряталась.

20-летие ВЧК — ОГПУ — НКВД превратилось в большой народный праздник. Вся страна, все трудящиеся горячо приветствовали наших славных наркомвнудельцев, руководимых сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым. Под руководством Сталинского Центрального Комитета партии и при помощи всех честных советских людей, любящих свою родину, они очищают советский воздух от гнилого дыхания наймитов фашистских охранок, врагов нашего народа.

Эта работа воспитывает в советских людях большевистскую бдительность, являющуюся залогом того, что выкорчевывание вредных гнезд будет продолжаться с тем же успехом, до конца. Не будет пощады врагам народа на советской земле!

Изумительны достижения Советского Союза в области социалистической культуры. Наш народ еще раз предстал перед всем миром как подлинный носитель прогресса и цивилизации. Столетие со дня смерти величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и 750-летие бессмертной поэмы великого грузинского поэта Шота Руставели превратились в незабываемый, блистательный праздник народов СССР.

Никогда никакой писатель не мог и мечтать о такой огромной, жадной к знаниям, творческой аудитории, какую представляют советские читатели. О размахе культурных мероприятий в нашей стране можно судить по тому, как шла подготовка к 60-летию со дня смерти великого русского поэта Н. А. Некрасова. Вся страна, школы, клубы, научные учреждения готовились к этой годовщине. В царской России за двадцать лет (с 1897 по 1916 г.) было издано всего 17 книг с произведениями Н. А. Некрасова, общим тиражом в 194 ты-

сячи экземпляров. За 20 лет Великой Октябрьской Социалистической революции издано 165 некрасовских книг, общим тиражом в 5 409 тысяч экземпляров. Произведения великого русского поэта печатаются на украинском, белорусском, грузинском, армянском, узбекском, казахском, мордовском, адыгейском и др. языках народов Советского Союза. В миллионах экземпляров издаются книги Некрасова для детей!

Политический и культурный рост народа был самым радостным итогом прошлого года. Избирательная кампания выявила новые миллионы активных даровитых людей, живущих интересами и чаяниями своего народа, готовых до конца бороться с врагами родины, за дело партии Ленина—Сталина.

Около полутора миллионов трудящихся были членами участковых и окружных избирательных комиссий. Сотни тысяч людей показали себя талантливыми агитаторами, беседчиками, прекрасными политическими работниками. Народ растет политически и культурно на глазах!

Это предъявляет новые, повышенные требования к выпускаемой нами культурной и художественной продукции, к качеству художественной литературы и критики. Перед «инженерами человеческих душ», перед советскими писателями, художниками и поэтами встали новые, сложные задачи. Человеческая душа, душа советского гражданина стала светлее, глубже, богаче, пленительнее. Быть инженером этой души—дело великое, сложное и увлекательное.

Наши искусство и литература могут с полным правом отметить серьезные успехи за последний год. Достаточно упомянуть в области изобразительного искусства организацию выставки «Индустрия социализма», радующей советского гражданина успехами социалистического реализма в живописи, художественной зрелостью и жизнерадостностью наших мастеров.

Восторженные отзывы десятков тысяч зрителей получила выставка искусства Грузинской ССР, свидетельствующая об огромных возможностях многонациональной культуры нашей великой родины и представляющая ценный вклад в революционную историческую живопись.

В ряду значительных литературных произведений особенно порадовал нашего читателя роман М. Шолохова «Тихий Дон», являющийся выдающимся в нашей литературе образцом народности; повесть Ал. Толстого «Хлеб»—глубоко патриотичный, волнующий рассказ, где автору удалось мастерски запечатлеть дорогие, любимые образы Ленина, Сталина, Ворошилова в годы гражданской войны.

Величайшего расцвета достигла новая, советская, народная поэзия—национальная по форме, социалистическая по содержанию. Народные песни и рассказы русских сказителей, казахских и киргизских акынов, кавказских ашугов, якутских олонгохутов, узбекских бахшей, украинских и белорусских певцов чаруют прелестью и красотой формы, музыкальностью стиха, глубиной содержания, теплотой и искренностью чувств.

Следует признать, что издаваемые на периферии литературно-художественные журналы, где пробиваются талантливые авторы, остаются вне поля зрения нашей критики.

Между тем необходимо самое пристальное внимание и чуткое отношение к молодым дарованиям.

К нашей литературе целиком применимы слова товарища Молотова, сказанные в докладе «К двадцатилетию Октябрьской революции»: «Об окончательной победе социализма в области культуры говорить еще рано. С этим связан тот факт, что у нас еще много работы по изживанию пережитков капитализма в сознании людей. Их можно успешно изживать только широким подъемом социалистической культуры. Но зато каждый шаг по пути действительно социалистической культуры не только

дает свои немедленные результаты, но и создает предпосылки перерастания социализма в коммунизм».

В этой работе по изживанию пережитков капитализма в сознании людей советской художественной литературе должно принадлежать большое место. Перед ней стоит во весь свой рост проблема освоения современной тематики, утверждения партийности в искусстве. Отразить героическую борьбу большевиков за власть народа, пронизать свое творчество народностью, прояснить, выражаясь словами Энгельса, нравственное чувство читателя, «заставить его осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробудить его мужество, его любовь к отечеству» — эта великая задача ждет от советской литературы своего разрешения.

«Они (рабочие и крестьяне.—Ред.) «делали» революцию и защищали дело последней, проливая потоки крови и принося бесчисленные жертвы. Право, наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство». Эти слова Ленина сохранили всю свою огромную силу для литературы наших дней, которая должна стать настоя-

щим великим искусством освобожденного народа.

12 января 1938 года подлинными сыны и дочери народа, облеченные его высоким доверием, депутаты несокрушимого сталинского блока коммунистов и беспартийных, открыли первую сессию Верховного Совета СССР. Среди тех, кому народ выразил свое доверие, находятся и писатели нашей родины. Они оказались избранными, так как своей работой доказали преданность делу большевистской партии Ленина — Сталина, были верными слугами народа.

Послав представителей нашей литературы в Верховный Совет, народ вместе с тем выразил доверие и нашей советской литературе.

Народ требует от депутатов, чтобы слово не расходилось у них с делом, чтобы они при всех обстоятельствах «оставались на посту политических деятелей ленинского типа», образ которых незабываемо ярко нарисовал в своей речи вождь народов товарищ Сталин.

Наша литература должна, в свою очередь, оправдать доверие к ней трудящихся, дать в новом году произведения, достойные талантливого народа, руководимого великим Сталиным.



В. И. ЛЕНИН

С рисунка худ. Н. Андреева



И. В. СТАЛИН

С картины худ. У. Джапаридзе

По твоим заветам все исполнилось

Русский сказ

Не ветра шумят холодные,
Не пески бегут зыбучие, —
Снова горе подымается,
Словно злая туча черная.

Как гроза со градом-молнией,
Пала на сердце кручинушка.
Эту темную кручинушку
Не развеять ветру быстрому,
Не умчать песку зыбучему,
Не покрыть грозой-тучей.
Посижу я, слезы выплачу.
От моих ли слез да горечи
Сине море переполнится,
Разольются реки глыбкие,
Камни белые расколются,
Чисто золото рассыплется!

Если б стала я да ясным соколом,
Превратилась бы да в сиза голубя,
Али в ласточку во быструю,
Я бы горьких слов не баяла,
Я б горячих слез не ведала,
Полетела б я прямехонько,
До Москвы бы долетела я,
До Кремля стены, до каменной,
К мавзолею опустилася,
Ко Владимиру, ко Ленину.
Я б ему сказала: «Солнце ясное,
Посмотри кругом, порадуйся,
Как все в жизни изменилося,
Вон сады цветут — колхозные,
Вон поля цветут — колхозные,

¹ Из книги «Творчество народов СССР». Изд. ред. «Правды».

Как светло-светло нам жить становится!
 Наши дети в школах учатся,
 В небе наши парни-соколы,
 Наши девки водят тракторы.



В. И. Ленин и И. В. Сталин у прямого провода.

Художник П. Васильев

И живем мы домом — полной чашею,
 И в руках у нас работа спорится,
 И в сердцах у нас любовь горит
 За твою борьбу, за подвиги.
 Ты для нас работал, рук не кладучи,
 Ума-разума большого не жалеючи,
 Ты сгорел за нас костром-польмем.
 Все, что думалось тобою, все исполнилось!

По твоим заветам-завещаньицу
 Нас ведет ко счастью Сталин наш.
 От орлов орлята нарождаются,
 У соколов — полеты соколиные,
 Океан да с океаном — братья кривные.

Сталин Ленин; да кровный брат
По работе, по размаху по орлиному,
По полету, по простору соколиному.
Мы идем со Сталиным, как с Лениным,
Говорим со Сталиным, как с Лениным,
Знает все он наши думки-думушки,
Всю он жизнь свою о нас заботится.
Под его водительством-заботою
Нет у нас сейчас людей без племени,
Нет без роду, без отечества,
Нет сирот, солдаток, горьких вдовушек,
Ни батрацкого житья-бытья,
Ни полыни, лебеды-травы.
И одна сейчас у нас дороженька
К счастью, светлая, лучистая, широкая.
И ведет по этой по дороженьке
Нас родная наша партия.
К счастью светлому дороженьку
Не развеять ветру черному,
Не снести песку зыбучему,
Не залить рекой глубокою,
Не покрыть грозою-тучею».

Записано в январе 1937 года со слов
Т. А. Долгушевой в колхозе «Красная зве-
здочка», Шурминского района, Кировской области.

Два сокола

Перевод с украинского

На дубу зеленом
Да над тем простором
Два сокола ясных
Вели разговоры.

А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.

Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин,
А кругом летали
Соколята стай.

Ой, как первый сокол
Со вторым прощался,
Он с предсмертным словом
К другу обращался:

«Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться,
Все труды-заботы
На тебя ложатся».

А другой ответил:
«Позабудь тревоги,
Мы тебе клянемся,
Не свернем с дороги».

И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

Записано со слов рабочих корпусного отдела завода «Ленинская кузница» в г. Киеве.

Он живет

Перевод с даргинского

Кто сказал, что умер Ленин?
Он живет!
В каждом новом поколеньи
Живет,
В нашей юности цветеньи
Живет,
В пролетарском единеньи
Живет,
В Конституции победной
Живет,
В революции всесветной
Живет,
В нашей правде беззаветной
Живет,
В клятве Сталина бессмертной
Живет,
В наших буднях и парадах
Живет,
На испанских баррикадах
Живет,
В Красной Армии отрядах
Живет,
В мудрых сталинских докладах
Живет,
В каждом новом дне на свете
Живет,
В честных путников беседе
Живет,
В голосах фанфарной меди
Живет,
В каждой сталинской победе
Живет,



В. И. Ленин и И. В. Сталин с красногвардейцами в Смольном в 1917 г.
Художник П. Васильев.

В лучших помыслах народных
Живет,
В МТС и на заводах
Живет,
В нашем сердце песней гордой
Живет,
Ленин с нами, — знаем твердо —
Он живет!

Записано осенью 1936 года в ауле Урахи, Лева-
шинского района, Дагестанской АССР.

Твоим бойцом я стану

Перевод с армянского

Недавно был я батраком,
А ныне я — судья.
Я понял слово Ленина,
Высоко вырос я.

Я кланяюсь твоим словам, наш Ленин, Ленин, свет!
Я кланяюсь твоим делам, наш Ленин, Ленин, свет!

Мир — это море, но для нас
Он был песок и прах.
От жажды погибали мы,
Качаясь на волнах.

Хвала и честь твоим делам, наш Ленин, Ленин, свет!
Нам воду дал и воздух дал наш Ленин, Ленин, свет!

Заря прошла сквозь облака,
Светла и горяча,
И день настал для бедняка,
И ночь для богача.

Хвала и честь твоим войскам, наш Ленин, Ленин, свет!
Твоим бойцом я стану сам, войскам твоим привет!

Живое имя Ленина —
Бесценный изумруд.
Твои слова, твои дела,
Клянемся, не умрут!

Я песню о тебе сложу, наш Ленин, Ленин, свет!
Я делу твоему служу, наш Ленин, Ленин, свет!

Записано со слов С. Нашхкаряна, 24 лет,
из с. Гулалы, Шамшадинского района, Армянской
ССР.

Исполин веков

Перевод с таджикского

Хвала и честь! Хвала большевикам!
Твоим товарищам! Твоим ученикам!
Твоим народам и твоим войскам!
Мы, люди гор, поем тебе привет,
Великий Ленин, равный облакам!
Хвала и честь! Хвала тебе стократ,
Делам и государству твоему!
Великий Ленин, ты наш вождь и брат,
Ты основал советскую страну!
Великий Ленин, наш отец и друг,
Ты снял, ты сбил оковы с наших рук,
Ты распахал большую целину!
Великий Ленин, Ленин, наш отец!
Ты, засучив по локоть рукава,
Шел впереди, как непреклонный жнец,
И враг упал, как сжатая трава!
Послушайте, что Ленин говорил:
«Я с юности был другом бедняков».
Ты нам все двери мира отворил,
Великий Ленин, исполин веков!
Вот наша конница стучит вдали,
Вот наши самолеты говорят.
К тебе идут со всех концов земли,
К тебе спешат со всех концов земли,
Перед тобой склоняется весь мир,
Великий Ленин, ты наш вождь и брат!

Записано в 1934 году со слов Алимджанова, рабочего Варзобгэс, уроженца горного кишлака из Оби-Гарма, Таджикской ССР.

Слава Сталину будет вечная

Русская былина

Не Белое море взволновалось, —
Молодецкое сердце стрепенулось,
Могучи плечи шевелились,
Иосиф-свет призамыслился.
Он задумал думушку крепкую.
Темны ноченьки просиживал,
Дни же белые продумывал.
Он решился итти в превеликий бой,
В превеликий бой за рабочий люд.
Он скорехонько тут собирался,
В путь-дорожечку поспешался.

Две-то зорюшки утренние сходилися,
Два-то ясных сокола слеталися,
Два дородных молодца с'езжалися.
Первый-от был Ленин-свет,
Второй-от—славный Иосиф-свет.
Они свиделись, познакомились,
Познакомились, разговорилися.
Они начали меж собой разговор вести,
Что собрать надо крепку партию,
Крепку партию большевистскую,
Чтобы с ней заодно за весь мир стоять,
За весь мир стоять, за народ умирать.

Храбро бился за народ Иосиф-свет,
Не жалел себя, не жалел труда,
Многих он людей от смерти спас.
Да подкрались к нему лиходеи царя,
Когда крепко спал Иосиф-свет,
Да связали ему руки белые,
Опутали путами ременными,
Задергали в арканы железные.
Провели его через строй солдат,
Издевались над ним, изгилялися¹.
Да не дрогнул тут Иосиф-свет!
Он прошел походочкой смелою,
Черны кудри его не стяхнулися,

¹ Изгилялися — издевались, пзмывались.



В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции «Правды».

Художник П. Васильев.

Очи ясные его не помутилися,
 Он смотрел вперед с улыбочкой.
 Рассердились тут слуги царские,
 Засадил его в темну темницу,
 В темну темницу — злодейку заключеную.
 Они хотели Иосифа-свет огнем сожгать,
 Они хотели Иосифа-свет водой залить,
 Они хотели его злым зверям отдать,
 Они хотели сморить его голодом.
 Уводили его во темны леса,
 В страну северную, тундру холодную.
 Они думали, что он там замрет,
 Что погибнет он там смертью лютою.
 Да не так-то все случилось,
 Не по лютым врагам приходилося!
 Где Иосиф-свет пройдет —
 Там ведь ключ пробьет,
 Ключ пробьет, трава растет,
 Трава растет, цветы цветут.
 Полюбил Иосифа-свет трудовой народ,
 Любил, хранил его от лихих врагов!
 Ясна зорюшка занималася,
 Друзья мудрые опять сходилися:

Первый-от был все Ленин-свет,
А второй-от — его верный Сталин-друг
Скоро, скоро созвали они крепку партию,
Крепку партию большевистскую.
Приходили к ним солдаты ратные,
Говорили, что прогнали царя-изменщика,
Что разорил царь, разрушил родину.
Вместе сделали заседаньице,
Порешили так дела свои:
Пусть народ теперь правит сам собой!
Руководит им славный Ленин-вождь
Со своим другом мудрым Сталиным.
Узнавали о том змеи лютые,
Узнавали о том звери дикие,
Узнавали о том птицы хищные,
Еще та ли вся армия белая
С офицерами да со царскими, —
Стали грабить они и жечь города,
Стали бить-обижать трудовой народ.

Не ясный сокол тут полетывал, —
Славный Сталин-свет пораз ежживал
Со своими друзьями со храбрыми.
Со Красною Армией верною
Он рубил и бил силу белую,
Он рубил и бил не день, не два.
Те остались жить, кто успел сбежать.
Он очистил дороги прямоезжие,
Он очистил города и деревеньки,
Еще те ли границы русские.
Он поставил на них стражу верную,
Еще славных ребят-пограничников.

Тут свалились с земли цепи крепкие,
Светом вся земля осветилася.
Растаяли, отошли вековые льды
И свободным стал трудовой народ!
Тут взялись вожди за строительство,
За строительство за советское.
Да несчастье вдруг случилось —
Подкосила смерть вождя-Ленина.
При кончине своей он призвал к себе
Друга верного славна Сталина:
«Ты примамай, примамай все дела мои,
Ты веди народ к счастью светлому,
Ты учи его, помогай ему».
Сталин дал ему слово верное,
Как булат, оно было крепкое.
Он пошел путями Ленина
И стопами большевистскими.
Начал мудрый вождь украшать страну,
Перестроил все ново-заново.
В деревнях пошли колхозы крепкие.
Работать стали все машинами.



В. И. Ленин, И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов за картой.

Художник П. Васильев.

Жить-то стали все зажиточно.
 Зацвели сады фруктовые,
 Запел народ песни веселые,
 Стали веселы дети малые.
 Города устроил людям на-диво,
 Крышей в небо дома упираются.
 А убранство в домах все пречудное,
 Что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Как под матушкой каменной Москвой
 Ходит чудо-машина подземельная.
 Со всего света люди с'езжаются,
 Делами Сталина-свет дивуются.
 Есть чего попить, покушати,
 Молодежи есть чему радоваться,
 Есть чему и где поучиться.
 Старикам-то жить снова хочется.
 Границы у нас укрепленные,
 От врага крепко защищенные.
 Красна Армия наша храбрая.
 Самолеты у нас тучей сдвигнутся,
 Ледоколы у нас грудью двинутся, —
 Только смей-ко враг потрогать нас!

Хороша Москва прекрасная!
Все краше-дороже стена кремлевская
Со высокими все со башнями,
Со звездами все со блестящими.
Как со той башни день и ночь
Во платье-то во военном все,
В руках с трубочкой с подзорною,
Со улыбочкой со веселою
Глядит-правит страной заботливо
Превеликой вождь, предобрый отец
Еще славной, мудрой Сталин-свет.
Он глядит, глядит не намотрится,
Чутким ухом все прослушает,
Зорким взором все увидит жо,
Он все слышит-видит, как живет народ,
Как живет народ, как работает.
За хороший труд награждает всех,
Он в Москву к себе приглашает тех.
Он встречает всех очень ласково,
Говорит-то со всеми весело,
Он проводит в свои светлы горницы,
Он садит их за столички точеные,
За точеные столички за дубовые,
Он на стулики садит на мягкие.
Порасспросит все, поразведает:
Как работают, чем нуждаются.
Сам дает советы мудрые.

Как про Сталина-свет дела славные,
Про его доброту превеликую
Ни пропеть будет, ни описать всего!
Слава Сталину будет вечная!
Много лет ему жить да здравствовать
Белому-то морю все на тишину,
А Москва-реке на велику честь!

Записано в марте 1937 года со слов сказительницы
Марфы Семеновны Крюковой из дер. Нижняя
Золотица, Приморского района, Архангельской области.

Ленинская правда

Белорусская сказка

Жили в деревне два брата. Поле пахали, землю слезами поливали, горбы себе наживали. Хлеб и скотину у них паны забирали, а платили за это кулаками в спину.

Маялись братья не год и не два, а неизвестно сколько. И другие мужики вокруг жили не лучше братьев.

Надоело братьям работать на чужое здоровье. Решили они отправиться по России-матушке искать правду. Пошли. Идут месяц, идут год. Видят: стоит большое село. Посреди села — панский дом и рядом — церковь каменная.

«Дай, — думают братья, — зайдём сюда, спросим, где правда живет».

Идут они по деревне, а навстречу им пан в коляске едет.

— Чьи вы мужички, откуда идете и чего ищете? — спрашивает их пан.

Отвечают ему братья:

— Жили мы в нищете, в горе, больше сил нехватает так жить. Идем правду искать. Научи нас, пан, где ее найти.

— Хорошо, — говорит пан, — покажу я вам правду, если пожелаете, только вы мне год поработайте за это.

Согласились братья.

Работали они, работали: поле пахали, землю слезами поливали. Прошел год. Приходят они к пану и говорят:

— Научи же нас, пан, как нам правду найти.

— Ну, вот вам и правда, — отвечает им пан, — голь вы немытая, работать вам всегда на нас, панов!

Плюнули братья и пошли дальше.

Идут месяц, идут год. В село пришли. Поп идет навстречу.

Братья к нему:

— Научи, отец, где правду найти.

— Хорошо, — говорит поп, — я вам правду у царя небесного вымолю, а вы у меня год за это поработайте.

Согласились братья. Работали они, работали: пашню попу пахали, слезами землю поливали. Прошел год. Пришли братья к попу, а он им говорит:

— Работайте хорошо, бога не гневите, — вот ваша правда!

Плюнули братья, пошли дальше.

Приходят они к купцу. Вышел он, богатый, толстый, толще пана и попа.

— Хорошо, — говорит купец, — научу я вас, где правду найти, только поработайте вы год на меня.

Согласились братья. Стали они на купца работать, горбы наживать. Учил их купец, как честной народ обманывать, бедноту обмеривать. Не прошло еще и года, как младший брат и говорит:

— Не пойду я больше правду искать! Нет ее на свете — правды мужицкой!

И вернулся он в свою деревню. А старший брат настойчивый, — не хотел без правды домой возвращаться. Пошел один к фабриканту.

Фабрикант и пана, и попа, и купца богаче. Начал старший брат работать у него. А на фабрике много людей работает.

Работали они много лет. Горбы наживали, а правды не видали. Раз услышал брат тихую беседу:

— Есть только один человек, который правду знает. Зовут этого человека Ленин, а живет он в Питере.

Запомнил брат имя и пошел искать этого человека.



В. И. Ленин, И. В. Сталин и Л. М. Каганович на Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП. Июнь 1917 г.

Художник П. Васильев.

Шел много дней, а может быть и месяцев. Пришел в Питер. Видит: идет рабочий. Он его спросил тихонько:

— Где здесь Ленина найти?

А тот ему еще тише:

— Пойдем за мной, я тебя доведу.

Вот пришли они в обыкновенную комнату. Кругом разных книг много. Вышел к ним человек, — одет не богато, но чисто. Вышел и ласково говорит:

— Здравствуйте, товарищи, что скажете хорошего?

Рассказал ему брат, как он правду искал. Долго с ними говорил Ленин о порядках на фабрике, о деревенской бедноте расспрашивал, а потом сказал:

— Правильно ты сделал, что на фабрику пошел правду искать, — там скорее узнаешь, где она есть. Вы ее в руках своих держите.

И рассказал Ленин брату, как надо за рабочую правду бороться, чтобы не служить ни панам, ни кушцам, ни фаб-

рикантам, и как выгнать их вместе с царем.

Вернулся брат на фабрику и начал товарищам ленинскую правду рассказывать. Один рассказывает — десять слушают, десять рассказывают — сто слушают. И пошла ленинская правда по всему свету.

Много лет ходила она по фабрикам и деревням. Поднимала рабочих и крестьян на борьбу. А в октябре семнадцатого года об'явилась эта правда, заговорила громким голосом, на весь мир загудела. Пошли рабочие и крестьяне войной на помещиков и фабрикантов. А повел их сам Ленин со своим лучшим помощником — Сталиным. И взяла верх ленинская правда.

С тех пор рабочие и крестьяне не работают больше на панов и фабрикантов, горбов не наживают, землю слезами не поливают, — сами хозяева своих фабрик, своей земли и жизни своей.

Записано в деревне Зломное, Жлобинского района, Белорусской ССР.

Как Федосья Никитишна у Ленина была

У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией и скончался. Так что и жалованье недополучено осталось. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом. Только и спросили:

— А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?

Зима нас прижала, мамаша говорит: — Все Ленина хвалят теперь, не сбродить ли мне в Смольной-то?

Какое-то утро встаем — нету старухи. Думаем — у обедни, а она это в Смольной угребла.. И подумайте-ка! Ползала, ползала там по кабинетам, да на Владимира Ильича и нарвалась... Пишет он, запивает конфету холодным чаем...

Она нисколько не подумала, что это он сам, — тогда портретов-то мало было, — и спрашивает:

— Вы, сударь, на какой главы: на письме или на разборе?

Он rossмехнулся:

— Как приведется, сударыня. Вам на что?

— Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу. Говорят, твое дело,

Федосья Никитишна, изо всех начальников один Ленин может распутать... А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю: экой господин многограмотный! — уж, верно, не из последних начальников... Где мне Ленина искать, не войдете ли в мое положение?

Преспокойно уселась, да вкратце и доложила.

Глаза у его-таки веселые сделались, расхохотывает:

— Верно, Федосья Никитишна... Без Ленина обойдемся.

Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал:

«Товарищ, срочно оборудуйте Федосье Никитишне ее дело».

Мамаша домой приходит и деньги выкладывает:

— Все начальники в Смольном хороши! И без Ленина дело сделали.

А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку:

— Вот, купила начальника, с которым в кабинете-то сидела...

Мы взглянули, да и ахнули:

— Мамаша, да ведь это Ленин и был!

Записано в 1928 году на Северной железной дороге.

ХЛЕБ

(ОБОРОНА ЦАРИЦЫНА)

Повесть ¹

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Две недели бушевала метель, завывая в печных трубах, грохоча крышами, заноса город, устилая на сотни верст вокруг снежную пустыню. Телеграфные провода были порваны. Поезда не подходили. Трамваи стояли в парках.

Метель затихла.

Над Петроградом светил высоко взобравшийся месяц из январской мглы. Час был не слишком поздний, но город, казалось, спал. Кое-где, на перекрестках прямых и широких улиц, белыми клубами дымили костры. У огня неподвижно сидели вооруженные люди, перепоясанные пулеметными лентами, в ушастых шапках. Красноватый отсвет ложился по сугробам, на треснувшие от пуль зеркальные витрины, на золотые буквы покосившихся вывесок.

Но город не спал. Петроград жил в эти январские ночи напряженно, взволнованно, злобно, бешено.

По Невскому проспекту, по извилистым тропинкам, протоптанным в пушистом снегу, сворачивающим в поперечные улицы, проходил какой-нибудь бородастый господин, поставив заиндевелый воротник. Оглянувшись направо, налево, — стучал перстнем в парадную дверь, и тотчас испуганные голоса спрашивали: «Кто? Кто?». Дверь

приоткрывалась, пропускала его и снова захлопывалась, гремя крючьями...

Человек входил в жарко натопленную железной печуркой, загроможденную вещами комнату. Увидшая дама, хозяйка с истерическими губами, поднявшись навстречу, восклицала: «Наконец-то! Рассказывайте...». Несколько мужчин, в черных визитках и некоторые в валенках, окружали вошедшего. Протерев запотевшее пенсне, он рассказывал:

— Генерал Гофман в Брест-Литовске высек, как мальчишек, наших «дорогих товарищей»... Вместо того, чтобы ползть под стол от страха, генерал Гофман с великолепным спокойствием, продолжая сидеть, — сидя, заметьте, — заявил: «Я с удовольствием выслушал утопическую фантастику господина уполномоченного, но должен поставить ему на вид, что в данный момент мы находимся на русской территории, а не вы на нашей... И мы диктуем вам условия мира, а не вы нам диктуете условия...». Хе-хе...

Седоусый, розовый старик, в визитке и валенках, перебил рассказчика:

— Послушайте, но это же тон ультиматума...

— Совершенно верно, господа... Немцы заговорили с нашими «товарищами» во весь голос... Я патриот, господа, я русский, чорт возьми. Но, право, я готов аплодировать генералу Гофману...

¹ Повесть написана по документам и материалам редакции «История гражданской войны».

— Дожили, — проговорил иронический голос из-за фикуса.

И другой — из-за книжного шкафа:

— Ну, что ж, немцы в Петрограде будут через неделю.

— Милости просим...

Истерическая хозяйка дома — с плачущим смешком:

— В конце-концов не приходится же нам выбирать; в конце-концов — ни керосину, ни сахару, ни полена дров...

— Вторая новость... Я только-что из редакции «Эхо». Генерал Каледин идет на Москву! (Восклицания.) К нему массами прибывают добровольцы-рабочие, не говоря уже о крестьянах, — эти приезжают за сотни верст. Армия Каледина выросла уже до ста тысяч.

Из десятка грудей выдыхается смятый воздух: хочется верить в чудо — в просветленные духом крестьянские армии, идущие на выручку разогнанному Учредительному собранию, на выручку таким хорошим, таким широким, красноречивым российским либералам... И еще хочется верить, что немцы придут, сделают свое дело и уйдут, как добрый дед-мороз.

Другой пешеход, покосив глубокими тропинками мимо вымерших особняков, постучался на черном ходу в одну из дверей. Вошел в комнату с лепным потолком. Внутри закутанной люстры светила лампочка сквозь пыльную марлю. На паркете потрескивала железная печка с коленом в фортку. С боков печки на койках лежали в рваных шерстяных носках и жеваных гимнастёрках штабс-капитан двадцати лет и подполковник двадцати двух лет. Оба читали «Рокамболя». Семнадцать томов этих замечательных приключений валялись на полу.

Вошедший проговорил значительно: «Георгий и Москва». Штабс-капитан и подполковник взглянули на него из-за раскрытых книг, но не выразили удивления и ничего не ответили.

— Господа офицеры, — сказал вошедший, — будем откровенны. Больно видет славное русское офицерство в таком моральном разложении. Неужели вы не понимаете, что творят большевики с несчастной Россией? Открыто раз-

валивают армию, открыто продают Россию, открыто заявляют, что самое имя «русский» сотрут с лица земли. Господа офицеры, в этот грозный час испытания каждый русский должен встать с оружием в руках.

Штабс-капитан проговорил мрачно и лениво:

— Мы три года дрались, как черти. Мы с братом загнали шпалеры и не пошевелимся. Точка.

У вошедшего господина раздулись ноздри; подняв палец, он сказал зловеще:

— На свободу выпущен зверь. Русский мужичок погуляет на ваших трупах, господа...

И господин начал расписывать такие апокалипсические страсти, что у штабс-капитана и подполковника нехорошо застелились глаза. Оба сбросили ноги с ксеск, сильным движением одернули гимнастёрки.

— Хорошо, — сказал подполковник. — Куда вы нас зовете?

— На Дон, к русскому патриоту — генералу Каледину.

— Хорошо. Мы его знаем. Он угробил дивизию на Карпатах. Но, собственно, кто нас посылает?

— «Союз защиты родины и свободы». Господа, мы понимаем, что идеи идеями, а деньги деньгами... — Господин вынул шегольской бумажник и бросил на грязную койку несколько думских тысячерублевков.

— Мишка, — сказал подполковник, поддегивая офицерские брюки, — едем, елки точеные. Пропишем нашим мужепёсам горячие шомпола.

В эти снежные ночи в Петрограде было не до сна. Вечерние контрреволюционные газетки разносили возбуждающие слухи о немецком ультиматуме, о голоде, о кровавых боях на Украине между красными и гайдамацкими полками Центральной рады¹, о победоносном шествии генерала Каледина на Москву и с особенным вкусом и подробностями описывали грабежи и «кошмарные убий-

¹ Центральная рада — националистическое буржуазное, меньшевистско-эсеровское правительство Украины.

ства». Неуловимый бандит Котов, или «человек без шеи», резал людей каждую ночь на Садовой у игорного притона ударом мясного ножа в почки. В одной закуской, знаменитой поджаренными свиными ушами, в подполье обнаружили семь ободранных человеческих туш. Весь город говорил о случае в трамвае, когда у неизвестного в солдатской шинели была вытащена из-за пазухи отрезанная женская рука с бриллиантовыми перстнями.

Тоска охватывала имущих обывателей Петрограда. На лестницах устраивали тревожную сигнализацию, в под'ездах — всенощное дежурство. Боже мой, боже мой! Да уж не сон ли снится в долгие зимние ночи? Столица, мозг взбунтовавшегося государства, строгий, одетый в колоннады и триумфальные арки, озаряемый мрачными закатами, великодержавный город — в руках черни, вон тех, кто, нахохлившись, стоит с винтовками у костров. Будто неведомые завоеватели расположились табором в столице. Не к ним же, высунувшись ночью из форточки, кричать: «Караул,—грабят!». У этих фабричных, обмотанных пулеметными лентами, у солдатшек из самой что ни на есть деревенской голи — на всё, на все беды — один ответ: «Углубляй революцию...».

Немало было таких, кто со злорадством ждал: пришли бы немцы. Суровые, в зелено-серых шинелях, в стальных шлемах. Ну — высекут кого-нибудь публично на площади, — российскому обывателю даже полезно, если его немного постегать за свинство. И встали бы на перекрестках доброжелательные шущманы: «Держись правал!». Военный губернатор, с золотыми жгутами на плечах, пролетел бы в автомобиле по расчищенному Невскому, и засветились бы окна в булочных, в колбасных и в пивных. И пошел бы правой сторонкой панели счастливый, как из бани, питерский обыватель. Немцу в ум не придет такое невежество — заявлять: «Кто не работает, тот не ест».

Тем, кто служил в бывших министерствах и департаментах, в банках и на предприятиях, — а по-новому в комиссариатах, — окончательно, ввиду

скорого пришествия немцев, не было расчета связываться с большевиками. Пусть они сами поворочают государственную машину. Это не на митинге бить кулачищем в матросскую грудь: «Новый мир, видите ли, собственной рукой построим...». «Стройте, стройте, дорогие товарищи!». И, как крысы уходят с корабля, так с каждым днем все больше крупных и мелких чиновников, по болезни и просто безо всяких оснований, не являлось на службу. Саботаж снова с каждым днем ширился, как зараза, — все глубже насыщался политической борьбой.

Плотно занавесив окна, выставив на парадном желторотого гимназиста с браунингом, чиновники собирались около потрескивающей угольками железной печурки и, возрождая старозаветный питерский уют — чиновный винт, — перекидывались ироническими мыслями: «Да-с, господа... Не так-то был глуп Николай, оказывается... Э-хе-хе... Мало секали, мало вешали... Что и говорить: все хороши... Свободы захотелось, на капустку потянуло... Вот вам и капуста получилась... А в Смольном у них, ваше превосходительство, каждую ночь — оргии, да такие, что прямо — волосы дыбом...».

Клубы дыма от двух жарких костров застилали колонны Таврического дворца. Топая валенками, похлопывая варежками, похаживала у входа вооруженная стража. Тускло горел свет. В вестибюлях — ледяная мгла.

В большом зале заседал Третий всероссийский с'езд советов. На скамьях, раскинутых амфитеатром, было тесно, шумно — солдатские шинели фронтвиков, полшубки, ушастые шапки и ватные куртки рабочих. Под стеклянным потолком огромного зала — пар, полусвет... Гул голосов замолкал настороженно. Кулаками подпирались бороды, небритые щеки. Блистали ввалившиеся глаза. Слова оратора вызывали движение страстей на худых и землистых лицах. Навстречу иной фразе обрушивалось хлопанье тяжелых ладоней или поднимался угрюмый ропот, прорезаемый резким свистом, и долго приходи-

лось звякать колокольчику председателя...

Прения заканчивались. На трибуну, расположенную перед высоким столом президиума, торопливо пошел с боковой скамьи по-господски одетый человек с толстыми щеками. Снял шапку, расстегнул каракулевый воротник и — густым голосом через хрипотцу:

— ... Никогда никакое насилие, никакие декреты Совета народных комиссаров не отнимут у нас права говорить от лица всего Русского государства. Учредительное собрание разогнано, но Учредительное собрание живо, и голос его вы еще услышите...

Говорил член партии эсеров. За его спиной председательствующий Володарский беззвучно тряс колокольчиком. Рев перекатывался по скамьям амфитеатра: «Пошел вон! Долой! Вон!».

Оратор, опираясь на кулаки, глядел туда с перекошенной усмешкой. Когда немного стихло, он снова загудел, выпивая толстые губы:

— ... После октябрьского переворота, когда вы, товарищи, стали у власти, естественно было бы ждать, что вы не откроете фронта перед немецким нашествием... Но вся политика народных комиссаров преступно попустительствует тому, чтобы обнажить фронт...

Взрыв криков. Кто-то в солдатской шинели покатился сверху на каблуках по лучевому проходу к трибуне. Его перехватили, успокоили...

— ... Если вы хотите мира, — гудел толстощекий, — то прежде всего не должны допустить, чтобы Совет народных комиссаров от вашего имени предательски заключил сепаратный мир...

Амфитеатр взревел, закачались головы, замахали рукава. Человек десять в шинелях кинулось вниз. Оратор торопливо надел шапку, нагибаясь, пошел на свое место.

Председательствующий, дозвонившись до тишины, дал слово Мартову. Член центрального комитета меньшевиков Мартов, в пальто с оборванными пуговицами, выставив из шарфа кадык худой шеи и запрокинув чахоточное лицо с жидкой бородкой, чтобы глядеть на слушателей через грязные стекла пенсне,

с'ехавшего на кончик носа, — тихо, но отчетливо, насмешливо заговорил о том, что глубоко удовлетворен только-что сделанным сегодня заявлением представителя мирной делегации в Брест-Литовске о намерении не делать более уступок германскому империализму...

Амфитеатр напряженно затих. Напряженное внимание в президиуме. Мартов двумя пальцами поправил пенсне. Чахоточные щеки его втянулись.

— Я заявляю, товарищи, что политика советской власти поставила русскую революцию в безвыходное и безнадежное положение... Вывод делайте сами...

В президиуме громко выругались. На скамьях меньшевиков и эсеров захопала. В центре и на левом крыле большевики затопали ногами, закричали: «Предатель!». Поднялся шум, перебранка. Какой-то низенький усатый человек в финской шапке повторял рыдающим голосом: «Ты скажи — что делать? Что делать нам, скажи?».

За Нарвскими воротами по левую сторону от шоссе, в рабочем поселке, разбросанном по болотистым пустырям, в одном из домишек, покосившемся от ветхости, кузнец Путиловского завода Иван Гора — большого роста, большеносый, двадцатидвухлетний парень — чистил винтовку, положив части затвора на стол, где в блюдечке в масле плавал огонек.

Два мальчика — одиннадцати и шести лет, Алешка и Мишка — внимательно глядели, что он делает с ружьем. Иван Гора занимал здесь угол у вдовы Карасевой. Мамка ушла с утра, есть ничего не оставила. Иван Гора согрел чайник на лучинках, напоил маленьких кипятком, чтобы перестали плакать.

— Ну, теперь чисто, — сказал он грубым голосом. — Глядите — затвор буду вкладывать. Вло-жил! Го-тово! Стреляй по врагам рабочего класса..

Засмеявшись, он поглядел на Алешку и Мишку. У старшего худые щеки сморщились улыбкой. Иван Гора перекинул ремень винтовки через плечо. Застигнул крючки бекеши, надвинул на брови солдатскую искусственного каракуля папаху.

— Ну, я пошел, ребята... Смотри-те, без меня не балуйтесь...

Пригородная равнина синела снегами. Вокруг месяца — бледные круги. Иван Гора, утопая валенками, добрался до шоссе, на санные следы, и повернул направо, на завод за пропуском... У заводских ворот заиндевелый дед, взглядевшись, сказал ему:

— На митинг? Иди в кузнечный...

На истоптанном дворе было безлюдно. Под сугробами погребены огромные котлы с военных судов. Вдали висела решетчатая громада мостового крана. Тускло желтели закопченные окна кузнечной.

Иван Гора с усилием отворил калитку в цех. Десятки взволнованных лиц обернулись к нему: «Тихе, ты!». В узкой, длинной кузнице пахло углем, тлеющим в горнах. Сотни полторы рабочих слушали светловолосого, маленького, с веселым розовым лицом, человека, горячо размахивающего руками. Он был в черной, перепоясанной ремнем суконной рубаше. Ворот расстегнут на тонкой, интеллигентской шее, зрачки светлых круглых глаз воровски метались по лицам слушателей:

— ... Вся наша задача — сберечь для мира чистоту революции. Октябрьскую революцию нельзя рассматривать как «вещь в себе», как вещь, которая самостоятельно может расти и развиваться... Если наша революция станет на путь такого развития, — мы неминуемо начнем перерождаться, мы не сбережем нашу чистоту, мы скатимся головой вниз в мелкобуржуазную стихию, к мещанским интересам российской деревни, в объятия к мужичку...

Быстрой гримасой он хотел изобразить вековечного российского мужичка и даже схватился за невидимую бороденку. Рабочие не засмеялись, ни один не одобрил насмешки. Это говорил один из вождей «левых коммунистов», штурмующих в эти дни ленинскую позицию мира...

— Первым шагом нашей революции — вниз, в болото, — будет Брестский похабный мир... Мы распишемся в нашей капитуляции, за чечевичную по-

хлебку продадим мировую революцию... Мы не можем идти на Брестский мир — что бы нам ни угрожало. (Глаза его расширились «доотказа», будто он хотел заглотив ими всю кузницу со слушателями.) Мы утверждаем: пусть нас даже задушит германский империализм... Пусть он распочет нашу «Расею»... Это будет даже очень хорошо. Почему? А потому, что такая гибель — наша гибель — зажжет мировой пожар... Поэтому не Брестским миром мы должны ответить на германские притязания, но — войной, немедленной революционной войной. Вилы против германских пушек!.. Да — вилы...

У Ивана Горы волосы ошетинились на затылке. Но хотел бы он еще послушать оратора, — времени оставалось меньше часу до смены дежурства. Он протолкался к двери, кашлянул от морозного воздуха. Зашел в контору, взял наряд в Смольный, взял паек — ломоть ржаного хлеба, сладко пахнущего жизнью, осторожно засунул его в карман бекеши и зашагал по шоссе в сторону черной колоннады Нарвских ворот...

Со стороны пустыря показались тени бездомных собак, неслышно продвинулись к шоссе. Сели у самой дороги, — десятка два разных мастей, — глядели на шагающего человека с ружьем.

Когда Иван Гора прошел, собаки, опустив головы, двинулись за ним...

«Ишь ты: мы вилами, а немцы нас — пушками, и это «даже очень хорошо», — бормотал себе под нос Иван Гора, глядя в морозную мглу... — Значит, по его — выходит: немедленная война вилами... Чтобы нас раздавили и кончили... И это очень хорошо... Понимаешь, Иван? Расстреливай меня, — получается провокация...».

Ивану стало даже жарко... Он уже не шел, а летел, визжа валенками... В пятнадцатом году его брат, убитый вскорости, рассказывал, как их дивизионный генерал атаковал неприятеля: надо было перейти глубокий овраг, — он и послал четыре эскадрона — завалить овраг своими телами, чтобы другие перешли по живому мосту...

«По его — значит — Советская Россия только на то и способна: навалить для других живой мост?».

Он сразу остановился. Опустив голову, думал. Собаки совсем близко подошли к нему... Поддернул плечом ремешь винтовки, опять зашагал...

— Неправильно!..

Сказал это таким крепким от мороза голосом, — собаки позади него ошетились...

«Неправильно! Мы сами желаем своими руками потрогать социализм, вот что... Надо для этого семь шкур содрать с себя, и сдерем семь шкур... Но социализм хотим видеть вживе... А ты — вилы бери! И потом — почему это: мужик — болото, мужик — враг!..».

Он опять остановился посреди Екатерингофского проспекта, где в высоких домах, в ином морозном окне сквозь щели занавесей желтел свет. Иван Гора — тоже был мужик, восьмой сын у батьки. Кроме самого старшего, — этот и сейчас хозяйничает на трех десятинах в станице Нижнечирской, — все сыновья батрачествовали. Трех убили в войну. Трое пропали без вести.

«Ну, нет: всех мужиков — в один котел, все сословие?.. Это, брат, чепуха... Деревни не знаешь: там буржуй, может, еще почище городского, да на него — десяток пролетариев... А что темнота — это верно...».

Был третий час ночи. Иван Гора стоял на карауле у дверей в Смольном. В длинный коридор за день натащили снегу. Чуть светила лампочка под потолком. Пусто. Пальцы пристывали к винтовке. На карауле у дверей товарища Ленина — вволю можно было подумать на досуге. Замахнулись на большое дело: такую страницу поднять из невежества, всю власть, всю землю, все заводы, все богатства предоставить трудящимся!.. Днем, в горячке, на людях легко было верить в это. В ночной час в холодном коридоре начинало, как будто, брать сомнение... Длинен путь, хватит ли сил, хватит ли жизни?

Головой Иван Гора верил, а тело, дрожавшее в худой бекеше, клонилось в

противоречие. Из кармана тянуло печеным запахом хлеба, в животе посасывало, но есть на посту Иван Гора стеснялся.

Издавек по каменной лестнице кто-то, слышно, спускался с третьего этажа. В коридоре смутно показался человек в шубе, наброшенной на плечи, — торопливо шел, опустив голову в каракулевой шапке, засунув озябшие руки в карманы брюк. Иван Гора, когда он приблизился, облегченно раздвинул большой рот улыбкой. При взгляде на этого человека пропадали сомнения. Повернув ключ в двери, он сказал:

— Зазябли, Владимир Ильич, погреться пришли?

Исподлобья чуть раскосыми глазами Ленин взглянул холодно, потом теплее, — на виски набежали морщинки.

— Вот какая штука, — он взялся за ручку двери. — Нельзя ли сейчас найти монтера, поправить телефон?

— Монтера сейчас не найти, Владимир Ильич, позволите, я взгляну.

— Да, да, взгляните, пожалуйста.

Иван Гора брякнул прикладом винтовки, вслед за Лениным вошел в теплую, очень высокую белую комнату, освещенную голой лампочкой на блоке под потолком. Раньше (когда Смольный был институтом для благородных девиц) здесь помещалась классная дама, и, как было при ней, так все и осталось: в одном углу — плохонький ольховый буфетец, в другом — зеркальный шкапчик базарной работы, вытертые креслица у вытертого диванчика, в глубине — невысокая белая перегородка, за ней две железные койки, где спали Владимир Ильич и Надежда Константиновна. На дамском облупленном столике — телефон. Владимир Ильич работал в третьем этаже, сюда приходил только ночевать и греться. Но за последнее время часто оставался и на ночь — наверху, у стола в кресле.

Иван Гора прислонил винтовку и стал дуть на пальцы. Владимир Ильич — на диване за круглым столиком — перебирал исписанные листки. Не поднимая головы, спросил негромко:

— Ну, как телефон?

— Сейчас исправим. Ничего невозможного.

Владимир Ильич, помолчав, повторил: «Ничего невозможного», усмехнулся, встал и приоткрыл дверцу буфета. На полках две грязные тарелки, две кружки и — ни одной сухой корочки. У них с Надеждой Константиновной только в феврале завелась одна старушка — смотреть за хозяйством. До этого случалось — весь день не евши: то некогда, то нечего.

Ленин закрыл дверцу буфета, пожав плечом, вернулся на диван, к листкам. Иван Гора качнул головой: «Ай, ай, — как же так: вождь — голодный, не годится». Осторожно вытащил ломоть ржаного, отломил половину, другую половину засунул обратно в карман, осторожно подошел к столу и хлеб положил на край и опять занялся ковыряньем в телефонном аппарате.

— Спасибо, — рассеянным голосом сказал Владимир Ильич. Продолжая читать, отламывал от куска.

Дверь, ведущая в приемную, где раньше помещалась умывальная для девиц и до сих пор стояли умывальники, — приоткрылась, вошел человек с темными стоячими волосами и молча сел около Ленина. Руки он стиснул на коленях — тоже, должно быть, прозяб под широкой черной блузой. Нижние веки его блестящих темных глаз были приподняты, как у того, кто вглядывается в даль. Тень от усов падала на рот.

— Точка зрения Троцкого: войну не продолжать и мира не заключать — ни мира, ни войны, — негромко, глуховато проговорил Владимир Ильич, — ни мира, ни войны! Этакая интернациональная политическая демонстрация! А немцы в это время вгрызутся нам в горло. Потому что мы для защиты еще не вооружены... Демонстрация неплохая вещь, но надо знать — чем ты жертвуешь ради демонстрации... — Он карандашом постукал по исписанным листочкам. — Жертвуешь революцией. А на свете сейчас ничего нет важнее нашей революции...

Лоб его собрался морщинами, скулы

покраснели от сдержанного возбуждения. Он повторил:

— События крупнее и важнее не было в истории человечества.

Сталин глядел ему в глаза, казалось, оба они читали мысли друг друга. Распустив морщины, Ленин перелистал исписанные листочки.

— Вторая точка зрения: не мир, но революционная война!.. Гм... гм!.. Это наши «левые»... — Он лукаво взглянул на Сталина. — «Левые» отчаянно размахивают картонным мечом, как взбесившиеся буржуа... Революционная война!.. И не через месяц, а через неделю крестьянская армия, невыносимо истомленная войной, после первых же поражений свергнет социалистическое рабочее правительство, и мир с немцами будем заключать уже не мы, а другое правительство, что-нибудь вроде рады с эсерами-черновцами¹.

Сталин коротко, твердо кивнул, не спуская с Владимира Ильича блестящих глаз.

— Война с немцами! Это как-раз и входит в расчеты империалистов. Американцы предлагают по сто рублей за каждого нашего солдата... Нет же, честное слово — не анекдот... Телеграмма Крыленко из ставки (Владимир Ильич, подняв брови, потащил из кармана обрывки телеграфной ленты): с костями, с мясом — сто рубликов. Чичиков дороже давал за душу... (Сталин слегка усмехнулся в усы.) Мы опираемся не только на пролетариат, но и на беднейшее крестьянство... При теперешнем положении вещей оно неминуемо отшатнется от тех, кто будет продолжать войну... Мы, чорт их дерн, никогда не отказывались от обороны. (Рыжеватыми — веселыми и умными, лукавыми и ясными глазами глядел на собеседника.) Вопрос только в том: как мы должны оборонять наше социалистическое отечество...

Выбрав один из листочков, он начал читать:

— ...Мирные переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий

¹ Чернов — лидер эсеров.

момент — к двадцатому января восемнадцатого года, — что у германского правительства безусловно взяла верх военная партия, которая, по сути дела, уже поставила России ультиматум... Ультиматум этот таков: либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир, то-есть мир на условии, что мы отдаем все занятые нами земли, германцы сохраняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию, прикрытую внешностью платы за содержание пленных, контрибуцию, размером приблизительно в три миллиарда рублей, с рассрочкой платежа на несколько лет. Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос: принять ли сейчас этот аннексионистский мир, или вести тотчас революционную войну... Никакие средние решения, по сути дела, тут невозможны...

Сталин снова твердо кивнул. Владимир Ильич взял другой листочек:

— Если мы заключаем сепаратный мир, мы в наибольшей, возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, — затрудняющую им сделку против нас, — используем, получая известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции... — Он бросил листочек, глаза его сощурились лукавой хитростью. — Для спасения революции три миллиарда контрибуции — не слишком дорогая цена.

Сталин сказал вполголоса:

— То, что германский пролетариат ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным восстанием, — это одно из предположений, столь же вероятное, как любая фантазия... А то, что германский штаб ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным наступлением по всему фронту, — это несомненный факт...

— Совершенно верно... И еще — если мы заключаем мир, мы можем сразу обменяться военнопленными, и этим самым мы в Германию перебросим громадную массу людей, видевших нашу революцию на практике...

Иван Гора осторожно кашлянул:

— Владимир Ильич, аппарат работает...

— Великолепно! — Ленин торопливо подошел к телефону. Вызвал Свердлова. Иван Гора, уходя за дверь, слышал его веселый голос:

— ...Так, так, — «левые» ломали стулья на съезде... А у меня сведения, что одного из их петухов на Путиловском заводе чуть не побили за «революционную» войну... В том-то и дело: рабочие прекрасно отдают себе отчет... Яков Михайлович, значит — завтра ровно в час собирается ЦК... Да, да... Вопрос о мире...

По коридору к Ивану Горе, звонко в тишине топая каблуками по плитам, шел человек в бекеше и смушковой шапке.

— Я был наверху, товарищ, там сказали — Владимир Ильич сошел вниз, — торопливо проговорил он, подняв к Ивану Горе разгоревшееся от мороза крепкое лицо, с коротким носом и карими веселыми глазами. — Мне его срочно, на два слова...

Иван Гора взял у него партийный билет и пропуск.

— Уж не знаю, Владимир Ильич сейчас занят, секретарь спит, Надежда Константиновна еще не вернулась, — он с трудом разбирал фамилию на партбилете. — Угля у них, у дьяволов, что ли, нет на станции, — ничего не видно...

— Фамилия моя Ворошилов...

— А, — Иван Гора широко улыбнулся. — Слыхали про вас... Земляки... Сейчас скажу...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Поздно утром вдова Карасева затопила печь и сварила в чугушке картошку, — ее было совсем мало. Голодная, сидела у непокрытого стола и плакала одними слезами, без голоса. Было воскресенье — пустой, длинный день.

Иван Гора завозился на койке за перегородкой... В накинутой бекеше прошел в сени. Скоро вернулся, крикая и поеживаясь, увидев, что Марья положи-

ла на стол руки и плачет, — остановился, взял расшатанный стул, сел с края стола и начал перематывать на нотах обмотки.

— Мороз, пожалуй, еще крепче, — сказал густым голосом. — В кадлушке вода замерзла, — не пробить. Картошки на складах померзло — ужас... Так-то, Марья дорогая...

Вдова глядела мимо Ивана мутными от слез, бледными глазами. Все жалобы давно были сказаны.

— Так-то, Марья, моя дорогая... Революция — дело мужественное. Душой ты верна, но слаба. Послушай меня, уезжай отсюда.

Не раз Иван советовал вдове бросить худой домишко и уехать на родину Ивана — в Донской округ, в станицу Чирскую. Там нетрудно найти работу. Там хлеба довольно и нет такой беспощадной зимы. Вдова боялась, — одна бы — не задумалась. С детьми ехать в такую чужую даль — страшно. Сегодня он опять начал уговаривать.

— Иван, — сказала ему вдова с тихим отчаянием. — Ты молодой, эдакий здоровенный, для тебя всякая даль близка. Для меня даль далека. Силы вымотаны.

Вдова с упреком закивала головой, будто тем, кто пятнадцать лет выматывал ее силы. Муж ее, путиловский рабочий, два раза до войны подолгу сидел в тюрьме. В пятнадцатом году, как неблагонадежный, был взят с завода на фронт — пошел с палкой вместо винтовки. Так с палкой его и погнали в атаку, на смерть.

— Напрасно, — сказал Иван, — напрасно так рассуждаешь, дорогая, что сил нет. Здесь ты лишний рот, а там сознательные люди нужны.

— Что ты, Иван... Мне бы только их прокормить... Кажется — умри они сейчас, — не так бы их жалко было... А как им прожить — маленьким... Да еще пойдут круглыми сиротами куски собирать.

Отвернулась, вытерла нос, потом глаза. Иван сказал:

— Вот... А там для детей — рай: Донской округ, подумай. Хлеб, сало, молоко. Там, видишь ли, какие дела... —

Иван расположил на стол локоть и выставил палец с горбатым ногтем. — Я, мои братья — родились в Чирской, и батька там родился. Но считались мы иногородними, «хохлы»¹, словом — чужаки. Казаки владели землей, казаки выбирали атаманов... Теперь наши «хохлы» и потребовали и земли, и прав — вровень с казаками... У станичников к нам не то что вражда — кровавая ненависть. Казак вооружен, на коне, смелый человек. А наши — только винтовки с фронта принесли. Это не Дон — это порох.

Марья усмехнулась припухшими глазами:

— А ты говоришь — рай, зовешь...

— Дон велик. Поедешь в такие места, где большевистская власть прочна. Тебе работу дадут, на Дону будешь нашим человеком для связи. Хлеб-то в Петроград откуда идет? С Дона... Понятно? А уж детей ты там, как поросят, откормишь...

Марья глядела мимо него, повернув худое, еще миловидное лицо к замерзшему окошку, откуда чуть лился зимний свет.

— Пятнадцать лет прожито здесь...

— Эту хибарку, Марья, не то что жалеть — сжечь давно надо. Дворцы будем строить, — потерпи немного...

— Верю, Иван.. Сил мало... Что же, если велишь — поеду...

— Ну, велю, — Иван засмеялся. — Все-таки ваше сословие женское — чудное...

— По молодости так говоришь... Я вот, видишь ты, сижу и — ничего, встану — поплывет в глазах, голова закружится.

— Ну, я рад, мы тебя отправим...

Поговорив со вдовой, Иван оделся. перепоясался:

— Сегодня идем к буржуям за излишками... И как они, дьяволы, ловко прячут! Прошлый раз: вот так вот — коридор, — мы уж уходим, ничего не нашили, — товарищ меня нечаянно и толкнул, я локтем в стенку: глядь — перегородка в конце коридора и обои, только-что наклеенные. Перегородку в

¹ «Хохлами» называли иногородних.

два счета разнесли, — там полсотни пудов сахару...

Он отворил дверь в сени. Марья — ему вслед, негромко:

— Хлеб весь, чай, с'ел?

— Да, видишь, какое дело — отдать пришлось, — понимаешь, один был голодный...

Иван махнул рукой, вышел.

2

Все скупее, тягучее текли жизненные соки из черноземного чрева страны на север — в Петроград и Москву. Выборные продовольственной управы, ведавшие сбором и распределением хлеба, плохо справлялись, а иные нарочно тормозили это дело: в управы прошли члены враждебных политических партий — меньшевики и эсеры, чтобы голодом бороться с большевиками за власть. Голод все отчетливее появлялся в сознании как самое верное, насмерть бьющее оружие.

Большевиков было немного — горсть в триста тысяч. Их цели лежали далеко впереди. На сегодняшний день они обещали мир и землю и суровую борьбу за будущее. В будущем разворачивали перспективу почти фантастического изобилия, почти не охватываемой воображением свободы, и это привлекало и вдохновляло тех из полтора миллиона, для кого всякое иное устройство мира обозначало бы вечное рабство и безнадежный труд.

Но этому будущему пока-что грозили голод, холод и двадцать девять германских дивизий, в ожидании мира или войны стоящих на границе от Черного моря до Балтийского.

Для немцев выгоден был скорейший мир с Советской Россией. Германское командование наперекор всем зловещим данным надеялось в весеннее наступление разорвать англо-французский фронт. Людендорф готовил последние резервы, но их можно было достать, только заключив сепаратный мир с Советской Россией.

Немецкие представители в Брест-Литовске, где происходили переговоры о

мире, готовы были ограничиться даже довольно скромным грабежом. Им нужен был хлеб и мир с Россией для войны на Западе. В Австро-Венгрии голод уже подступал к столице, и министр продовольствия приказал ограбить немецкие баржи с кукурузой, плывущие по Дунаю в Германию. Австрийский министр граф Чернин истерически торопил переговоры, чтобы получить хлеб и сало из Украины.

Это понимал и на это рассчитывал Ленин, борясь за мир, за необходимую, как воздух, как хлеб, передышку от войны — хотя бы на несколько месяцев, когда смог бы укрепить новорожденный младенец — молодая советская власть.

На совещании Центрального комитета — совместно с членами большевистской фракции Всероссийского съезда советов — точка зрения Ленина получила пятнадцать голосов: победа осталась за «левыми коммунистами», шумно требовавшими немедленной войны с немцами.

Через три дня собрался Центральный комитет. На нем Ленин прочел свои тезисы мира. «Левые» в этом заседании были в меньшинстве. Против Ленина выступили троцкисты со своей предательской позицией — ни мира, ни войны. Ленин не собрал большинства.

Тогда он сделал стратегический ход: он отступил на шаг, чтобы укрепить позиции и с них продолжать борьбу за мир: он предложил затягивать мирные переговоры в Брест-Литовске до того часа, пока у немцев нехватит больше терпения и они не предъявят, наконец, ультиматума.

Делать все, чтобы немцы возможно дольше не предъявляли ультиматума, и, когда, наконец, предъявят, — то уже безоговорочно подписывать с ними мир. Предложение Ленина прошло большинством голосов. С этим обязательным для него постановлением Троцкий в ту же ночь выехал с делегацией в Брест-Литовск.

Несмотря на решение Центрального комитета, «левые коммунисты» на рабочих митингах кричали о «национальной

ограниченности» Ленина, о безусловной невозможности построить социализм в одной стране, да еще в такой отсталой, мужицко-мещанской... Они бешено требовали немедленной революционной войны, втайне понимая, что сейчас она невозможна, что она превратится в разгром. Но им нужно было взорвать Советскую Россию, чтобы от этой чудовищной детонации взорвался мир. А впрочем, и мир для них был тем же полем для личных авантур и игры честолюбий. Провокация и предательство были их методом борьбы.

В начале февраля в Брест-Литовске, в зале заседаний мирных переговоров, появились два молодых человека в синих свитках и смушковых шапках — Любинский и Севрюк. Они пред'явили немцам свои мандаты — полномочных представителей Центральной рады и предложили немедленно заключить мир. Хотя вся территория самостийного украинского правительства ограничивалась теперь одним городом Житомиром, немцев это не смутило: территорию всегда можно было расширить. И немцы тайно от советской делегации подписали с Центральной радой мирный договор на вечные времена, обещав незамедлительно навести на Украине «порядок». В тот же день император Вильгельм приказал нажать круче на советскую делегацию и пред'явить ультиматум.

Сереньким утром десятого февраля, когда капало с крыш одноэтажных казенных домиков и воробьи заводили на голых деревьях Брест-Литовской крепости донжуанское щебетанье, — советская делегация, направляясь через снежный двор в офицерское собрание заседать, узнала про ловкий ход немцев. Троцкий пошел на телеграф. По прямому проводу он сообщил Ленину об угрожающей обстановке, он спросил: «Как быть?».

В ответ на ленточке, бегущей из аппарата, отпечаталось:

«Наша точка зрения вам известна... Ленин. Сталин».

Делегаты, стоя тесной кучкой на снежном дворе, нервно курили. Талый ветер относил дым. Глядели, как Троцкий появился на крыльце почты, остановился, застегивая на горле пальто, пошел по желтой от песка дорожке. Делегаты наперебой стали спрашивать, что ответил Владимир Ильич...

Широколобое темное лицо Троцкого, окаменев, выдержало минутную паузу, затем — прямой, как разрез, рот его разжался:

— Центральный комитет стоит на моей точке зрения. Идемте...

Сорок делегатов — Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции — собрались за зеленым столом.

Сидящий справа от статс-секретаря фон-Кюльмана представитель высшего германского командования генерал Гофман (у которого наготове стояли двадцать девять дивизий) — крупный, розовый, бритый — брезгливо спускал губы. У сидящего слева от статс-секретаря австрийского министра графа Черни на дергалось тиком худое, измятое бессонницей, лицо. Жирный, черный болгарин Попов, министр юстиции, сопел, как бы с трудом переваривая речи.

Было ясно, что в эти минуты решается судьба России. Председатель советской делегации, с волчьим лбом, татарскими усиками, черной — узким клинышком — бородкой, стоял в щегольской визитке, боком к столу, подняв плечи супрематическим жестом, — похожий на актера, загримированного под дьявола.

Упираясь надменным взглядом через стекла пенсне в германского статс-секретаря фон-Кюльмана (у которого в кармане пиджака лежала телеграмма Вильгельма об ультиматуме), Троцкий сказал:

— Мы выходим из войны, но мы отказываемся от подписания мирного договора...

Ни мира, ни войны! Как-раз то, что было нужно немцам, — эта неожиданная шулерская формула развязывала им руки. Генерал Гофман густо побагровел, откидываясь на стуле. Граф Чернин

вскинул худые руки, фон-Кюльман высокомерно усмехнулся. Ни мира, ни войны! Значит — война!

Так Троцкий нарушил директиву Ленина и Сталина, совершил величайшее предательство: Советская Россия, не готовая к сопротивлению, вместо мира и передышки получила немедленную войну. Россия была отдана на растерзание. Одиннадцатого советская делегация уехала в Петроград. Шестнадцатого февраля генерал Гофман объявил Совету народных комиссаров, что с двенадцати часов дня восемнадцатого февраля Германия возобновляет войну с Советской Россией...

3

Всю ночь мокрый снег лепил в большие окна. За приоткрытой дверью постукивал телеграфный аппарат. Ленин, поднимая голову от бумаг, спрашивал: «Ну?». За дверью отвечали негромко: «Есть». Он озабоченно шел к аппарату. Телеграфист, жмуря глаз от едкой махорки, подавал ленту. На нескончаемой узкой бумажке бежали из аппарата сведения ставки, — тревога, тревога, тревога... В германских окопах началось оживление. Повсюду задымили кухни. По ходам сообщения двигаются крупные воинские части, одетые по-походному. Появились аэропланы. Германская артиллерия приближается на расстояние прямой наводки. Проектора ощущают наши позиции.

Владимир Ильич читал, читал, и нос его собирался ироническими морщинками. Не оставалось никакой надежды: завтра, восемнадцатого февраля, «немцы начнут наступление по всему фронту — от Балтийского до Черного моря»...

Вчера вечером в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет. С холодной логикой Ленин доказывал, что нельзя ожидать, покуда немецкая армия придет в движение, а необходимо это движение предупредить — немедленно телеграфировать в Берлин о возобновлении мирных переговоров.

Троцкий, прибывший из Брест-Литовска, запальчиво ответил, что немцы, конечно, наступать не будут и, во вся-

ком случае, нужно не проявлять истерики, а выжидать с предложениями, покуда с достаточной убедительностью не проявятся все признаки агрессивности... Его шумно поддержали «левые коммунисты», — предложение Ленина не прошло.

Владимир Ильич вернулся к письменному столу. Бессонными ночами, под мрачную музыку ночного ветра, между телефонными звонками, разговорами по прямому проводу, чтением бумаг, писем, стенограмм — он обдумывал статью, где хотел сосредоточить революционное возбуждение товарищей на действительно грандиозных по замыслу, но реальных, невероятно трудных, но достижимых задачах построения социалистического отечества.

Победу и успех революции он возлагал на творческие силы народных масс и проводил линию оптимизма через все беды, страдания и испытания. Он указывал на то, что революция уже вызвала к жизни сильный, волевой, творческий тип российского человека. Он со страстью, с провидением утверждал, что история России — история великого народа и будущее ее велико и необъятно, если это понять и захотеть, чтобы так было. «Понять, захотеть и — будет», — социализм был для него так же реален и близок, как свет рабочей лампы, падающий на лист бумаги, по которому торопливо — с брызгами чернил — бежало его перо...

Поздно ночью он заснул за столом, положив лоб на ладонь и локтем упираясь в исписанные страницы. В начале восьмого ему принесли снизу грязный от копоти чайник с морковным чаем. Владимир Ильич отхлебнул кипятку, пахнувшего тряпкой.

— Ну — что? — спросил глуховато-веселым голосом. — Какие еще новости с фронта?

— Скверные, — ответили из соседней комнаты, где тикал телеграфный аппарат.

В девятом часу в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет.

Десять человек, не снимая шапок и верхней одежды, сели перед столом. Ленин, перебирая в плохо сгибающихся,

озябших пальцах путающуюся бумажную ленту, начал прямо с сообщения ставки за эту ночь.

— Немцы проявляют все признаки наступления... (Голос его был глухой и злой. Был виден только его залысый лоб и путающаяся в пальцах бумажная лента.) Осталось три часа... Три часа, в которые мы еще можем спасти все... Нельзя терять ни минуты... Мы можем предотвратить катастрофу... Мы еще можем предложить мир.

Он говорил сжато, как бы вколачивая мысли. Кончив, бросил бумажную ленту, и она запуталась вокруг чернильницы. Сталин, стоявший у стола, заложив руки за спину, проговорил сейчас же:

— Вопрос, товарищи, стоит так: либо поражение нашей революции и связывание революции в Европе, либо же мы получаем передышку и укрепляемся... Этим не задерживается революция на Западе... Либо передышка, либо гибель революции... Другого выхода нет...

Вождь «левых коммунистов» (тот, кого едва не побили на Путиловском заводе), — в расстегнутой шубейке, в финской шапке с отвисшими ушами, — сидя на подоконнике, крикнул насмешливо-напористо:

— Да немцы же не будут наступать, — это всякому ясно!.. Немецкие приготовления — демонстрация, и только... На кой же чорт им наступать, когда мы демобилизуем фронт...

Сталин, вынув изо рта трубку, медленно повернул к нему голову и — холодно:

— Военный механизм сделан для войны, а не для демонстрации. Немцы подготовили наступление и будут наступать, потому что мы им не предложили мира. Если не предлагают мира, то всякий здравомыслящий человек понимает, что предлагают войну... Через три часа немцы начнут войну... А это будет означать то, что через пять минут ураганного огня у нас не останется ни одного солдата на фронте...

За два часа до немецкого наступления Центральный комитет проголосовал предложение Ленина, и снова одним голосом оно было отклонено...

Ровно в двенадцать часов герmano-австрийский фронт от Ревеля до устья Дуная окутался ржавым дымом тяжелых гаубиц, задрожала от грохота земля, поднялись лохматые столбы разрывов, застучали в гнездах пулеметы, понесли над фронтом монопланы с черным крестом на крыльях, выше поднялись привязанные аэростаты в виде колбас, отсвечивающих на солнце. Германские стальноголовые цепи вышли из окопов на приступ русских мощных железобетонных укреплений.

Занимавшие их остатки бывшей царской армии, не способные ни к какому сопротивлению, в тот же час начали «голосовать за мир ногами», — побросав орудия, пулеметы, кухни, военные запасы, хлынули назад, к железнодорожным линиям и вокзалам.

То, что предвидел Ленин, — случилось: Советская Россия стояла перед готовым к прыжку противником безоружная и обнаженная. Солдаты влезали в поезда, на крыши вагонов, цепляясь за буфера и ступеньки, грозили смертью машинистам... Разбивали вагоны с грузом, — на грязном, талом снегу вырастали кучи пиленого сахара, консервов, мерлушковых шапок, защитной одежды. Миллионная армия, не желающая стрелять, убивать, драться, отхлынула, как волна от скалистых утесов, — потеряв всю ярость в пене и водоворотях, побежала назад, в родной океан.

Немцы ждали этого. У них все было обдуманно и приготовлено для глубокого наступления. Они быстро расчистили забитые железнодорожные узлы и двинулись по магистрали: Брест-Литовск — Брянск, Ровно — Киев — на Подолию, Одесшину и Екатеринославщину...

Предательство Троцкого в Брест-Литовске обошлось дороже, чем могло бы себе представить самое необузданное воображение. Немцы захватили шестьсот восемьдесят девять тысяч квадратных километров территории Советской России, тридцать восемь миллионов жителей и одних только военных запасов — пушек, ружей, огнестрельных припасов, одежды и

довольствия — на два миллиарда рублей золотом.

Вечером того же дня (третий раз за эти сутки) собрался Центральный комитет.

Владимир Ильич начал говорить, сидя за столом, медленно потирая рукой лоб:

— Теперь не время посылать немцам бумажки... Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен...

Вскочил — руки глубоко в карманах. Протиснулся между товарищами на середину кабинета и забегал на двух квадратных аршинах... Лицо обтянулось, губы заеклись.

— Крах революции неизбежен, если будет и дальше проводиться средняя политика — ни да ни нет, ни мира ни войны... Политика самая робкая, самая безнадежная, самая неправильная из всего возможного... Немцы наступают, — противодействовать мы не можем. Выжидать, тянуть с подписанием мира — значит сдавать русскую революцию на слом. Мужик сейчас не пойдет на революционную войну, он сбросит всякого, кто толкнет его на такую войну... Мы должны подписать мир, хотя бы сегодня немцы предъявили нам еще более тяжелые условия, если бы они потребовали от нас невмешательства в дела Украины, Финляндии и Эстляндии... то и на это надо пойти во имя спасения революции...

Вслед за этими словами начался водоворот в накуренной комнате — слов, восклицаний, бешеных жестов. Сталин и Свердлов придвинулись к Ленину. И сразу тишина. Действительно, нельзя было терять ни минуты. Началось голосование, и на этот раз Ленин проломил брешь; большинством одного голоса Центральный комитет постановил послать германскому правительству радиотелеграмму о согласии подписать мир.

Телеграмма была послана в ту же ночь. Немцы продолжали решительно наступать по железнодорожным магистралям. Впереди с еще большей быстротой откатывалась старая царская армия, рассеивалась по деревням. Не-

мецкие солдаты, открывая вагонные окна, весело поглядывали на разбросанные по косогорам — среди оголенных садов — белые хаты под соломенными шапками, на приземистые амбары, на грачей, встревоженно взлетающих над прошлогодними гнездами. Здесь было вдоволь хлеба и сала, и картошки, и сахара, здесь, по рассказам, текли молочные реки в берегах из пумперникеля¹... Немцы проникались беспечностью...

Через несколько дней эшелоны оккупантов были атакованы красными. Но советские отряды, именовавшиеся украинскими армиями, насчитывали всего около пятнадцати тысяч бойцов. Они были отброшены давлением в десять раз превосходившего их противника.

Киев был взят. Первый германский корпус беспрепятственно перешел Днепр и взял направление в районы шахт и заводов Донбасса.

Одновременно с этим немцы силами двух дивизий начали наступление на Нарву и Псков. Фронт был обнажен. Крестьяне не брали вилы и не садились на коней.

Утром двадцать первого февраля Ленин объявил социалистическое отечество в опасности, рабочие и крестьяне призывались защищать его своей жизнью. В тот же день пришел ответ от германского правительства. Отвечая определенно на неопределенную формулу «ни мира, ни войны», немцы требовали теперь: немедленного очищения всей Украины, Латвии, Эстонии и Финляндии с отказом навсегда от этих территорий, и, кроме того, отдачи туркам Баку и Батума, — срок ультиматума истек через сорок восемь часов.

За сорок восемь часов нужно было решить: быть России немецкой колонией, или России итти независимым, никем еще никогда не хоженным путем.

Весь день и всю ночь Смольный гудел, как улей, куда залезла медвежья лапа. «Левые коммунисты», левые эсе-

¹ Пумперникель — немецкий сладкий хлеб вроде коврижки.

ры, правые эсеры, меньшевики метались по заводам и фабрикам, поднимая митинги.

Штормовой западный ветер лепил снегом в занавешенные окна обывательских квартир, где настороженно ожидали событий. Через недельку — конец большевикам. Но немцы — в Петрограде!.. Что там ни говори — шуцман на Невском: унизительно как будто! Обывательский патриотизм трещал по всем швам. И тут всем попадало на орехи — и большевикам, и Керенскому, и упрямому идиоту Николаю Второму.

Никто еще никогда не видел таким Владимира Ильича: осунувшееся лицо его как будто загорело от внутреннего огня, лоб исполосовали морщины, на скулах — пятна. Он говорил с гневным отращением, с гневным присвистом сквозь стиснутые зубы:

— Больше не буду терпеть ни единой секунды! Довольно фраз! Довольно игры! Ни единой секунды! Я выхожу из правительства, я выхожу из Центрального комитета, если хоть одну секунду будет еще продолжаться эта политика революционных фраз!.. Или немедленный мир, или смертный приговор советской власти!..

Страстностью, непреклонностью, обнаженной логикой и тем, что в эти часы на всех питерских завода рабочие начали, гоня к чорту с трибун троцкистов и «левых», кричать: «Мы — за Ленина, за мир!», — ему удалось сломить оппозицию.

В ночь на двадцать четвертое февраля началась борьба во Всероссийском исполнительном комитете. «Левые коммунисты» и левые эсеры бросались, как бешеные, на трибуны в полуосвященном зале Таврического дворца. Логике Ленина они противопоставили «удары по нервам», — разворачивали кружащие голову картины крестьянских восстаний. Некоторые из «левых» вскакивали на скамьи и с завыванием заявляли об отказе от всех партийных и советских постов.

Ленин, без шапки, в криво застегнутой шубе, с землистым лицом, отделился от огромной колонны и протянул

руку, повисшую над беснующимся амфитеатром:

— Можно кричать, протестовать, в бешенстве сжимать кулаки... Иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет. Суровая действительность, сама доподлинная жизнь, не созданная воображением, не вычитанная из книг, а такая, какой она существует во всей своей ужасающей правдивости, встала перед нами...

Только под утро согласие на жестокие условия мира было проголосовано, и Всероссийский центральный исполнительный комитет послал телеграмму в Берлин. В ответ на нее двадцать четвертого февраля немцы заняли Псков. На завтра можно было ждать немецких конных разведчиков у нарвских и московских застав.

5

В окошечко проник мгlistый свет лунной ночи. На столе белела пустая тарелка, и — больше ничего не было видно в комнате. Постукивали ходики: тик—ясно, так—мягче. Алешка и Мишка лежали около чуть теплой печки под лоскутным одеялом. Алешка шопотом рассказывал младшему брату про храброго Ивана Гору. Мишка, слушая, повторял про себя: «тик, так...». Алешка сердился, что брат плохо слушает, — толкал его кулаком в стриженный затылок, иногда так здорово, — у Мишки щелкали зубы.

— Ты, ей-богу, слушай, а то — встану — так дам, — перевернешься! — И Алешка рассказывал: — Приходит Иван Гора на один двор. И он знает: в этом доме подвал, и в подвале сидит буржуй на излишках... У него там чего только нет...

— А чего у него нет? Тик, так...

— Молчи, говорю... Ну, — чего у него нет? И мука, и картошка, и сахар... Иван — туда-сюда по двору. Видит — железная дверь. Как он саднет плечом, — и в подвал... А там буржуй на золотом стуле. И там — чего только нет! Сорок окороков ветчины...

— Это чего это — ветчина?

— Ну, говорят тебе, такая пища, сладкая. Буржуй увидел Ивана, — как завизжит. А Иван не испугался: и давай вытаскивать мешки... Буржуй хватя гранату... А Иван — как даст ему между глаз...

Алешка вдруг замолчал. Мишка ему губами в самое ухо:

— Это чего?

Будто начинался ветер. Нет, ветер так не воет. В ночной тишине издалека отчаянные, тоскливые, едва слышные здесь — у печки — доносились несмолкаемые завывания. Даже в замерзшем окошке чуть-чуть дребезжало стеклышко... Потом, уже близко, завыла собака. Послышалась хруст снега около дома. Отворилась дверь — отдаленный, сердитый вой мглистой ночи наполнил комнату. Мать ничего не сказала, расстегнула шубейку, размотала платок, села у окна, взялась за голову и так сидела, как мертвая. Мальчики глядели на нее из-под одеяла.

Кто-то рванул дверь. Вместе с завывающим гулом ворвался Иван Гора — прямо за перегородку. Снял со стены винтовку. Щелкнул затвором.

— Кто баловался винтовкой?

Алешка и Мишка притворились, как жуки, боялись дышать.

— Марья... Чего уткнулась? Псков немцы взяли... Выходи... Сбор в Смольном.

Голос у него был жесткий. Марья сонно поднялась, повязала платок, застегнула шубейку. Повернула голову к кровати. Алешка одним глазом из-за одеяла увидел, что лицо у матери белое. Иван пхнул ногой дверь, ушел. Марья подняла веник, давеча брошенный детьми посреди комнаты, положила его у порога и вышла вслед за Иваном.

— Боюсь, Алешенька, боюсь, — чуть слышно заскулил Мишка.

— Молчи, постылый, нашел время...

У Алешки у самого застрял в горле комок от этих слов Ивана Горы: «Псков взяли немцы...». Представлялось: Псков где-то здесь, неподалеку, за черным холмом Пулковка, — вроде каменной стены, через которую лезут огромные,

усатые... От этой неминуемой беды вся ночь гудит и воет заводскими гудками.

6

Тревожные гудки, по приказу Ленина, раздались через два часа после взятия Пскова. Ревели все петроградские фабрики и заводы. Сбегавшимся рабочим раздавалось оружие и патроны. Сбор назначался в Смольном.

Всю ночь со всех районов столицы, со всех окраин шли кучки вооруженных — на широкий двор Смольного, где горели костры, озаряя суровые, хмурые лица рабочих, их поношенную одежду, превращенную наспех — поясом, патрон-ташем, пулеметной лентой — в военную; шинели и рваные папахи фронтовиков; золотые буквы на бескозырках балтийских моряков, державшихся отдельно, как будто этот необычайный смотр — лишь один из многих авралов при свежем ветре революции.

Было много женщин — в шалях, в платках, в полшубках, иные с винтовками. Кое-где в темной толпе поблескивали студенческие пуговицы. От озаряемой кострами колоннады отскакивали всадники на худых лошаденках. Люди тащили пулеметы, связки сабель, винтовки. Охрипшие голоса выкрикивали названия заводов. Кучки людей перебегали, строились, сталкиваясь оружием.

— Смирна! — надрывались голоса. — Стройся! Владеющие оружием — шаг вперед!..

Снова пронеслись косматые, храпящие лошаденки. Хлопали двери под колоннадой. Выбегали военные, ныряли в волнующуюся толпу... В костер летел кемто принесенный золоченый стул, высоко взметывая искры. Сырые облака рвали свои лохмотья о голые вершины деревьев, заволакивали треугольный фронт Смольного.

Из темноты широкого Суворовского проспекта подходили новые и новые отряды питерских рабочих, поднятых с убогих коек и нар, из подвалов и лагун неумолкаемой тревогой гудков...

В коридорах Смольного рабочие двигались сплошной стеной: одни — вверх

по лестницам, другие, с оружием и приказами, наспех набросанными на клочках бумаги, — вниз, в морозную ночь, на вокзалы.

В третьем этаже, где находился кабинет Ленина, — в этой давке протискивались вестовые, курьеры, народные комиссары, секретари партийных комитетов, военные, члены Всероссийского центрального исполнительного комитета и Петроградского совета. Здесь видели прижатых к стене коридора, растерянных «левых коммунистов». Здесь Иван Гора своими ушами слышал, как старый путиловский мастер, в железных очках, притиснутый к вождю «левых коммунистов», говорил ему:

— Вот, садова голова, народная-то война когда начинается... Это, видишь, тебе — не фунт дыму...

Владимир Ильич у себя в кабинете — возбужденный, быстрый, насмешливо-колючий, решительный — руководил бурей: рассылал тысячи записок, сотни людей. От телефона бежал к двери, вызывал человека, расспрашивал, приказывал, раз'яснял, короткими вопросами, резкими обнаженными формулировками, как шпорами, поднимал на дыбы волю у людей, растерявшихся в этой чудовищной сутолоке.

Здесь же, освободив от бумаг и книг место за столом, работал Сталин. Сведения с фронта поступали ужасающие, позорные. Старая армия окончательно отказывалась повиноваться. Матросский отряд, на который возлагались большие надежды, внезапно, не приходя даже в соприкосновение с неприятелем, оставил Нарву и покатился до Гатчины... В минуты передышки Владимир Ильич, наваясь локтями на кипы бумаг на столе, глядел в упор в глаза Сталину:

— Успеем? Немецкие драгуны могут уже завтра утром быть у Нарвских ворот.

Сталин отвечал тем же ровным, негромким, спокойным голосом, каким вел все разговоры:

— Я полагаю — успеем... Роздано винтовок и пулеметов... — Он прочел справку. — Немецкое командование уже осведомлено о настроении рабочих... Шпионов достаточно... С незначитель-

ными силами немцы вряд ли решатся лезть сейчас в Петроград...

В соседней пустой комнате, где на единственном столе была развернута карта-девятиверстка, работал штаб. Ленин вызвал военных специалистов из Могилева, где они ликвидировали штаб бывшей ставки. Ленин сказал им: «Войск у нас нет, — рабочие Петрограда должны заменить вооруженную силу». Генералы представили план: выслать немедленно в направлении Нарвы и Пскова разведывательные группы по тридцать-сорок бойцов и тем временем формировать и перебрасывать им в помощь боевые отряды по пятьдесят—сто бойцов. Ленин и Сталин одобрили этот план. Немедленно, в этой же комнате, с одним столом и табуреткой, штаб начал формирование групп и отрядов и отправку их на фронт.

Всю ночь отходили поезда на Псков и Нарву. Многие из рабочих первый раз держали винтовку в руках. Эти первые отряды Красной армии были еще ничтожны по численности и боевому значению. Но у людей — стиснуты зубы, напряжен каждый нерв, натянут каждый мускул. Поезда проносились по ночным снежным равнинам. Питерские рабочие понимали, что вступают в борьбу с могучим врагом и враг этот носит имя — мировой империализм... Это сознание оказывалось более грозным оружием, чем германские пушки и пулеметы.

Немцы надеялись без особых хлопот войти в Петроград. Их многочисленные агенты готовили в Петрограде побоище — взрыв изнутри. Тысячи немецких военнопленных — по тайным приказам — подтягивались туда с севера, с востока — из Сибири. Питерские обыватели перешептывались, глядя на кучки немцев, без дела шатающихся по городу. Но в одну черную ночь Петроград, по распоряжению Ленина и Сталина, был сразу разгружен от германских подрывников. Взрыв не удался.

Когда шпионы начали доносить немцам о возбуждении питерских рабочих, о всеобщей рабочей мобилизации, когда их передовые части стали наткаться

на огонь новосформированных пролетарских частей, — занятие северной столицы показалось делом рискованным и ненадежным.

7

Старческое, с чисто промытыми морщинами, с твердым, согнувшимся на кончике, носом, розовое лицо генерала Людендорфа было неподвижно и строго, в глазах — ясность и холод, лишь дряблый подбородок отечески лежал на стоячем воротнике серого военного сюртука.

Время от времени он брал золотой карандашик, и пальцы его, с сухой кожей и широкими ногтями, помечая несколько цифр или слов на блокноте, слегка дрожали — единственный знак утомления. Направо от его руки дымилась сигара, лежащая на стальном черенке от снаряда. На безукоризненно чистом столе с мертвой аккуратностью расставлены предметы письменного прибора из черного мрамора, лежали папки из блестящего картона.

За зеркальным окном на карнизе — голуби на припеке мартовского солнца. Крутые темнокрасные крыши Берлина.

Напротив генерала Людендорфа в кожаном кресле, прямо и плотно, сидел генерал Гофман, также безукоризненно чистый, слегка тучный, с почитательным, блестящим от испарины, лицом, к которому лучше бы шли борода и усы, так как — обритое — оно казалось голым. Луч солнца падал ему на жгут золотого погона.

Он говорил:

— Я опасаясь, что проведенная не до конца операция на Востоке может не дать того, что мы от нее ждем. Моя точка зрения такова: занятие Украины и Донецкого угольного бассейна не должно рассматривать как операцию, направленную только для пополнения сырьевых ресурсов Германии. Мы вводим наши дивизии в страну, где царит невообразимый политический хаос. Мои агенты в России присылают крайне печальные сведения, подтверждающие самые пессимистические предположения. Убийства образованных и имущих лю-

дей, кражи, рабство, междоусобица, полный беспорядок и даже паралич жизни... Все это исключает всякую возможность правильных торговых сношений с Россией, если мы будем, повторяю, только наблюдать, сложа руки, эти крайне опасные и возмущающие безобразия большевиков...

— Да, — хрипавато сказал генерал Людендорф. — Все это очень печально.

— Да, — также хрипавато ответил генерал Гофман. — Очень печально. Я бы мог предложить вашему высокопревосходительству один из возможных вариантов более активного вмешательства в русские дела...

— Пожалуйста, — вежливо, хрипавато сказал генерал Людендорф.

— Чтобы избавить несчастную Россию от невыносимых страданий, достаточно, по моему расчету, не слишком много усилий. Если бы мы продвинули наш левый фланг на линию Петербург — Смоленск и сформировали приличное русское правительство, которое могло бы пустить слух, скажем, что царевич Алексей жив, и назначило бы регента... Я имею в виду великого князя Павла Александровича. Через пару недель Европейская Россия была бы приведена в порядок, мы получили бы спокойную сырьевую базу и смогли безболезненно убрать из Украины половину наших дивизий...

Генерал Людендорф осторожно взял сигару, раскурил и вновь бережно положил на черенок. Это заняло, по крайней мере, минуту, — он обдумывал ответ.

— Я вполне сочувствую идеям, которые воодушевляют вас, — сказал он строго. — Мы не должны и не будем иметь соседом государство, управляемое коммунистами. Но, чтобы вмешаться во внутренние дела Великороссии, нужны развязанные руки... Покуда на Западе мы не решим игру... (слегка задрожавшие пальцы его опять потянулись к сигаре), неблагоразумно во всех отношениях предпринимать что-либо на такой большой территории, как Великороссия... Кроме того, перед нами стоят более высокие цели... Чем бы ни окончилась война — Англия и впредь бу-

дет ставить ограничения нашей экспансии на Западе. Историческая миссия Германии — это движение на Восток, — Месопотамия, Персия и Индия, — для этого мы должны прочно и навсегда закрепить за собой самый короткий и безопасный путь: Киев, Екатеринослав, Севастополь и морем — на Батум и на Трапезунд. Крымский полуостров должен остаться навсегда германским, чего бы это ни стоило. Мандат на Восток мы получим в Шампани, на Сомме и Уазе... Кроме того, снабжение такой огромной восточной магистрали потребует солидных запасов угля, — поэтому мы должны прочной ногой стать в угольном бассейне Дона. Я полагаю: занятие Украины нашими войсками имеет ближайшую цель — снабжение нас хлебом и сырьем, но занятие Украины нельзя рассматривать как эпизод. Занять Украину, Донбасс и Крым мы должны прочно и навсегда... Москва приняла наши условия мира, делегация выехала в Брест-Литовск, нужно подписывать мир...

8

От Нарвских ворот, где вздымались черные кони с сосульками на копытах и мордах, далеко по обледенелому тротуару стояла очередь — женщины, старики, подростки: молча, угрюмо, иные привалясь к стене дома, иные уйдя всем лицом в поношенные воротники, чтобы уберечь от мартовского ветра хоть капельку тепла за долгие часы ожидания. Спины, рукава у всех помечены мелом — цифрами.

У Марьи Карасевой стоял 231-й номер. Двести тридцать человек, шаг за шагом, по ледяным кочкам, с примерзшей к ним падалью, должны были пройти впереди нее до дверей продовольственной управы.

Тогда, в ночь тревоги, Марья записалась было в санитарный отряд. Там давали фунт хлеба и сушеную рыбу да по чствертке хлеба на детей. Но плохо было со здоровьем, — не проходило кружение головы, пришлось демобилизоваться. Иван Гора уехал начальником разведывательного отряда под Нарву.

Без Ивана Горы совсем стало худо, — Марья только и могла теперь простоять часов пять в очереди и приплестись, чуть живая, домой. Так она стояла, привалясь к стене, закрыв глаза. Сосед — сердитый старик с табачной бородой — толкал ее, как шилом, косяшкой согнутого пальца: «Ну, что ж ты задремала...». Очередь шевелилась, трогалась на шаг и опять застывала...

Во втором часу Марья увидела, наконец, человека с винтовкой у дверей продовольственной управы, куда он по-одному пропускал очередь. У этого человека щеки, обросшие сизой щетиной, до того ввалились, будто он их закусил, синий от ветра нос — крючком, — наверно, был еврей...

— Товарищи, — повторял он, — не напирайте, больше организации...

Старик опять нажал в бок, Марья подошла и на фанере, вставленной в дверь вместо стекла, на бумажке, приклеенной клейстером к фанере, прочла:

«Сегодня по карточкам (таким-то) выдается полфунта овса. Завтра выдачи не будет».

Бумажка, облупленная дверь, крючконосое лицо с закушенными щеками — покачнулись, поплыли... Марья осела на тротуар, стукнулась головой о ледяную кочку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

С'езд советов вынес решение — перенести столицу в Москву, чтобы лишить соблазна немцев и финнов коротким налетом покончить с большевистским правительством.

В Петрограде, на Николаевском вокзале, было подано три поезда: в одном должен был уехать Ленин и члены Центрального комитета, в двух других — Всероссийский центральный исполнительный комитет и учреждения первой важности.

Много разного народа шаталось по площади перед вокзалом, размешивая ногами весеннюю грязь на вывороченном булыжнике. Была дрянная, ветренная погода. Латышские стрелки сурово

проверяли пропуска у дверей вокзала. Но люди просачивались и без пропусков, — махая через заборы на железнодорожные пути, где в беспорядке стояли полуразбитые составы, дымили, шипели, отчаянно свистели маневренные паровозы.

Охраны было мало. Несколько молодых людей, по-господски одетых, насмешливого вида, появлялись и исчезали в вокзальной сутолоке. Одного в очках с толстыми стеклами латыши задержали. Он, усмехаясь, предъявил билет члена Петроградского совета и, едва его выпустили, нырнул в кучку каких-то отдельно и независимо державшихся «клешников».

Только около полуночи на перроне «царского павильона» появились: близорукий, озабоченный, говорливый управляющий делами Совета народных комиссаров, ведавший личной охраной Ленина; Владимир Ильич с толстой связкой рукописей; Сталин в солдатской шинели и ушастой шапке; чернобородый, нездорово бледный Свердлов...

Вдоль синих вагонов стояли румяные, рослые латышские стрелки. Революция, спасая себя, пожертвовала их родиной. Это было тяжело понять. Латыши потеряли родину. Чтобы вернуть ее — нужен долгий, окружной путь через равнины Украины, России, Сибири, через победы революции и народов, имена которых латыши услышали впервые. Трудно было вообразить такой путь, трудно решиться. Они решились. Невозмутимые, суровые, твердо держа винтовки, — глядели на проходившего Ленина. Жизнь этого человека была их жизнью, их надеждой.

— Почему рабочие не поймут? Они лучше и проще нас поймут — почему мы уезжаем, — говорил Владимир Ильич одному из товарищей, державшему в обеих руках клетчатый портплед. — Почему Смольный — символ советской власти? Переедем в Кремль — символом станет Кремль. Что за сентиментальная чепуха — символ! Понадобится — и в Екатеринбург переедем.

Чтобы сгладить, что он говорит так сердито, Владимир Ильич рассеянно улыбнулся человеку с портпледом и то-

ропливо влез в вагон. Комендант поезда махал рукой запоздавшим:

— Скорее, скорее, товарищи!

Вагоны громыхнули. Латыши вскочили на подножки. Поезд отошел.

Одновременно с других платформ отошли два другие поезда с членами Всероссийского центрального исполнительного комитета и учреждениями. Ночь была черная, ледяной дождь барабанил по вагонным крышам. Справа, где неясно проступали очертания Ижорского завода, мутно различалось огненное сияние, — должно быть, выпускали сталь из мартена.

Владимир Ильич постучал ногтем в стекло:

— Вот это — символ, если вы уж хотите... Несмотря на голод, на то, что немцы в Пскове, — льют сталь...

Поезд, где находился Ленин, вышел вторым в составе трех поездов. Но уже через час машинистом было обнаружено, что впереди идет не один поезд, а два. Какой-то неизвестный состав товарных вагонов с двумя паровозами вклинился где-то на стрелках между головным поездом, где ехали члены Всероссийского центрального исполнительного комитета, и вторым — с Лениным.

Это было сообщено управляющему делами помощником машиниста, который перебрался на-ходу с тендера по крышам вагонов. Никому, даже Ленину, не было сказано об опасности. Латыши распахнули на площадках двери, приготовили пулеметы. Был третий час ночи. Дождь перестал; за волочившимися над чахлым ельником туманными облаками начала показываться половинка луны. Впереди, в полуверсте, ясно различался красный огонь загадочного поезда, замедлявшего ход. С паровоза сообщили, что сейчас — Любань и идущий впереди поезд, видно, там намерен остановиться на первом пути.

Так и вышло. Загадочный поезд, несмотря на открытый семафор и отчаянные знаки жезлом начальника станции, стал против буфета первого класса. Заскрипели, завизжали двери теплушек. Поезд с Лениным также был принужден остановиться, ударив в передний по буферам пыхтящей грудью паровоза.

Первым на перрон выскочил управляющий делами в треплющемся по ветру кашне. Карманы его распахнутой шубы были набиты рукописями и документами. Заросшие бородой щеки, мясистый нос со с'ехавшими очками багровели от возбуждения. Он был вооружен карандашом.

— Приказываю очистить перрон! — крикнул он, протягивая карандаш к зло гудящим кучкам людей в морских бушлатах, в солдатских шинелях. Они выпрыгивали из вагонов. У многих в руках уже вертелось оружие. Тут же находился отпущенный давеча насмешливый гражданин в очках с толстыми стеклами и еще несколько по-господски одетых.

Управляющего делами заметили: «Чекист, сукин сын, под колеса его!». Людям в бушлатах и шинелях явно давались указания: человек сто решительно двинулось к поезду Ленина. Но им навстречу с площадок соскочили латыши, — они бегом по асфальту тащили пулеметы.

Управляющий делами с поднятым карандашом перекрикивал грохот пулеметных катков: «Назад, по вагонам!».

При виде пулеметов толпа бушлатов и шинелей остановилась. Из дверей теплушек высовывались женщины в пестрых шالях, визжа, махали руками. Толпа отступила, — побежали, полезли в вагоны, хватаясь за руки женщин... Задвигались двери... Через несколько минут перрон был очищен, загадочный поезд погружен.

Дальнейшее произошло просто и быстро. Под дулами пулеметов дверные скобки в теплушках были замотаны проволокой, запечатанный наглухо загадочный поезд отведен на запасный путь, и все стрелки забиты пустыми составами.

Дорога в Москву была свободна.

2

Теперь, когда мир в Бресте был подписан, Ленин со всей энергией начал организовывать обороноспособность республики. На месте рассеявшейся царской армии, на линии соприкосновения с немцами оперировали различные пестрые

революционные отряды, кое-как подчинившиеся трем главнокомандующим. (Один был назначен военным комиссаром, другой — советом «Калужской федеративной республики», третий выбран на фронте, как Цезарь — легионами.) Отряды состояли из рабочих Питера и Москвы, из фронтовиков последних призывов, из местных крестьян, партизан, из беженцев, из таких необыкновенных формирований, как «Особая армия Ремнева», состоявшая на тридцать процентов из бандитов, или полка «ангелов смерти», набранного из всякого рода охотников за приключениями командиром Юркой Цибулько. При появлении такого эшелона, с черным знаменем на паровозе, станционная прислуга разбегалась, и начальник станции залезал под платформу или в другое место.

Трое главнокомандующих были сняты. Многочисленные отряды подчинены военному руководителю — военруку — и расположены в две линии завес — северную и западную, — обороняющих подступы к Петрограду и Москве. Бесформенные отряды начали сводиться в роты и батальоны, комплектоваться через военные отделы местных советов добровольцами, — по подписке и круговой поруче с жалованьем — пятьдесят рублей одинокому, полтора — семейному. Тем же порядком происходил набор командного состава из бывшего офицерства. Комплектование шло с большими затруднениями. Офицеры боялись уходить на фронт, где случалось, что иных командиров приходилось выручать от расправы вооруженной силой.

С продовольствием было совсем плохо. Местные советы и управы не могли справиться с твердыми ценами, — хлеб шел к спекулянтам, скупался кулаками. Отряды голодали. Штабы дивизий в отчаянии отправляли по деревням фуражиров с солью и сахаром — менять на муку и картошку. Даже «военрук завесы» сам выезжал в поезде менять у крестьян разное барахло на муку и сало.

Армейские лошади с торчащими ребрами паслись на крестьянских межах. Нехватало сапог, пушек, седел, упряжи.

Все это лежало где-то по военным складам, но чорт их найдет — эти склады, а и найдешь — такая начнется переписка, что уже и сам чорт сломит ногу...

Все же, несмотря на беспомощность и саботаж снабженческих организаций, на то, что для многих дик и непонятен был возврат кадровых офицеров, несмотря на отвращение к войне людей, просидевших четыре года в окопах, и также на то, что деревня была с головой погружена в свои дела, в борьбу бедноты с кулачем, — начали обозначаться первые очертания костяка Красной армии.

3

— Вы под охраной, генерал?

— Два каких-то болвана... Они ли меня охраняют, я ли их охраняю... Анекдот!

На задней площадке последнего вагона, в поезде, идущем из Харькова в Москву, разговаривали двое военных — один в «окопной», с оборванными брюками, шинели, в солдатском картузишке с красной ленточкой, — худой, с узким, когда-то холеным, давно не бритым лицом, испорченным выражением брезгливости и преодоленного унижения. Это был генерал-майор Носович.

Другой — низенький, плотный и ругаящийся — в хорошей бекеше и круглой шапочке, лихо — несмотря ни на какие революции — сдвинутой на ухо, — полковник гвардейской артиллерии Чебышев.

Носович, судорожно затягиваясь папирсой, со злой усмешкой рассказывал:

— Четвертого я получил от генерала Драгомирова инструкции — разыскать в Москве Савинкова, стоящего во главе «Союза защиты родины и свободы», и через него связаться с Добровольческой армией. Пятого я выехал из Харькова, на лошадях, восьмого меня задержали красные под Белгородом... Начальник отряда, Мухоперец, — недурная фамилия? — трогательно боролся с желанием расстрелять меня тут же из нагана... Я потребовал у красных, чтобы они телеграфировали в Москву в Высший военный совет, Троцкому. Ра-

зумеется, этот гусь немедленно ответил: «Со всевозможными удобствами препроводить бывшего генерал-майора Носовича в Москву...». Анекдот, доложу вам...

— Вы не находите, генерал, что вся эта мерзкая история слишком долго длится?..

Носович бросил окурочек в разбитое окно на убегающие рельсы. Над мартовскими грязными снегами ползли грязные тучи. Кое-где под неприглядным небом на равнине темнели убогие крыши деревенок.

— Родина! Извольте полюбоваться! Святыня! — сказал Носович. — Этот российский народец на свободе нужно завоевать так, как его завоевывал Чингизхан... Саботаж, мелкая подрывная работа разных социал-демократов — это только трусливые укусы. Этим их не проймешь... Нужна армия — маленькая, отлично снабженная, хорошо подобранная, способная легко маневрировать и наносить молниеносные удары... Материала — достаточно из двухсоттысячного офицерского корпуса...

— Господа офицеры предпочитают заниматься чисткой сапог на улице, — сказал Чебышев.

— Нельзя их винить, полковник. Нет знамени, нет железной руки... Почему за три месяца генералу Драгомирову удалось отправить из Харькова к генералу Каледину всего тысячу офицеров? Каледин — не знамя... И я считаю благодеянием его самоубийство... Дюп нужно уметь поднять. Каледин был все же генералом старой школы, — казаки ему не доверяли... Вот — перед отъездом я говорил с генералом Красновым...

— Ну — это фрукт, знаете...

— Да, с авантюрным душком... Но — молод, полон самых обширных планов — Генерал Краснов делает ставку на немцев, — сказал Чебышев, зло приподняв губу над мелкими опрятными зубами. — Краснов тайно ездил к генералу Эйхгорну, в Киев... Вам это известно?

Носович промолчал. Насутился. Некоторое время глядел на убегающие рельсы. Он почувствовал утомление, — плечи опустились под скоробленной шинелью, будто на них легло все безумие

последних месяцев: захват власти чернью, окончательная гибель армии, гибель личной карьеры. Этот фрукт Краснов — шикарный красобай, любитель женщин, сочинитель-романист, легко маневрирующий политик, — скорее других понял дух времени... Вместо громкой верности союзникам (а после Бреста эту верность снова нужно было доказывать кровью) Краснов, учитывая текущую обстановку, несомненно, сукин сын, на немецких штыках пройдет в донские атаманы.

— Что ж, — хмуро проговорил Носович, — если ему удастся сколотить казачью армию, — не так уж плохо... Армия всегда армия...

Чебышев ответил резко:

— Единственное здоровое образование — Добровольческая армия. Генерал Алексеев, генерал Корнилов — это знамя. А казаки — в лучшем случае — подсобный материал... Какие у вас сведения о добровольцах?

— Последние сведения были о блестящем успехе под Лежанкой... Вот уже месяц, как восемь тысяч штыков и сабель пропали где-то в кубанских степях... Наша ближайшая задача: разыскать Добровольческую армию и установить с нею связь.

— Вам придется, генерал, войти в Высший военный совет...

— Это будет нетрудно через Троцкого... Простите, полковник, но мне недостаточно ясна ваша позиция.

У Чебышева опять открылись мелкие злые зубы.

— Моя позиция? Генерал-майор Носович, во всякой другой обстановке я счел бы ваш вопрос неуместным. Официально — я еду в Москву так же, как и вы, по телеграфному вызову Троцкого... Видимо, мне предложат инспектировать артиллерию.

4

По приезде, прямо с вокзала, Носович отправился разыскивать штаб Троцкого. Найти какое-нибудь учреждение в Москве было до отчаяния трудно. Казалось — люди задались целью говорить неправду, путать и посылать по неправильным адресам.

Москва казалась ему кашей без плана и порядка. Хотя прошло уже пять месяцев с октябрьского переворота, московские обыватели плохо разбирались в конструкции советской власти, всех большевиков называли комиссарами и твердо верили, что все это питерское нашествие с автомобилями, декретами, с проходящими по Тверской — особым, медленным шагом, плотно, плечо к плечу — красногвардейскими отрядами, неудобное явление это — временное, и как жила Москва по кривым переулочкам, с азиатчиной, с купцами, хорошенькими гимназистками, с огромными текстильными фабриками, свободомыслящими чиновниками, лихачами, сплетнями, всемирно-известными актерами и ресторанами, — так, перемолов свирепых комиссаров, и будет жить, торговать, жульничать, бахвалиться, перемалывать темную деревню у ткацких станков в фабричный люд, перезваниваться колоколами старых церковок, обжитых галочными стаями.

Носовича брала одурь от зрелища этого города — сердца России, — превращаемого в большевистскую столицу. Ни сопротивления, ни деятельной злобы. Горячая злоба прилиwała к сердцу: «Здесь не просто сечь — раскаленными шомполами вгонять в российские зады страх божий!...».

Поздно вечером, получив, наконец, пропуск, он добрался до Александровского вокзала, где на путях стоял поезд Троцкого. В полночь он был впущен к Троцкому и говорил с ним.

5

Носович спалил коробку спичек, пока в грязном и темном переулке близ Тверской разыскал конспиративную квартиру — в небольшом домишке в глубине двора. Постучавшись особенным образом, он спросил через дверь: «Георгий дома?». Дверь приоткрылась, заслоня свечу, появился молодой человек в счках с толстыми стеклами. «Не знаю, кажется, вышел», — ответил он условным паролем. Тогда Носович вытащил из-за подкладки штанов половинку визитной карточки, разрезанной наискось.

Молодой человек в очках вынул из кармана другую половинку ее и со снисходительной усмешкой:

— Пожалуйста, генерал, — вас ждут.

Он ввел Носовича в непрветренную комнату, слабо освещенную настольной лампой. Навстречу с дивана поднялся лысоватый, с прядью жидких волос — на лоб, невзрачный мужчина среднего роста, в желтых крагах, сухой, вежливый — Борис Викторович Савинков, эсер, переживший славу террориста и писателя и теперь с опустошенным мозгом, с опустошенным сердцем продававший самого себя за призрак власти.

Он находился здесь, в Москве, контрастно — представителем Добровольческой армии, хотя отлично понимал, что при серьезном успехе добровольцы его же первого и повесят. С годами и неудачами в нем накопилось достаточно много презрения к людям. Ленина он считал хитрецом и не верил ни одному его слову. При виде рабочих демонстраций его тошнило. Восемь тысяч свирепой настроенных, готовых на любые лишения, добровольцев, под командой Корнилова, — «льва с ослиной головой», — представлялись ему недурным началом. Снова в его распоряжении оказалась власть, деньги и, главное, то восхитительное состояние любования собой, которое было ему нужнее всего.

— Вам удалось видеть Троцкого? — спросил он, минуя все предварительные условности знакомства. (Такое революционное начало он применял еще во времена боевой организации, прощупывая молодых террористов.) Носович с любопытством взглянул в его рыжие глаза, на наполеоновскую прядь волос на лбу.

— Разрешите сесть? Я устал... Разрешите курить? — Он с наслаждением вытянулся на диване, закурил хорошую папиросу. — Дело значительно упрощается, Борис Викторович. Видно, бог идет нам на помощь. С Троцким я только-что беседовал... Он произвел на меня крайне выгодное впечатление: несколько раз во время беседы он оговаривался и преподнес мне — «господин генерал»... Я тоже не остался в долгу

и вернул ему разок — «ваше превосходительство»... С ним нам легко будет работать... Ну-с, и — наконец...

Носович приостановился. Савинков, поджав под себя ногу, не спускал с него прощупывающих глаз...

— ... Он предложил мне пост начальника штаба Северокавказского военного округа со ставкой в Царицыне... Я поблагодарил и принял...

— Троцкий предвосхитил мою идею, — сказал Савинков, усмешкой вытягивая угол бледных губ. — Тем лучше. Так вот, могу вас обрадовать, генерал... На-днях вы услышите о взятии Екатеринодара добровольцами. Корнилов получит солидную базу и огромные запасы оружия.

(Носовичу захотелось перекреститься, но было неловко под немигающим взглядом сухопарого террориста, — ограничился мысленным крестом.)

— Завтра я поставлю вопрос о вас в штабе московского отдела Добрармии. Мы намеревались переправить вас к Децикину, но теперь используем в более интересном плане — как красного начальника штаба. (Оба усмехнулись.) Ваша задача: организовать в Царицыне центр восстания. Не забывайте: если немцы займут всю Украину и Донбасс, — Царицын останется у большевиков единственной связью с приволжским хлебным районом. Если мы его оторвем — это будет смертельным ударом по Москве.

Носович одобрительно кивал. Ему начинал нравиться этот щелкопер, — в нем была упругость организатора и, видимо, большой опыт по части всяких взрывных дел...

— Простите, Борис Викторович, хотел вам задать вопрос... Почему вы подняли тогда руку на великого князя Сергея Александровича, на Плеве?.. А вот на разных Лениных?.. Решимости, что ли, нехватает? Или — как? Простите...

Савинков нахмурился, медленно поднялся с дивана, взял со стола папиросу, постучал о ноготь, закурил, медленно задул огонек спички.

— О таких вещах обычно не спрашивают... Но вам я отвечу... Неделю тому

назад Совет народных комиссаров должен был покончить свое существование на станции Любань. Только случайно они избежали возмездия...

Прищурясь, он осторожно поднес папиросу ко рту, выпустил тонкую струйку дыма.

— Знаете, генерал, никто и ничто не остановит карающей руки.

Слова и жесты его были на границе литературного фатовства. Носович поймал себя на том, что любитесь...

— Хотите вина? — спросил Савиных. — Мне достали превосходного Амонтильядо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Выйдя с вокзала, Марья Карасева оглянула дымящуюся влажным весенним маревом степь, плавающих коршунов. Свет, синева. Марья села на траву, положила голову Мишки к себе на колени, — у него голова висела, до того был худ. Поезд ушел. Теперь только слышно было, как слабо посвистывал ветер в траве, звенели жаворонки.

Марья уехала из Петрограда с продовольственным отрядом. На заводе было много споров из-за этого отряда. Коммунисты кричали, что это срыв плана, самотек, мешочничество... Старые рабочие кричали коммунистам: «Речами брюхо не набьешь, покуда социализм постройте, все сдохнем». Собрали между собой денег, достали солдатской бязи, соли да разного железного барахла — гвоздей, шурупов, дверных петель, — и с этим послали шестерых надежных ребят на Дон — менять на муку...

Уговаривали ехать Ивана Гору. Он отказался: «А какими я глазами на Владимира Ильича посмотрю? Гавкать на митингах, скажет, горласты, — брюхо подвело — лавочку на колесах послали. Это мировой позор». Марье он все же решительно велел взять детей и ехать на юг. Сам усадил ее в вагон, дал детям в дорогу по пяти вареных картошек. «В станице Чирской, Марья, прямо ступай к моему брату Степану. Он тебя приютит. Недели две отды-

шишься, потом дела для тебя найдутся...»

Алешка принес воды в консервной банке. За дорогу он научился говорить грубым голосом.

— Мать, пойдем в станицу пешие.

— Сейчас, сынок, посижу.

— Мишка, — сказал он, с удовольствием топчась босыми ногами по теплой траве, — пойдем кузнечиков ловить.

У Мишки заодно заблестели глаза, не поднимая головы с мамкиных колен, — улыбнулся морщинками.

— Ну, пойдем...

— Успеешь, наловишь, — проговорила Марья, — их тут много. Лучше вон до телеги добеги, может, добрые люди подвезут.

По песчаной дороге, правя сытой гнедой лошастью, ехала, стоя в телеге, широкоплечая девушка в линялом, очипком повязанном, платке, ветер отдувал ее заплатанную юбку. Алешка догнал ее: «Тетьнка, подожди-ка». Девушка натянула вожжи, обернула к Алешке смуглое лицо с темными бровями, с неласковыми пристальными глазами.

— Шесть суток стоя ехали, тетьнка, не спавши, не емши, у мамки ноги опухли...

— К кому в станицу? — спросила она сурово.

— К Степану Горе — иванову братьнику.

Услышав имя Ивана Горы, девушка изумленно подняла брови, широкое лицо ее осветилось лаской. Кивнула Алешке, чтобы сел в телегу, повернула коня к вокзалу. Соскочила около Марьи, опустила подоткнутую юбку на босые ноги.

— Вещи где?

Марья силилась встать, бормотала, благодарила, — девушка взяла у нее багажную квитанцию. Вещи — тяжелый сундучок и два узла — бегом вынесла с вокзала. Подняла Марью, как ребенка, посадила в телегу на узлы, дала ей на руки Мишку и, не разговаривая, погнала сытую лошадь в станицу. Только, когда Марья спросила: «Как звать тебя, золотая?» — ответила с досадой:

— Да Агриппина...

Ехали долго степью, холмами до станицы Чирской. Переехали по мосту извилистую речку Чир, затененную кудрявыми кустарниками. Показались высокие тополя, мазаные желтые хаты с крепкими воротами. На широкой улице — куры, занятые своим делом у навозных кучек. Над станичным управлением вылинявший кумачевый флаг, на крыльце, прикрыв лицо фуражкой, дремлет человек с винтовкой между ног. Идет горбатая свинья, свесив на рыло грязные уши, за ней рысцой такие же грязные горбатые поросята. Жгло солнце, отсвечивало в пузырьчатых стеклах. Проносились стрижи с белой колокольни...

Марья сказала:

— Вот тишина-то, покой...

На это Агриппина, не оборачиваясь, строптиво дернула плечом. Остановилась около кирпичного белого дома в три окошка, с крепкими ставнями. Агриппина спрыгнула с телеги, стала отворять крашенные охрой ворота.

— Ступайте, — сказала, — вон — до хаты, наискосок, — то хата Степана Горы. Я узлы принесу.

Она ввела телегу во двор. Оттуда грубый голос позвал:

— Гапка... Кого привезла?

— К Степану родственники.

— А я велел коня мучить?

В воротах, затворяя их, показался чернобородый, большеротый казак, средних лет, — в рубахе, заправленной в старые штаны с красными лампасами. Он недобро, из-под черного чуба на лбу, глядел вслед переходившей улицу Марье, одетой в питерскую шубейку с вытертым рыжим мехом, худенькому, с болезненно крутым затылком, Алешке и маленькому Мишке, обвязанному — крест-накрест — вязаным платком...

— Питерские! Ха! — гаркнул казак, фазинув белозубый рот...

2

В тот же день верстах в двухстах на запад от станицы Нижнечирской, в степном городке Луганске, где на окра-

инах и в рабочих поселках стояли те же мазаные хаты в три окошечка, но уже без скирд хлеба в просторных огородах и по улице брела такая же свинья с поросятами, так же мирно цвели вишни и кричали грачи над гнездами, — на машиностроительном заводе Гартмана шел митинг.

Народу было столько, что сидели на высоких подоконниках, на станках, свешивали головы с мостового крана. Председательствовал организатор и начальник луганской Красной гвардии — Пархоменко, большой мужчина с висячими усами, в сдвинутой на затылок бараньей шапке.

На трибуне, наскоро сколоченной из неструганых досок, где прямо по доскам написано дегтем: «Не отдадим Донбасса империалистам», — стоял небольшого роста человек, румяный от возбуждения. Бекешу он сбросил, военная рубашка обтягивала его крепкую грудь, край ворота потемнел от пота.

Он говорил звонко, напористо. Веселые глаза расширялись, когда он обводил лица слушателей, то угрюмые, то мрачно-решительные. Вот они раскрыли рты. «Ха-ха» — громко прокатывается под закопченной крышей, и его глаза сощуриваются от шутки. И снова согнутая в локте рука ребром ладони струбает грань между двумя мирами — нашим и тем, кто наступает сейчас миллионами штыков...

— ... Мы должны понять, что только в нас самих решение нашей судьбы. Грозный час пробил. Российская буржуазия призвала на помощь немецкую буржуазию. Им нужно залить кровью пролетарскую революцию... Им нужно захватить наши заводы, наши рудники... И вас, товарищи, приковать цепями к этим станкам...

Ему так внимали — казалось, при иных его словах услышишь, как у тысячи человек шуршат зубы. Ему верили, его хорошо знали — старого подпольщика Климента Ворошилова, здешнего уроженца. Во время мировой войны он работал в Царицыне, в подполье, где сколачивал группу большевиков. Преследуемый полицией, бежал в Петроград и там работал в мастерских Сур-

гайло. После февральской революции вернулся в Луганск, издавал газету, писал статьи, был избран председателем совдепа. С мандатом в Учредительное собрание уехал в Петроград. После Октября был там комиссаром порядка. В дни немецкого наступления снова вернулся на Донбасс, вошел членом Совета народных комиссаров в Донецко-Криворожскую республику и сейчас митинговал с земляками — гартмановскими металлистами.

— ... На Донбассе мы должны оказать решительный отпор немецким псам, готовящим в первую голову вам, товарищи, кровавую неволю... Немцы уже окружают Харьков. Революционные красные отряды малочисленны и разбросаны. Центральная рада продала Украину, продаст и Донбасс. Кто согласен протянуть шею под ярмо? — Ворошилов обвел глазами окаменевшие лица. — Таких здесь нет!

Чей-то чугунный голос проговорил след за ним:

— Таких здесь нет... Правильно!

Многие обернулись туда, где за чугунной станиной стоял человек, говоривший чугунным голосом. Это был литейщик Бокун (поднимавший руками, когда неудобно было поддеть краном, сорокапудовые отливки)...

— Здорово, Бокун! — крикнул Ворошилов. — Так вот, товарищи, по примеру его перейдем от слов к делу... Пусть немцы встретят на Донбассе двести тысяч пролетарских штыков. Почин за Луганском... Мы должны немедленно сформировать отряд в шестьсот-семьсот бойцов... Выступим навстречу интервентам. За нами каждый завод, каждая шахта пошлют отряды. Оставшиеся должны готовить броневики и бронепоезда. Оружие у нас есть, а нехватит — достанем в бою. Сотня пролетариев, воодушевленных революционной целью, вооруженных классовой ненавистью, — стоит бригады империалистических наемников...

— Записывай — Тарас Бокун! — опять покрыл его чугунный голос из-за станка.

Председательствующий Пархоменко, кашлянув не менее густым голосом, чем

Бокун, пометил его на листе, пошевелил усами. Навстречу его взгляду начали подниматься тяжелые руки.

— Ставь — Солох Матвей...

— Прохватаилов Иван, ставь...

— Чебрец...

Пархоменко опять зашевелил усами.

— Как? Повтори...

— Ну, Миколай Чебрец... Не знаешь, что ли.

— Записывай — Василий Кривонос и другой Василий Кривонос...

Записывались — подумав и не спеша. Пропихивались к трибуне и, моргая, следили, как председатель проставляет его фамилию на листе. Вздохнув, отворачивались:

— Так, значит...

Иной, возвращаясь к товарищам, встряхивал головой:

— Воюем, ребята...

Иной и бахвалился, и шутил нескладно. Иной, как оглушенный, глядел перед собой невидящим взором. Все понимали, что дело не шуточное и, уж раз взялся, — надо вытянуть. Народ был здесь серьезный.

3

Части I германского корпуса двигались из Киева на Ромодан — Полтаву в юго-западном направлении и в северо-западном — на Бахмач — Конотоп, охватывая глубоким обьятием Харьков и весь северный Донбасс.

Оперативный штаб главнокомандующего украинскими красными армиями не мог установить прочной связи с многочисленными отрядами, разбросанными на подступах к Харькову. Отряды действовали по своему революционному разумению, отступая и скопляясь в местах, которые они считали нужным оборонять.

Не существовало более ни телеграфной, ни телефонной связи. Ориентировались, дозваниваясь до ближайшей какой-нибудь станции, и, если в трубку лаяли непонятные слова, — определяли, что станция занята немцами.

Немцы нажимали на Ромодан, и, когда обошли его, красные, отступая, начали скопляться под Бахмачем и Коно-

топом, загораживая район сахарных и пороховых заводов. Под Бахмач отходили отряды киевских рабочих-«арсенальцев», отряды Шарова, Ремнева. В том же направлении двигался из Харькова «Первый луганский социалистический отряд», — командовал им прапорщик Гришин, комиссаром в нем был Климент Ворошилов. Ядро составляли гартмановские рабочие, остальное — рабочие других заводов и железнодорожники. Еще в пути пришлось вычистить из отряда до полсотни бандитов.

Все эти группы, колонны и отряды — кроме Луганского — заняли фронт под Бахмачем — подковой на юго-запад. Немцы, смутно представлявшие местонахождение и силы русских, наткнулись на них неожиданно: локомотив главного эшелона повалился под откос. По поезду хлестнуло свинцом. Немцы высыпали из вагонов и, когда подтянулись силы, — перешли в наступление по всем правилам современного боя.

Красные дрались неровно. Отряд Ремнева, разгромивший в пути конячинский винный склад, под огнем откатился в степь, в овраги, и начал митинговать. Бойцы, взбираясь на телегу, раздувая голые шеи, кричали:

— ... Ввиду того, что на фронте мы были подвергнуты самому беспорядочному состоянию по причине глупого командования, мы, бойцы партизанского отряда имени товарища Ремнева, протестуем против движения на немцев, потому что с этакой техникой результаты наступления будут нашей предсмертной агонией...

— Голосуйте за протокол, — сбиваясь около телеги, орали горячие от злости личности... — Не можем драться с этакой техникой... Катись по домам!

Наиболее стойкими оказались киевские «арсенальцы» и красный отряд партизана Капусты, порубивший целый корпус гайдамаков атамана Петлюры, которых немцы бросили вперед, как буйволы на частокол. На ровном поле долго валялись и гнили никем не убранные гайдамаки в синих жупанах и красных, как огонь, шароварах.

Немцы пришли в неопишемую ярость, обнаружив на правом фланге

красных отлично дисциплинированную, стойкую часть: это был полк из арьергарда чехословацкого корпуса (из бывших военнопленных), который после Брестского мира начал отступление на восток, в Великороссию.

Ярость немцев разбилась о спокойную стойкость чехословацкого арьергардного полка. Но неожиданно ночью он самовольно снялся с фронта, погрузился в эшелоны и направился на соединение со своим корпусом. Через образовавшийся прорыв немецкая конница зашла в тыл красным частям, и им пришлось откатываться, оставляя немцам и Бахмач, и Конотоп.

Луганский отряд, не зная еще об этих событиях, подходил с востока. Восемнадцатого марта эшелон Луганского отряда ворвался через закрытый семафор на станцию Ворожба — в одном перегоне от Конотопа. На Ворожбе все пути были забиты платформами с пушками, товарными вагонами, где в открытых дверях, свесив ноги, сидели бойцы разных отрядов. Повсюду — костры, шумные кучки людей, звон котелков, белеющие под вагонами зады присевших за надобностью, крики, ржание коней, треплющиеся по ветру портянки и рубахи.

Ворошилов и Гришин пошли на вокзал в комендатуру — доложить о прибытии отряда и по прямому проводу связаться с главнокомандующим. Здесь толкался разный пестрый народ в ватных пальто, длиной до пят, в деревенских кожухах, в окопных шинелишках. Боеспособность определялась количеством навешенного оружия, в особенности — ручными гранатами. На вокзале двери выломаны, на полу — впоалку — спящие.

В помещении коменданта в махорочном дыму стояли — особняком каждый — мрачные люди. Они явились сюда с трясущимися от ярости щеками, чтобы получить, что им надо, или тут же застрелить, сукиного сына, коменданта. Он, конечно, скрылся. И они поджидали его, страшась даже взглянуть друг на друга, потому что в глазах ни у кого из них не было пощады.

— Пойдем, найдем коменданта, — спокойно сказал Ворошилов. Он знал вокзальные порядки и прямо прошел в пустую багажную камеру. Там на лавке для багажа спал комендант, завернувшись с головой в кожух. Ворошилов начал трясти его, покуда тот не высунул из-за кожуха свинцовое, опухшее лицо.

— Ну? — сказал комендант, косясь — нет ли у них в руках оружия.

— Ты чего же? — спросил Ворошилов.

— А вам чего надо?

— А то, что я должен тебе доложить о прибытии отряда.

— Ну, докладывай.

— Пойдем в комендантскую.

— Не пойду. Это бесполезно. Я семь суток не спал.

И он опять полез под кожух, но Ворошилов сбросил его ноги с полки и отчетливо выговорил о прибытии Луганского отряда в пятьсот штыков.

Комендант моргал. Слова, какие бы страшные ни были они, отскакивали от его мозга.

— Ну, прибыли, — проговорил он. — Прибыли — выгружайтесь.

— Требуем пропустить наш эшелон на Конотоп, на фронт.

— Невозможно. Забиты все пути.

— Мы требуем соединить нас по прямому с главнокомандующим.

— Невозможно, боже ж ты мой...

— Почему? Где командующий? В Конотопе?

— А чорт его знает — где командующий... Провода не работают... Вообще — большая путаница..

— Хорошо... Тогда мы знаем — как нам поступать.

— Поступать не имеет права, — с вялой угрозой сказал комендант, опять косясь на ручку нагана, торчащую из кобуры у Ворошилова.

Больше здесь нечего было делать. Ворошилов и Гришин вернулись к эшелону. Гришин от негодования шипел, как гусак. Бывший прапорщик, сын фельдшера, Гришин был неплохим парнем, но, видимо, в командиры ни к чорту не годился. Расставив длинные, без икр, ноги, он говорил:

— Что же нам делать, товарищ Ворошилов? Мы прямо в какой-то ловушке... Тут прямо какая-то каша из небоеспособных элементов. Стоять здесь, — наши ребята прямо-таки разложатся.

Маленький подбородок у него, когда он разговаривал, скрывался в вороте суконной рубашки. Командир должен нравиться бойцам и твердой, находчивой речью, и строгим, а когда нужно — веселым блеском глаз, и храбростью, и всей повадкой. Гришин не пил водки, не курил, был честен до простоты. Но Ворошилов уже понимал, что с таким командиром много не навоюешь.

— Поставь караульных, чтобы никто из вагонов не выходил под страхом смерти, — сказал он Гришину. — Приходи в мое купе, будем совещаться.

На совещание Ворошилов позвал начальника разведки — Чугая, матроса-черноморца. Было решено — первым делом выяснить обстановку: где немцы? И соответственно этому занимать фронт, действуя самостоятельно, поскольку связь с командующим не установлена.

Чугай спросил чарку спирта и поморски — косолапо — полез из вагона — выкрикивать охотников. Гришин должен был до получения сведений от разведки накормить бойцов и беречь их от разлагающих слухов. Ворошилову предстояло самое трудное: достать паровоз, платформы и вывести их с охотниками на свободный путь.

Вначале с ним не желали разговаривать.

— Ты кто такой? — с угрозой спрашивали атаманы отрядов. — Отойди от вагона. Отойди далеко!..

Железнодорожники отворачивались: «Ничего не знаем, никаких паровозов, площадок нет».

Настойчивый, веселый, — в зеленой бекеше на бараньем меху, — он бегал по путям, залезал в вагоны, на паровозы, знал уже, кого как зовут, у кого какой характер: одного — убедил, другого — напугал, тому — пригрозил, третьему — рассказал про немецкую оккупацию в таких горячих словах, — человек начинал засучиваться.

И вот все бесформенное скопление поездов и людей пришло в некоторое

движение: где толкнули вперед состав, где подались назад. Грязный, сопящий паровоз и две платформы были выведены на первый путь. Поставили орудие, пулеметы, погрузили снаряды. Семьдесят пять охотников, обвешенные гранатами, полезли на платформы. Ворошилов, Чугай и пропагандист отряда встали на паровоз. Поезд вышел на Конотоп.

На западе, куда уходила полоска рельсов, зеленела мирная степь. Из-за ее края поднималось — не могло подняться — облако, похожее на снежную гору. Быстро приближались — проскакивали телеграфные столбы с опадающими проволоками и птицами на них.

Паровоз прибавлял скорость. Проплыла железнодорожная будка, бочка на телеге, белая коза, со страхом потянувшая веревку прикола. Сторож что-то кричал, испуганно махая неразвернутым флагом.

Чумазый машинист прокричал:

— На перегоне неблагополучно!..

Чугай сказал ему лениво, сквозь зубы:

— Давай, давай пару, что ты — спишь?

Чугай, навалиясь боком на поручни площадки, подставлял ветру широкую шею, налитую силой грудь. Ему всегда было жарко. Все на свете казалось ему слишком медленно двигающимся. Ветер бил в его широкое неподвижное лицо, с закрученными усиками и светлыми, круглыми, как у птицы, глазами.

Ворошилов, перекрикивая лязг колес, спросил: не будет ли осторожнее выслать разведчиков, не доезжая до Конотопа? Чугай, не оборачиваясь, свернул губы:

— Не надо осторожнее... Подойдем на полной скорости. Там разберемся...

Высунувшись по пояс с площадки, он стал махать ребятам, чтобы готовились. Пролетели железнодорожную будку на двенадцатой версте от Конотопа. Впереди на фоне белого, как снежная гора, облака обозначился паровозный дым. Ворошилов тронул машиниста за плечо:

— Давай тихий...

Завизжали тормоза, паровоз дышал, выпыхавшись. Когда пар отнесло,

впереди — верстах в двух — ясно был виден германский бронепоезд — купола башен и блиндированный паровоз.

Дали задний ход, но было уже поздно. Из башен вылетели ржавые дымки. Снаряды взвыли из синевы. Грохочущие космы земли, дыма, огня поднялись перед самым паровозом и — правее — у платформы. Два громовых удара потрясли степь. Взвизгнули летящие осколки. Ворошилова сорвало с паровоза на насыпь. Он скатился под откос, вскочил, обсыпанный землей, оглушенный. Снова прошипел снаряд, — удар, слепящий огонь... Спина паровоза раскрылась со скрежещущим взрывом, словно в отчаянии посылая высоко в небо свою душу в облаках пара.

Одновременно второй снаряд второй очереди ударил в заднюю платформу. Люди, не успевшие соскочить, взлетели вместе со щепами и комьями земли, и разорванные остатки их тел в клочьях дымящейся одежды были раскинуты по степи.

От разведывательного отряда осталось меньше половины бойцов, развороченный, осевший набок паровоз и горящие платформы, где в огне рвались жестянки с патронами.

Чугай был контужен — кружился под насыпью, силясь встать на ноги. Пропагандист отряда растерянно стирывал пыль с лацканов пальто. Бойцы, — кто, лежа, стрелял по немцам, кто ошалело глядел на горящие остатки поезда. Прошло несколько минут с первого орудийного выстрела.

Нужно было немедленно принимать решение. (Снова рыжий дымок из башен бронепоезда.) Ворошилов побежал к бойцам.

— Выходи из линии огня! Подбери винтовки!..

Скрытый дымом и пылью разрыва, он перелез через полотно и по ту сторону, крича, ругаясь, тыча наганом в ошалелых бойцов, — велел поднимать раненых, отступать:

. — Спокойно, хлопцы! Ничего страшного!

С остатками отряда он отошел, унося на шинелях семерых раненых. Немцы послали вдогонку очередь, но, видимо,

пожалели тратить снаряды ради кучки людей. Бронепоезд стоял на горизонте, на фоне снежной тучи, густо дымил.

Зайдя под покрытие железнодорожной выемки, Ворошилов приказал развинчивать рельсы. Бойцы положили раненых на траву. Глядели на рельсы, качали головами. Чугай силился что-то выговорить, но только перекашивал посиневшие губы. Ключей — развинчивать рельсы — ни у кого не оказалось.

— Не годится, — сказал Ворошилов. — Надо сходить к поезду. Ключей было много.

Сидя на корточках, он быстро оглядывал лица. Один хмуро отвернулся, другой засопел, не глядя в глаза...

— Добровольно. Кто пойдет?

— Ладно. Я сбегаю, — сказал Бокун.

Он был без шапки, с обгоревшими волосами, в стеганом жилете из зеленого колленкора.

— Сейчас разуюсь, Климент Ефремович.

Он присел на рельс и начал разматывать бечевки, — ими были прикручены к босым ногам резиновые калоши.

— Ребята, смотрите, — поберегите калоши...

Он подмигнул Ворошилову и пошел, точно по горячему, босыми ногами по щербно насыпи, спустился на траву, и — ух, тут мягко! — запустил, мелькая черными пятками.

На станции Ворожба началась паника: никто не ждал германского бронепоезда на этом перегоне. Лазали на водокачку — глядеть в синеватую даль, где колебался весенний воздух, и оттого, что на горизонте ничего не было видно, — еще грознее казалась опасность.

Как налетевший степной ветер вдруг завертит пыль на дороге, так по всей станции закрутились беспорядочные митинги. Надсаживаясь, орали командиры, грозя наганам с площадок вагонов. Дымили паровозы. Дергались, громыхали составы с бойцами на крышах вагонов. Часть отрядов отступила в эшелонах. Часть ушла грунтом. К вечеру на опустевшей станции остался

один Луганский отряд. Командир Гришин мужественно выполнил приказ комиссара: никто из бойцов не покинул эшелона, никто из посторонних на десять шагов не подошел к вагонам.

Гришин не знал — жив ли Ворошилов. На горизонте каждую минуту мог показаться дым бронепоезда, — нужно было одному, не колеблясь, принимать решение: выгружаться, занимать фронт или отступать. Но решение, как всегда, у Гришина попадало в вилку разноречивых идей.

С наганом в левой руке, с гранатой в правой, он шагал, как цепной кобель, вдоль вагонов. Он решил ждать утра. Солнце закатывалось, увеличиваясь до неестественных размеров. Гришин присел на вагонную ступеньку. Широко разливался свет зари — оранжевый, зеленоватый, предвещающий безветрие...

«Рисковать своей шкурой, — пожалуйста... Но я же отвечаю, — шутка! — за пятьсот бойцов... При чем же тут нерешительность!..»

В быстро темнеющей лиловой высоте разгорались звезды. Послышалось цоканье копыт спотыкающейся лошади. Гришин свирепо закричал:

— Кто идет?

Человек соскочил с лошади, — таща ее за повод, подошел.

— Свои, свои...

От радости Гришин нелепо взмахнул руками: это был Ворошилов. Он сказал, положив руку на понурюю шею крестьянской неоседланной лошаденки:

— Пошли человек двадцать — взять раненых из телег. Бойцов накорми. Рельсы мы кое-где разобрали. Мосточков подорвать не смогли. Пошли на паровозе команду, — на пятой версте и на четырнадцатой надо подорвать мосточки...

— Немцы в Конотопе?

— Немцев жди к утру.

— Значит, как же мы, товарищ комиссар? С одной стороны...

— А ты решай без одной и без другой стороны...

В голосе его была насмешка. Но Гришин так обрадовался, что комиссар жив, — только беззвучно хихикал.

пряча маленький подбородок в воротник гимнастерки.

— Ну? — уже с угрозой спросил Ворошилов. — Будешь драться или отступать?

— Видишь ли, я так рассуждаю: наши под Конотопом разбиты, связи нет... Но где немцы — неизвестно. Это уже дает обстановку. Если мы отступим, — мы не выполним задания... Значит, опираясь на неизвестные нам данные, мы должны войти в соприкосновение с противником...

— Фу ты! — Ворошилов тряхнул головой (и понуря лошаденка мотнула головой). — Где ты научился этакой диалектике? Выгружайся сию минуту. Давай — митинг...

— Это и мое решение, Ворошилов.

— Правильно.

— Постой, ты, наверное, голодный?

— Шутка сказать — голодный! Ну, давай, давай — выгружаться.

Гришин, перегнувшись с площадки вагона, держал копящийся кондукторский фонарь. Ворошилов на нижней ступеньке говорил бойцам, теснившимся у вагона:

— ... Только бандит и предатель может брехать в такой серьезный час — будто нам не справиться с немцами. Кто это крикнул?.. Не справимся с немцами? Подними, командир, фонарь, — хочу узнать в лицо предателя...

Человеческих лиц не было видно, в тусклый свет фонаря попадала ввалившаяся щека с отросшей щетиной или горящие глаза под надвинутыми бровями... Резкий голос Ворошилова разносился по тесно и близко придвинувшейся толпе бойцов.

— ... Революционной волей самих трудящихся мы должны установить железную дисциплину... Командир приказал занять фронт, — умереть, а врага не пустить на Донбасс... Этот предмет не подлежит обсуждению... Подлежит обсуждению вопрос — как нам укрепить дисциплину? В наших рядах нет места паникерам и провокаторам... Приказываю — этому, кто крикнул, что нам не

справиться с немцами, — выходи к фонарю!..

Он вызывающе протянул руку. Фонарь качался над его головой, — по крепкому лицу его ползли тени, весь он был напряжен. На секунду масса бойцов затихла. Необъятно раскинулись звезды над головами, над вагонами, над черными очертаниями вытянувшихся к звездам пирамидальных тополей... Как ветер, полетел по толпе бойцов нарастающий ропот. Где-то позади — вдруг дикий крик: «Это не я!» и голоса: «Врет! Бери его!..». Толпа зашумела. Раздались удары. Вопль: «Давай его, давай!..» Бойцы раздались, и сквозь их толпу был выброшен к подножке вагона человек в городском пальто. Он тяжело ткнулся, силился приподняться, повалился набок.

Ворошилов вырвал у Гришина фонарь. Нагнулся, освещая разбитое в кровь лицо человека.

— Понятно, — сказал он. — Этого молодца я еще утром заметил на вокзале.

И он быстро фонарем заслонил его от бойцов, придвинувшихся для расправы. Человека подняли. Он крутил головой, валился, не хотел стоять. Нескольких рук залезло ему в карманы, вытащило документы; наклонились к фонарю, прочли, смутились: человек этот оказался рабочим киевского депо из отряда Ремнева. Шмыгая носом, со слезами он повторял:

— Напрасно меня убили, ребята... Ах, напрасно...

По лицам бойцов было видно, что напрасно погорячились, уже кто-то нехорошо покосился на комиссара. Локтями раздвигая бойцов, к человеку придвинулся Бокун. Вглядываясь, положил огромную руку на плечо ему.

— Ребята, а я ж его знаю. Ему фамилия другая. — Бокун вдруг рассердился, закричал чугунным голосом: — Это не ты ли зимой кричал за Учредительное? Жабал!..

Еще до рассвета Луганский отряд верстах в пяти от станции занял позицию. — по обшим сторонам полотна. Во-

рошилов остался в Ворожке, чтобы вернуться и организовать хотя бы часть отступивших давеча отрядов.

Утро было безоблачное, безветренное. Жарко пели жаворонки над свежезелеными полями. Бойцы, положив винтовки на холмики земли, подставляли солнцу спины, — иной, сняв рубашку, с удовольствием поводил лопатками, почесывался. Волнистая степь была безлюдна. Гришин стоял, как жердь, на крыше железнодорожной будки, оглядывая в бинокль горизонт... Правее железнодорожного полотна, по холму, едва различаемые, ползли всадники — Чугай с разведкой.

— Разлагающаяся обстановка, — проворчал Гришин, опуская бинокль. — Сволочь — эти жаворонки...

Действительно, трудно было придумать более неподходящую обстановку для того, чтобы убивать и умирать в такое благодатное утро. Здесь бы итти за плугом, понукая седых, как серебро, сляняных волов. Здесь бы на пороге мазаной хаты попросить кринку холодного молока у полногрудой дивчины со смеющимися глазами, под пение жаворонков пить это молоко, косясь на девичьи щеки, осмугленные весенней прелестью...

— Слушай, завхоз, — сердито крикнул Гришин с крыши, — готовь бойцам обед! Что у тебя сегодня?

— Кулеш, — ответил завхоз, царапая щечкой пузо тощему щенку.

За холмами, не с той стороны, куда все время глядел командир, а с северо-запада, солидно застучал пулемет. Гришин даже присел, бинокль запрыгал у него в руке. Слева, тоже за холмами, застучал другой пулемет. По степи покатился орудийный удар.

Гришин с'ехал с крыши и, придерживая полевую сумку, побежал к передовым окопам.

За минуту перед тем, как застучать германским пулеметам, боец Иван Прохвятилов поругался с бойцом Николаем Чебрецом. В наскоро выкопанных окопах было тесно, — бойцы Матвей Солох, оба Кривоноса и Николай лежали около на земле, — кто грыз горький

стебелек, кто, прикрыв ладонями затылок, дремал — носом в полынь. Иван Прохвятилов, в разодранной на груди рубашке, сидел, поджав по-татарски босые ноги. Круглое казачье лицо его, с маленьким ртом, было злое, насмешливое.

— Ты меня с собой не равняй, хо-хол, — отчетливо говорил Прохвятилов, и покатые сильные плечи его играли под рубашкой. — Мы ровня в цеху. А на Дону мы не ровня...

— Дурак ты, — ответил Николай Чебрец, грызя травинку. — Что ты казак — у тебя кровь, что ли, горячеей?

— Моей крови тебе не пробовала... Ее немецкая сабля пробовала... А твою кровь кто пил, бесславно? Иона Негодин твою кровь пил, хохол...

Николай отвечал нарочно — ленивее чего уж нельзя:

— Ты — заносчивый... Все вы, казаки, были нахалами и ворами, нахалами и ворами остались на вечный аминь...

Иван Прохвятилов не сразу ответил, — маленький рот его приоткрылся, белые, крепкие зубы сжаты, с усмешкой пристально глядел на Николая, пальцы загорелой ноги впились в горячую землю.

— Жалей, жалей, напрасно ты обидел меня, Николай...

Тогда старый рабочий, Матвей Солох, видя, что, пожалуй, не миновать драки, солидно кашлянув, сказал разумно:

— Довольно вам горячиться, хлопцы. Чего не поделили? Оба вы — рабочие, оба умываетесь кровью за советскую власть. Давай покурим...

Спор у них пошел из-за девки Агриппины — сестры Николая Чебреца. Оба были из станицы Нижнечирской, — Иван — казак, Николай — иногородний. Оба голодовали. Оба ушли на завод. Иван стал ругать Николая за то, что сестра его работает батрачкой у богатого казака Ионы Негодина, всему Дону известного снохача и озорника.

— Да я бы мою сестру, Анютку, лучше своими руками удавил, чем отдать на такой позор... Эх, вы, хохлы — одно слово...

Миколай обиделся — ответил, что у иногородней девки и у казачки одно устройство, и прохвятиловской Анютке нечего будет жрать, — в те же ворота побежит за куском хлеба. Так, слово за слово, забыв уже про девок, начали считаться. У Ивана заговорила казачья кровь, у Миколая — мужицкое упрямство.

— Кулаки отмотаете, куда все споры решите, — еще вразумительнее сказал Матвей Солох, доставая из штанов кисет с махоркой. — А надо, хлопцы, решить главный спор — за советскую власть.

В это время и застучали пулеметы. Иван Прохвятилов, будто его обожгло, схватил винтовку, оскалась, искал бегущими зрачками еще невидимого врага. Бойцы повалились в окопы. Ржавыми дымками беспорядочных выстрелов закурилась передовая линия.

Командир Гришин, подбегая, что-то кричал. Со стороны Ворожбы бухнуло единственное оставшееся орудие отряда, снаряд свистнул над головами. Гришин остановился, задрав локти — водил биноклем по горизонту. Пулеметы стучали все настойчивее, грознее, будто подползая, — справа, слева... Пули дымили пылью перед окопами... Выходило совсем не так, как предполагал Гришин: немцы, не обнаруживая себя, сметали огнем редкие цепи красных.

Взвыл и лег неподалеку тяжелый снаряд — рванул, казалось, сто тонн земли, опрокинул ее на окопы. Гришин продолжал торчать на поле, раздвинув ноги, подавая пример мужества: больше он ничем не мог помочь. Вся степь ухала, стучала, сотрясалась. Впереди за курганами поднялась железные шлемы, показались немецкие цепи.

Из окопов побежали двое, нагибаясь. Гришин закричал: «Назад!». Бойцы легли. Еще и еще — вихрь земли, свистящих осколков... Мимо Гришина пробежали трое. Это было отступление. Он кинулся к ним: «Назад! Позор!». Полз человек, из оторванного рукава торчала розовая кость... Гришин побежал к окопам: «Товарищи, держитесь...». Прохвятилов волочил, ухватив подмышки, Миколая Чебреца... «Не видишь,

чорт! — задыхаясь, крикнул он, — обходят... Кавалерия!..».

С северных холмов спускались всадники, — германские драгуны, численностью не менее эскадрона, на рысях заходили с правого фланга в тыл.

На косматой лошаденке Ворошилов врезался в толпу бегущих. С глазами, круглыми от напряжения, без шапки, страшный, — с верха за плечи хватал бойцов, толкал их лошадью, крича — крутил наганом:

— Стой! Такие-сякие! Назад! Бокун! Солох! Прохвятилов! Кривонос!

Вертелся, как чорт, среди бойцов, — круглые глаза... кричащий рот... взмах лошадиной гривы... цепкая рука, рванувшая рубаху... оскаленная лошадиная морда... револьвер прямо в глаза... Ругался, хватал, толкал...

— Стой! Убью! Вперед... За мной!

Его собранная воля ворвалась в толпу суровых, мужественных, растерявшихся людей. Он сосредоточил на себе внимание, мгновенно стал более сильным фокусом, чем то, от чего бойцы побежали... Он обрастал людьми — энергичный, крепкий, на храпящей, кусающей лошаденке.

Огромный Бокун опомнился первым — обернулся в сторону немцев, вогнал обойму в винтовку... Вокруг Ворошилова, его косматой лошади, сбилось несколько десятков бойцов, и он приказал им сделать то единственное, что было нужно: залечь цепью и стрелять по драгунам...

Нагнувшись к гривам, немцы — всего в полуверсте — вскачь заходили в тыл, было ясно видно, как сверкали их прямые палаши.

Ворошилов поскакал дальше, собирал бегущих, — теперь их уже было легче вернуть к залегшей, стреляющей цепи... Бойцы, подбегая к лежащим, стреляли. Было видно, как один драгун начал заваливаться и конь, шархнувшись, поволок его за стремя.

Теперь почти весь отряд рассыпался, залег и бегло бил по драгунам. Всадники падали. Передние начали поворачивать, хлеща палашами по конским крупам, уходили за холмы...

Драгуны были отброшены. Ворошилов послал часть отряда с двумя пулеметами на северные холмы — прикрыть фланг от новой попытки обхода и со всеми оставшимися — около трехсот бойцов — пошел навстречу немецким цепям.

Он велел Бокуну развернуть красное знамя и нести впереди, рядом с собой. Он подобрал винтовку и шел, почти бежал, не нагибаясь под свистящими пулями.

Бойцы стали забегать вперед него. Отряд, разгорячась, бегом шел на немцев, оглашая степь бешеной руганью. Многие падали, роняя вперед себя винтовку. Немцы не ждали такого нагиска, — огонь их становился все торопливее, все нервнее...

«Ура!» — закричал Ворошилов, проталкиваясь вперед. «Ура!» — заревел Бокун, размахивая знаменем. «Ура... Ура!». Прохватилов, оба Кривоноса, Солох — с выкаченными глазами, раздирая криком глотки, — заскочили вперед, кидали гранаты...

Немцы не приняли штыкового боя — поднялись, отстреливаясь, пятились... Побежали...

— С таким командиром нам пропадать, как баранам... Напрасно, товарищи, льется дорогая кровь... Напрасно заплачут наши семьи.

— Правильно... Скидывай Гришина... Не хотим Гришина, — загудели голоса...

В темной степи, окопавшись после долгого преследования немцев, бойцы собрались в круг под звездами. Бойцы рассуждали, что в таком опасном деле нужен умный, находчивый и отважный командир. Злобы на Гришина не было, — пусть его берет хозяйство на место убитого сегодня завхоза. Но командиром его не хотели. Командиром единогласно постановили выбрать Ворошилова.

За ним пошел Бокун и привел его в круг. Ворошилов поблагодарил бойцов за доверие и — отказался...

— Не принимаем. Хотим тебя командиром, — зашумели бойцы.

Выждав, когда отгорланят, Ворошилов сказал:

— Хороша у нас будет дисциплина, когда в боевой обстановке на митинге станем скидывать командиров... Гришин — наш начальник, в его руках наша судьба. Будь я на его месте, дорогие товарищи, — всех, кто сейчас кричит, без пощады предал бы военному суду.

Он сказал это резко и оборвал речь. Стало так тихо, слышно было, как хрипит дергач в сырой ложине неподалеку. В круг протискался Гришин. Заикаясь от волнения, заговорил срывающимся голосом:

— Я ваш командир... Требую повиновения... В виду исключительной обстановки допускаю этот митинг... В виду того, что не могу справиться с вами, как это показало сегодняшнее беспорядочное отступление... В виду важности общего дела... Своею властью слагаю с себя обязанности командира... Становлюсь рядовым бойцом... Голосую за товарища Ворошилова... И требую, так сказать, чтобы он подчинился общему решению.

4

Агриппина несла мокрый бредень и ведро с окунями. Позади стучал подкованными сапогами Иона Негодин. Подняв черную бороду, из-под козырька казачьей фуражки с досадой поглядывал на голые агриппиныны ноги, по которым хлестал мокрый подол, на ее прямую, крепкую спину. Шли берегом Чира — красивой речки, неподалеку впадавшей в светлый Дон, скрытый за густыми зарослями.

Годы ли Ионы уж были не те, или времена, что ли, были не те, — такой неподатливой, злой девки ему сроду не попадалось. Бывало, каких об'езжал степных кобыл! Бывало, шутя, в разлив переплывал Дон, когда, обманув спящего мужа, молодая казачка поджидала его ночью, притаившись у омета соломы.

Раз вечером Агриппина тащила охапку сена. Иона схватила ее за сильные

бока: обернулась резко, — у него разлетелись руки, — сказала:

— Брось, не люблю этого.

— Но, но, тише — женщина...

— В последний раз — брось...

И пристально взглянула из-под темных бровей... (Золотом бы одарил такую.)

— Жаловаться не побегу, а ножу в тебе быть. Изловчусь, попомни, Иона Ларионович.

Он закричал, затопал сапогами на нее. Мотнула подолом, ушла в конюшню. Давно бы прогнать такую стерву, и все-таки держал ее.

На том берегу Чира белели гуси, лежали красные волы с белыми масками, с длинными рогами. На этом берегу, около самой тропинки, по которой шли Агриппина и за ней Иона, сидела большая Марья.

Ее маленький играл внизу на песке с детьми, старшенький, по колено в еще студеной весенней воде, вместе с голыми мальчишками ловил решетом мальцов. Тих и светел был день над Чиром, над заливыми лугами.

Иона, проходя мимо Марьи, круто остановился:

— Питерская... Почему твои дети с казачьими детьми играют?

Марья подняла бледное лицо, испугавшись — спросила:

— А чего же им не играть?

— Чего! чего!.. — передразнил Иона и указал на сидевшую на песке собачонку: — Будут твои дети сосать молоко у этой сучки...

И он пошел, стуча подковками. Марья ничего не поняла, заморгала ему вслед. Агриппина, видимо, хорошо поняла, но промолчала, только тихо сказала Марье:

— Зайду вечером...

По деревянному мосту через Чир шагом ехал здоровый казак на низенькой лошаденке. Иона Негодин, запустив когти в бороду, стал ждать, когда казак переедет мост. Лошадка нелегко несла его семипудовое тело: и ростом, и в плечах он был покрупнее Ионы, пожалуй, что вдвое, — с круглым лицом, круглой головой, прямо переходящей в могучую шею. На нем был расстегну-

тый кожух, плохие сапоги, старая фуражка с засаленным дочерна красным околышем.

— Здорбво, Иона Ларионович, — густо сказал он, не слезая с коня, — только тряхнул фуражкой и подмигнул на ведро в руке Агриппины: — Ну как — улов?

— Здорбво, Аникей Борисович, — ответил Иона и опять блеснул зубами. — Да что — улов! Мелкий окунишко. Что теперь хорошего-то...

— Плохо, я вижу, казаки, живете на Нижнем Чире, — сказал Аникей Борисович, нагнав на глаза веселые морщинки. — Рассказывай бабушке, козел, какой у козы хвост поджатый...

Иона отвел глаза. Ждал, чтобы Аникей Борисович от'ехал. Но тот стоял и тоже с усмешкой глядел сверху на Иону. Еще в царское время самый был скандальный опасный казакишка, — а сейчас похоронил казачью честь: стал членом станичного совета в Пятиизбянской станице на высоком берегу Дона.

— А ведь в лошадке твоей, пожалуй, двух вершков нехватает, не по казаку лошадь, — сказал Иона.

— Что ж, Иона Ларионович, по бедности на низенькой ездим. В позапрошлом году за эту лошадку окружной атаман мне когтями лидо рвал... При советской власти ничего — езжу.

— На ней только теперь и ездить...

— Не в вершках сила, и на ней повоюем.

— С кем же воевать собираетесь, пятиизбянские казаки?

— С врагами советской власти...

Иона начал понимать, что Аникей заводит опасный разговор. Для этого, конечно, и приехал сюда — в Нижне-чирскую (где издавна был окружной центр и прежде сидел атаман, а сейчас на месте атамана — ревком).

— Врагов тут у нас нет, как будто.

— В добрый час, — уже сурово ответил Аникей Борисович. — А мы кое-что слышали.

— Ага! — Иона совсем насторожился. — Про что же вы слышали?

— Третьего дня будто бы на твоём дворе Гаврюшка Попов, пьяный, кричал слова...

— Гаврюшка — дурак известный.

— Вот то-то, что дурак... Кричал: «Погодите, такие-рассякие, на двадцатое в ночь — оседлаем коней, — или эта вещь случится, или нам к немцам уходить!...».

— Не знаю, про какую вещь кричал Гаврюшка.

— Не знаешь?

Иона опять отвел глаза от раскрытых, заблестевших глаз Аникея Борисовича.

— Ну, не знаешь, — сами узнаем...

Аникей Борисович толкнул каблукми лошадку и рысью взехал на извозок, скрылся на станичной улице с двухэтажными белыми кирпичными лавками, белой церковью на пыльной площади. Только теперь Иона заметил, что Агриппина, держа бредень и сачок на плече, слушала весь их разговор. Он закричал бешено:

— Глаза разинула, сука! По дворам трещать, сплетни разносить! Я тебе уже пятки пригну к затылку. Пошла домой!

Степан Гора (такой же длинный, худой, носатый, как и брат Иван, но намного его смирнее), Марья и ее дети ужинали в сумерках. Огня не зажигали, не было керосина. Богатые казаки привозили керосин из Царицына, — там все можно было достать у спекулянтов, понаехавших из Москвы. В станицах про керосин забыли. За простую иголку давали курицу, а то и порошенка.

— У нас на севере, — заговорила Марья, — в деревнях стали лучину жечь.

Степан Гора, удивясь, качнул головой. Он думал медленно и говорил медленно. Торопиться некуда. Степан третий год вдовствовал. А теперь было не скучно приходиться в сумерки домой: хата подметена, стол к ужину собран, дожидаясь — за столом сидит приятная, тихая женщина и смирные хлопчики... Хлеба на четверых хватит.

Степан хлебал из эмалированной тарелки, каждый раз кладя ложку и долго жуя. Алешка делал все, как Степан, и учил брата, толкая его колен-

кой, тоже класть ложку и долго жевать.

— Заходила в совет, обещались дать работу по школьному сектору, — сказала Марья. — Но обещали неопределенно... Там один такой сердитый...

— Чего торопиться. Время придет — свое отработает. — Степан взял вяленого судака и отдира л мясo от кости. Кусок дал Алешке, кусок дал Мишке. — А кто, говоришь, там сердитый-то?

— Секретарь, что ли, Попов.

— Ага... Гаврюшки-озорника батька. Там почище в совете сидят: дьяком Гремячев, Гурьев да Пашка Полухин. Люди известные... Еще что-то будет.

У Марьи дрогнули губы, но сдержалась. Алешка — хриплым шопотом брату:

— Подавись, подавись, постылый... Не соси, ты его грызи...

Хлопнула калитка. Степан медленно повернул голову к двери. Вошла Агриппина. Поклонилась, — низко нагнув одну голову, — села поодаль на лавке.

— Садись с нами, — сказал Степан.

— Ужинала.

Степан настороженно поглядел на нее. Окончили ужинать, Марья убрала со стола. Он, привстав, потянулся к божнице, где на треугольной полочке стояли: бутылка из-под керосина, лампа без пузыря, — достал из-за черного образка обрывок газеты, примерившись, оторвал узкий лоскуток, высыпал из кيسета крошки табаку, свернул, закурил и, закашлявшись, сказал Агриппине:

— С чем пришла?..

Она вполголоса быстро начала говорить:

— Аникей Борисович здесь был, и он уехал назад еще засветло другой дорогой, — это видели Пашка Полухин и Гурьев, и они кричали у Ионы на дворе: «Все равно — Аникею от нас не уйти!...». С ними был Гаврюшка Попов, и он оседлал коня и запустил в станицу Суворовскую...

— Значит — к Мамонтову...

— Да... Мамонтов сейчас в Суворовской, приехал с низовья... Я была на сеновале, все слышала, — у них и день сговорен...

Степан опять покашлял, чтобы не выдать тревоги:

— Какой день?

— Двадцатого в ночь будут седлать коней...

Агриппина сидела неподвижно, держа за лавку. В сумерках темнели ее широкие глаза, чернели высокие брови на красивом лице:

— Марью с детьми ты, может, на хутор пошлешь, Степан?

— Да, — сказал Степан. — Этого надо было ждать... Нет, Марья пускай здесь останется... Не с детьми, не с бабами они собираются эти дела делать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Иван Гора с делегатами от петроградских заводов сидел за длинным столом в чинном и тихом кабинете Совета народных комиссаров. За окном — стая московских галок, обеспокоенных все более скудным удовольствием, кружилась над зубцами кремлевских стен. Чинная тишина кабинета, четвертушки бумаги на вишневом сукне, кресла в чехлах, медленное тиканье стенных часов — все это понравилось делегатам, — здесь советская власть сидела прочно.

Вошел Владимир Ильич, все в том же поношенном пиджачке, свой, простой. Вошел из боковой двери и сейчас же притворил ее за собой, повернул ключ.

Коротко поздоровался. Все встали.

— Садитесь, садитесь, товарищи! — Он сел в конце стола на дубовый стул со спинкой — выше его головы. Быстро оглядел худые, морщинистые, суровые лица рабочих, и по глазам его, желтоватым и чистым, с маленькими, как просинка, зрачками, было заметно, что сделал соответствующий вывод. Замегив Ивана Гору, приподнял бровь. Иван Гора улыбнулся большим ртом от уха до уха.

Владимир Ильич вытащил из портфеля, лежащего на коленях, исписанный листок, положил его перед собой

и опять поднял голову. Лицо у него было осунувшееся, как после болезни.

Делегаты молча глядели на него, иные вытягивали шеи из-за плеча товарища. Многие видели Ленина так близко в первый раз. Они приехали к нему в Кремль по крайней нужде: Петроград умирал от голода. Деревня теперь и за деньги не давала хлеба. Голод все туже затягивал пояс на пролетарском животе.

— Рассказывайте. Будем думать — какой найти выход, — сказал Владимир Ильич и опять, приподняв бровь, взглянул на Ивана Гору. — На свете не бывает «ничего невозможного».

Иван ахнул: «Помнит!». Смутился, и оттого, что не мог не глядеть на Владимира Ильича, не улыбаться от уха до уха при виде его, — покраснел густо.

Сидевший рядом с Лениным депутат, старый, в железных очках, положив отекие руки на лист бумаги, начал:

— Плохо, Владимир Ильич. Голодуем. Держимся, крепимся, пролетарскую свободу не продадим. Но тревожиться: до урожая ждать три месяца, а есть нечего, детишки по весне начали помирать. Жалко, Владимир Ильич. У женщин шатается воображение. Еду только во сне видим.

Другой депутат, широкоплечий новгородец, мрачный и красивый, с упавшими на лоб черными кудрями, сказал, не глядя ни на кого:

— Две недели петроградские районы могут продержаться при условии осьмушки. Через две недели начнем помирать. На заводах где половина, где и больше рабочих военного времени — ушло. Мы о них, пожалуй, и не жалеем. Осталось пролетарское ядро. Но его надо кормить...

Другие депутаты, не спеша, рассказывали подробности о бедствиях голода, о том, как приходится заставлять частников выпекать хлеб со ста процентами припеку: «Получается такой жидкий хлеб, Владимир Ильич, горстями его черпаешь, и этой гадости выдаем только по осьмушке».

Рассказывали о беспорядках в продовольственных управах, где повсюду

наталкиваешься на тайных организаторов голода. На заводах — то тут, то там вспыхивает недовольство и обнаруживаются шептуны; одного обнаружат, на место его — двое. Продотряды посылаются неорганизованно, часто в них попадают те же шептуны, провозят мешки для себя, а на собраниях, отчитываясь, плачут, что-де ничего не могли добыть...

— К примеру, Владимир Ильич, — откашлявшись, пробасил Иван Гора. — У нас на заводе секретаря партийного коллектива товарища Ефимова чуть не убили, едва отстояли... Вдруг в литейном цеху — митинг. В чем дело? Шум, крик: «У Ефимова на квартире — мука и сахар». И так кричат, так разгорячились, невозможно не верить... Я вижу — дело плохо, — к телефону. Ефимов — как-раз дома. Я ему — тихо, чтобы ребята не слышали: «Уходи». Он переспрашивает. Я — в другой раз: «Уходи».

Он смеется:

— Да куда уходить-то?

Я ему внушаю: «Уходи».

— Да кто говорит-то?

— Иван Гора, — говорю. — Завод к тебе идет.

Он понял, в чем дело. Отвечает:

— Чего же им трудиться. Я сам к ним приду.

Приходит в литейную. Входит смело, глядит — огнем жжет. Потом-то мне рассказывал: «Голову-то я держал высоко, а у самого кровь в жилах жглась». Ребята увидели его — режут: «Спекулянт! Сливочное масло жрешь!». Рвутся к нему, — вот-вот убьют. Он стоит, поднял руку, ждет, когда отгорланят.

— Ну? — говорит спокойно. — Чего кричать-то. Вот ключ. — И с досадой бросает ключ от своей квартиры. — Идите, обыщите. Найдете хоть кусок хлеба — тогда мне смерть. Ступайте, я обожду.

Человек двадцать побежало. Он стоит, закурил.

Возвращаются наши ребята, головы повесили — самым стыдно в глаза ему глядеть.

«Вот, нашли» — говорят и показывают заплесневелую корочку...

Он тут сразу и повеселел: «Значит, убедились, — муки, сахару у меня нет... Теперь давайте у горлопанов поищем...». И показывает на Ваську Васильева, который дня два вернулся с продотрядом и слезы лил. Мы — к Ваське: «Веди, показывай».

— И нашли у него? — быстро спросил Ленин.

— А как же... Мука и сало, и в кухне привязана коза. Продукты и козу приволокли на митинг. Ребята озверели. Коза им, главное, в досаду. «Это, — кричат, — мировой позор!».

— Так, так, так, — повторил Ленин, уже не слушая рассказа. — Так вот, товарищи. Теперь позвольте мне взять слово...

— Просим, — сказали депутаты...

... Жалобами делу не поможешь... Положение страны дошло до крайности... В стране голод... Голод стучится в дверь рабочих, в дверь бедноты...

Ленин начал говорить негромко, глуховатым голосом, даже как будто рассеянно... Грудь его была прижата к столу, руками он придерживал портфель на коленях. Депутаты, не шевелясь, глядели ему в осунувшееся, желтоватое лицо. Неспеша стукнули стенные часы...

— ... Все эти попытки добыть хлеб только себе, своему заводу, — увеличивают дезорганизацию. Это никуда не годится... А между тем в стране хлеб есть... — Он пробежал глазами цифры на лежащем перед ним листке... — Хлеба хватит на всех. Голод у нас не оттого, что нет хлеба, а оттого, что буржуазия дает нам последний решительный бой... Буржуазия, деревенские богатеи, кулаки срывают хлебную монополию, твердые цены на хлеб. Они поддерживают все, что губит власть рабочих... — Он поднял голову и сказал жестко: — Губит власть рабочих, добивающихся осуществить первое, основное, коренное начало социализма: «Кто не работает, тот не ест»...

Он помолчал и — опять:

— ... Девять десятых населения России согласны с этой истиной. В ней

основа социализма, неискоренимый источник его силы, неистребимый залог его окончательной победы.

Он отодвинул стул, положил портфель и продолжал говорить, уже стоя, иногда лишь делая несколько шагов у стола:

— На-днях я позволю себе обратиться с письмом к вам, питерские товарищи... Питер — не Россия, — питерские рабочие — малая часть рабочих России. Но они — один из лучших, передовых, наиболее сознательных, наиболее революционных, наиболее твердых отрядов рабочего класса... Именно теперь, когда наша революция подошла вплотную, практически к задачам осуществления социализма, именно теперь на вопросе о главном — о хлебе — яснее ясного видим необходимость железной революционной власти — диктатуры пролетариата...

Он подкрепил это жестом — протянул к сидящим у стола руку, сжал кулак, словно натягивая вожжи революции...

— ... «Кто не работает, тот не ест», — как провести это в жизнь? Ясно, как божий день, — необходима, во-первых, государственная монополия... Во-вторых — сгрозайший учет всех излишков хлеба и правильный их подвоз... В-третьих — правильное, справедливое, не дающее никаких преимуществ богатому, распределение хлеба между гражданами — под контролем пролетарского государства.

Он с усилием начал было открывать захлопнувшийся замочек портфеля. Прищурясь, взглянул на часы...

— ... Превосходно... Вы говорите: на Путиловском заводе было сорок тысяч. Но из них большинство — «временные» рабочие, не пролетарии, ненадежные, дряблые люди... Теперь осталось пятнадцать тысяч. Но это — пролетарии, испытанные и закаленные в борьбе...

Вот такой-то авангард революции и в Питере, и во всей стране должен кликнуть клич, должен подняться мас-сой... Должен понять, что в его руках спасение страны... Надо организовать великий «крестовый поход» против спе-

кулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников...

Депутаты уже не сидели у стола. Движением руки он их поднял, и они окружили Владимира Ильича, — кивая, поддакивая, вздыхая от полноты ощущений... Иван Гора стоял прямо перед ним, глядя сверху вниз разинутыми глазами ему на твердый, твердо выбрасывающий слова, рот.

— ... Только массовый под'ем передовых рабочих способен спасти страну и революцию... Нужны десятки тысяч передовиков, закаленных пролетариев... Настолько сознательных, чтобы разъяснить дело миллионам бедноты во всех концах страны и встать во главе этих миллионов... Настолько выдержанных, чтобы беспощадно отсекал от себя и расстреливать всякого, кто «соблазнился» бы — бывает — соблазнами спекуляции... Настолько твердых и преданных революции, чтобы вынести все тяжести «крестового похода».

Это сделать потруднее, чем проявить героизм на несколько дней... Революция идет вперед, развивается и растет... Растет ширина и глубина борьбы. Правильное распределение хлеба и топлива, усиление добычи их, строжайший учет и контроль над этим со стороны рабочих и в общегосударственном масштабе — это настоящее и главное преддверие социализма... Это уже не «общереволюционная», а именно коммунистическая задача...

Подняв палец, Владимир Ильич повторил это, и зрачки его как бы искали в глазах слушателей: «Понятно? Понятно?».

Иван Гора, тоже вытянув большой палец, проговорил:

— Правильно. Это задача видимая. Можем, Владимир Ильич.

— Можем, можем, — заговорили депутаты...

— Товарищи, одно из величайших, неискоренимых дел октябрьского — советского — переворота в том, что передовой рабочий пошел в «народ», — пошел как руководитель бедноты, как вождь деревенской трудящейся массы, как строитель государства труда... Но, товарищи, начав коммунистическую ре-

волюцию, рабочий класс не может одним ударом сбросить с себя все слабости и пороки, унаследованные от общества помещиков и капиталистов. Но рабочий класс может победить и неминуемо победит, в конце-концов, старый мир, его пороки и слабости, если против врага будут двигаться новые и новые, все более многочисленные, все более просвещенные опытом, все более закаленные на трудностях борьбы отряды рабочих...

Владимир Ильич кивнул, — так-то, мол... Отступил на шаг. Большие пальцы его рук попали в жилетные карманы. С висков на углы век набежали морщинки, глаза засветились юмором и доброшием...

— Вот, так-то, — сказал он...

Иван Гора засопел, с усилием удерживаясь, чтобы не сгрести лапами этого человека, не расцеловать его — друга...

— Теперь, товарищи, набросаем конкретный план действия... Присаживайтесь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Перед отъездом Иван Гора с двумя товарищами из продотряда пошел купаться на Неву. Петроград был тих и прекрасен. На полноводной Неве лишь кое-где струи течения колебали зеркальные отражения дворцов. Белые колоннады, гранитные львы, облупленные ростры с носами кораблей, золотая игла крепости, пышные ивы на отмели у ее подножия — погружали свои отражения в бездонную глубину.

Редкий прохожий, с продовольственным мешком за спиной или с жестянкой от керосина, косолапо шагал по булыжной мостовой, где между камнями уже начинала зеленеть травка. Изредка слышалось гроыхание трамвая. Небо было чисто, бездымно над опустевшим наполовину городом.

Иван Гора сидел на нижней ступеньке гранитного спуска с набережной. Ноги его были по щиколотку в воде. Скребя ногтями голые колени, он щурился

от солнечных бликов в струях под ногами.

— Так-то, друг мой Замоткин, — говорил Иван Гора сидевшему рядом с ним товарищу, с посиневшими губами, со старой кожей на прыщеватом от истощения лице. — Это ничего, что дрожь: польза будет. Разве дело — пролетарию ходить грязным... Завоевали Неву, давай первым делом купаться. Свежая вода! В ней сила...

— Эх, с мылом бы их простирнуть! — сказал Комаров, другой товарищ, тоже голый; он караулил наверху мокрые рубашки, чтобы ветер не унес их с гранитного парапета.

Иван Гора продолжал с благодушием:

— В царское время тебе бы городской по сопатке надавал — здесь купаться... Видишь — какое царство завоевали: красотища! И ты должен подтягиваться, друг мой Замоткин. Энергия солнца при свежей воде заменяет недостатки питания. Ну, лезь...

— Постой немножко, — жалобно сказал Замоткин, — дай посидеть... Ведь я утону...

— Ничего, ты барахтайся, я вытащу...

Иван Гора будто невзначай задел рукой Замоткина по торчащим позвонкам, и парень бултыхнулся в воду. Комаров наверху засмеялся:

— Тренируешь парня...

— А как же... Поедем, — там, брат, с кулачем нужны нервы.

Иван Гора вытянулся, едва не в сажень ростом, с впавшей грудью, с могучей сутуловатой спиной, и плашмя упал в воду... Казалось, Нева с плеском раздалась под ним... Доплыл до барахтающегося, отплывающегося Замоткина, взял его за плечо, пригреб к ступенькам, помог вылезти и уселся рядом с ним, — ладонями стер с ляжек воду.

— И второе — студеной вода в нашем холостом положении — отвлекает... Поедем, там, брат, ни гу-гу... Мало ли нашего брата погибло через эту слабость. «Ах, питерские гости, ах-ах, а мы вам и баньку истопили...».

— Это кто же — «ах-ах»? — спросил Замоткин.

— Кулацкая женка. Там тебе подсунут бабенку подходящую... И только ты размяк, бдительность у тебя ослабела, винтовка осталась в предбаннике, — шасть в баню хозяин!..

— Лаврентия Козлова так убило кулаче в Луге, — сказал Комаров.

— Ухо держат востро, ребята... Чтобы про нас шла слава: приехали железные... Мне, друг Замоткин, несравненно тяжелее твоего... У тебя одни позвонки, у меня массы больше. — Иван Гора вытянул одну ногу, потом другую. — К осени, — наладим революцию, — ей-богу, отпрошусь домой, в Нижний Чир...

— Жениться? Краля ждет? — спросил Замоткин, усмехаясь синими губами.

— Ага! Такая краля ждет... Всю бы Неву с дворцами ей подарил...

— Это Агриппина, что ли?

— Ну, ну, ладно — лезь в воду... Чего там — Агриппина...

2

Продовольственные отряды питерских рабочих раз'езжались повсюду по хлебным селам, глухим деревням. Строгого плана не существовало. Отряды по собственному разумению кидались с головой в закипающую деревенскую революцию. В ином селе мироед-хриstopродавец, накурив самогону, собрав сход, тряс мокрой от слез бородой, просил православных, вдов и сирот о забвении грехов своих: «Что мое — то ваше, — говорил, — господь прогневался за наши грехи, наслал заразу... Так неужто я дьяволам — большевикам — отдам хлебце? Берите лучше вы из мово анбару по два пудика, уж мы сочтемся, бог нас рассудит».

В ином селе орудовал протопоп, грозно заламывая на амвоне косматые брови: «Видали у коммунистов на фуражках козлиные рога? А кто не видал, пусть глаза пошире разинет... Понимать можете? И кто им хоть зерно даст, — это зерно на страшном суде спросится... Хлеб наш насущный даждь нам днесь, — сказано в писании. А про монополию в писании не сказано».

В ином селе кулачки по ночам пристреливали беспокойных мужичков на огородах и гумнах, в страхе держали деревенскую бедноту. Были и такие углы, где все еще сидел «либеральный» помещик, беседуя в сумерках на крылечке о французской революции, о выкупных платежах, о славянской богоискательской душе.

Продовольственный отряд, появляясь в селе, вылезал из телег у сельсовета. Вызывали председателя, — человек приходил, в страхе моргая на суровые лица питерских. Садись за шаткий столик, закапанный чернилами. Выясняли причины недосдачи хлеба, «просвечивали» и самого председателя. Не верили никаким оправданиям, глядели в классовый корень вещей. Надымив полную избу махоркой, созывали на завтра общее собрание.

Иван Гора забрался со своим отрядом в семь человек далеко в черноземье, в Миллерово — ближе к знакомым местам.

В селе Константиновке, куда приехали на двух телегах, начали с того, что арестовали сельсовет: председатель оказался бывшим урядником, писарь — дьяконом. Все село загудело с утра у сельсовета.

Иван Гора распорядился: «Здесьнее кулаче нам устроит провокацию. Ни в каком случае не открывать огня, — только в крайности. Двое — со мной, без винтовок, — на крыльцо. Остальные сидите в избе».

Иван Гора вышел на крыльцо. По толпе человек в четыреста полетел ропот. Кое у кого в руках были здоровые палки, выдернутые из плетня. Иван Гора немного помахал на толпу, будто это был рой пчел:

— Страшать меня станете потом, товарищи. Давайте поговорим.

Поговорить, конечно, нашлись охотники. Ропот утих. Он начал с главного:

— Что такое советская власть? Советская власть — это вы да мы... Мне сам Ленин приказал об этом сказать... А вы что делаете? Выбрали кровавого палача, царского урядника, Гнилорыбова, выбрали кутейника секретарем. Чьи

они агенты? Гнилорыбов живет на дворе у Митрохина, всему свету известного мироеда. Дьякон — его, Гнилорыбова, зять... Вот они чьи агенты, вот кто их поставил в сельсовет. Для чего? А для того, чтобы кулак Митрохин сидел в этом глухом селе царьком да вам бы — кому пудик, кому два, — а вы ему лезть за пудик два пудика, и вы бы у него батрачили, хуже, чем при Николашке Кровавом... Понятно?

— Понятно, понятно, — ответили из толпы голоса.

Иван Гора метнул глазами в ту сторону.

— Не думаю, чтобы вы были такие дураки, товарищи... Не для того мы, питерские рабочие, делали переворот в октябре, чтобы Митрохин с Гнилорыбовым и вся их шатня жрали горячие блины в свое удовольствие, а вы бы... (Тут он начал указывать пальцем на тех, про кого узнал давеча от возчика по дороге.) А вы бы, Иван Васильевич, вы бы, Николай Николаевич, вы бы, Степан Митрофанович, без шапки под их окошком слезно просили — повремените с должником, — «детискама, мол, есть нечего»... Устроили вы у себя советскую власть, ребята, — спасибо...

Он ожидал, — так и вышло: в задних рядах опять начался ропот, злые голоса: «Других ступай учить. Не хуже тебя знаем про советскую власть!» Не давая разгореться шуму, Иван Гора раздул шею — загудел басом:

— Советская власть — «кто не работает, тот не ест». Наша первая и последняя заповедь... Батрак, бедняк, однолошадник — это советская власть... А тот, на кого вы работаете, а он ест, — это враг советской власти...

— Это как так мы не работаем? — бешено закричало десяток два голосов. — Дармоеды пятерские! Грабить приехали! У христиан последний кусок отнимать!

Иван Гора решительно шагнул с крыльца.

— Правильно! Революция послала нас к вам за хлебом. Вооруженные пролетарии, умываясь на фронтах кровью, требуют у вас хлеба. Они, бедняги, умирают, чтобы ваши дети были сыты...

Требуют хлеба не у тех, у кого нет... А требуют у тебя, богатей Евдокимов... У тебя, Третьяков... У тебя, Митрохин... Стойте! — Он поднял руку. Кричавшие сильнее всех, видя, что их недружно поддерживают и к крыльцу не дают пробиться, замолчали на минуту. — Стойте!.. Мы действуем по революционному советскому закону... В силу этого мандата (выдернул из пиджачного кармана, помахал бумажкой)... председателя Гнилорыбова, как скрывшего свою принадлежность к царской полиции, и зятя его, дьякона, арестуем, и они будут преданы революционному суду... В силу этого мандата объявляю на завтра новые выборы в сельсовет... И новый сельсовет произведет справедливую разверстку хлебных излишков... У кого мало хлеба — с того не спросится, у кого много хлеба — тому придется немножко поделиться с революцией...

Иван Гора своротил большой нос, мигнул, и одобрительно засмеялось большинство собрания.

Весь день шумело село, покуда на улице, уходящей черным шляхом в степь, не показалось стадо. Позади садилось широкое солнце, ударяя сквозь пыль низкими лучами по коровьим раздутым бокам. Запахло парным молоком. Заскрипели ворота. Перекликались женские голоса.

Кучки спорящих начали расходиться. Улица опустела. Только у сельсовета еще виднелся народ, — входили и выходили, хлопая дверью. Желтел сквозь ставни свет. Назавтра были намечены удачные кандидаты в предсельсовета и в секретари — бойкие, неглупые ребята — из самых захудалых на селе. Выяснены приблизительные запасы хлеба по кулацким дворам. Казалось — все шло гладко.

Опустела и площадь у сельсовета. Над высоким тополем разгорались семь звезд Большой Медведицы. Конечно, если вслушаться в ночную тишину не городским, а деревенским ухом, можно было бы различить непривычные звуки, например, — далеко в степи конский топот. Но мало ли кому понадобилось скакать среди ночи...

Замоткин, завхоз отряда, раздобыл хлеба, яиц и кислого молока. Комаров, Жилин, молчаливые братья Уйбо и больной цынгой Федичкин (все путиловцы, из одного цеха) поужинали. Иван Гора приоткрыл ставень.

— От этой махорки с души воротит...

Ночь была черная, влажная, тихая. Даже собаки перестали брехать. Лениво принимался шелестеть тополь, заслонивший несколько звезд... Замоткин сообщил, что на дворе роскошный сарай, правда, без крыши, но внутри чисто и пусто...

— Тут бабенка одна вертелась в сумерках: «Не надо ли вам чего, товарищи?». Велел ей соломы принести.

— Бабенка вертелась? — удивленно спросил Иван Гора...

— Своя вполне, товарищ начальник. Я к ней ведь не сразу, а с подозрением: «Ты что, говорю, тут нюхаешь, толстенная? Может, баню истопила?».

— Вот дурной! — Иван Гора захохотал, топая сапогом. — Ну как, ребята, в сарай пойдем?

Все согласились, что обстановка не внушает опасений. Все-таки для осторожности решили по очереди дежурить. Захватили остатки хлеба, портфель, винтовки, пошли в сарай. Здесь, действительно, было хорошо, прохладно, пахло свежей травкой, растущей у порога широких, щелястых, покосившихся дверей.

— Замоткин, ты как же — так ее в лоб и спросил про баню?

— Ага. Думаю: ну как скажет про баню — сейчас арестую...

— Умора!..

Иван Гора закрутил головой. Начал стягивать сапоги, но подумал: не стоит, пожалуй. Один из братьев Уйбо взял винтовку, пошел к воротам. Семь человек легли на жиденькую соломенную подстилку, и тут же — кто ровно задыхался, кто начал посвистывать носом...

Иван Гора еще слышал, как Уйбо, видимо, соскучась стоять у ворот, сел на бревна — тяжело прислонился снаружи к доскам сарая. Над головой смутно темнел переплет стропил, горели большие донские звезды.

Внезапно Иван Гора, не разлепляя глаз, привстал: показалось, что в стену

сарая ударили чем-то, будто застонал человек. Но проснулся Иван Гора от раздирающего треска повалившихся дверей, от звериного вопля. Вскочил, протянул руки. Кто-то кинулся на него, остро воняющий потом, — бешено обхватил, ломая, и сейчас же ударили лезвием вскользь — мокро — в голову.

3

Первый Луганский отряд, когда обнаружилось, что красные под Конотопом разгромлены, отступил от Ворожбы на юго-восток, на станцию Основа, под Харьковом.

В Харькове шла торопливая эвакуация рабочих отрядов, военного имущества, машин, заводских материалов. Уезжал и Совет народных комиссаров Донецко-Криворожской республики — большевистское правительство Донецкого бассейна.

Когда началось наступление немцев, председатель правительства — Артем — послал ультиматум императору Вильгельму, где предупреждал, что в случае нарушения границ Донецко-Криворожской республики, которая никакого отношения к Украине не имеет, республика будет считать себя в состоянии войны с Германией.

Этот документ на четвертушке бумаги, со смазанным лиловым штампом, был доставлен главнокомандующему наступающих германских войск генералу Эйхгорну. Три раза переводчик читал генералу удивительный документ. «Это шутка? — спросил генерал. — Господин товарищ Артем — чорт возьми! — считает себя в состоянии войны с Германией». Секунду генерал колебался: лопнуть ли от возмущения или, схватившись за ручки кресел, захохотать до слез...

Но, так или иначе, Донецко-Криворожская республика считала себя в состоянии войны с германскими оккупантами. Правительство переехало в Луганск и вместе с украинскими красными силами прилагало все усилия, чтобы не пустить немцев в районы заводов и шахт Донбасса.

Силы были не равны. Остатки пяти красных украинских армий, присоединившиеся к ним партизанские и спешно формируемые рабочие отряды не насчитывали и двадцати тысяч бойцов.

Под давлением батальонов I германского корпуса красные отступали восточнее Харькова на линию, идущую с севера на юг. (На севере, в Валуйках, располагалась 5-я армия под командой Сиверса, в Изюме — Донецкая, в Лозовой — 3-я, под Синельниковым — 2-я, на юге, в приазовских степях, восточнее Александровска, — 1-я армия.)

По магистрали Харьков — Луганск (между расположением 5-й и Донецкой армий) происходила эвакуация Харькова. Здесь, не теряя ни одного дня, нужно было создать сильную и стойкую группу.

Ядром для нее мог послужить Луганский отряд Ворошилова, стоящий на этой магистрали на станции Основа. В него был влит Харьковский коммунистический отряд под командой Лукаша. К нему было решено присоединить бывшую 5-ю армию Сиверса. В него должны были влиться по пути от Харькова до Луганска шахтерские и рабочие отряды. Эта новая группа войск получила название 5-й армии. Командиром ее по решению донецко-криворожского правительства назначался Ворошилов.

На станции Основа Ворошилов начал формирование своей армии. Но события разворачивались слишком стремительно: немцы крупными силами уже подходили к Харькову. Луганскому и Коммунистическому отрядам пришлось отступить со станции Основа к следующей станции — Змиево.

В это время пришло известие, что бывшая 5-я армия Сиверса в Валуйках присоединиться к Ворошилову не может, так как в ней шло полное разложение...

«... Вместо боевого расположения солдаты массами покидают свои участки и ловят рыбу в реке Осколе... Караулы на линии играют в карты и спят... Через фронт идут всякие шпионы... Происходит дикая ружейная стрельба, притупляющая возможность распознавания — где происходит хулиганская трата патронов, а где, действительно, идет бой...».

Из Харькова удалось вывезти все военное имущество. Когда немцы заняли Холодную Гору и оттуда начали стрелять из пушек по вокзалу, когда несколько груженых телег с отчаянным грохотом промчалось к вокзальным воротам, когда на опустевших улицах уже раздавались одиночные выстрелы неизвестно из каких чердаков, — у перрона дымил последний паровоз последнего эшелона.

Задержка была только за тем, что не могли отыскать начальника штаба 5-й армии, молодого человека Колю Руднева, посланного Ворошиловым в помощь инженеру Бахвалову, занятому эвакуацией Харькова. Руднев не спал трое суток и, видимо, где-то свалился. В разбитые окна вагонов с тревогой посматривали бойцы. Машинист кричал с паровоза:

— Шо вы не бачите, мать вашу так, немцы ж мост обошли! Зимовать нам у Харькови!

Бахвалов, стоя у вагона, сердито хрипел сорванным голосом. Снаряды с Холодной Горы рвались на путях. Дымил, разгораясь, длинный деревянный пакгауз. Опухший от бессонницы телеграфист, последним покидающий станцию, отчаянно вдруг замахал от дверей:

— В царском павильоне спит какой-то хлопчик.

В царский павильон нужно было бежать через площадь, где взвивались косматые разрывы снарядов. В пустом малиновом зале, на канцелярском столе, беспечно положив русую голову на локоть, спал Руднев. Его трясали, сажали, — он только мотал головой. Его потащили на руках. Около вагона он растопырил локти, открыл синие глаза, спросил ясным голосом:

— В чем, собственно, дело?

— Чорт, — хрипел Бахвалов, — спишь, немцы мост заняли.

— Прекрасно, иду.

Руднев зевнул. Не закрывая рта, дико оглянулся. Побежал к паровозу. Влез спереди на площадку, где стоял пулемет.

Из всех вагонов закричали:

— Давай полный!

Поезд, набирая скорость, пошел к мосту. Там виднелись люди в касках, в зелено-серых мундирах. Руднев с паровой площадки начал бить по ним из пулемета. Фигуры в зелено-серых мундирах, нагибаясь, побежали с насыпи. Поезд наддал ходу. По вагонам резнула очередь.

Поезд, грохоча на стрелках, закутываясь дымом, сверкая вспышками выстрелов из окон, с крыш, где лежали бойцы, тяжелым ураганом промчался мимо попрятавшихся немцев, с грохотом перешел мост и скрылся за поворотом.

5

Немецкая кавалерийская разведка подорвала мост у станции Змиево и этим отрезала путь эшелонам, эвакуирующимся из Харькова. Когда на выручку с соседней станции вышел бронепоезд, немцы позади него тоже подорвали путь. Харьковские эшелоны и бронепоезд оказались в ловушке.

Из головного эшелона посыпались бойцы Коммунистического отряда — триста харьковских рабочих. Они увидели на холмах за городом Змиевом облако коричневой пыли, — это подходили немцы.

— Смир-р-рна! — во всю молодую глотку заорал, уперевшись в бока и заваливаясь перед фронтом бойцов, румяный молодой человек в туго перегнутой кожаной куртке. — Смир-рна! Шоб вам на пупе нарвало, товарищи! Шо у вас горит под ногами... Стройся!.. Никакой паники! Немцы ж во сне не ждали, шо нарвались на Коммунистический отряд.

Кричал командир Лукаш, ввертывая такие крепкие слова, что бойцы встряхнулись, оживились, вспомнили и строй, и дисциплину.

— Пулеметы вперед! Знамя ко мне!

Он пошел впереди отряда, указывая шашкой на тополя, мазаные хаты и плетни, откуда из канав и водомоин все учащенное стреляли немецкие цепи.

— Под пулями не ложиться!.. Добирайся до штыкового боя, хлопцы!

Отряд рассыпался по городскому выгону. Бежали, не ложасть, как бешеные,

перемахивали через плетни. Ругань и крики покрывали стук пулеметов, обреченных на расплав. Немецкие цепи начали подниматься, перебегать, не принимая рукопашного боя. По холмам, где показались было конные драгуны, ударили с бронепоезда. Всадники на холмах исчезли.

К вечеру путь был восстановлен. Эшелоны двинулись дальше на восток. На станциях и полустанках к вагонам кидались мрачные шахтеры и крестьяне, уходившие от немецкого нашествия. Визгливые женщины просовывали в окна корзинки с домашней птицей, лоскутные одеяла и подушки, подсаживали детей. Иная, обхватив теплую морду равнодушно жующей коровы, голосила сквозь слезы: «Да возьмите ж ее, доброден! Возьмите кормилицу мою!».

Эшелоны пополнялись рабочими и партизанскими отрядами. В Купянске увеличилось количество поездов почти вдвое. Но, когда растянувшаяся на версты вереница вагонов и паровозов начала проходить Сватово, — из степи, с юга, снова показались немцы. На этот раз они подходили крупными силами.

6

Немцы повели наступление одновременно по всему фронту завесы, расположенной с севера на юг. Несмотря на пылкую готовность красных отрядов драться и не пустить врага в сердце Донбасса, обнаружился глубочайший беспорядок в командовании. Штаб главнокомандующего приказывал, — командармы пяти армий действовали по своему усмотрению, согласно местной обстановке и настроению своих отрядов.

Южнее магистралей, по которой шла эвакуация и где формировалась 5-я армия Ворошилова, — в городе Изюме располагалась Донецкая армия, около тысячи штыков. Когда была обнаружена под Изюмом немецкая разведка, командарм Донецкой затребовал подкрепление.

Главштаб послал ему крупный Знаменский отряд. Он подошел в четырех поездах с песнями, гармониками, свистом. Наученный опытом, командарм не

пустил его в город. Отряд выкатился из вагонов и на выгоне перед мостом через Оскол начал митинговать. Попытки внести какой-нибудь порядок и заставить знаменцев занять фронт ни к чему не привели. Они кричали, что сами знают, где и как бить немцев, требовали, чтобы их пустили в город, требовали доставить им командарма на расправу и, наконец, открыли пальбу через Оскол по Изюму. Пришлось вызвать бронепоезд, — под защитой его пушек командарм вывел свою, начавшую уже колебаться, армию из города и отступил на восток.

Знаменский отряд кинулся в эшелоны — пошел колесить по станциям и городам. Изюм был оставлен. Правый фланг 3-й армии, стоявшей южнее под Лозовой, обнажился.

3-я армия в это же время перешла в наступление. Командарм 3-й доносил в Главштаб:

«... Все части армии вышли из эшелонов, и наступление ведется в полном порядке. 3-я армия от имени всех ее отрядов заявляет, что отступления она не признает. Но в армии всего пять тысяч бойцов, резервов нет, правый и левый фланги не обеспечены».

Немцы, теснимые стремительным натиском 3-й, подтягивали подкрепления — бронепоезда, броневики, германскую пехоту и гайдамацкую конницу. Но пролетарские и партизанские отряды 3-й опрокидывали все понятия о непобедимости немцев, продолжали бить и гнать их, захватывая пленных, пулеметы, знамена, пушки, броневики.

Наступление длилось четыре дня без еды и сна. Армия далеко вынеслась вперед линии завесы. Резервы не подходили, и утомленных бойцов нечем было сменить.

Утром девятнадцатого апреля немцы зашли в обнаженный фланг лучшим частям — Ленинскому, Таврическому и 1-му Советскому батальонам, и в то же время германские драгуны прорвали центр. Фланги расстреливались в упор. В этом бою 3-я потеряла половину своего состава. Остатки армии начали отходить под прикрытием Ленинского батальона.

К ночи удалось выйти из соприкосновения с противником. Но от славного Ленинского батальона в живых осталась лишь кучка — десяток израненных, перевязанных тряпьем, упорно разрушихся героев.

2-я армия, расположенная южнее 3-й, также отступала. Ее командарм в отчаянии доносил в Главштаб:

«... Немыслимо быть командующим армией то без войск, то с войсками, которых приходится собирать по крохам везде, где только можно. Такие, ничем не связанные с армией, отряды непостоянны и в первом же бою разлетаются в эшелонах по станциям...».

7

Когда немцы показались у станции Сватово (через которую проходили поезда 5-й армии), там стоял только сборный пестрый отряд Гостемилова. Ворошилов в это время укреплял Луганск, обучал и вооружал отряды, набирал добровольцев из окрестных деревень. На Гартманском заводе день и ночь строили броневики и броневые площадки. Формировали полк из рабочих-китайцев.

В три часа утра немцы двинулись на станцию Сватово. В темной еще степи заворчали моторы броневиков, показались гайдамацкие сотни, различаемые в холодном свете зари. Шли цепи германской пехоты. Степь озарилась длинными вспышками пушек.

Отчаянно завывали эшелоны, продвигающиеся на восток через Сватово. Полетели телеграммы к Ворошилову. Стойкая часть отряда Гостемилова состояла из ста семидесяти бойцов при четырех полевых орудиях. На правом фланге находился партизанский отряд «Молния» с двумя пушками в пульмановском вагоне. На левом — в полуверсте от станции — в окопах лежали два отряда левых эсеров, — у них были тоже две пушки — позади на проселочной дороге.

Когда в свете зари, в орудийных вспышках, обрисовались мчащиеся броневики, — передняя цепь эсеров поднялась и побежала, падая под пулями,

бросая винтовки. Гостемиллов верхом мчался к железнодорожному полотну, к пулеметам.

— Огонь по гадам! — дико закричал он пулеметчикам, указывая на бегущих, и повернул обратно взбесившуюся лошадь. Левые эсеры под двойным огнем с фронта и с тыла залегли позади своих пушек. Паника была приостановлена. Четыре полевых орудия головного отряда, пулеметы с железнодорожной насыпи, пушки и пулеметы из отряда «Молния» были сосредоточены на немецких броневиках и на развертывавшихся позади них гайдамацких сотнях.

Один из броневиков осел, завалился, другой окутался дымом, запылал, третий, как слепой, закрутился и опрокинулся... Гайдамаки поворачивали в степь... С запада, воя, дымя, подходил партизанский эшелон на подмогу. Шесть германских орудий, вспыхивая молниями на окрестных холмах, начали бить по батареям, по станции, по подошедшему эшелону. Партизанский отряд, находившийся в нем, начал было выгружаться, но бойцы заколебались, кинулись по вагонам, и эшелон под огнем бежал.

Поднялось солнце над пыльной степью, над станцией, окутанной дымом пожаров. Немцы били ураганным огнем. У Гостемиллова остались только две пушки и едва половина пулеметов. Эсеровские отряды были уничтожены. Из ста семидесяти бойцов головного отряда в живых осталось меньше сотни. Перебиты были все артиллерийские лошади... Немецкие броневики, гайдамацкие сотни снова двинулись в атаку... Гостемиллов приказал тащить на руках две оставшиеся пушки, грузить на вагонные площадки и, покидая последний вагон с военным имуществом не покинет станции, — держаться...

— Держаться, хлопцы! Кровью умоемся, хлопцы... Не отдадим жабам революционного имущества!

С востока со всей скоростью, выжатой из старого паровоза, примчался небольшой состав. Загрохотав, стал. Из вагонов повысыпались полтора ста бойцов отряда Киселева — из армии Ворошилова.

Тогда, под прикрытием огня двух пушек, погруженных на площадку, и двух пушек из пульмановского вагона отряда «Молния», эти сто пятьдесят бойцов и остатки отрядов Гостемиллова и «Молнии» — почти все раненые, оглушенные, контуженные — бросились в штыковую контратаку и во второй раз опрокинули немцев и гайдамаков.

К двум часам дня Гостемиллов, увозя все имущество и остатки артиллерии, отступил на восток, на станцию Кабанье, куда уже подходили из Луганска эшелоны Ворошилова — две тысячи бойцов, без артиллерии.

8

Гостемиллов, с взерошенными усами, с обвязанной головой, ворвался в вагон командарма. Ворошилов и Коля Руднев сидели в салоне над картой.

— Чорт! — закричал Гостемиллов. — Уткнули носы. Приказывай наступать!

Щека у него дергалась, глаза, горевший бешеной злобой, поминутно закрывался веком, будто месяц облаком.

— Чорт! К вечеру мы их расколошматим! Мясорубку им устроим, чорт!

Он выбрасывал руки, топтался по маленькому салону. От него резко пахло потом, порохом...

— Сядь, — сказал Ворошилов. — Кури. Успокойся. Я послал разведку в Сватово. Обстановка очень серьезная.

— К чорту серьезную обстановку! Какой ты, к чорту, командующий! Наступать! Вот тебе вся обстановка! — Он дико взглянул на Руднева. — Кто это у тебя? Начштаба? Дай-ка, начштаба, спирту полстакана... Сдохну, чорт!

Гостемиллов внезапно опустил забинтованную голову в чумазные руки, лежавшие на столе. Заскрипел зубами. Ворошилов глазами показал Рудневу — принести спирту. Встал. Наклонившись, положил руку на вздрагивающую спину Гостемиллова.

— Поди ко мне в купе. Ляг. Хватит с тебя на сегодня.

— Ах, сукины дети, сукины дети! — сквозь зубы повторил Гостемиллов. — Что они с нами сделали... Нет! (Отки-

нулся, стукнул кулаками.) Гайдамаки! Гады ползучие! Ох, я ж их сам, этими руками из пулемета...

Потянув спирт из стакана, задрезавшего о зубы, сразу затих, щека перестала дергаться, глаза остеклянели. Ворошилов опять сел за карту, сказал негромко, строго:

— Дела такие. Донецкая армия отступает, рассыпалась. В каком состоянии Сиверс в Валуйках — узнаю вечером. Но всего вероятнее — Сиверс будет отходить на север. Главшtab настойчиво требует, чтобы я взял обратно Сватово. Я выполняю боевой приказ. Но я не сомневаюсь, что мы уже в мешке: завтра-послезавтра придется отступить на Луганск. И, вероятнее всего, отдадим немцам и Луганск. Смотри на карту... Вот они где...

Гостемиллов уставился остекляневшими глазами на то место, где на карте — юго-западнее Луганска — твердый ногой командарма провел черту.

— Немцы выходят к Дебальцеву... Отсюда удар по станции Лихой, и путь отступления нам — заперт... (Костлявые плечи Гостемилова поднялись до ушей.) Главная задача — сохранить живую силу и военное имущество... Мы отступим, но мы вернемся уже не с партизанскими отрядами, — с армией... Давать расстреливать себя по частям, в эшелонах, — это не игра... Понятно тебе?

9

Карасихин Алешка, закидывая волосы, босиком катил по улице к ионинскому двору. Во время перемены он бегал из школы в совет, — где теперь служила Марья в отделе агитпропа, — и мамка велела одним духом отнести Агриппине только-что полученное письмо, сплошь залепленное марками.

На улице было пустынно, — народ работал в поле. Только у одного кирпичного дома визжали верховые лошади, привязанные к тополям. Алешка перелез через забор, нашел Агриппину в вишеннике, — она окапывала деревья. Агриппина поправила мокрые волосы под платок, молча взяла конверт с хвостом марок.

— Я по-писанному не разумею, — сказала тихо. — Почитай.

Она села на распиленный ствол старого тополя, обхватила колени. Черные брови ее сошлись, и лицо побледнело, когда Алешка, сидя перед ней на корточках, читал с запинкой:

«Здравствуйте, Агриппина Кондратьевна, как вы живы-здоровы, часто о вас вспоминаю. Думал увидеться с вами раньше, но произошла задержка. Теперь все обошлось, — рана на моей голове заживает, и ребра срослись. В селе Константиновке нас, весь отряд, убили кулаки, — ночью в сарае зарубили топорами. Один я остался жив и дивлюсь этому до сих пор, — какая мне бабка ворожила? А вернее, что очень не хотелось умирать. Меня отвезли в Миллерово, в лазарет, — в Константиновке я просил не оставлять: кулаки бы меня там — исхитрились — все равно бы добились... Жалко товарищей: были смелые, преданные люди, еще таких не найдешь... Очень хорошие были люди, и погибли зверски. Виню первого себя в ослаблении бдительности... Теперь — поправляюсь — мы с константиновскими кулачками поговорим сурьезно. До свидания, Агриппина Кондратьевна. В лазарете делать нечего, — все думаю о вас, извините меня... Кланяюсь вам. Иван Гора».

Алешка поднял глаза. Агриппина сидела, опустив веки, — губы у нее были синие и лицо посинело. Алешка испугался, осторожно положил ей на колени письмо и конверт с марками, потихоньку выбрался из вишенника и на улице опять запустил, закидывая волосы, — ему казалось, что он — конь, он даже про себя повторял: «И-го-го».

Около полей, где были привязаны лошади, угрюмо стояли Андрей Косолапов и Вахрамей Ляпичев — фронтовики.

Тяжело хлопнув калиткой, к ним вышел третий... (Алешка про себя сказал: «Тпру», топнув пятками, остановился — поглядеть.) Третий был Аникей Борисович, — шел, поваливаясь могучими покатыми плечами, как медведь, — круглолицый, медный, заросший закудрявившейся щетиной.

— Ну и власть у вас, казаки, — густо, как колокольная медь, сказал Аникей Борисович, — только и ждут вас продать. — Он отвязал лошаденку, пригнувшись, когда сел на нее. Фронтвики тоже отвязали коней, сели.

— Теперь, казаки, айда — по хуторам.

Все трое тронулись рысью. Алешка глядел, как под копытами завилась пыль. Андрея Косолапова веселый конь, сбиваясь на скок, все норовил теснить задом лошаденку Аникея Борисовича. Казаки завернули за угол. По улице торопливо шла Агриппина, полоща по коленкам линялой юбкой.

— Алеша! — позвала она, задыхаясь. — Куда же ты? — Схватила его за плечо. — Почитай еще... Там, может, еще сказано... — И, нагнувшись, глядела на него матовыми зрачками.

— Нет, я все прочел, Гапка...

— Потрудись, прочти сначала...

Из-за речки Чир донеслись отдаленные выстрелы. Снова раздался конский топот. Из-за угла опять показались Косолапов и Вахрамей Ляпичев. Они, как бешеные, промчались по улице к совету. Через минуту проскакал и Аникей Борисович — не сворачивая — прямо по дороге, что ведет по-над Доном в сторону станицы Пятиизбянской.

Агриппина проводила до степановой хаты Алешку и Марью, убежавшую без памяти из совета, кинулась искать маленького, — худая голенастая собака озабоченно повела ее в огород, где Мишка, испугавшись выстрелов, плакал под вишней.

Прибежал и Степан Гора с поля. Запер двери в сени, сел сбоку окошка — так, чтобы видеть улицу.

— Суворовские, — сказал он, — сурьезные казаки. Две, а то три сотни налетело... И ведь белым днем!.. Значит, была у них здесь рука...

По станице хлестали выстрелы. Улица была мертвая. Вдруг по улице понесся, помогая себе крыльями, петух. Степан наморщил лоб. Марья — заботливо — ему:

— Отошел бы ты от окошка, Степан.

Вслед за обезумевшим петухом промелькнул мимо окна верхоконный — пригнулся к гриве стелющегося коня. Раздались выстрелы — близко, будто за углом дома. Мишка кинулся в мамкины колени. Агриппина, стоявшая у печки, сказала:

— Уйдет. Это Петька Востродымов, секретарь ревкома... Конь у него добрый...

Десять бородатых казаков, с лампасами на штанах, с погонами на узких черных мундирах, проскакали вслед, высоко стоя в седлах, неуклюже и тяжело махая шашками...

— Суворовские снохачи, — опять сказала Агриппина. — Курошупы.

Степан усмехнулся, качнул головой:

— Держись теперь, — начнут пороть хохлов...

Алешка не испугался ни выстрелов, ни всадников с шашками, но когда Степан выговорил: «начнут пороть хохлов», — у Алешки затопило под ложечкой, подошел к Агриппине, прижался к ее каменному бедру.

Улица оживала. Хлопали калитки, выходили за ворота пожилые казаки, переговаривались, не отходя все же далеко от ворот. Нанюсенок степановой хаты вышел Иона Негодин — в полной форме, при шашке. Воротник давил ему шею, сухая кудреватая борода отдавала вороньим блеском. Задирая бороду, наливаясь кровью, крикнул соседу:

— В добрый час!

Сосед ответил:

— Час добрый... Давно пора кончать с этой заразой.

— Стоял Дон и стоит Дон! — гаркнул Иона. — Коммунистам нашего куска не проглотить...

Казаки у ворот вытянулись. Иона, сверкая зубами, синеватыми белками глаз, лихо приложил пальцы к заломленной фуражке. По улице на рысях шла сотня. Впереди поскакивал длинный офицер с большими светлыми усами, в белой черкеске с серебром, в белой мерлушковой шапке. Строго, зорко поглядывал на стороны, сдерживая танцовавшего вороного жеребца, отдавал честь казакам.

— Мамонтов! — ахнул Степан. — Держись теперь...

На Крестовоздвиженской площади, между белым собором и кирпичными, побеленными известью, лавками, несколько сот нижнечирских добрых казаков — все в форме, при шашках, с широко расчесанными бородами — слушали генерала Мамонтова. Казаки стояли пешие, он говорил с коня, которого, важно надув губы, держал под уздцы Гаврюшка Попов.

В первом ряду стояли важно члены станичного совета: председатель — шуплый, седенький Попов, секретарь — дьякон Гремячев — рыжий, воинственный мужчина в шнурованных по колена австрийских штиблетах, и навывятку — по всей форме, в усах кольцами — Гурьев...

Мамонтов, уперев руку в бок и другую — со сверкающим перстнем — то воздевая к синему небу, то протягивая к «доброму» казачеству, говорил со слезами:

— ... Видно, плохо жилось вам, казаки, при безвинно замученном государе нашем? Тяжела была казацкая служба? Обмелел тихий Дон? Или похилились казацкие хаты, опустели закрома, захирели табуны станичные? Продали своего государя... Продали церкви божины... Продали казачью волю. Щелкоперы, социалисты, коммунисты московские сели на казацкую шею... Что ж, погуляли, казаки, отведали революции? Не будет ли? — Он повел выпученными глазами на станичников, — они молчали, потупясь. — Теперь я вам скажу, что умыслили сделать над вами московские коммунисты... Умыслили отобрать весь хлеб на Дону, угнать станичные табуны. Исконную казачью землю отдать хохлам... И вас отдать хохлам и жидам в вечную неволю... Опомнитесь, казаки!.. Еще не поздно... Еще востра казацкая шашка...

Сопели, багровели, слушая его, казаки. Он грозно повернулся в седле — указал:

— В пятидесяти верстах — Царицын, большевистская крепость. Не быть сердцу Дона казачьим, покуда Царицын

у них в руках. Станица Суворовская, станицы Нижнечирская и Пятиизбянская, и Калач, а за ними другие станицы и хутора, восстав за волю родного Дона, должны сформировать полки и взять Царицын в первую голову... В моем лице славный атаман Всевеликого войска Донского — генерал Краснов — вам кланяется на этом... (Мамонтов сорвал белую мерлушковую шапку и низко с коня поклонился на три стороны. Казаки сочувственно зароптали.) Предлагает вам атаман мобилизовать немедленно на защиту родного Дона всех способных носить оружие казаков и иногородних от двадцати до пятидесяти лет. Предлагает немедленно и сейчас же развернуть 23-й и 6-й донские казачьи полки и к ним присоединить мобилизованных. Уклоняющиеся от мобилизации подлежат аресту и наказанию розгами... Казаки, обдумайте, не теряя часа. Вынесите мудрое решение. От себя прибавлю: верю, господа, верю, — да будет стоять нерушимо тихий Дон. Наперед видя ваше решение, казаки, низко вам кланяюсь: спасибо. И особое спасибо моим золотым орлам...

Генерал в другой раз поклонился казакам и особо — бывшим членам станичного совета.

Возвращаясь пеший с казацкого собрания, Иона Негодин вдруг остановился у степановой хаты, подошел и, вплоть прижимаясь бородой и носом к стеклу, глядел, прищуриваясь. Степан отворил окошко.

— Заходи, Иона Ларионович, что ж ты так-то...

Не отвечая, Иона всунул в окошко всю голову.

— Гапка здесь?.. Здесь Гапка... И днем она здесь, и ночью она здесь...

— С маленьким все возится, — примирительно ответил Степан.

— За эту работу я ей жалованье плачу, я ее кормлю, я ее пою? Это какой обычай — казацкий или хохлацкий?

— Хохлацкий! — громко сказала Агриппина. Хлопнув дверью — вышла. Иона глядел ей на спину, когда Гапка наискосок переходила улицу. Опять влез головой в окно...

— Ты девку учишь так отвечать? Еще увижу у тебя ее на дворе, — горло перекушу, мать твою!..

Иона скрипнул зубами, выпятил губы. От него пахло водкой.

— Запомнил?

— Пойди с богом, Иона Ларионович...

— А эта... — Иона перекатил глаза, налитые злым озорством, на Марью, сидящую у печи. — Питерская... Как тебя — жена, любовница? Как нам понимать?

Марья раскрыла рот — ахнула. Степан нахмурился.

— Напрасно набиваешься на шум, Иона Ларионович, — не хочу я с тобою драться...

Иона обрадовался, закинулся, захотал. Опять всунулся в окно по плечи.

— Коммунистка! Не укроешь, Степан, ничего из твоего дела не выйдет... Ух, ты, стерва! (Опять выпятил бороду.) Агитпроп!

И он быстро увернулся, выдернув из окна голову, когда Степан махнул кулаком. Оправив ременный пояс, угрожая, проговорил:

— Готовь на завтра коня, — мобилизация.

Агриппина сводила коней на Чир, напоила коров, загнала кур в плетеный, обмазанный глиной, курятник, принесла ведер тридцать воды на огород и не знала — чем бы еще заняться, только не итти в хату, где Иона, не зажигая огня, сидел за столом, курил папиросы (подарок Мамонтова казакам)... Хотя уже плохо было видно, — сумерки, — Агриппина отворила дверь сарая, сняла с деревянного гвоздя рваный хомут и села на пороге чинить его.

Низко нагибаясь, она протыкала длинным шилом кожу, зажав хомут сильными коленями, тянула дратву. Две летучие мыши появились в тускнеющей заре, закружились — все ниже и ниже — над головой Агриппины.

«Кому теперь жаловаться? У кого искать защиты? Брат Николай — далеко на фронте. Была бы еще казачкой — все-таки постыдились бы. Хохлушка, девка, сирота — легкая добы-

ча...». Станичников, да еще таких, как Иона, она знала: теперь от них ногтями, зубами не отобьешься... «Убежать? Куда бежать из родной станицы?».

Подняв голову, Агриппина с тоской глядела на зарю, меркнущую за вишневыми сучьями. Мыши мягко взмыли, кружились выше над ее головой.

Она вспомнила, беззвучно шевеля губами, от слова до слова письмо Ивана Горы. Тайно уехать к нему в Миллерово? Сурово спросит: зачем прибежала? За седлом тебя, скажет, таскать неумелую, глупую, слабую? Нет, скажет, Гапа, понадобиться — сам позову. Ведь не пожалуешься, что убежала от дикого девичьего страха, глядя сегодня на багровые казачьи затылки, что подкосились ноги, — почувствовала себя ярочкой среди волков.

Агриппина, не моргая, всматривалась в сумерки, крепче сжимала колени, — когда за воротами раздавался озорной топот подкованных сапог, хмельные, крепкие казачьи голоса. И совсем обмерла от внезапного шороха листвы: кошка прыгнула с забора в вишеник...

В хате рванули дверь, на двор вышел Иона — в одной рубашке, заправленной в штаны с лампасами. Расставив ноги — справил нужду. Пошел, нетвердо отворил калитку. Слушал, как издали долетал не то собачий вой, не то кричал человек...

— Порют, — сказал. — Порют...

Пошел, тяжело топая, от ворот, гаркнул хриплой глоткой: «Чубик, чубик, вейся, чубик, веселись, казак молодой...».

Вдруг стал, увидев мутно белеющее агриппино платье в раскрытых дверях сарая.

— Гапка! (Она не подняла головы, — едва видя, тыкала куда-то длинным шилом.) Гапка! — надрывающе повторил Иона. — Брось это... Давай добром... Знаешь, время теперь? Война... Собачьи ревкомы, советы — под корень... — Он медленно, бешено стиснул кулак. — Шашки наточим, коммунию — под корень... Эх ты, ярка!

Он тяжело плюхнулся на порог казачьей станицы. Царапая сапогами по земле,

схватил Агриппину за плечи — поворачивал к себе лицом. Трудно дышал, обдавая ее горячим дыханием чеснока и водки. Агриппина рванула плечи, но руки у него налились, точно каменные, — разинутыми ноздрями тянул воздух.

— Добром, добром, сука...

Боролись молча... Он только раз опустил руку, чтобы отшвырнуть хомут, зажатый в гапкинских коленях...

— Отправить если тебя на хутор, Марья, — ничего не выйдет... По всем хуторам, поди, верховые уже полетели с этой бумагой... (Степан читал и перечитывал отстуканный на машинке приказ нового станичного атамана о свержении советской власти и мобилизации.) Одна тебе дорога — в Питер...

— Нет, — твердо ответила Марья, — туда — нет.

— То-то, что нет... А тут бы все-таки поприсмотрела... Корову надо выдти утром, вечером... Птицы, поросята — пропадут. Ах, боже ж ты мой, расстройство полное... Сходи к атаману, покажи пачпорт, беспартийная же...

— Нет, — опять ответила Марья упрямо, — и царю не кланялась...

— Никто тебя здесь не тронет, — сиди смирно...

Степан быстро придвинулся, приоткрыл окошко. Слушал, не шевелясь. На сереющих стеклах уныло чернел его большой нос, отвалившаяся губа...

— Другой кричит... Порют, сволочи... Ну вот, — ты говоришь, — как я не мобилизуюсь. Запорют шомполами... Брательник Иван — другое дело... Ванька — образованный, он не может итти против совести... А я за что им зад подставляю?

— Пойдешь Ивана убивать? — тихо спросила Марья (сидела она все там же — на скамье у печки).

— Как так — Ивана убивать?.. Одурила ты...

— Против кого тебя мобилизуют? Против своих же рабочих.

— Ах ты, боже ж ты мой! — Степан с досадой захлопнул окошко. — Вот всегда вы так — образованные... Наш брат — покуда подумает, — а

уж все и сделано... Ну, плохо сделал, ну — ах, ах. А вам все надо наперед примерить, у вас, городских, времени, что ли, много?.. Куда же я денусь от мобилизации? В степь убежать? Чего я там — сусликов буду ловить?

Марья — все так же негромко, не спеша, ответила:

— Ты — не один, ты да другой... Знать надо — кто тебе враг, кто тебе друг... Ты при советах — жил?..

— Ну, жил...

— А при атамане — снимай портки...

— Фу ты, с бабами говорить — воду толочь... Да куда же я денусь?

— Мобилизуйся... Таких, как ты, у них — тысячи... Каждая пуля дана для рабочего... Будете это твердо помнить, — атаманы много с вами не навоюют...

— Ну и — дура! Стрелять-то заставят?..

— Попадать не заставят...

— Да, это, конечно, — стрелять одно, попадать другое... Ах, Марья... Ай, Марья... То была молчаливая, прямо — овца. И — скажи — как разговорила.

Он охал и пожимал плечами, вертясь задом на лавке.

Дверь потянули снаружи. Степан и Марья обернулись. Вошла Агриппина и тут же, у дверей, села на дощатую койку, где спали Алешка и Мишка. Торопливо, брезгливо положила что-то рядом с собой на край койки. По другую сторону двери над глиняным тазом висел рукомойник — с носиком. Агриппина глядела на него... Стремительно поднялась, вымыла руки, вытерла их о подол и снова села, низко опустила голову.

Марья молчала, вытянувшись, смотрела на девушку. Едва различимое, белое лицо Марьи все будто затряслось. Агриппина вскинулась, схватила то, что принесла с собой, бросила на пол, и опять к рукомойнику, — начала во второй раз мыть руки. Ее поднятые плечи вдрагивали. Степан нагнулся со стула и поднял то, что она принесла и бросила на пол: оказалось — шило, к деревянной ручке его прилипали пальцы. Марья глядела теперь на руки Сте-

пана, вертевшего эту вещь. Будто догадавшись, она взялась за щеки, со стоном — ахнула громко... Агриппина — на койке — замотала головой. Степан разинул рот.

— Ты чего натворила, Гапка?

Агриппина ответила хрипло:

— Иону... убила...

— Иону? Да — врешь? До смерти?

— Не помню... Ничего не помню...

Марья быстро села рядом с Агриппиной, обняла, прижала к груди ее голову. Девушку всю трясло, как голую на ледяном ветру.

В ту же ночь Агриппина ушла. Марья собрала ей из своего белья узелок, подарила — хотя и жалея — совсем не ношенную полушерстяную темнорядовую юбку. Агриппинина юбка была вся изодрана, когда Иона в дверях каретника ломал девку и она, теряя силы, почти без памяти, почувствовала в руке зажатое шило и стала колоть им в часто дышащую грудь Ионы.

В потемках, шопотом, она сказала Марье:

— Противно мне, тошнит меня, лучше я голая уйду, а эту юбку, кофту в кровинке — брошу.

Тогда Марья ей и подарила бордовую юбку. Степан тоже одобрил: «Конечно, от такого страшного дела тебе надо уходить подальше, — садись в Чиру на поезд, уезжай в Луганск, в Каменскую или в Миллерово... Работу найдешь, пачпорт у тебя не спросят...».

Агриппина ушла огородами. На рассвете свернула с дороги к извилистой, еще гаящей ночную мглу, речонке Чир, в кустах сбросила рваное платье. Долго, крепко терла все тело мокрым песком. Присев, окунулась в студеною воду и, — свежая, — встряхивая влажными волосами, опять пошла по дороге к станции Чир.

10

Минуло три дня, как убили Иону. Сбежавшую Агриппину не нашли: время было такое горячее, — поспрашали на хуторе и бросили. По станциям и хуторам скидывали советскую власть. Ло-

вили коммунистов на огородах, на сеновалах, охотились за ними по степям. Первые отряды формируемой Мамонтовой белой армии уже перестреливались через Дон с отрядами царицынских рабочих. Топили лодки и разбивали паромы на той и другой стороне.

Из станции Пятиизбянской, по дороге, что идет над Доном, потом спускается с бугров, оставляя влево большой железнодорожный мост, а справа — хутор Рычков и дальше — станцию Чир, — шагом ехала телега об одну конь. У колес понуро шагали безусые казачата — кто в городском пиджаке, кто в рубахе, но все в новых, синих с красным околышем, фуражках. Их было четверо, с винтовками. Пятый сидел бочком, задевая пятками спицы колеса, — понукал вожжей мокрую лошаденку, едва вывозившую телегу из песка.

В телеге на соломе лежал Аникей Борисович. Круглое лицо его было раздутое, синее, в лепешках запекшейся крови, глаза затекли, губы разбиты, голова обмотана грязной, в кровавых пятнах, тряпкой. Руки скручены ремнями вожжами.

Когда дорога свернула на равнину, падающую к станции Нижнечирской (отстоящей от станции на шестнадцать верст), — на западе, на Лисинских предгорьях, замаячили всадники — трое, и еще к ним из балки выскочили двое. Всадники стояли неподвижно. Телега остановилась. Казачонок испуганно соскочил с нее, подошел к товарищам, и они стали глядеть на далеких всадников, бестолково перекидывая винтовки из руки в руку...

Тогда Аникей Борисович тяжело приподнял плечи, лег на боковину телеги. На месте заплывших кровоподтеками глаз у него обнаружили щелки. Набрав в могучую грудь воздуха, — захрипел:

— Пить дайте...

Один из казачат молча подошел к передку телеги, вытащил из-под подстилки бутылку с теплой водой, поднес ее к распухшим губам Аникея Борисовича. Напившись, он с трудом проговорил:

— Егор, — ты, что ли?

— Я, Аникей Борисович.

— Не стыдно тебе?

— Батяка мой велел тебя везти. Сам его знаешь, — как мне послушаться?..

Другой из казачат, в большом картузе, задирая худошавое нежнорумяное лицо, чтобы лучше видеть из-под надвинутого козырька, со злобой сказал:

— Ну — чего? До ночи тут стоять? Егорка, трогай...

Егорка взял вожжи, дергая и понукая, пошел сбоку колеса. Всадники, повернув, шагом двинулись по бугру в том же направлении.

— Ребята, — сказал Аникей Борисович, — получаются такие дела: лучше вы меня отпустите.

— Молчи! — крикнул казачонок в большой фуражке.

Аникей Борисович повесил голову, тяжело дышал, охал, когда телегу встряхивало. Но сквозь щелки глаза его зорко оглядывали и всадников, и степь, и лица казачат.

— Хорошего мало, — опять сказал он. — Это разведчики на Лисинских высотах. Если белый раз'езд — я помру. Если красный раз'езд — вы помрете. Чего же хорошего?

Телега опять остановилась. Казачата шопотом начали совещаться.

— Ох, ребята, рвется у меня все внутри... — Аникей Борисович с трудом сел в телеге. — Ребята вы молодые, донские. Не какие-нибудь с верховых овражков паучишки, кто и Дона-то не видал, — пятиизбянские казаки! Ох, ох... Чего хорошего, — пойдет про вас слава, что возили в Суворовскую казнить известного казака... Запоют казачки по всему Дону славу про пятиизбянских... Если били меня вчера — так били старые казаки... Один старчище: меня бьют, а он стоит — привез пакет от Мамонтова — и приговаривает: «Не будешь, Аникешка, царя прогонять, не будешь...». Вот какие монархисты меня били... А из молодых никто не посмел близко подойти... Значит, это наши дела — старших... А вам лучше всего: развяжите мне руки, и я пойду с богом... А вы скажите: ло-

шадь вдруг полыхнула по балке, телега опрокинулась, а он и удрал.

Двое из казачат начали как будто склоняться, двое молчали, отвернувшись. Аникей Борисович засопел:

— С Ваняткой моим вместе, чай, играли?.. Ванятка бы мой да вашего отца повез казнить... Куда бы он глаза потом спрятал?

— Отпустим его, ребята, — глухим голосом сказал казачонок Егор. Другой, в большой фуражке, схватил вожжи, стегнул лошаденку. Никто за телегой не пошел, и он бросил вожжи. Телега опять остановилась.

Казачатам было по пятнадцати-шестнадцати лет. Атаман Пивоваров, избранный четыре дня тому назад, после того как старые станичники разбили пятиизбянский ревком и совет, велел им отвезти Аникея Борисовича в Суворовскую и сдать под расписку самому Мамонтову. Пригрозил военным временем.

Казачата, действительно, только издали глядели, как их отцы и другие казаки с кольями и вилами прибежали на площадь, где Аникей Борисович матерно ругал атамана Пивоварова. Ругал он его за приказ — разбирать железнодорожный путь от моста до станции, — сколько возможно будет, — растаскивать по дворам проволоку, семафоры, железо всякое. «И рельсы берите, — приказывал атаман, — на что нам дорога, у нас вола и кони, без нее Дон стоял и будет стоять, а дорога нужна московским коммунистам — хлеб у нас грабить...».

Аникей Борисович за это ругал атамана, и многие понимали, что правильно. И он еще кричал: «Мобилизацию об'явили. Ну, и пускай идут воевать, кому не надоело, а мы и германской войной сыты по горло...».

Тогда-то старые казаки и кинулись к нему, крича: «Мобилизацию разби-ваешь, пес, коммунист!». Начали рвать на нем рукава и рубаху. Казачата видели, как он валил по-двое, по-трое, казачок, пробиваясь к своему дому. Изловчась, его огрели колом по голове, он упал на колени, и тут его били каблу-

ками, и камнями, и кольями, покуда он перестал шевелиться...

— Руки мне развяжите, — сказал Аникей Борисович, — я бы кровь высморкал...

Егор положил винтовку и уже начал раскручивать ему руки, — в это время издалека, со стороны моста, торопиво зашипел снаряд, гулко ударило орудие, и над головами всадников на Лисинских холмах лопнуло белое, как вата, облачко. Всадники повернули коней и скрылись в балке.

Аникей Борисович и казачата знали, что у моста со вчерашнего дня стояла белая батарея. Казачонок в большом картузе решительно схватил вожжи и, нахлестывая лошаденку, побежал сбоку телеги. Аникей Борисович сполз на солону. Телегу валяло. Распухшее лицо его моталось, как мертвое.

Выехали на плоскую равнину. И тогда — показалось совсем близко — сзади, со стороны станции Чир, рывкнула пушка и — только моргнуть — другая, — так свирепо и гулко, что лошаденка споткнулась, казачата отскочили от телеги. Аникей Борисович вскинулся.

— Стой! — заревел, раздирая веки. — Стой, сволочи! То — красные! То Яхим подкатил на Чир! Пустите меня!

Снова удар со стороны моста и удар со стороны Чира. Шагах в ста от телеги рвануло землю. Аникей Борисович вцепился зубами в ремни на руках своих. Казачата, одурев от страха под перекрестным огнем белых и красных, бежали за телегой. Лошаденка неслась вскачь по дороге к Нижнечирской.

Когда вехали в станицу, Егорка, едва не плача, сказал:

— Аникей Борисович, в Суворовскую не повезем, здесь тебя сдадим под расписку, бог с тобой...

У станичного управления, покуда принимали под расписку, Аникей Борисович лежал, не шевелясь, зажмурясь. По голосам казаков, столпившихся у телеги, узнавал знакомцев, запомнил все:

«Не доби́ли собаку, жалко, жалко», — это пропищал Попов. Кто-то ткнул в голову, в окровавленную тряпку, и голос Гремячева прогудел: «Хотел

быть красным, теперь ты красный... Хо-хо!..».

Аникей Борисович лежал, как труп. Пришлось стаскивать с телеги. Подхватив его семипудовое тело, поволокли через двор к развалившейся избенке. (Все подвалы и сараи на атаманском дворе были забиты пленными.) Бросили на пол, приперли снаружи дверь.

Аникей Борисович некоторое время прислушивался. Начал зубами передать ременные вожжи. Освободил руки, встал, шатаясь. Потрогал лицо, голову, ребра. Нагнувшись — отсморкал кровь. Стало легче дышать.

Два окошечка без рам были забиты снаружи горбылями. Сквозь щели в них был виден заброшенный огород с гнилыми стеблями подсолнуха и помидор. Там показался небольшой мальчишечка, со светлыми височками. Погоня себя прутиком, он бесился по-лошадному: «И-го-го...». Подпрыгивая, подходил все ближе. Аникей Борисович постучал в доску ногтем. Мальчишечка сейчас же подбежал, влез на окно, прижался к щели между горбылями. Увидев в потемках черное, раздутое лицо, — испугался. Аникей Борисович, подманивая его, разлепил разбухшие губы, — мальчонка шарахнулся. Поглом все-таки опять влез.

— Сынок, ты чей?

— Питерский, Алешка.

— Марьян сын? Это — радость! Ну, малый, выручай меня.

— Ху, дядя, — сказал Алешка, поблескивая глазами, — кто это тебя так отдала?

— Белые казаки, брат.

— А ты им тоже, чай, понакал?

— Само собой... Ну-ка, лети скорей к Степану. Скажи: Аникея Борисовича избитого привезли.

— Дядя, а ведь Степана взяли сегодня...

— Ай, ай, — проговорил Аникей Борисович, — плохо наше дело. Тогда тебе придется... Ты смелый?

— Ничего, смелый. Одних пауков боюсь.

— Ну? — Аникей Борисович присел и отчетливо шопотом стал говорить: — Лети, Алексей, на станцию

Чир. Там увидишь эшелон с бойцами — Морозовский отряд... Тебя, конечно, остановят. Может, стрелять будут, — ничего не бойся... Возьми у мамки белый платочек и помахивай... Тебя схватят: «Кто? Куда? Зачем?». Ты говори: от Аникея Борисовича посол. Вели себя вести к начальнику, Яхиму Щаденко... Ему, видишь, дали знать, что здесь казаки поскидали советы, он и прибыл... Яхиму скажи: самое позднее — завтра утром — Аникея Борисовича будут расстреливать. Яхим, верно, пошлет бойцов меня выручать, ты их прямо веди сюда... Все понял?

— Понял, — часто моргая, сказал Алешка. — Ладно, это я сделаю...

— Молодец! Вы все такие, питерские...

— Дядя, а как я до станции добегу? Далеко.

— Чай, верхом надо, дурачок.

— Ой, верхом! Я упаду...

— Какой же ты смелый, — упаду! Я степанову лошадь знаю, она умная лошадь: упадешь, она остановится. Упадешь — опять влезешь...

— Ну, ладно, что ли, — сказал Алешка. (С минуту еще глядел в щель на Аникея Борисовича.) Вздохнул: — Сделаю.

Он осторожно, оглядываясь, пошел по огороду — побежал, перелез через плетень.

Скоро настали и сумерки. Аникей Борисович лег на то место на полу, куда упал, когда его втокнули в избенку. Лучше всего было задремать, — но

не мог: то прислушивался — не идут ли за ним — тащить на допрос к атаману, то беспокоили мысли, что мальчишечка заробееет, не даст знать Яхиму. Мучила жажда. Хотелось холодно-го арбуза.

На атамановом дворе начал кричать человек: «Ой, братцы!.. Ой, что вы делаете...». По крику понятно, что пороли человека не лозой, — шомполами. От гнева у Аникея Борисовича едва не разорвало грудь, сердце стучало в половицы. Лежал, не шевелясь.

Вечер скоро померк совсем. Утихли звуки на дворе. Ночь была темная, заволоченная. Пахло дождем.

Когда на железную крышу упали первые капли и зашумел несильный весенний теплый дождь, Аникей Борисович вдруг заснул, заснул так крепко, что только от грохота ручных гранат — где-то рядом — одурело вскочил, привалился у двери к бревенчатой стене.

Рвались гранаты... Раздались выстрелы... Дикие крики... Тяжелый, бешеный топот ног... Торопливые голоса: «Где он? Где он?».

Пискливый голосишко Алешки: «Здесь, здесь, товарищи...».

Дверь начали трясти и рвать, — затряслась избенка. Ворвались горячо дышащие люди... Аникей Борисович засопел, протягивая руки... Его подхватили, потащили из прелой избенки на дождь, пахнувший дорожной пылью, тополевыми листьями...

— Бечь сам можешь, Аникей Борисович? Бегим... Туточко недалеко, — Яхим за тобой коляску прислал...

(Окончание следует)

О ком поет народ

(Отрывок из посмертной поэмы о Сталине)

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ

Весна вселенной настает,
Весь мир знаменами цветет.
Поет земля, поет народ
О том, чье имя —

Сталин.

Кто, побеждая гнет и мрак,
Поднял великой правды стяг,
Чтоб жизнь, ненастная в веках,
Была отныне ясной, —

Сталин.

Чтоб нам не знать тисков беды,
Не ведать злых оков нужды,
Чтобы для нас росли плоды
В садах, возвращенных нами, —

Сталин.

Чтоб человек, коль честен он,
Был дружбой братской окружен,
Судьбой достойно наделен
И смолоду был молод, —

Сталин.

Отсюда, из страны моей,
Восходит солнце новых дней,
Здесь час от часу жизнь полней
И легче труд свободный —

Сталин.

Здесь лучшим чувствам дан простор,
Болезнь и старость не в укор,
И юношей отважных взор
Глядит вперед без страха —

Сталин.

Богатство каждого из нас —
Закон лучистый, как алмаз,

Закон, в котором много раз
Нам счастье открывает —
Сталин.

В законе том воплощены
Людские вековые сны
О днях немеркнувшей весны,
О днях социализма —
Сталин.

Весна вселенной настает,
Весь мир знаменами цветет,
Поет ашуг, поет народ,
Поет о том, чье имя —
Сталин!

Перевел с лезгинского
ЭФФЕНДИ КАПИЕВ.

Поэма о наркOME Ежове

ДЖАМБУЛ

народный поэт Казахстана

1

Свежа моя память. Я помню былое:
Сидели манапы¹ и баи с муллою,
Икали и пили прохладный кумыс.
В угоду им песни рекою лились.

Продажный акын за кусок бесбармака²
Слагал свои льстивые песни собакам,
Униженно ханов и беков хвалил,
Грабителей выше звезды возносил,

Бесчестно присваивал званье героя
Убийцам, ворам, атаманам разбоя,
Батырами именовал палачей,
Чья совесть темнее безлунных ночей.

Но песня моя никогда не лгала,
Ее не слышали ни хан, ни мулла.
Подругой народа в беде и веселье
Жила моя песня, живет и доселе.

Я славил и славлю — везде и всегда —
Батыров всесветной борьбы и труда,
Кто вывел народы из века ненастья
К высокому солнцу, к широкому счастью.

Отдай же, домбра, для любимца страны
Орлиные клетоты вещей струны.
Звени же, домбра, чтоб узнали народы
О рыцаре сталинской крепкой породы.

¹ Манап — родоначальник.

² Бесбармак — казахское кушанье из барашка.

2

Цветут наши степи, сады и поля,
В пурпурный халат нарядилась земля.
Как Ленин, наш солнечный вождь гениален,
Любимый, родной, нестареющий Сталин.

Он высится полюсом светлых идей,
Ему помогает плеяда друзей,
Которые вынесли ссылки и тюрьмы,
С которыми встретились в грохоте бурь мы.

В сверкании молний ты стал нам знаком,
Ежов, зоркоглазый и умный нарком.
Большого Ленина мудрое слово
Растило для битвы героя Ежова.

Большого Сталина пламенный зов
Услышал всем сердцем, всей кровью Ежов.
Когда засияли октябрьские зори,
Дворец штурмовал он с отвагой во взоре.

Когда же войной запылал горизонт,
Он сел на коня и поехал на фронт.
Шел класс против класса. Земля полыхала,
И родина кровью в те дни истекала.

Сжимали враги нас зловецким кольцом —
Железом и сталью, огнем и свинцом.
Я прошлое помню. В закатах багровых
Я вижу сквозь дым комиссара Ежова.

Сверкая булатом он смело ведет
В атаки одетый в шинели народ.
Он бьется, участь у великих батыров,
Таких, как Серго, Ворошилов и Киров.

С бойцами он ласков, с врагами суров,
В боях закаленный, отважный Ежов.

3

Когда над степями поднялся восход
И плечи расправил казахский народ,
Когда чабаны против баев восстали,
Прислали Ежова нам Ленин и Сталин.

Приехал Ежов и, развеяв туман,
На битву за счастье поднял Казахстан,
Аулы сплотил под знамена Советов,
Дал силу и мудрость кремлевских декретов.

Ведя за собою казахский народ,
На баев и беков возглавил поход.
Народ за Ежовым пошел в наступленье.
Сбылись наяву золотые виденья.

Ежов мироедов прогнал за хребты,
Отбил табуны, их стада и гурты.
Расстались навеки мы с байским обманом,
Весна расцвела по степям Казахстана

Пышнее и краше былых наших снов.
Здесь все тебя любят, товарищ Ежов!
Арыки, пруды, голубые озера
К тебе обращают счастливые взоры.

Здесь каждая травка, тростник и цветок,
Снега на вершинах и горный поток,
Просторные степи от края до края
Тебя не забыли, тебя вспоминают.

Ковыль о тебе свою песню поет,
В движении ветра — дыханье твое.
Звучней водопадов, арыков чудесней
Степные акыны поют тебе песни.

И вторит народ, собираясь вокруг:
— Привет тебе, Сталина преданный друг!

4

Советский Союз, где мы с вами живем,
Джамбул представляет живым существом.
В нем слышны дыханье и сердцебиенье,
Горение чувства и мысли кипенье.

Родился он в грозном октябрьском бою,
И мать-революция песню свою
Гремела над ним, как прибой океана.
Он вырос на зависть всех стран великаном.

В румянце знамен он могуч и здоров,
Пульсирует в нем большевистская кровь.

Он дышит свободой. В нем кости из стали,
А мозг его — мудрый и солнечный Сталин.

В живом организме Советской страны
Ежову вождем полномочья даны —
Следить, чтобы сердце — всей жизни начало —
Спокойно и без перебоев стучало.

Следить, чтобы кровь, согреть не устав,
По жилам текла горяча и чиста.
Следить, чтобы не было ран и царапин,
Чтоб острые когти на вражеской лапе

Коснуться в ночной тишине не могли
Любимой, родной и священной земли...
Великое дело, бессменный дозор!
Чуть-чуть прозеваешь — убийца и вор

Во мраке свершат свое темное дело —
Чтоб кровь почернела, чтоб рана горела.
А враг насторожен, озлоблен и лют.
Прислушайся: ночью злодеи ползут,

Ползут по оврагам, несут, изуверы,
Наганы и бомбы, бактерии холеры...
Но ты их встречаешь, силен и суров,
Испытанный в пламени битвы Ежов.

Враги нашей жизни, враги миллионов,
Ползли к нам троцкистские банды шпионов,
Бухаринцы, хитрые змеи болот,
Националистов озлобленный сброд.

Хотели упиться народной кровью,
Хотели услышать рыдания вдовьи.
Мечтали ночами: заводы — на снос!
Посевы — огню! Поезда — под откос!

Они ликовали, неся нам оковы,
Но звери попались в капканы Ежова.
Великого Сталина преданный друг,
Ежов разорвал их предательский круг.

Раскрыта змеиная вражья порода
Глазами Ежова — глазами народа.
Всех змей ядовитых Ежов подстерег
И выкурил гадов из нор и берлог.

Разгромлена вся скорпионья порода
Руками Ежова — руками народа.
И Ленина орден, горящий огнем,
Был дан тебе, сталинский верный нарком.

Ты — меч, обнаженный спокойно и грозно,
Огонь, опаливший змеиные гнезда.
Ты — пуля для всех скорпионов и змей,
Ты — око страны, что алмаза ясней.

Седой летописец, свидетель эпохи,
Вбирающий все ликования и вздохи,
Сто лет доживающий, древний Джамбул
Услышал в степи нарастающий гул.

Мильоноголосое звонкое слово
Летит от народов к батыру Ежову:
Спасибо, Ежов, что, тревогу будя,
Стоишь ты на-страже страны и вождя!

С казахского перевел
К. АЛТАЙСКИЙ

Тихий Дон

Роман

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение ¹)

ГЛАВА XX

Донская армия, выйдя за границу Хоперского округа, вновь, как и в 1918 году, утратила наступательную силу своего движения. Казаки-повстанцы Верхнего Дона и, отчасти, хоперцы попрежнему не хотели воевать за пределами Донской области; усилилось и сопротивление красных частей, получивших свежие пополнения, действовавших теперь на территории, население которой относилось к ним сочувственно. Казаки снова были непрочь перейти к оборонительной войне, и никакими ухищрениями командование Донской армии не могло понудить их сражаться с таким же упорством, с каким они недавно сражались в пределах своей области, — несмотря на то, что соотношение сил на этом участке было в их пользу: против потрепанной в боях 9-й Красной армии, исчислявшейся в 11 000 штыков, 5 000 сабель, при 52 орудиях, — были выдвинуты казачьи корпуса общей численностью в 14 400 штыков, 10 600 сабель, при 53 орудиях.

Наиболее активные операции происходили на фланговых направлениях и именно там, где действовали части Добровольческо-Кубанской южной армии. Одновременно с успешным продвижением вглубь Украины часть Добровольче-

ской армии под командованием генерала Врангеля оказывала сильное давление на 10-ю Красную армию, тесня ее, с ожесточенными боями продвигалась в саратовском направлении. 28 июля кубанская конница вплотную подошла к Камышину, захватив в плен большую часть войск, оборонявших его. Контратака, предпринятая частями 10-й армии, была отбита. Смело маневрировавшая Кубанско-Терская сводная конная дивизия грозила обходом левого фланга, вследствие чего командование 10-й армии отвело части на фронт Борзенково — Латышево — Красный Яр — Каменка — Банное. К этому времени 10-я армия насчитывала в своих рядах 18 000 штыков, 8 000 сабель и 132 орудия; противостоявшая ей Добровольческо-Кубанская армия исчислялась в 7 600 штыков, 10 750 сабель, при 68 орудиях. Кроме этого, белые имели отряды танков, а также располагали значительным количеством самолетов, несших разведывательную службу и принимавших участие в боевых операциях. Но не помогли Врангелю ни французские самолеты, ни английские танки и батареи; дальше Камышина продвинуться ему не удалось. На этом участке завязались затяжные, упорные бои, обусловившие лишь незначительные изменения в линии фронта.

В конце июля началась подготовка Красных армий к переходу в широкое наступление по всему центральному

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 11 и 12 за 1937 г.

участку Южного фронта. С этой целью 9-я и 10-я армии по плану Троцкого объединялись в ударную группу под командованием Шорина. В резерв ударной группы должны были поступить перебрасываемые с Восточного фронта 28-я дивизия с бригадой бывшего казанского укрепленного района и 25-я дивизия с бригадой саратовского укрепленного района. Помимо этого командование Южным фронтом усиливало ударную группу войсками, находившимися во фронтовом резерве, и 56-й стрелковой дивизией. Нанесение вспомогательного удара намечалось на воронежском направлении силами 8-й армии с приданными ей 31-й стрелковой дивизией, снятой с Восточного фронта, и 7-й стрелковой дивизией.

Общий переход в наступление намечался между 1-м и 10 августа. Удар 8-й и 9-й армий по плану главного красного командования должен был сопровождаться охватывающими действиями фланговых армий, причем особенно ответственной и сложная задача выпадала на долю 10-й армии, которой надлежало, действуя по левому берегу Дона, отрезать главные силы противника от Северного Кавказа. На западе частью сил 14-й армии предполагалось произвести энергичное демонстративное движение к линии Чаплино — Лозовая.

В то время, когда на участках 9-й и 10-й армий производились необходимые перегруппировки, белое командование в целях срыва подготовлявшегося противником наступления заканчивало формирование мамонтовского корпуса, рассчитывая прорвать фронт и бросить корпус в глубокий рейд по тылам красных армий. Успех армии Врангеля на царичыньском направлении позволил растянуть фронт этой армии влево и, сократив тем самым фронт Донской армии, взять из состава ее несколько конных дивизий. 7 августа в станице Урюпинской было сосредоточено 6 000 сабель, 2 800 штыков и три четырехорудийных батареи. А 10-го вновь сформированный корпус под командованием генерала Мамонтова прорвался на стыке 8-й и 9-й Красных армий и от Новохоперска направился на Тамбов.

По первоначальному замыслу белого командования предполагалось направить в рейд по красным тылам, кроме корпуса Мамонтова, еще и конный корпус генерала Коновалова, но ввиду завязавшихся боев на участке, занимаемом частями коноваловского корпуса, его не удалось вытянуть с фронта. Этим обстоятельством и объясняется ограниченность задачи, возложенной на Мамонтова, которому вменялось в обязанность не зарываться и не мечтать о походе на Москву, а, разгромив тылы и коммуникации противника, вновь идти на соединение, тогда как вначале ему и Коновалову было приказано всей конной массой нанести сокрушительный удар во фланг и тыл центрального Красным армиям, а затем уже форсированным маршем двигаться вглубь России и, пополняя силы за счет антисоветски настроенных слоев населения, продолжать движение до Москвы.

8-й армии удалось восстановить положение своего левого фланга введением в дело армейского резерва. Правый фланг 9-й армии оказался расстроенным сильнее. Принятыми мерами командующему главной ударной группой Шорину удалось сомкнуть внутренние фланги обеих армий, но не удалось задержать конницу Мамонтова. По приказу Шорина навстречу Мамонтову из района Кирсанова была двинута резервная 56-я дивизия. Батальон ее, посаженный на подводы и высланный на станцию Сампур, был разбит во встречном бою одним из боковых отрядов мамонтовского корпуса. Такая же участь постигла и кавалерийскую бригаду 36-й стрелковой дивизии, двинутую для прикрытия участка железной дороги Тамбов—Балашов. Нарвавшись на всю массу конницы Мамонтова, бригада после короткого боя была рассеяна.

18 августа Мамонтов с налета занял Тамбов. Но это обстоятельство не помешало основным силам ударной группы Шорина начать наступление, хотя для борьбы с Мамонтовым и пришлось выделить из состава группы почти две пехотных дивизии. Одновременно началось наступление и на украинском участке Южного фронта.

Фронт, на севере и северо-востоке почти по прямой тянувшийся от Старого Оскола до Балашова и уступом сходящийся к Царицыну, стал выравниваться. Казачьи полки под давлением превосходящих сил противника отступали на юг, переходя в частые контратаки, задерживаясь на каждом рубеже. Вступив на донскую землю, они снова обрели утраченную боеспособность; дезертирство резко сократилось; из станиц Среднего Дона потекли пополнения. Чем дальше части ударной группы Шорина вторгались в землю Войска Донского, тем сильнее и ожесточеннее становилось оказываемое им сопротивление. По собственному почину казаки повстанческих станиц Верхне-Донского округа об'являли на сходах поголовную мобилизацию, служили молебны и, не медля, отправлялись на фронт.

Губительные последствия пораженческого плана Троцкого начинали сказываться в полной мере: с непрерывными боями продвигаясь к Хопру и Дону, преодолевая ожесточенное сопротивление белых и находясь на территории, большинство населения которой относилось к красным частям явно враждебно, — группа Шорина постепенно растрачивала силу наступательного порыва. А тем временем в районе станицы Качалинской и станции Котлубань белое командование уже образовывало сильную маневренную группу из трех кубанских корпусов и 6-й пехотной дивизии для удара по 10-й Красной армии, продвижение которой развивалось с наибольшим успехом.

ГЛАВА XXI

Мелеховская семья за один год убавилась наполовину. Прав был Пантелей Прокофьевич, сказав однажды, что смерть возлюбила их курень. Не успели похоронить Наталью, как уже снова запахло ладаном и васильками в просторной мелеховской горнице. Через полторы недели после отъезда Григория на фронт утопилась в Дону Дарья.

В субботу, приехав с поля, пошла она с Дуняшкой купаться. Около огородов они разделись, долго сидели на мягкой,

прямой ногами траве. Еще с утра Дарья была не в духе, жаловалась на головную боль и недомогание, несколько раз украдкой плакала... Перед тем как войти в воду, Дуняшка собрала в узел волосы, повязалась косынкой и, искоса глянув на Дарью, сожалеюще сказала:

— До чего ты, Дашка, худая стала. ажник все жилки наруже!

— Скоро поправлюсь...

— Перестала голова болеть?

— Перестала. Ну, давай купаться, а то уж не рано. — Она первая с разбегу бросилась в воду, окунулась с головой и, вынырнув, отфыркиваясь, поплыла на середину. Быстрое течение подхватило ее, начало сносить.

Любуясь на Дарью, отмахивавшую широкими мужскими саженками, Дуняшка забрела в воду по пояс, умылась, смочила грудь и нагретые солнцем сильные, женственно-округлые руки. На соседнем огороде две снохи Обнизовых поливали капусту. Они слышали, как Дуняшка, смеясь, звала Дарью:

— Плыви назад, Дашка! А то сом тебя утянет!

Дарья повернула назад, проплыла сажня три, а потом на миг до половины вскинулась из воды, сложила над головой руки, крикнула: «Прощайте, бабоньки!» — и камнем пошла ко дну.

Через четверть часа бледная Дуняшка в одной исподней юбке прибежала домой.

— Дарья утопла, маманя!.. — задыхаясь, еле выговорила она.

Только на другой день утром поймали Дарью крючками нарезной снасти. Старый и самый опытный в Татарском рыбацком Архип Песковатсков на заре поставил шесть концов нарезных по течению ниже того места, где утонула Дарья, проверять поехал вместе с Пантелеем Прокофьевичем. На берегу собралась толпа ребятишек и баб, среди них была и Дуняшка. Когда Архип, подцепив ручкой весла четвертый шнур, отъехал сажень десять от берега, Дуняшка отчетливо слышала, как он вполголоса сказал: «Кажись, есть...».

Архип и стал осторожнее перебирать снасть, с видимым усилием подтягивая

отвесно уходящий в глубину шнур. Потом что-то забелело у правого берега, оба старика нагнулись над водой, баркас зачерпнул краем воды, и до притихшей толпы донесся глухой стук вваленного в баркас тела. В толпе дружно вздохнули. Кто-то из баб тихо вскрикнул. Стоявший неподалеку Христоня грубо крикнул на ребят: «А ну, марш отседа!». Сквозь слезы Дуняшка видела, как Архип, стоя на корме, ловко и бесшумно опуская весло, греб к берегу. С шорохом и хрустом дробя прибрежную меловую осыпь, баркас коснулся земли. Дарья лежала, безжизненно подогнув ноги, привалившись щекой к мокрому днищу. На белом теле ее, лишь слегка посиневшем, принявшем какой-то голубовато-темный оттенок, виднелись глубокие проколы — следы крючков. На сухощавой смуглой икре, чуть пониже колена, около матерчатой подвязки, которую Дарья перед купаньем, как видно, позабыла снять, розовела и слегка кровоточила свежая царапина. Жало нарезного крючка скользнуло по ноге, пробороздило кривую, рваную линию. Судорожно комкая завеску, Дуняшка первая подошла к Дарье, накрыла ее разорванным по шву мешком. Пантелей Прокофьевич с деловитой поспешностью засучил шаровары, начал подтягивать баркас. Вскоре подехала подвода. Дарью перевезли в мелеховский курень.

Пересилив страх и чувство гадливости, Дуняшка помогала матери обмывать холодное, хранившее студеность глубинной донской струи тело покойницы. Было что-то незнакомое и строгое в слегка припухшем лице Дарьи, в тусклом блеске обесцвеченных водою глаз. В волосах ее серебром искрился речной песок, на щеках зеленели влажные нити прилипшей тины-шелковицы, а в раскинутых, безвольно свисавших с лавки руках была такая страшная успокоенность, что Дуняшка, взглянув, поспешно отходила от нее, дивясь и ужасаясь тому, как непохожа мертвая Дарья на ту, что еще так недавно шутила и смеялась и так любила жизнь. И после долго еще, вспомнив каменную холодность дарьиных грудей и живота, упругость окостеневших членов, Дуняшка вся содрога-

лась и старалась поскорее забыть все это. Она боялась, что мертвая Дарья будет ей сниться по ночам, неделю спала на одной кровати с Ильиничной и перед тем, как лечь, — молилась богу, мысленно просила: «Господи! Сделай так, чтобы она мне не снилась! Укрой, господи!».

Если б не рассказы баб Обнизовых, слышавших, как Дарья крикнула: «Прощайте, бабоньки!», — похоронили бы утопленницу тихо и без шума, но, узнав про этот предсмертный возглас, явно указывавший на то, что Дарья намеренно лишила себя жизни, поп Виссарий решительно заявил, что самоубийцу отпевать не будет. Пантелей Прокофьевич возмутился:

— Как это ты не будешь отпевать? Она что, нехрещеная, что ли?

— Самоубийцу не могу хоронить, по закону не полагается.

— А как же ее зарывать, как собаку, по-твоему?

— А по-моему, как хочешь и где хочешь, только не на кладбище, где погребены честные христиане.

— Нет, уж ты смилуйся, пожалуйста — перешел к уговорам Пантелей Прокофьевич. — У нас в семействе такой срамы век не было.

— Не могу. Уважаю тебя, Пантелей Прокофьевич, как примерного прихожанина, но не могу. Донесут благочинному — и беды мне не миновать, — заупрямился поп.

Это был позор. Пантелей Прокофьевич всячески пытался уговорить взноровившегося пола, обещал уплатить дорожке и надежными николаевскими деньгами, предлагал в подарок овцу-перейрку, но, видя, под конец, что уговоры не действуют, пригрозил:

— За кладбищем я ее зарывать не буду. Она мне не сбоку-припеку, а родная сноха. Муж ее погиб в бою с красными и был в офицерском чине, сама она егорьевскою медалью была пожалована, а ты мне такую хреновину прешь?! Нет, батя, не выйдет твое дело, будешь хоронить за мое почтение! Нехай она пока лежит в горнице, а я зараз же сообщу об этом станишному атаману. Он с тобой погугарит!

Пантелей Прокофьевич вышел из пововского дома, не попрощавшись, и даже дверь вогорячах хлопнул. Однако угроза возымела действие: через полчаса пришел от попа посыльный, передал, что отец Виссарион с причтом сейчас придет.

Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище, рядом с Петром. Когда рыли могилу, Пантелей Прокофьевич облюбовал и себе местечко. Работая лопатой, он огляделся, прикинул, что лучше места не сыскать, да и незачем. Над могилой Петра шумел молодыми ветвями посаженный недавно тополь; на вершинке его наступающая осень уже окрасила листья в желтый, горький цвет увядания. Через разломанную ограду, между могил телята пробили тропинки; около ограды проходила дорога к ветряку; посаженные заботливыми родственниками покойников дерева — клены, тополи, акация, а также дико растущий терн — зеленели приветливо и свежо; около них буйно кучерявилась повитель, желтела поздняя сурепка, колосился овсюг и зернистый пырей. Кресты стояли, снизу доверху оплетенные приветливыми синими вьюнками. Место было действительно веселое, сухое...

Старик рыл могилу, часто бросал лопату, присаживался на влажную глинистую зсмяу, курил, думал о смерти. Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях и покоиться там, где нашли себе последний приют их отцы и деды...

После того как похоронили Дарью, еще тише стало в мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молотьебе, собирали богатый урожай с бахчей. Ждали вестей от Григория, но о нем, после отъезда его на фронт, ничего не было слышно. Ильинична не раз говаривала: «И поклона детишкам не пришет окаянный! Померла жена, и все мы стали не нужны ему...». Потом в Татарский чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой — об

этом, не таясь, говорили все фронтовики: «Как станет Дон — погонят красные нас до самого моря!».

Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молотьебе, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдону слухи, но оставаться равнодушным к происходившему не мог. Еще чаще начал он покривать на Ильиничну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-либо по хозяйству, но стоило только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь, убежал на гумно, чтобы там пристыть от возмущения. Дуняшка не раз была свидетельницей таких вспышек. Однажды он взялся поправлять ярмо, работа не клеилась, и ни с того, ни с сего взбесившийся старик схватил топор и изрубил ярмо так, что от него остались одни щепки. Так же вышло и с починкой хомута. Вечером при огне Пантелей Прокофьевич ссучил дратву, начал шить распоровшуюся хомутину; то ли нитки были гнилые, то ли старик нервничал, но дратва оборвалась два раза подряд, — этого было достаточно: страшно выругавшись, Пантелей Прокофьевич вскочил, опрокинул табурет, отбросил его ногой к печке и, рыча, словно пес, принялся рвать зубами кожаную обшивку на хомуте, а потом бросил хомут на пол и, по-петушиному подпрыгивая, стал топтать его ногами. Ильинична, рано улегшаяся спать, заслышав шум, испуганно вскочила, но, рассмотрев, в чем дело, не вытерпела, попрекнула старика:

— Очумел ты, проклятый, на старости лет?! Чем тебе хомут оказался виноватый?

Пантелей Прокофьевич обезумевшими глазами глянул на жену, заорал:

— Молчи-и-и-и, такая сякая!!! — И, ухватив обломок хомута, запустил им в старуху.

Давясь от смеха, Дуняшка пулей вылетела в сенцы. А старик, побушевав немного, угомонился, попросил прощения у жены за сказанные в сердцах крутые слова и долго кряхтел и почесывал затылок, поглядывая на обломки

злополучного хомута, прикидывая в уме — на что же их можно употребить? Такие припадки ярости повторялись у него не раз, но Ильинична, наученная горьким опытом, избрала другую тактику вмешательства: как только Пантелей Прокофьевич, изрыгая ругательства, начинал сокрушать какой-нибудь предмет хозяйственного обихода, старуха смиренно, но достаточно громко говорила:

— Бей, Прокофич! Ломай! Мы ишо с тобой наживем! — И даже пробовала помогать в учинении погрома. Тогда Пантелей Прокофьевич сразу остывал, с минуту смотрел на жену несмыслящими глазами, а потом дрожащими руками шарил в карманах, находил кисет и сконфуженно присаживался где-нибудь в сторонке покурить, успокоить расхидившиеся нервы, в душе проклиная свою вспыльчивость и подсчитывая понесенные убытки. Жертвой необузданного стариковского гнева пал забравшийся в палисадник трехмесячный поросенок. Ему Пантелей Прокофьевич колом переломил хребет, а через пять минут, дергая при помощи гвоздя щетину с прирезанного поросенка, виновато, заискивающе поглядывая на хмурую Ильиничну, говорил:

— Он и поросенок-то был так, одно горе... Один чорт он бы издох. На них аккурат в это время чума нападает; то хучь с'едим, а то бы так, зря пропал. Верно, старуха? Ну, чего ты, как градовая туча, стоишь? Да будь он трижды проклят, этот поросенок! Уж был бы поросенок, как поросенок, а то так, оморок поросычий! Его не то, что колом, — соплей можно было перешибить! А прокудной какой! Гнездов сорок картошки перерыл!

— Ее и всей-то картошки в палисаднике было не больше тридцати гнезд, — тихо поправила его Ильинична.

— Ну, а было бы сорок — он и сорок бы перепаскудил, он такой! И слава богу, что избавились от него, от враженьяки! — не задумываясь, отвечал Пантелей Прокофьевич.

Детишки скупали, проводив отца. Занятая по хозяйству Ильинична не могла уделять им достаточного внимания, и

они, предоставленные самим себе, целыми днями играли где-нибудь в саду или на гумне. Однажды после обеда Мишатка исчез и пришел только на закате солнца. На вопрос Ильиничны — где он был, Мишатка ответил, что игрался с ребяташками возле Дона, но Полюшка тут же изобличила его:

— Брешет он, бабунюшка! Он у тетки Аксиньи был!

— А ты почему знаешь? — спросила, неприятно удивленная новостью, Ильинична.

— Я видала, как он с ихнего база перелезал через плетень.

— Там, что ли, был? Ну, говори же, чадушка, чего ты скраснелся?

Мишатка посмотрел бабке прямо в глаза, ответил:

— Я, бабунюшка, наобманывал... Я, правда, не у Дона был, а у тетки Аксиньи был.

— Чего ты туда ходил?

— Она меня покликкала, я и пошел.

— А на что же ты обманывал, будто с ребятами играл?

Мишатка на секунду потупился, но потом поднял правдивые глазенки, шепнул:

— Боялся, что ты ругаться будешь...

— За что же я тебя ругала бы? Не-ет... А чего она тебе зазвала? Чего ты у ней там делае?

— Ничего. Она увидала меня, шумнула: «Пойди ко мне!», я подошел, она повела меня в курень, посадила на стулу...

— Ну? — нетерпеливо выспрашивала Ильинична, искусно скрывая охватившее ее волнение.

— ... холодными блинцами кормила, а потом дала вот чего. — Мишатка вытащил из кармана кусок сахара, с гордостью показал его и снова спрятал в карман.

— Чего ж она тебе говорила? Может, спрашивала чего?

— Говорила, чтобы я ходил ее проведывал, а то ей одной скучно, сулилась гостинец дать... Сказала, чтобы я не говорил, что был у ней. А то, говорит, бабка твоя будет ругать.

— Вон как... — задыхаясь от сдерживаемого негодования, проговорила Ильи-

нична. — Ну, и что же она, спрашивала у тебя что?

— Спрашивала.

— Об чем же она спрашивала? Да ты рассказывай, милушка, не бойсь!

— Спрашивала: скучаю я по папашке? Я сказал, что скучаю. Ишо спрашивала, когда он придет и что про него слышать, а я сказал, что не знаю: что он на войне воюет. А посла я посадила меня к себе на колени и рассказала сказку. — Мишатка оживленно блеснул глазами, улыбнулся. — Хорошую сказку! Про какого-то Ванюшку, как его гусли-лебеди на крылах несли, и про бабу Ягу.

Ильинична, поджав губы, выслушала мишаткину исповедь, строго сказала:

— Больше, внучек, не ходи к ней, не надо. И гостинцев от ней никаких не бери, не надо, а то дед узнает и высекет тебя. Не дай бог узнает дед — он с тебя кожу сдерет! Не ходи, чадуношка!

Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в астаховском курене. Ильинична узнала об этом, глянув на мишаткину рубашонку: разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутровая новенькая пуговица. Зная, что занятая на молотье Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила:

— Опять к соседям ходил?

— Опять... — растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил: — Я больше не буду, бабунюшка, ты только не ругайся...

Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксиньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположения ни подарками, ни рассказыванием сказок. «Свела со света Наталью, а зараз норovit проклятая к детям подобраться, чтобы через них потом Гришку опутать. Ну, и змея! В снохи при живом муже метит... Только не выйдет ее дело! Да разве ее Гришка после тако́го греха возьмет?» — думала старуха.

От ее пронизательного и ревнивого материнского взора не скрылось то об-

стоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встреч с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому, что считал Аксинью повинной в смерти жены. Втайне Ильинична надеялась на то, что смерть Натальи навсегда разделит Григория с Аксиньей и Аксинья никогда не войдет в их семью.

Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона, подозвала ее:

— А ну, подойди ко мне на-час, погуларить надо...

Аксинья поставила ведро, спокойно подошла, поздоровалась.

— Вот что, милая, — начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки. — Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываете его? Кто тебя просил зашивать ему рубашонку и задаривать его всякими гостинцами? Ты что думаешь — без матери за ним догляду нету? Что без тебя не обойдётся? И хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза!

— А что я плохого сделала? Чего вы ругаетесь, бабушка? — вспыхнув, спросила Аксинья.

— Как это — что плохого? Да ты имеешь право касаться натальиногo дитя, ежели ты ее самою свела в могилу?

— Что вы, бабушка! Окститесь! Кто ее сводил? Сама над собой учинила.

— А не через тебя?

— Ну, уж это я не знаю.

— Зато я знаю! — взволнованно выкрикнула Ильинична.

— Не шумите, бабушка, я вам не сноха, чтобы на меня шуметь. У меня для этого муж есть.

— Вижу тебя наскрозь! Вижу, чем ты и дышишь! Не сноха, а в снохи лезешь! Детей по-первам хочешь примануть, а посла к Гришке подобраться?

— К вам в снохи я иттить не собираюсь. Ополоумели вы, бабушка! У меня муж живой.

— То-то ты от него, от живого-то, и норовишь к другому привязаться!

Аксинья заметно побледнела, сказала:

— Не знаю, с чего вы на меня напустились и срамотите меня... Ни на кого я никогда не навязывалась и навязываться не собираюсь, а что вашего внученка примолвила, — чего ж тут плохого? Детей у меня, вы сами знаете, нету, на чужих радуюсь, и то легче, вот и зазвала его... Подумаешь, задаривала я его! Грудку сахару дала дитю, так это и задариванье! Да к чему мне его задаривать-то? Так, болтаете вы, бог знает чего!..

— При живой матери что-то ты его не зазывала! А как померла Наталья — так и ты доброхоткой объявилась!

— Он у меня и при Наталье в гостях был, — чуть приметно улыбнувшись, сказала Аксинья.

— Не бреши, бесстыжая!

— Вы спросите у него, а потом уж брехню задавайте.

— Ну, как бы то ни было, а больше не смей мальченку заманивать к себе. И не думай, что этим ты милее станешь Григорию. Женой его тебе не бывать, так и знай!

С исказившимся от гнева лицом Аксинья хрипло сказала:

— Молчи! У тебя он не спросится! И ты в чужие дела не лезь!

Ильинична хотела еще что-то сказать, но Аксинья молча повернулась, подошла к ведам, рывком подняла на плечи коромысло и, расплескивая воду, быстро пошла по стожке.

С той поры при встречах она не здоровалась ни с кем из Мелеховых, с сатанинской гордостью, раздувая ноздри, проходила мимо, но, увидев где-нибудь одного Мишатку, пугливо оглядывалась и, если никого не было поблизости, подбегала к нему, наклонившись, прижимала его к груди и, целуя загорелый лобик и угрюмоватые, черные, мелеховские глазенки, смеясь и плача, бессвязно шептала: «Родный мой Григорьевич! Хороший мой! Вот как я по тебе соскучилась! Дура твоя тетка Аксинья... Ах, какая дура-то!». И после долго не сходила с ее губ трепетная улыбка, а увлажненные глаза сияли счастьем, как у молодой девушки.

В конце августа был мобилизован Пантелей Прокофьевич. Одновременно с

ним из Татарского ушли на фронт все казаки, способные носить оружие. В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, подростки да древние старики. Мобилизация была поголовной, и освобождения на врачебных комиссиях, за исключением явных калек, не получал никто.

Пантелей Прокофьевич, получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро попрощался со старухой, с внуками и Дуняшкой, кряхтя, опустился на колени, положил два земных поклона, — крестясь на иконы, сказал:

— Прощайте, милые мои! Похоже, что не доведется нам свидеться, должно, пришел последний час. Наказ вам от меня такой: молотите хлеб и день, и ночь, до дождей постарайтесь кончить. Нужно будет — наймите человека, чтобы пособил вам. Ежли не вернусь к осени — управляйтесь без меня; зяби вспашите сколько осилите, жита посейте хучь с десятину. Смотри, старуха, веди дело с толком, рук не роняй! Вернемся мы с Григорием, нет ли, а вам хлеб дюжее всего будет нужен. Война — войной, но без хлеба жить тоже скучно. Чу, храни вас господь!

Ильинична проводила старика до площади, глянула в последний раз, как он рядом с Христойней прихрамывает, поспешая за подводой, а потом вытерла завеской припухшие глаза и, не оглядываясь, направилась домой. На гумне ждал ее недомолоченный посад пшеницы, в печи стояло молоко, дети с утра были не кормлены, хлопот у старухи было великое множество, и она спешила домой, не останавливаясь, молча клаясь изредка встречавшимся бабам, не вступая в разговоры, и только утвердительно кивала головой, когда кто-нибудь из знакомых соблезнующе спрашивал: «Служивого провожала, что ли?».

Несколько дней спустя Ильинична, подоив на заре коров, выгнала их на проулок и только-что хотела итти во двор, как до слуха ее дошел какой-то глуховатый, осадистый гул. Оглядевшись, она не нашла на небе ни единой точки. Немного погодя гул повторился

— Слышишь, бабка, музыку? — спросил собиравший табун старый пастух.

— Какую музыку-то?

— А вот, что на одних басах играет.

— Слышать слышу, да не пойму, что это такое.

— Скоро поймешь. Вот как зачнут с этой стороны по хутору кидать — сразу поймешь! Это из орудий бьют. Старикам нашим потроха вынают...

Ильинична перекрестилась, молча пошла в калитку.

С этого дня орудийный гул звучал, не переставая, четверо суток. Особенно слышно было зорями. Но когда дул северо-восточный ветер, гром отдаленных боев слышался и среди дня. На гумнах на минуту приостанавливалась работа, бабы крестились, тяжело вздыхали, вспоминая родных, шепча молитвы, а потом снова начинали глухо погромыхивать на токах каменные катки, понукали лошадей и быков мальчишки-погоньчи, гремели веялки, трудовой день вступал в свои неотъемлемые права. Конец августа был погожий и сухой на диво. По хутору ветер носил мякинную пыль, сладко пахло обмолоченной ржаной соломой, солнце грело немилосердно, но во всем уже чувствовалось приближение недалекой осени. На выгоне тускло белела отцветшая сизая полынь, верхушки тополей за Доном пожелтели, в садах резче стал запах антоновки, по осеннему прояснились далекие горизонты, а на опустевших полях уже показались первые станицы пролетных журавлей.

По Гетманскому шляху изо дня в день тянулись с запада на восток обозы, подвозившие к переправам через Дон боевые припасы; в обдонских хуторах появились беженцы. Они рассказывали, что казаки отступают с боями; некоторые уверяли, будто отступление это совершается преднамеренно, для того, чтобы заманить красных, а потом окружить их и уничтожить. Кое-кто из татарцев потихоньку начал собираться к отъезду. Подкармливали быков и лошадей, ночами зарывали в ямы хлеб, сундуки с наиболее ценным имуществом. Замолкший было орудийный гул 5 сен-

тября возобновился с новой силой и теперь звучал уже отчетливо и грозно. Бои шли верстах в сорока от Дона, по направлению на северо-восток от Татарского. Через день загремело и вверх по течению на западе. Фронт неотвратимо подвигался к Дону.

Ильинична, зная о том, что большинство хуторян собирается отступать, предложила Дуняшке уехать. Она испытывала чувство растерянности и недоумения и не знала, как ей быть с хозяйством, с домом: надо ли все это бросать и уезжать вместе с людьми, или оставаться дома. Перед отъездом на фронт Пантелей Прокофьевич говорил о молотбе, о зяби, о скоте, но ни словом не обмолвился о том, как им быть, если фронт приблизится к Татарскому. На всякий случай Ильинична решила так: отправить с кем-нибудь из хуторных Дуняшку с детьми и наиболее ценным имуществом, а самой оставаться, даже в том случае, если красные займут хутор.

В ночь на 17 сентября неожиданно явился домой Пантелей Прокофьевич. Он пришел пешком из-под Казанской станицы, измученный, злой. Отдохнув с полчаса, сел за стол и начал есть так, как Ильинична еще за всю свою жизнь не видела: полуведерный чугунок постных щей словно за себя кинул, а потом навалился на пшеничную кашу. Ильинична от изумления руками всплеснула:

— Господи, да как уж ты ешь, Прокофич! Как, скажи, ты три дня не ел!

— А ты думала — ел, старая дура? Трое суток в аккурат маковой росинки во рту не было!

— Да что же, вас там не кормят, что ли?

— Черти бы их так кормили! — мурлыча по-кошачьему, с набитым ртом, отвечал Пантелей Прокофьевич. — Что спомыслишь — то и полопаешь, а я воровать ишо не обучился. Это молодым добро, у них совести-то и на семак не осталось... Они за эту проклятую войну так руки на воровстве набрали, что я ужасался, ужасался, да и перестал. Всё, что увидят, — берут, тянут, волокут.. Не война, а страсть господня!

— Ты бы не доразу наедался. Как бы тебе чего не поделалось. Глянь, как ты раздулся-то, чисто паук!

— Помалкивай. Молока принеси, да побольше корчажку!

Ильинична даже заплакала, глядя на своего насмерть изголодавшегося старика.

— Что ж, ты навовсе пришел? — спросила она после того, как Пантелей Прокофьевич отвалился от каши.

— Там видно будет... — уклончиво ответил он.

— Вас, стариков, стало быть, спустили по домам?

— Никого не спускали. Куда спускать, ежели красные уже к Дону подпирают? Я сам ушел.

— А не придется тебе отвечать за это? — опасливо спросила Ильинична.

— Поймают, — может, и отвечать придется.

— Да ты, что же, хорониться будешь?

— А ты думала, что на игрища буду бегать, али по гостям ходить? Тыфу, бестолочь идолова! — Пантелей Прокофьевич с сердцем сплюнул, но старуха не унималась:

— Ох, грех-то какой! Ишо беды наживем, как-раз ишо дерзать тебя зачнут...

— Ну, уж лучше тут нехай ловют да в тюрьму сажают, чем там по степям с винтовкой таскаться, — устало сказал Пантелей Прокофьевич. — Я им не молоденький по сорок верст в день отмахивать, окопы рыть, в атаки бегать, да по земле полозить, да хорониться от пулев. Чорт от них ухоронится! Моего односума с Кривой речки цокнула пуля под левую лопатку — и ногами ни разу не копнул. Тоже, приятности мало в таком деле!

Винтовку и подсумок с патронами старик отнес и спрятал в мякиннике, а когда Ильинична спросила, где же его зипун, — хмуро и неохотно ответил:

— Прожил. Вернее сказать — бросил. Нажали на нас за станицей Шумилинской так, что все побросали, бегли, как полоумные. Там уж не до зипуна было... Кой у кого полушубки

были, и те покидали... И на чорта он тебе сдался, зипун, что ты об нем поминаешь? Уж ежели б зипун был добрый, а то так, нищяя справа...

На самом деле зипун был добротный, новый, но все, чего лишался старик, — по его словам, было никуда негодное. Такая уж у него повелась привычка утешать себя. Ильинична знала об этом, а потому и спорить о качестве зипуна не стала.

Ночью на семейном совете решили: Ильиничне и Пантелею Прокофьевичу с детишками оставаться дома до последнего, оберегать имущество, обмолоченный хлеб зарыть, а Дуняшку на паре старых быков отправить с сундуками к родне, на Чир, в хутор Латышев.

Планам этим не суждено было осуществиться в полной мере. Утром проводили Дуняшку, а в полдень в Татарский вехал карательный отряд из сальских казаков-калмыков. Должно быть, кто-нибудь из хуторян видел пробиравшегося домой Пантелея Прокофьевича; через час после вступления в хутор карательного отряда четверо калмыков прискакали к мелеховскому базу. Пантелей Прокофьевич, завидев конных, с удивительной быстротой и ловкостью вскарабкался на чердак; гостей встречать вышла Ильинична.

— Где твой старика? — спросил пожилой статный калмык, с погонями старшего урядника, спешиваясь и проходя мимо Ильиничны в калитку.

— На фронте. Где же ему быть, — грубо ответила Ильинична.

— Веди дом, обыск делаю буду.

— Чего искать-то?

— Старика твоя искать. Ай, стыдно! Старая какая — брехня живешь! — укоризненно качая головой, проговорил молодцеватый урядник и оскалил густые белые зубы.

— Ты не ощеряйся, неумытый! Сказано тебе нету, значит — нету!

— Кончай балачка, веди дом! Нет, — сами ходим, — строго сказал обиженный калмык и решительно зашагал к крыльцу, широко ставя вывернутые ноги.

Они тщательно осмотрели комнаты, поговорили между собой по-калмыцки, потом двое пошли осматривать подворье, а один — низенький и смуглый до черноты, с рябым лицом и приплюснутым носом — подтянул широкие шаровары, украшенные лампасами, вышел в сенцы. В просвет распахнутой двери Ильинична видела, как калмык прыгнул, уцепился руками за переруб и ловко полез наверх. Пять минут спустя он ловко соскочил оттуда, за ним, крихтя, осторожно слез весь измазанный в глине, с паутиной на бороде, Пантелей Прокофьевич. Посмотрев на плотно сжавшую губы старуху, он сказал:

— Нашли проклятые! Значит, кто-нибудь доказал...

Пантелея Прокофьевича под конвоем отправили в станицу Каргинскую, где находился военно-полевой суд, а Ильинична всплакнула немного и, прислушиваясь к возобновившемуся орудейному грому и отчетливо слышимой пулеметной трескотне за Доном, пошла в амбар, чтобы припрятать хоть немного хлеба.

ГЛАВА XXII

Четырнадцать изловленных дезертиров ждали суда. Суд был короткий и немилостивый. Престарелый есаул, председательствовавший на заседаниях, спрашивал у подсудимого его фамилию, имя, отчество, чин и номер части, узнавал, сколько времени подсудимый пробыл в бегах, затем вполголоса перебрисывался несколькими фразами с членами суда — безруким хорунжим и раз'евшимся на легких хлебах, усатым и пухломордым вахмистром — и объявлял приговор. Большинство дезертиров присуждались к телесному наказанию розгами, которое производили калмыки в специально отведенном для этой цели нежилом доме. Слишком много развелось дезертиров в воинственной Донской армии, чтобы можно было пороть их открыто и всенародно, как в 1918 году...

Пантелея Прокофьевича вызвали шестым по счету. Взволнованный и

бледный стоял он перед судейским столом, держа руки по швам.

— Фамилия? — спросил есаул, не глядя на спрашиваемого.

— Мелехов, ваше благородие.

— Имя, отчество?

— Пантелей Прокофьев, ваше благородие.

Есаул поднял от бумаг глаза, пристально посмотрел на старика.

— Вы откуда родом?

— С хутора Татарского Вешенской станицы, ваше благородие.

— Вы не отец Мелехова Григория, сотника?

— Так точно, отец, ваше благородие. — Пантелей Прокофьевич сразу приободрился, почуяв, что розги, как будто, отдаляются от его старого тела.

— Послушайте, как же вам не стыдно? — спросил есаул, не сводя колючих глаз с осунувшегося лица Пантелея Прокофьевича.

Тут Пантелей Прокофьевич, нарушив устав, приложил левую руку к груди, плачущим голосом сказал:

— Ваше благородие, господин есаул! Заставьте за вас век бога молить — не приказывайте меня сечь! У меня двое сынов женатых... старшего убили красные... Внуки есть, и меня, такого ветхого старика, пороть надо?

— Мы и стариков учим, как надо служить. А ты думал, тебе за бегство из части крест дадут? — прервал его безрукий хорунжий. Углы рта у него нервически подергивались.

— На что уж мне крест... Отправьте вы меня в часть, буду служить верой и правдой... Сам не знаю, как я убег: должно, нечистый попутал... — Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомоленном хлебе, о своей хромоте, о брошенном хозяйстве, но есаул движением руки заставил его замолчать, наклонился к хорунжему и что-то долго шептал ему на ухо. Хорунжий утвердительно кивнул головой, и есаул повернулся к Пантелею Прокофьевичу.

— Хорошо. Вы все сказали? Я знаю вашего сына и удивляюсь тому, что он имеет такого отца. Когда вы бежали из части? Неделю назад? Вы,

что же, хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то пример вы подаете молодым казакам? По закону мы должны судить вас и подвергнуть телесному наказанию, но из уважения к офицерскому чину вашего сына я вас избавляю от этого позора. Вы были рядовым?

— Так точно, ваше благородие.

— В чине?

— Младшим урядником был, ваше благородие.

— Снять лычки! — Перейдя на «ты», есаул повысил голос, грубо приказал: — Сейчас же отправляйся в часть! Доложи командиру сотни, что решением военно-полевого суда ты лишен звания урядника. Награды за эту или за прошлые войны имел?.. Ступай!

Не помня себя от радости, Пантелей Прокофьевич вышел, перекрестился на церковный купол и... через бугор бездорожно направился домой. «Ну, уж зараз я не так прихоронюсь! Чорта с два найдут, нехай хучь три сотни казаков присылают!» — думал он, хромая по заросшей брицей стерне.

В степи он решил, что лучше итти по дороге, чтобы не привлекать внимания проезжавших. «Как-раз ишо подумают, что я — дезертир. Нарвешься на каких-нибудь службистов — и без суда плетей ввалят» — вслух рассуждал он, сворачивая с пашни на заросший подорожником, брошенный летник и уже, почему-то, не считая себя дезертиром.

Чем ближе подвигался он к Дону, тем чаще встречались ему подводы беженцев. Повторялось то, что было весной во время отступления повстанцев на левую сторону Дона: во всех направлениях по степи тянулись нагруженные домашним скарбом арбы и брички, шли табуны ревущего скота, словно кавалерия на марше — пылили гурты овец... Скрип колес, конское ржанье, людские окрики, топот множества копыт, бляеные овец, детский плач — все это наполняло спокойные просторы степи неумолчным и тревожным шумом.

— Куда, дед, правишься? Иди назад, следом за нами — красные! — крикнул с проезжавшей подводы незнакомый казак с забинтованной головой.

— Будя брехать! Где они, красные-то? — Пантелей Прокофьевич растерянно остановился.

— За Доном. Подходят к Вешкам. А ты к ним идишь?

Успокоившись, Пантелей Прокофьевич продолжал путь и к вечеру подошел к Татарскому. Спускаясь с горы, он внимательно присматривался. Хутор поразил его безлюдьем. На улицах не было ни души. Безмолвно стояли брошенные, с закрытыми ставнями курени. Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка; только возле самого Дона оживленно сновали люди. Приблизившись, Пантелей Прокофьевич без труда распознал вооруженных казаков, вытаскивавших и переносивших в хутор баркасы. Татарский был брошен жителями, это стало ясно Пантелею Прокофьевичу. Осторожно войдя в свой проулок, он зашагал к дому. Ильинична и детишки сидели в кухне.

— Вот он и дедуня! — обрадованно воскликнул Мишатка, бросившись деду на шею.

Ильинична заплакала от радости, сквозь слезы проговорила:

— И не чаяла тебя увидеть! Ну, Прокофич, как хочешь, а оставаться тут я больше не согласная! Нехай все горит ясным огнем, только окарауливать порожний курень я не буду. Почти все с хутора выехали, а я с детишками сижу, как дура! Зараз же запрягай кобылу, и поедем, куда глаза глядят! Отпустили тебя?

— Отпустили.

— Навосе?

— Навосе, пока не поймают...

— Ну, и тут тебе не хорониться! Нынче утром как застреляли с энтой стороны красные — ажник страшно! Я уж с ребятами в погребу сидела, пока стрельба шла. А зараз отогнали их. Приходили казаки, молока спрашивали и советовали уехать отсюда.

— Казаки-то не наши хуторные? — поинтересовался Пантелей Прокофье-

вич, внимательно рассматривая в наличнике окна свежую пулевую пробоину.

— Нет, чужие, никак откель-то с Хопра.

— Тогда надо уезжать, — со вздохом сказал Пантелей Прокофьевич.

К ночи он вырыл в кизечнике яму, свалил туда семь мешков пшеницы, старательно зарыл и завалил кизеками, а как только смерклось — запряг в арбочку кобылу, положил две шубы, мешок муки, пшена, связанную овцу, привязал к задней грядущке обеих коров и, усадив Ильиничну и детишек, проговорил:

— Ну, теперь — с богом! — Выехал со двора, передал вожжи старухе, закрыл ворота и до самого бугра сморкался и вытирал рукавом чекменя слезы, шагая рядом с арбочкой.

ГЛАВА XXIII

17 сентября части ударной группы Шорина, сделав тридцативерстный переход, вплотную подошли к Дону. С утра 18-го красные батареи загремели от устья Медведицы до станицы Казанской. После короткой артиллерийской подготовки пехота заняла обдонские хутора и станицы Букановскую, Еланскую, Вешенскую. В течение дня левобережье Дона на протяжении более чем полутора верст было очищено от белых. Казачьи сотни отступили, в порядке переправившись через Дон на заранее заготовленные позиции. Все имевшиеся средства переправы находились у них в руках, но вешенский мост едва не был захвачен красными. Казаки заблаговременно сложили около него солому и облили деревянный настил керосином, чтобы поджечь при отступлении, и уже собрались было поджигать, как в это время прискакал связной с сообщением, что одна из сотен 37-го полка идет с хутора Перевозного в Вешенскую к переправе. Отставшая сотня карьером прискакала к мосту в тот момент, когда красная пехота уже всту-

пала в станицу. Под пулеметным огнем казаки все же успели проскочить по мосту и поджечь его за собой, потеряв более десяти человек убитыми и ранеными и такое же количество лошадей.

До конца сентября полки 22-й и 23-й дивизий 9-й Красной армии удерживали занятые ими хутора и станицы левой стороны Дона. Противников разделяла река, максимальная ширина которой в то время не превышала восьмидесяти сажен, а местами доходила до тридцати. Активных попыток к переправе красные не предпринимали; кое-где на бродах они пробовали перейти Дон, но были отбиты. На всем протяжении фронта на этом участке в течение двух недель шла оживленная артиллерийская и ружейная перестрелка. Казаки занимали господствовавшие над местностью прибрежные высоты, обстреливая скопления противника на подступах к Дону, не позволяя ему днем продвигаться к берегу; но так как казачьи сотни на этом участке состояли из наименее боеспособных формирований (старики и молодежь в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет), то и сами они не пытались перейти Дон, чтобы оттеснить красных и двинуться в наступление по левобережью.

Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали, что вот-вот запыхают курени занятых красными хуторов, но, к их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного дымка; мало того — переправившиеся ночью с той стороны жители сообщили, что красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами. Это вызвало среди казаков растерянность и величайшее недоумение. Им казалось, что после восстания красные должны бы выжечь дотла все повстанческие хутора и станицы; они ждали, что оставшаяся часть населения, во всяком случае мужская его половина, будет беспощадно истреблена, но, по достоверным сведениям, красные никого из мирных жителей не

трогали и, судя по всему, даже и не помышляли о мщении.

В ночь на 19-е казаки-хоперцы, бывшие в заставе против Вешенской, решили разведать о столь странном поведении противника; один голосистый казак сложил трубою руки, крикнул:

— Эй, краснопузые! Слышите, поджигатели? Чего же вы дома наши не жгете? Спичек у вас нету? Так плывите к нам, мы вам дадим!

Ему из темноты зычно ответили:

— Вас не прихватили на месте, а то бы сожгли вместе с домами!

— Обнищали? Поджечь нечем? — задорно кричал хоперец.

Спокойно и весело ему отвечали:

— Плыви сюда, белая курва, мы тебе жару в мотню насыпем. Век будешь чесаться!

На заставах долго переругивались и всячески язвили друг друга, а потом гостреляли немного и притихли.

В первых числах октября основные силы Донской армии, в количестве двух корпусов сосредоточенные на участке Казанская — Павловск, перешли в наступление. 3-й донской корпус, насчитывавший в своем составе 8 000 штыков и более 6 000 сабель, неподалеку от Павловска форсировал Дон, отбросил 56-ю красную дивизию и начал успешное продвижение на восток. Вскоре переправился через Дон и 2-й коноваловский корпус. Преобладание конницы в его составе дало ему возможность глубоко внедриться в расположение противника и нанести ряд сокрушительных ударов. Введенная в дело 21-я стрелковая красная дивизия, находившаяся до этого во фронтовом резерве, несколько задержала продвижение 3-го донского корпуса, но под давлением соединившихся казачьих корпусов должна была начать отход. 14 октября 2-й казачий корпус в ожесточенном бою разгромил и почти полностью уничтожил 14-ю красную стрелковую дивизию. За неделю левый берег Дона был очищен от красных вплоть до станицы Вешенской. Заняв широкий плацдарм, казачьи корпуса оттеснили части 9-й Красной армии на фронт Лузево — Ширинкин — Воробьевка, придвинув 23-ю дивизию 9-й армии поспеш-

но перестроить фронт в западном направлении от Вешенской на хутор Кругловский.

Почти одновременно со 2-м корпусом генерала Коновалова форсировал Дон на своем участке и 1-й донской корпус, находившийся в районе станицы Клецкой.

Угроза окружения встала перед 22-й и 23-й левофланговыми красными дивизиями. Учитывая это, командование Юго-Восточным фронтом приказало 9-й армии отойти на фронт устье реки Игорец — Бутурлиновка — Успенская — Тишанская — Кумылженская. Но удержаться на этой линии армии не удалось. Набранные по всеобщей мобилизации многочисленные и разрозненные казачьи соты переправившись с правого берега Дона и, об'единившись с регулярными войсковыми частями 2-го казачьего корпуса, продолжали стремительно гнать ее на север. С 24-го по 29 октября белыми были заняты станицы Филоново, Поворино и город Новохоперск. Однако, как ни велики были успехи Донской армии в октябре, но в настроении казаков уже отсутствовала та уверенность, которая окрыляла их весной, во время победоносного движения к границам области. Большинство фронтовиков понимало, что успех этот — временный и что продержаться дольше зимы им не удастся.

С момента, когда на Южный фронт прибыл товарищ Сталин и когда предложенный им план разгрома южной контрреволюции (движение через Донбасс, а не через Донскую область¹) на-

¹ В своей исторической записке Ленину товарищу Сталин писал:

«...На-днях Главком дал Шорину директиву о наступлении на Новоросийск через донские степи по линии, по которой может быть и удобно летать нашим авиаторам, но уже совершенно невозможно будет бродить нашей пехоте и артиллерии.

Нечего и доказывать, что этот сумасбродный (предполагаемый) поход в среде вражеской нам, в условиях абсолютного бездорожья, грозит нам полным крахом. Нетрудно понять, что этот поход на казачьи станицы, как это показала недавняя практика, может лишь сплотить казаков против нас вокруг Деникина для защиты своих станиц, может лишь выставить Деникина спасителем Дона, может лишь создать армию казаков для Деникина, т. е. может лишь усилить Деникина. Именно поэтому необходимо теперь же, не теряя времени, изменить уже

чал осуществляться, — обстановка на Южном фронте резко изменилась. Поражение Добровольческой армии в генеральном сражении на Орловско-Кромском направлении и блестящие действия буденновской конницы на воронежском участке решили исход борьбы: в ноябре Добровольческая армия покинула на юг, обнажая левый фланг Донской армии, увлекая и ее в своем отступлении.

ГЛАВА XXIV

Две с половиной недели Пантелей Прокофьевич благополучно прожил с семьей в хуторе Латышевом и, как только услышал, что красные отступили от Дона, собрался ехать домой.

Верстах в пяти от хутора он с решительным видом слез с арбочки, сказал:

— Нету моего терпенья тянуться шагом! А через этих проклятых коров рысью не поскачешь. И на чорта мы их гоняли с собой? Дуняшка! Останови быков! Привязывай коров к своей арбе, а я рыском тронусь домой. Там теперь уж, может, от подворья одна зола осталась...

Обуянный величайшим нетерпением, он пересадил детишек со своей арбочки на просторную арбу Дуняшки, переложил туда же лишний груз и, налегках, рысью загребел по кочковатой дороге. Кобыла вспотела на первой же версте.

отмененный практикой старый план, заменив его планом основного удара через Харьков — Донецкий бассейн на Ростов:

во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот, — симпатизирующую нам, что облегчит наше продвижение;

во-вторых, мы получаем важнейшую железно-дорожную сеть (донецкую) и основную артерию, питающую армию Деникина, — линию Воронеж — Ростов...

в-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части, из коих добровольческую оставляем на с'едение Махно, а казацки армии ставим под угрозу захода им в тыл;

в-четвертых, мы получаем возможность поспорить казаков с Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успешного продвижения постарается передвинуть казацки части на запад, на что большинство казаков не пойдет...

в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается без угля. С принятием этого плана нельзя медлить...».

Еще никогда хозяин не обращался с ней столь безжалостно: он не выпускал кнута из рук, беспрестанно погоняя ее.

— Загонишь кобылу! Чего ты скачешь, как оглашенный? — говорила Ильинична, вцепившись в ребра арбочки, страдальчески морщась от тряски.

— Она ко мне на могилу плакать все одно не придет... Но-о-о, проклятущая! За-по-те-ла!.. Там, может, от куреня одни пеньки остались... — сквозь стиснутые зубы цедил Пантелей Прокофьевич.

Опасения его не оправдались: курень стоял целехонький, но почти все окна в нем были выбиты, дверь сорвана с петель, стены исковерканы пулями. Все во дворе являло вид заброшенности и запустения. Угол конюшни начисто снесло снарядом, второй снаряд вырыл неглубокую воронку возле колодезя, развалив сруб и переломив пополам колодезный журавль. Война, от которой бегал Пантелей Прокофьевич, сама пришла к нему во двор, оставив после себя безобразные следы разрушения. Но еще больший ущерб хозяйству причинили хоперцы, стоявшие в хуторе постоем: на скотиньем базу они повалили плетни, вырыли глубокие, в рост человека, траншеи; чтобы не утруждать себя излишней работой, разобрали стены у амбара и из бревен поделали накаты в траншеях; раскидали каменную огорожу, мастера бойницы для пулемета; уничтожили полприкладка сена, бесхозяйственно потравив его лошадьми; пожгли плетни и загадили всю летнюю стряпку...

Пантелей Прокофьевич за голову взялся, осмотрев дом и надворные постройки. На этот раз ему изменила всегдашняя его привычка обесценивать утраченное. Чорт возьми, не мог же он сказать, что все нажитое им ничего не стоило и было годно только на слом? Амбар — не зипун, и постройка его обошлась дешево.

— Как не было амбара! — со вздохом проговорила Ильинична.

— Он и амбар-то был... — с живостью отозвался Пантелей Прокофьевич, но не кончил, махнул рукой, пошел на гумно.

Рябые, изуродованные осколками и пулями стены дома выглядели неприветливо и заброшенно. В комнатах свистел ветер, на столах, на скамьях толстым слоем лежала пыль... Много времени требовалось, чтобы привести все в порядок.

Пантелей Прокофьевич на другой же день с'ездил верхом в станицу и не без труда выпросил у знакомого фельдшера бумагу, удостоверявшую, что ввиду болезни ноги казак Мелехов Пантелей не способен к хождению пешком и нуждается в лечении. Свидетельство это помогло Пантелею Прокофьевичу избавиться от отправки на фронт. Он предъявил его атаману и, когда ходил в хуторское правление, для вящей убедительности опирался на палку, хромял поочередно на обе ноги.

Никогда еще жизнь в Татарском не шла так суетливо и бестолково, как после возвращения из отступления. Люди ходили из двора во двор, опознавая растащенное хоперцами имущество, рыскали по степи и по буеракам в поисках отбившихся от табуна коров. Гурт в триста штук овец с верхнего конца хутора исчез, в первый же день, как только Татарский подвергся артиллерийскому обстрелу. По словам пастуха, один из снарядов разорвался впереди пасшегося гурта, и овцы, замигав курдюками, в ужасе устремились в степь и исчезли. Их нашли за сорок верст от хутора, на земле Еланской станицы, через неделю после того, как жители возвратились в покинутый хутор, а когда пригнали и стали разбирать, то оказалось, что в гурте половина чужих овец, с незнакомой метой в ушах, своих же, хуторских, недосчитались более пятидесяти штук. На огороде у Мелеховых оказалась швейная машина, принадлежавшая Богатыревым, а жесть со своего амбара Пантелей Прокофьевич разыскал на гумне у Аникушки. То же самое творилось и в соседних хуторах. И долго еще захаживали в Татарский жители ближних и дальних хуторов Обдонья; и долго еще при встречах звучали вопросы: «Не видали вы корову, рожую, на лбу лысина, левый рог сбитый?». — «Случаем, не приблу-

дился к вам бычок-летошник, бурой масти?».

Наверное, не один бычок был сварен в казачьих сотенных котлах и в походных кухнях, но, подстегиваемые надеждой, хозяева подолгу меряли степь, пока не убеждались, что не все пропавшее находится.

Пантелей Прокофьевич, получив освобождение от службы, деятельно приводил в порядок постройки и огорожу. На гумне стояли недомолоченные прикладки хлеба, по ним шныряли прожорливые мыши, но старик не брался за мольбу. Да и разве можно было за нее браться, ежели двор стоял разгороженный, амбара не было и в помине и все в хозяйстве являло мерзостный вид разрухи? К тому же и осень стояла погжая и с обмолотом не было надобности спешить.

Дунышка и Ильинична обмазали и побелили курень, всемерно помогали Пантелею Прокофьевичу в устройстве временной огорожи и в прочих хозяйственных делах. Кое-как добыли стекло, вставили окна, очистили стряпку, колодезь. Старик сам спускался в него и, как видно, там приостыл, с неделю кашлял, чихал, ходил с мокрой от пота рубахой. Но стоило ему выпить за присест две бутылки самогона, а потом полежать на горячей печи, как болезнь с него словно рукой сняло.

От Григория попржнему не было вестей, и только в конце октября случайно Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со своим полком находится где-то в Воронежской губернии. Сообщил ему об этом раненый однополчанин Григория, проезжавший через хутор. Старик повеселел, на радостях выпил последнюю бутылку целебного, настоенного на красном перце самогона и после целый день ходил разговорчивый, гордый, как молодой петух, останавливая каждого проходившего, говорил:

— Слышал? Григорий-то наш Воронеж забирал! Слухом пользуемся, будто новое повышение получил он и зараз уж сызнова командует дивизией, а может, и корпусом. Таких вояк, как он, поискать! Небось, сам знаешь... — Старик

сочинял, испытывая неодолимую потребность поделиться своей радостью, прихвастнуть.

— Сын у тебя геройский, — говорили ему хуторяне.

Пантелей Прокофьевич счастливо подмигивал.

— И в кого бы он уродился не геройский? Смолоду и я был, скажу без хвальбы, тоже не хуже его! Нога мне препятствует, а то бы я и зараз не удал! Дивизией — не дивизией, а уж сотней знал бы, как распорядиться! Кабы нас, таких стариков, побольше на фронт, так уж давно бы Москву забрали, а то топчутся на одном месте, никак не могут с мужиками управиться...

Последний, с кем пришлось поговорить Пантелею Прокофьевичу в этот день, был старик Бесхлебнов. Он шел мимо мелеховского двора, и Пантелей Прокофьевич не преминул его остановить.

— Эй, погоди трошки, Филипп Агевич! Здорово живешь! Зайди на-час, по-толкуем.

Бесхлебнов подошел, поздоровался.

— Слыхал, какие колена мой Гришка выкидывает? — спросил Пантелей Прокофьевич.

— А что такое?

— Да ить опять дивизию ему дали! Вон какой махиной командует!

— Дивизию?

— Ну да, дивизию!

— Вон как!

— То-то и есть! Абы кому не дадут, ты как думаешь?

— Само собой.

Пантелей Прокофьевич торжествующе оглядел собеседника, продолжал сладостный его сердцу разговор:

— Сын уродился истинно всем на диковину. Полный бант крестов, это как по-твоему? А сколько разов был раненый и сконтуженный? Другой бы давно издох, а ему нипочем, с него это — как с гуся вода. Нет, ишо не перевелись на тихом Дону настоящие казаки!

— Не перевелись-то — не перевелись, да что-то толку от них мало, — раздумчиво проговорил не отличавшийся особой словоохотливостью дед Бесхлебнов.

— Э, как так толку мало? Гляди, как они красных погнали, уж за Воронежом, под Мòскву подходят!

— Что-то долго они подходят...

— Скоро нельзя, Филипп Агевич. Ты в толк возьми, что на войне поспешно ничего не делается. Скоро робют — слепых родют. Тут надо все потихонечку, по картам, по этим, разным, ихним, по планам... Мужика, его в России — темная туча, а нас, казаков, сколько? Горсть!

— Вот это так, но, должно, не долго наши продержутся. К зиме опять надо гостей ждать, в народе так гутарют.

— Ежли зараз Мòскву у них не заберут, они явятся сюда, это ты верно говоришь.

— А думаешь — заберут?

— Должны бы забрать, а там — как бог даст. Неужли наши не справятся? Все двенадцать казачьих войск поднялись, и не справятся?

— Чума их знает. Ты-то что же, отвеивался?

— Какой из меня вояка! Кабы не моя ножная хворость — я бы им показал, как надо с неприятелем сражаться! Мы, старики, — народ крепкий.

— Гутарют, что эти крепкие старики на энтом боку Дона так умахивали от красных, что ни на одном полушубка не осталось, все с себя до живого тела на-бегу посымали и покидали. Смеются, будто вся степь была от полушубков желтая, чисто лазоревыми цветками¹ покрытая!

Пантелей Прокофьевич покосился на Бесхлебнова, сухо сказал:

— По-моему, брехня это! Ну, может, кто для облегчения и бросил одежду, да ить люди в сто разов больше набрешут! Великое дело — зипун, то-бишь полушубок! Жизнь дороже его, али нет, спрашиваю? Да и не всякий старик может в одеже резво бегать. На этой проклятой войне нужно иметь такие ноги, как у борзого кобеля, а я, к примеру, где их достану? И об чем ты, Филипп Агевич, горюешь? На чорта, прости бог, они тебе нужны, эти полушубки? Дело не в

¹ Лазоревыми цветами на Дону называют дикорастущий тюльпан.

полушубках или, скажем, в зипунах, а в том, чтобы преуспешно неприятеля разить, так я говорю? Ну, пока прощай, а то я с тобой загутарился, а там дело стоит. Что ж, телушку-то свою нашел? Все ищешь? И слуху нету? Ну, стало быть, слопали ее хоперцы, чтоб им подавиться! А насчет войны не сумлевайся: придолеют наши мужиков! — И Пантелей Прокофьевич важно похромал к крыльцу.

Но одолеть «мужиков», как видно, было не так-то легко... Не без урона обошлось и последнее наступление казаков. Час спустя хорошее настроение Пантелея Прокофьевича было омрачено неприятной новостью, Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитанья по мертвому. Крик приближася. Пантелей Прокофьевич послал Дуняшку разведать.

— Побеги, узнай, кто там помер, — сказал он, воткнув топор в дровосеку.

Вскоре Дуняшка вернулась с известием, что с филоновского фронта привезли трех убитых казаков — Аникушку, Христоню и еще одного семнадцатилетнего парнишку с того конца хутора. Пораженный новостью, Пантелей Прокофьевич снял шапку, перекрестился.

— Царство небесное им! Какой казачина-то был... — горестно сказал он, думая о Христоне, вспоминая, как вместе с ним они недавно отправлялись из Татарского на сборный пункт.

Работать он больше не мог. Аникушкина жена редела, как резаная, и так причитала, что у Пантелея Прокофьевича подкатывало под сердце. Чтобы не слышать истощенного бабьего крика, он ушел в дом, плотно притворил за собою дверь. В горнице Дуняшка, захлебываясь, рассказывала Ильиничне:

— ... глянула я, родная мамунюшка, а у Аникушки головы почти нету, какая-то каша вместо головы. Ой, и страшно же! И воняет от него за версту... И зачем они их везли — не знаю! А Христоня лежит на спине по всю повозку, ноги сзади из-под шинеля висят... Христоня — чистый и белый-белый, прямо кипенный! Только под правым глазом — дырка, махонькая, с гривенник, да за ухом — видно — запеклась кровь.

Пантелей Прокофьевич ожесточенно сплюнул, вышел во двор, взял топор и весло и захромал к Дону.

— Скажи бабке, что я поехал за Дон хворосту срубить, слышишь, родимущка? — на-ходу обратился он к игравшему возле стряпки Мишатке.

За Доном в лесу прижилась тихая, ласковая осень. С шестелом падали с тополей сухие листья. Кусты шиповника стояли, будто об'ятые пламенем, и красные ягоды в редкой листве их пылали, как огненные язычки. Горький, всепобеждающий запах созревшей дубовой коры заполнял лес. Ежевичник — густой и хваткий — опутывал землю; под сплетением ползучих ветвей его искусно прятались от солнца дымчато-сизые, зрелые кисти ежевики. На мертвой траве, в тени до полудня лежала роса, блестела посеребренная ею паутина. Только деловитое постукиванье дятла да щебетанье дроздов-рябинников нарушало тишину.

Молчаливая, строгая красота леса умиротворяюще подействовала на Пантелея Прокофьевича. Он тихо ступал меж кустов, разгребая ногами влажный покров опавшей листвы, думал: «Вот она какая жизнь: недавно были живые, а нынче уж обмывают их. Какого казака-то свалили! А ить будто недавно приходил проводить нас, стоял у Дона, когда ловили Дарью. Эх, Христан, Христан! Нашлась и на тебя вражья пуля... И Аникушка... какой веселый был, любил выпить, посмеяться, а зараз уж всё, покойничек... — Пантелей Прокофьевич вспомнил дуняшкины слова и с неожиданной яркостью восстановил в памяти улыбающуюся, безусое, скопцеватое лицо Аникушки, — никак не мог представить себе теперешнего Аникушку — бездыханного, с разможенной головой. «Зря я гневил бога — хвалился Григорием, — укорил он себя, припомнив разговор с Бесхлебновым. — Может, и Григорий теперь лежит где-нибудь, проклеванный пулями? Не дай бог и не приведи! При ком же нам, старикам, тогда жить?».

Вырвавшийся из-под куста коричневый вальдшнеп заставил Пантелея Прокофьевича вздрогнуть от неожиданно-

сти. Бесцельно проследил он за косым, стремительным полетом птицы, пошел дальше. Около небольшой музги облюбовал несколько кустов хвороста, принялся рубить. Работая, старался ни о чем не думать. За один год смерть сразила столько родных и знакомых, что при одной мысли о них на душе его становилось тяжело и весь мир тускнел и, словно, одевался какой-то черной пеленой.

— Вот этот куст надо повалить. Хороший хворост! Самое на плетни годится, — вслух разговаривал он сам с собою, чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей. Нароботавшись, Пантелей Прокофьевич снял куртку, присел на ворох нарубленного хвороста и, жадно вдыхая терпкий запах увядшей листвы, долго глядел на далекий горизонт, повитый голубой дымкой, на дальние перелески, вызолоченные осенью, блестящие последней красотой. Неподалеку стоял куст черноклена. Несказанно нарядный, он весь сиял под холодным осенним солнцем, и раскидистые ветви его, отягощенные пурпурной листвой, были распахнуты, как крылья взлетающей с земли сказочной птицы. Пантелей Прокофьевич долго любовался им, а потом случайно глянул на музгу и увидел в прозрачной стоячей воде темные спины крупных сазанов, плававших так близко от поверхности, что были видны их плавники и шевелящиеся багряные хвосты. Их было штук восемь. Они иногда скрывались под зелеными щитами кувшинок и снова выплывали на чистое, хватали тонущие, мокрые листочки вербы. Музга к осени почти пересохла, и переловить сазанов не составляло особого труда. После недолгих поисков Пантелей Прокофьевич нашел брошенную возле соседнего озера кошелку без дна, вернулся к музге, снял штаны, — поживаясь и кряхтя от холода, приступил к ловле. Взмутив воду, по колено утолая в иле, он брел вдоль музги, опускал кошелку, придавливая края ее ко дну, а затем совал внутрь кошелки руку, в ожидании, что вот-вот всплеснет и забурлит могучая рыба. Старания его увенчались успехом: ему удалось накрыть трех сазанов фунтов по десяти каждый. Продолжать ло-

влю и дальше он не смог, от холода судорога начала сводить его искалеченную ногу. Удовольствовавшись добычей, он вылез из музги, обтер чаканом ноги, оделся, снова начал рубить хворост, чтобы согреться. Это была, как никак, удача. Неожиданно поймать почти пуд рыбы не всякому придется! Ловля развлекла его, отогнала мрачные мысли. Он надежно спрятал кошелку, с намерением притти доловить оставшуюся рыбу, — опасливо оглянулся: не видел ли кто, как он выбрасывал на берег золотистых и толстых, словно поросята, сазанов, — и лишь после этого поднял вязанку хвороста и нанизанных на хворостину рыб, неспеша направился к Дону.

С довольной улыбкой он рассказал Ильиничне про свое ловецкое счастье, полюбовался еще раз на отливающих красной медью сазанов, но Ильинична неохотно разделяла его восторг. Она ходила смотреть на убитых и пришла оттуда заплаканная и грустная.

— Пойдешь глянуть на Аникея? — спросила она.

— Не пойду. Что я, мертвых не видел, что ли? Нагляделся я на них, хватит!

— Ты сходил бы. Все вроде неудобно, скажут — и попрощаться не пришел.

— Отвяжись, ради Христа! Я с ним детей не крестил, и нечего мне с ним прощаться! — свирепо огрызнулся Пантелей Прокофьевич.

Он не пошел и на похороны, с утра уехал за Дон, и пробыл там целый день. Погребальный звон заставил его в лесу снять шапку; перекреститься, а потом он даже подосадовал на попа: мыслимое ли дело звонить так долго? Ну, ударили бы в колокола по разу и все, а то благовестили на целый час. И что проку от этого звона? Только разведут людям сердца да заставят лишний раз вспомнить о смерти. А об ней осенью и без этого все напоминает: и падающий лист, и с криком пролетающие в голубом небе станицы гусей, и мертвенно полегшая трава...

Как ни оберегал себя Пантелей Прокофьевич от всяких тяжелых пережива-

ний, но вскоре пришлось ему испытать новое потрясение. Однажды за обедом Дуняшка взглянула в окно, сказала:

— Ну, ишо какого-то убитого с фронта везут! Сзади повозки служивский подседланный конь идет, привязанный на чумбуре, и едут нерезко... Один лошадыми правит, а мертвый под шинелем лежит. Этот, какой правит, сидит спиной к нам, не узнаю — наш хуторной или нет... — Дуняшка присмотрелась внимательно, и щеки ее стали бледнее полстна. — А ить это... а ить это... — невнятно зашептала она и вдруг пронзительно крикнула: — Гришу везут!.. Его конь! — И, рыдая, выбежала в сенцы.

Ильинична, не вставая из-за стола, прикрыла глаза ладонью. Пантелей Прокофьевич тяжело поднялся со скамьи, пошел к двери, вытянув вперед руки, как слепой.

Прохор Зыков открыл зорота, мелко взглянул на сбежавшую с крыльца Дуняшку, невесело сказал:

— Принимайте гостей... Не ждали?

— Родной ты наш! Братунюшка! — заламывая руки, простионала Дуняшка.

И только тогда Прохор, поглядев на ее мокрое от слез лицо, на безмолвно стоявшего на крыльце Пантелея Прокофьевича, догадался сказать:

— Не пужайтесь, не пужайтесь! Он живой. В тифу он лежит.

Пантелей Прокофьевич обессиленно прислонился спиной к дверному косяку.

— Живой!!! — смеясь и плача, закричала ему Дуняшка. — Живой Гриша! Слышишь?! Его хворого привезли! Иди же, скажи матери! Ну, чего стоишь?!

— Не пужайся, Пантелей Прокофич! Доставил живого, а про здоровье не спрашивай, — торопливо подтвердил Прохор, под уздцы вводя лошадей во двор.

Пантелей Прокофьевич сделал несколько неуверенных шагов, опустился на одну из ступенек. Мимо него вихрем громчалась в дом Дуняшка, чтобы успокоить мать. Прохор остановил лошадей возле самого крыльца, поглядел на Пантелея Прокофьевича.

— Чего ж сидишь? Неси полсть, будем сносить.

Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем. Два раза он поднимал руку, чтобы перекреститься, и опускал ее, будучи не в силах донести до лба. В горле его что-то булькало и клокотало.

— Ты, видать, от ума отошел с перепугу, — сожалеюще сказал Прохор. — И как это я не догадался послать вперед кого-нибудь, предупредить вас? Оказался дурак я, право слово, дурак! Ну, поднимайся, Прокофич, надо же хворого сносить. Где у вас полсть? Или на руках понесем?

— Погоди трошки... — хрипло проговорил Пантелей Прокофьевич. — Что-то у меня ноги отнялись... Думал — убитый... Слава богу... Не ждал... — Он оторвал пуговицы на воротнике своей старенькой рубахи, распахнул ворот и стал жадно вдыхать воздух широко раскрытым ртом.

— Вставай, вставай, Прокофич! — торопил Прохор. — Окромя нас, несть-то его ить некому?

Пантелей Прокофьевич с заметным усилием поднялся, сошел с крыльца, откинул шинель и нагнулся над лежавшим без сознания Григорием. В горле его снова что-то заклокотало, но он овладел собой, повернулся к Прохору.

— Берись за ноги. Понесем.

Григория внесли в горницу, сняли с него сапоги, раздели его и уложили на кровать. Дуняшка тревожно крикнула из кухни:

— Батя! С матерью плохо... Поди сюда!

В кухне на полу лежала Ильинична. Дуняшка, стоя на коленях, брызгала водой в ее посиневшее лицо.

— Беги, кличь бабу Капитоновну, живо! Она умеет кровь отворять. Скажи, что надо матери кровь кинуть, нехай захватит с собой струмент! — приказал Пантелей Прокофьевич.

Не могла же Дуняшка — заневестившаяся девка — бежать по хутору простоволосой; она ухватила платок, — торопливо покрываясь, сказала:

— Детей вон напужали до смерти!

Господи, и что это такое за напасть... Пригляди за ними, батя, а я смотаюсь в один момент!

Может быть, Дуняшка и в зеркало бы мельком посмотрелась, но оживший Пантелей Прокофьевич глянул на нее такими глазами, что она опрометью выскочила из кухни.

Выбежав за калитку, Дуняшка увидела Аксинью. Ни кровинки не было в белом аксиньином лице. Она стояла, прислонившись к плетню, безжизненно опустив руки. В затуманенных черных глазах ее не блестели слезы, но столько

в них было страдания и немой мольбы, что Дуняшка, остановившись на секунду, невольно и неожиданно для себя сказала:

— Живой, живой! Тиф у него. — И побежала по проулку рысью, придерживая руками подпрыгивающую высокую грудь.

К мелеховскому двору отовсюду спешили любопытные бабы. Они видели, как Аксинья неторопливо пошла от мелеховской калитки, а потом вдруг ускорила шаги, согнулась и закрыла лицо руками.

(Продолжение следует)

ЗАМОРСКИЙ КАПИТАН

СЕРГЕЙ МАРКОВ

Не видать кормового флага... Скалы серые высоки.
Замелькали у Кунигсквага¹ скандинавские маяки.

Слышь? Сирены кричат в океане. К мачтам льнет заклойтой туман.
У заморского капитана — старый перстень индейских стран.

У заморского капитана шелком вышит синий жилет,
Трубка черная из Дурбана² да складной голландский кисет.

Проходи фиорды поране, между мелей да каменных скал,
Где на глубь плывут норвежане — головастых ловить акул.

Находи на мудреной карте верный след, где тебе итти;
Город Васин³ да город Варде³ у тебя стоят на пути.

Ты морями не хвастай ныне... Знаем мы не такие псалмы;
Ведь, не токмо, что в Гавусине³ — и в Стекольном⁴ бывали мы.

Нам издревле в этой сторонке светит яркий сполох — брульянт,
Ведь, в корытах сосновых женки с печи плавали на Грумант!⁵

У тебя ж — не будет талана, ты, разэтакой капитан!
Ты не пробовал без секстана в карбасах ходить на Мурман.

Наше морюшко — знаменито... И придется, верно, тебе
На своем железном корыте поплясать в Мезенской губе!

Заказал ли своей хозяйке о тебе молить небеса,
Если подлая рыба-сайка будет есть твои телеса?

¹ Кунигскваг — норвежская гавань.

² Порт в Южной Африке.

³ Норвежские города.

⁴ В поморском произношении — Стокгольм.

⁵ Древнее название Шпицбергена.

Ну, да ладно... Поладим на том же... Молодая встает луна,
И тебя встречают у Сёмжи¹ наши brave лодмана.

Враз узнаешь нашу породу... А настанет веселый день —
Сам увидишь, сколько народу в карбасах пойдет на Мезень!

Ну, идут! Как будто по суху! Выходи, матросы, на ют!
Женки-кормщицы дразнят белуху, озорные песни поют.

Городок у нас — в лучшем виде; слобода да еще слобода,
На соседей мы не в обиде — облака кругом да вода.

Ты смотри, капитан, да слушай. Вишь, на морюшке синь-туман,
Налетают утки-крякуши на Мезень из индейских стран.

В тундре ягель щиплют олени. На угоре дым от костров,
И шатаются по Мезени восемь шалых братьев Ветров.

Наших сказок в Мезени послушай — есть колючие, словно репей! —
Нашей сёмужки славной покушай да хваленой бражки попей.

Самовары у нас золотые, а на чашках — лазорев цвет;
Будешь гостем, — мы люди простые, — только вашего рома, вот, нет!

Рыбу-матушку ловим в сети... Вымпелà красны да легки.
В Исполнительном Комитете -- зверобой да рыбаки.

Старики — на рассказы спóры, девки любят веселый пляс,
Гуси-лебеди — белоперы, белоруды женки у нас.

Только, вот, не взыщи за порядки, если выпадет летом снежок,
Как подует с Холодной Матки² ветер тот, что зовется Восток.

И разбиться у нас не трудно; понадежней крепи причал,
А не то наскочит на судно штормовой негоданный вал.

Знай свои заморские думы. По спардеку с трубкой ходи,
Сосны красные в темные трюмы — только знай — опускай да клади!

У поморов такая натура — весь порядок прошли морской;
Аж до самого Сингапура беломорской пахнет доской!

¹ Сёмжа — село на берегу Мезенского залива.

² Холодная Матка — Новая Земля.

ДОНАТ, КИТОВЫЙ ДРУЖОК

Брюхаст, борода метелью — такому сам чорт не рад —
Плывет домой в Долгощелье кривой старовер Донат.

Волна набегает с Онеги, еще далека земля,
Голланды идут аль норвеги, чей флаг — не понять с издаля.

Здесь дна не заденешь лотом, а ветер сечет до слез.
Но, вот, шумит кашалотом в тумане чужой лесовоз.

Клонясь на рэлинги¹ грудью, кричит капитан в простор:
— Куда на дырявой посуде торопишься, храбрый помор?

А штурман орет басисто: — Смотри, закипает вал,
И радиотелеграфисты тревожный поймали сигнал.

Смеясь над штурманом ражим, медвежий поднявши взгляд, —
— Иду своим каботажем, — ему отвечает Донат, —

Как плавать — мы знаем сами... Ты нам пути не кажи!
У вас — страмота в Роттердаме и девки — жирны, что моржи.

Катись на своем корыте, поморам вы — не указ... —
Корабль потемневшим бугшпритом² мелькнул и скрылся из глаз.

Посуда прибавила хода, но волны — пуще кипят.
На мбрюшко пала погода... Бросай паруса, Донат!

*

Швыряет углую лодку меж темных пенистых гор...
Бросай же за борт селедку, припасы, кряжистый помор!

На небе — вихрастые тени... Погибнешь ты навсегда.
Захлестывает колени крутая седая вода.

Трещит смоленое днище, — знать лодке приходит срок, —
В морской воде голенища солить не хочется впрок!

Ты крест целуешь тяжелый, распятые тычешь под нбс...
Напрасно! Легкую елу несет на черный утес!

Сейчас под воду опустит... Ой, тяжек крест на груди.
С тоскою речное устье завидел Донат впереди...

¹ Релинги — поручни, перила судна.

² Бугшприт — продолжение корабельного носа, подобие мачты, положенной горизонтально.



Не знаем, долго ль проплавал, не знаем, добро ль продрог,
Да ты, бородастый дьявол, нашел вблизи островок.

Хоть ты и могучный да длинный, а все ж — нехватило сил:
Разлегся, как морж на льдине, не вылив воды из бахил...

У нас малолетние дети, и те ответят всегда,
Когда придет на рассвете, когда уходит вода.

Приходит минута в минуту, песчаные мели покрыв,
Стеною на сорок футов мезенский чудный прилив.

Проснулся во время отлива Донат... Распрямляет рост
И видит дивное диво — у острова... серый хвост.

Бывают на свете напасти! Донат с перепугу дрожит —
Лежит с разинутой пастью на отмели дюжий кит.

От мели — берег далеко... Донат сжимает кулак.
— Я вроде Ионы пророка попался, старый дурак.

Сиди уж — свалишься в воду, как зверь шевельнется, вот-вот!
И кит — не нашего роду; по морде видать — кашалот!

Что делать? И смех, и горе... Кругом — вода да беда...
Ведь скоро с проклятого моря придет большая вода¹.

Тогда спасешься едва ли; ведь к берегу путь закрыт...
Тогда — поминай, как звали... Потопит проклятый кит.

Погибнешь в водовороте... Едва ли поможет крест!..
Как вдруг... на моторном боте торопится Рыбный Трест!

Ну, смеха было, ребята... Такая была суета,
Когда мы просили Доната, молили сойти с кита.

— Здорово, старая шляпа! Здорово, седой тюлень!
Хотел ты уплыть к Норд-Капу? Али надоела Мезень?

Без смеха не вспомнить и ныне! Упершись руками в бока
Донат на китовой хребтине стоял и валял дурака.

— Кита поймал... Караюлю... Приехали вы как-раз!
Вкатите хорошую пулю бродяге в пасть али глаз.

¹ Большая вода — максимум морского прилива.

Что было! Больше недели был праздник на целый мир.
Мезенцы пили и пели, топили китовый жир.

*

Донат, говорил не ты ли, от сказок своих устав:
— Голланды порчу пустили... Кудесен их телеграф!

Ей-ей — нечистая сила. Таких я не видел зверей, —
Откуда к нам затащило кита с индейских морей?

И врал он, сам себе веря: — Хоть вовсе бы вы не пришли,
А я удержал бы зверя один на этой мели.

Неделю возились с тушей... Тебе мы скажем опять:
— Не веришь — правды не слушай, а нам не мешай соврать.

Прозвал весь поморский свет
Китовым дружкой Доната...

Знает наша бригада,
Что чуднее имени — нет!

Люди из захолустья

Роман

АЛ. МАЛЫШКИН

(Продолжение ¹)

На земле предков

На другой день после праздников Калабух в редакцию не пришел. То был для Соустина день тяжелого дыхания... Конечно, отсутствие заведующего вполне объяснялось тем, что выправленных и завизированных статей имелось в запасе достаточно, а у Калабуха могли накопиться неотложные дела по учебе. И Соустин отлично управлялся с полосой один.

Но Калабух не явился и на следующий день. Пустота в отделе обретала для Соустина явно угрожающий оттенок. «Это все я, все из-за меня...» Отсутствующий Калабух мерещился с жестким и брезгливым лицом. На вечер назначалось партийное собрание, на котором должно было разбираться дело с передовой и прочее... Опрометчивый, как казалось Соустину, поступок его разгорался в жгуче-постыдный, карающий костер... Что же, пусть. Соустин не пошел даже обедать, упрямо засел в отделе и на вечер, со злобной решимостью во что бы то ни стало встретиться с Калабухом и принять от него все, открыто, глаза в глаза. Пусть разрыв к чорту, пусть уход из газеты, но он тоже был взрослым гражда-

нином и тоже был в свое время солдатом.

Закрытое собрание происходило в кабинете редактора. Вечерняя кипучка редакционной работы на время притихла, отделы, с распахнутыми форточками, беспризорно пустовали, даже лампочки в коридорах горели через одну... В секретариате, куда Соустин выходил, чтобы передать рукопись (вернее, чтобы спросить, пришел ли Калабух,—оказывается, пришел), в секретариате, рядом с редакторским кабинетом, ступали неслышно, говорили вполголоса. Там, за прикрытыми дверями, сосредоточилось сейчас все напряжение коллектива, там, возможно, неистовствовала буря.

... Действительно, после собрания Калабух заявился прямо в отдел. Тот же, только только утомленно запавших глаз высыпали обильные росинки. Да, была буря... Но поздоровался по-обычному — спокойным и крупным жестом.

— Вы еще здесь?

Соустин подошел к нему в упор.

— Я нарочно дожидался вас, товарищ Калабух. Вы знаете, что я был причиной...

— Вы?

Калабух усмехнулся и положил ему руку на плечо.

¹ См. «Новый мир», кн. кн. 10 и 11 за 1937 г.

— Нет, я не считаю, да и пикто не считает вас виноватым. Почему не сказать прямо партийному товарищу о своих недоумениях, если они есть! Наша партия воспитывает прямоту и смелость. Способность к честному признанию... К тому, что мы называем самокритикой. Возможно, что мои высказывания были неотчетливо случайно, так сказать, сформулированы...

Облегчение, опьянительное и благодарное облегчение. Не только за себя, но и за Калабуха. Словно мучительную проверку прошел тот в глазах Соустина. Эта ровность вместо ожидаемой злобы... И, вероятно, так же искренно и потому без малейшего ущемления для своего достоинства только-что судил самого себя Калабух за редакторскими дверями... Но он, понятно, ничего не рассказывал об этом. Переменил разговор.

— Хорошо, что вы задержались. Давайте рукописи, если есть срочные, я разберусь. А сами можете быть свободны. Мне нужно к утру написать статью.

И через минуту он подтолкнул Соустина к двери, напутствовав его деловито-дружеским рукопожатием. Калабух непременно нужно было остаться одному... Утром Соустин узнал, что статья, действительно, была написана — за полной подписью Калабуха — и сдана. Но из типографии газету еще не приносили. Между прочим в секретариате всезнающие утверждали, что написания статьи потребовало от Калабуха вчерашнее партсобрание. Калабух должен был заявить во всеуслышание о чем-то. В секретариате ждали номера с чрезмерно любопытным, неприятным для Соустина нетерпением.

Значит, испытание еще не кончилось?

Затворившись в отделе, он бесцельно перелистывал комплекты газет. Порхали взад и вперед заголовки и строки... Почему так неотвязно стоял в голове Мшанск? Хлебозаготовки, хлебозаготовки... С каждым днем все яростнее выпирало из лозунгов, из статей одно слово: кулак; в газетной строке оно

чудилось как бы начертанное мраком... «Требование рабочих об увеличении суммы 3-го займа индустриализации удовлетворено. Еще 150 миллионов рублей на индустриализацию страны! Еще удар по кулакам и паникерам!». События пестрели, пролетали мимо глаз — и вчерашние, и позавчерашние, и столичные, и захолустные, и, как бы ни были они несхожи, они были — об одном, их связывал, в них упрямо прорезывался все тот же единый и жгучий смысл...

«На Тормозном заводе: антипартийное выступление Марецкого, Слепкова и др...». «Ярко-фракционный характер работы правых вызывает необходимость чистки Промакадемии». «Уралнефть перевыполнила программу на 22 процента». «Заводские активы Москвы и Ленинграда единодушно клеймят правых отщепенцев». «Бригады рабочих на хлебозаготовках в отсталых районах Пензенского округа. (Ага, это уже о родных местах!) Ряд районов выполнил годовой план. Но в некоторых, например Мшанском, Царевщинском и других, невыполнение до 18 проц...».

Нечто, похожее на ревность, ущемило... И Мшанск, и Мшанск! Словно он изменил Соустину, без спросу вырвался на волю. И кругом него бурлила в'явь сегодняшняя воинствующая и жгучая действительность.

Действительность!

А Соустин имел возможность наблюдать ее лишь вот так — процеженной сквозь газетные заголовки и статьи; иногда чуял кругом неуловимый грозой ее запах, — только! Ехать, ехать... Заметка о Мшанске словно была последней каплей. Ехать! Сейчас это казалось ему важнее всего, даже важнее химии, потому что и химия, и учеба, и, вообще, решительный и долгожданный

перелом в жизни (это понялось вдруг и бесповоротно) как-то зависели целиком от того, что вершилось там. Потому что и химия не являлась для него только делом личного устройства; да и в качестве правщика рукописей можно быть полезным для страны. Не это! Его совесть требовала — резко сдвинуть себя куда-то, немедленно же. Он не мог бы связно пояснить это... Но слишком многое действовало на него теперь, как укор. Вот даже эти «шапки» и заголовки, над неуклюжестью которых он иногда усмехался. Да, но и такие они были на месте, они работали, они таранили цель!

Курьер принес газеты. Вот и подпись Калабуха на первой полосе. Соустин давно не читал политических статей с таким острым и трепетным, как бы семейным, любопытством.

«Наше решительное социалистическое наступление, — так начинал Калабух, — вызывает бешеное сопротивление со стороны буржуазных и мелкобуржуазных элементов. Это сопротивление проявляется в откровенных звериных формах кулацкого террора, и скрытно — в виде мелкобуржуазных колебаний в рядах нашей партии: колебаний то в правом, то в «левом» одеянии».

Дальше автор повторял известное: о борьбе партии на два фронта, с сосредоточением сильнейшего огня в данный момент на правой опасности:

«Правая оппозиция не желает сознаться, что в лживых и клеветнических измышлениях своих она разоблачена и разбита наголову. Правые пророчествовали, что крестьянин добровольно не пойдет в колхоз; факт сплошной коллективизации целых районов опровергает эти оппортунистические домыслы. Правые в панике перед кулаком предрекали размычку крестьянства с рабочим классом. Правые вопили о хлебном кризисе. Налицо, как мы знаем, обратное: жадная тяга новой деревни к машинам, к тракторам и неоспоримые успехи на фронте хлебозаготовок!

Пора положить конец позорной работе правых капитулянтов!

И сделать это можно лишь на основе...».

Так категорически, так осуждающе ни разу не высказывался Калабух. И именно это побуждало к некоторому раздумью... Калабух как будто перечеркивал что-то, резко перечеркивал в самом себе. Во имя чего? Конечно, во имя железной дисциплины партии, во имя монолитности партии: он не мог поступить иначе в момент решительного ее наступления. Оно неотъемлемо было и от его судьбы.

Он появился, как всегда, после полуденного перерыва. Никаких треволений на деловитом лице, лишь пятнистая краснота щек, которые наскло морозным ветром. Сел, равнодушно придвинул к себе газету.

Соустин не удержался, чтоб не сказать:

— Я прочитал вашу статью. Все очень ясно.

Калабух кивнул, неопределенно хмыкнув. Он был сегодня начальственно-суховат, не тот, что прежде... Но у Соустина имелся неотложный, решительный разговор.

Разговор об его поездке. Он начал слово в слово так же, как и с Зыбиным. Поездка временная, не больше, чем на месяц. Сказал также, что хотел бы попробовать себя на корреспондентской работе. Если товарищ Калабух даст разрешение...

Калабух замкнуто поразмыслил с минуту.

— Не возражаю. Но найдите сначала себе заместителя.

Впрочем тут же добавил несколько одобрительнее:

— Несомненно, там вы увидите много интересного.

Соустин ухватился за эту фразу. Для него разговор только начинался. Надо было, чтобы этот человек выслушал его до конца, чтобы он опять целиком повернулся к нему и, может быть, подсказал что-то.

— Товарищ Калабух, даже московские улицы настолько изменились, что поневоле заставляют думать и спрашивать о многом... А что там, дальше? Мне лично это «там» представляется чем-то вроде большого и неизвестного моря, откуда до таких, как я, дочосятся только всплески, в виде газетных статей и случайных рассказней, иногда писем, которые больше сбивают с толку. Что касается газетных статей, может быть, иногда должствующее преобладает в них над сущим, над тем, что есть? И, возможно, что так и надо? Но, ведь, решается сейчас основное, наша общая судьба, и, ведь, решается серьезно, товарищ Калабух?

Калабух слушал пристально, строго.

— Да, серьезно.

— Ну, вот я и решил, — Соустин передохнул от волнения, — решил поехать. Вы не поймите, что тут сомнения. Для меня необходимость коллективизации, коренной ломки закоснелого уклада... и то, что отставание промышленности противоречит, грозит революции, — для меня это такие же непреложные вещи, как и для вас. Простите, это не сомнения... это желание итти вперед с ясными, уверенными глазами, такое же честное желание, как в девятнадцатом году, когда я пошел в Красную армию.

Папироса в его руках прыгала, не зажигалась, но все-таки вдруг стало легче, освобожденнее. Калабух насупленно размышлял. Он медленно прогулялся по комнате. Остановился на любимом трибунном своем месте — у окна.

— Серьезно ли все это, спрашиваете вы. Да, очень серьезно, и поэтому ваши высказывания вполне естественны. Да. Мы как-то на-днях разговаривали с...

Он назвал одно известное лицо, назвал запросто по имени-отчеству. В этом, конечно, не было ни тени бахвальства, только лишний раз подчеркивалась близость, короткость Калабуха с этими людьми. Правда, авторитетность большинства калабуховских имен-отчеств за последнее время поблекла: им оказались свойственны шатания и крупные

ошибки. Они каялись в этих ошибках с самобичующей пылкостью. Но все же они, эти имена, продолжали еще пребывать около государственных высот, с которых отчетливо виделась вся огромная страна. Как же было не напрячься слухом Соустину.

— Да, мы разговаривали в частности о распространенных сейчас в деревне разговорах о близости и желательности войны... — Калабух поправился: — то-есть в зажиточных, экономически ведущих слоях деревни. Поэтому мы не исключаем возможности... что у большинства настоящей, нашей, советской интеллигенции проявляются вот такие настроения... которые, если вскрыть их в глубину, в сущности, выражают известную боязнь, опасение, что-бы...

Калабух, прищелкивая пальцами, затрудненно, с усилием подыскивал слова:

— Чтобы вследствие какого-нибудь, не вполне точно рассчитанного поворота нашей политики... не потерять основных завоеваний революции.

Соустин ошутил неприятный трепет. Действительно, не уличил ли его Калабух в самой тайной и давно вынашиваемой тревоге? И не утверждал ли он еще больше?

— То-есть вы хотите сказать, что есть основание думать... что мы рискуем потерять сейчас и то, что имеем? Но в вашей статье...

Калабух уклончиво и нетерпеливо прервал его, — он еще не довел своей мысли до конца:

— Теперь о должствующем и о сущем. Вот вы как будто признаете необходимость «должствующего». Я не знаю заранее, какие впечатления вы вынесете из вашей поездки. Но в некоторых отдельных случаях... — я говорю о нашей низовой колхозной политике — ... в некоторых случаях, может быть, по вине слишком ревностных местных загибщиков, вы вынесете, допустим, впечатление, что крестьяне идут в колхоз не совсем, скажем, добровольно. Но колхоз все же организуется. То-есть, по-вашему, колхоз становится —

долженствующим. (Нечто вроде снисходительной мудрой усмешки дрогнуло на губах Калабуха). А замена сущего долженствующим, по-вашему, иногда должна оправдываться? Вообще, если уже переходить к философским терминам, я бы ввел здесь более точное понятие: «видимость». Видимость не заменяет сущего, а противоречит ему, извращает его, товарищ Соустин! Ибо, ведь, сущее на вашем языке то же, что и реальность?

Соустин тупо мотнул головой. Калабух словно лавировал между торчащими на каждом шагу остриями гвоздей и Соустина неотстанно волочил за собою. Но, ведь, понятно все, понятно, зачем же он крутит ему голову?

— Попробуйте, прикиньте-ка, нет ли этого конфликта видимости и реальности и на других участках нашего... строительства. Вот, как говорится, мы выходим сейчас из хлебного кризиса. Ну-с, с одной стороны, — на это не закроешь глаз, — у нас карточная система на хлеб и продукты. С другой — хлебозаготовки. То-есть мы идем неизбежно на разрыв с наиболее влиятельной, экономически действенной прослойкой деревни. Можно ли говорить в этих условиях о выходе из хлебного кризиса как о какой-то органически протекающей реальности?

«Значит, и здесь видимость... — сказал про себя Соустин. — Что же остается от статьи?».

И он уже не рад был, что разжег Калабуха («опять, как евангельский демон-искуситель, поставил его на краю скалы»); тот осторожничал все меньше и меньше и мог раскрыться вдруг так, как нельзя ему было раскрываться. От такого Калабуха отшатывалась душа... Но все-таки не удержался, спросил:

— А вот эти фракционные выступления, о которых пишут... что же они?..

И не договорил.

Прямо на него был направлен пытающий взгляд Калабуха. Совсем неожиданный. И Калабух, пожав плечами, прошествовал к столу. Возможно, он вспомнил о скверной болтливости своего

сотрудника и спохватился!.. Соустин недоумевал.

— Я спросил вас о том, что волнует... Вот Зыбина я не стал бы тогда спрашивать, как вас, если бы знал, что он повернет официально...

Калабух, садясь, выразительно поднял брови.

— Товарищ Зыбин делает то, для чего его назначили.

Собственно говоря, мимолетная эта фраза, особенно это «назначили» были обращены не к Соустину, а к другим, отсутствующим адресатам, могущим понимать некие оттенки; но и Соустин, кое в чем уже наметанный, понял. Мало того, он уловил в глазах у Калабуха мгновенный, тотчас же спрятанный вспыхивающий ненависти... Нет, вероятно, показалось только... Разве возможно всерьез такое чувство у партийца к партийцу? Ну, допустим, споры, несогласия, принципиальные резкости...

Но Калабух, полистав папку, уже добродушно отсырел, он вспомнил нечто приятно-интересное: вспомнил философа Бергсона.

— Я денек прихворнул после праздников... занялся его книгой. Знаете, что он говорит о человечестве?

И Калабух процитировал наизусть голосом лакомки:

— «Мы — волны в нарастающем потоке творческой эволюции мира! Мы стоим в первых рядах этого стремящегося вперед саморазвития и раскрытия мира, в нас этот порыв достигает своей высшей точки!..».

У Соустина сорвалось нечаянное, озорное:

— А кулак?

Калабух досадливо поморщился.

— Здесь идет речь... м-м... о свободной, философски созерцающей себя личности.

Впрочем его трудно было остановить. После всего зыбинского сейчас он отдыхал возвышенно.

— Оч-чень любопытно у него дальше... Это уже в другой работе. Всякая философская система, говорит он, чем

больше мы в нее вживаемся, обращается для нас в одну основную точку. В этой точке — все интуитивное постижение философа. И она никак не выразима. Поэтому философу приходится говорить всю жизнь, все время приближаясь к цели, но никогда не доходя до нее. Ну-с, Бергсон утверждает, что и эпоха, в которую создавалась та или иная система, играет второстепенную роль. Он говорит, представьте, что если бы Спиноза жил до Декарта, то он, несомненно, написал бы нечто иное, чем то, что он написал, но все-таки это был бы — спинозизм!

Калабуха опять неудержимо приподняло с места, до того он ликовал за этого умницу Бергсона! (Умницу, но все же чужака, — последнее разумелось само собой.) Соустина заметил:

— Но это несколько напоминает Ницше, у него сказано, что создание художественного образа начинается всегда с неопределенного музыкального волнения...

Калабух одобрил его важным кивком головы. Но слушать ему было некогда, сказал:

— Вообще, нам с вами не вредно было бы... как-нибудь на досуге побеседовать часок-другой. Заходили бы ко мне. Что касается вашего отъезда, устраивайтесь, как вам удобнее.

Таким образом, разговор был им завершен в духе прежнего благорасположения. И сам Калабух, видимо, получил от беседы известное удовольствие: эта взаимная широта высказываний, эта рискованная игра мысли... Среди своих ему, вероятно, приходилось иногда несколько узковато...

Но Соустина этот разговор несколько не вразумил и не облегчил.

И поездка, по ряду обстоятельств, откладывалась и откладывалась.

А тут вскоре случилось, что уже не газетная, а живая явь толкнула под сердце.

Сестра прислала из Мшанска полуграмотное, похожее на вопль письмо, в котором сообщала, что старший брат Петр скрылся, а дом сельсоветчики

собираются отнять, как у кулаков.

Письмо обязывало Соустина поторопиться с отъездом: у сестры, беспомощно стареющей девы, он оставался теперь единственной подмогой. В дедовском доме была и его доля. В Соустино вспикела обида. Конечно, стоит только ему приехать в Мшанск с внушительным мандатом от большой столичной газеты, с веским голосом, и сразу разъяснится это плачевное головотяпство! Бедная сестра...

Было в этом деле одно тревожное неудобство. Клеймящее слово: «как у кулаков». Даже дальнюю, невольную причастность свою к тому, что обозначалось этим словом, люди старались скрыть, несли про себя тайком, как опасную и позорную болезнь. А Соустин по служебной анкете значился пекарем и сыном пекаря... Почетному он немедленно должен был распутать тут некую двусмысленную путаницу, но с кем? Скорее всего с Калабухом. Но уместно ли это было после возвышенных разговоров о Бергсоне или о чем-то в таком же роде? С Зыбиным? Говорить с ним теперь было тягостно. Не ехать уже невысказанно было для Соустина.

... Но вдруг оказалось, что и Зыбин доживает в Москве последние дни. Его перебрасывали в Красногорск, на строительство гигантского металлургического завода. Незадолго перед тем в «Производственной газете» появилась касающаяся этого строительства статья, развернутая на целый подвал: речь шла о неполадках в быту сезонников-строителей Коксохима. «Производственная газета» выдвигала на строительство свой форпост: выездную редакцию, во главе с Зыбиным. «Производственную газету» охватывало пламенем все больших и больших дел.

★

Странно, но, после той встречи в переулке, с Ольгой пока не удалось свидеться ни разу. День за днем она отдавала свиданье, необъяснимо и мучительно для самой себя, это чувствова-

лось даже по телефону. Ожидания Соустина становились нестерпимыми. Ольга опять поднималась в нем большим беспокойством, которое мешало жить ясно, неопьяненно; он снова начал так бешено и нетерпеливо думать о ней, так желать ее, что она перерастала уже в несбыточное бестелесное видение. Против совести своей, обрывая работу, он в неурочные минуты выбегал в редакционный коридор, надеясь застать там врасплох ее, крадущуюся к мужу. Он готов был попать теперь всякие прежние предосторожности и, отчаявшись, однажды позвал ее к себе в комнату, в получужую комнату, в которую каждую минуту могла залететь Катюша... Ольга не отказалась, но, как всегда, ответила: «Лучше потом, наднях...». Прежде, чем повесить трубку, Соустин крикнул, что все же в восемь он ее ждет. Эта фраза, по его расчетам, должна была секунда за секундой точить, отравлять ее волю, всегда такую послушную ему. И он начал ждать ее с часами в руках. Лампа, для интимности затененная бумагой, горела виноградным огнем. Комната неузнаваемо изменилась, словно в галлюцинации, в глазах пыло... Ольга села в трамвай, вероятно, у Крымского моста, все женские свои сокровища она беззаветно везла с собой. Ехать ей — лишь четверть часа. Она сошла на Смоленском, обогнула угол и, чуть щурясь, пересекла яркое облако света у кино. Вот она поднялась по лестнице, вот уже у двери; сейчас виноватый стук и — она на пороге, запахнутая в мех, красивая, почеловечески слабая...

Но Ольга не пришла. В тот вечер нетерпенье его сменилось бесноватой безнадежностью, от которой пересыхало горло. Ночью его погнало к Крымскому мосту. Он приблизился к ольгину парадному и щекой коснулся ледяной ручки. Кроме Ольги, там жил еще человек, который сейчас как бы взирал на него с суровой, убийственной высоты... Может быть, только тут осознал Соустин, что эта новая пауза, которой томила Ольга себя и его, — вовсе не игра и не ребячески-мелочное мученье, как тогда в Крыму. Что и здесь на-

стигало его испытующее, требующее во всем ответа время.

Он только догадывался, но не знал многого. Он не знал, что с некоторых пор Ольга каждое утро входила в один переулочек на Неглинной, поднималась на третий этаж, в пустующую квартиру, где на обоях еще свежили следы от недавно вывезенной витиеватой нэпманской мебели. В дальней комнате (окошко во двор) у Ольги был свой стол на четырех жидких ножках, застеленный промокательной бумагой, стол, чернильница и стугл, больше ничего. И в остальных комнатах сиротливо топырились такие же четвероногие, было достаточно натоплено, но сотрудники все равно бродили в пальто и кепках, именно бродили, а не сидели; пахло неприятной канцелярской тоской девятнадцатого года Профессионально-техническое издательство (ПТИ), куда Ольга поступила секретарем, едва только зачиналось. Егс вызвала к жизни острая потребность в спешном самообучении новых кадров, по которым голодали машины, новостройки, колхозные поля. Оно только зачиналось... Это будет потом: контора с зеркальными окнами, где, в деятельной спешке, даже подоконники завалены делами, усидчивый конвейер служащих девушки, щелкающие на арифмометрах, собственный гараж и главное — сотни тысяч, миллионы брошюр, которых все равно нехватает, страницы их от неистового чтения скоро распухают, как старые рубли, их прячут под замок и одолают только по дружбе, и по всей стране с охотничьей, ревнивой страстью пожирают их молодые и пожилые глаза... Это будет потом, а пока — первый случайный штат (он сменится еще раз десять), несколько спешных заказов авторам-специалистам, сметы, грузовик напрокат. Ольга приходила и, подобно сотоварищам, не раздеваясь, клала руки на промокательную бумагу, над которой уже немало пожил кто-то, испещрив ее росчерками и кляксами, — сплетала пальцы и, глядя оцепенело через окошко на один и тот же двор, заваленный железным ломом, кирпичом, пирамидами извести и еще чего-то мучного, ядовито-зеленого, силилась пове-

рить, что из этой тоски действительно вырастет когда-нибудь чистое и гармоничное жилье для человека.

Она еще не отдавала себе отчета, что за подобие молнии просверкало над ней. И когда? Ничто от этого не озарилось, наоборот, никогда она не испытывала таких на сто я щ и х страданий от неясности, шаткости своих поступков, как теперь.

Она выходила из дому в необычную для нее рань. Улицы мчали мимо нее свою трудовую суматоху. С Крымского моста сползали груженные камнем ломовые подводы, от грохота которых разламывало голову. Грузовики старались разворотить к чорту мостовую или убиться; на них стоя скакали грузчики в капюшонах из грязных мешков. За трамваями, ужасаясь, гнались люди. И улицы эти обтекали Ольгу, как постороннюю... Над дальними районами, в льдистой утренней синеве, восходила полукружием мгла. Там угадывались негаснущие огни заводов, скопления рабочих корпусов, это был мир, совершенно не известный Ольге, замкнувшийся (ей казалось) от таких, как она, в своем особом сплоченном отчуждении, даже, пожалуй, высокомерии, право на которое там было завоевано веками неведомого ей окаянного житья, казней, борьбы... Она шла и думала, в последнее время именно этот мир неотрывно притягивал мысли, — может быть, потому, что он сейчас торжествовал, потому, что он, как тема, главенствовал в ежедневных разговорах, в газетных телеграммах, в статьях, в научных и художественных книгах, потому, что все, что делалось им, повелевало и этими улицами, и городами, и государственной политикой, и даже искусством. Многие представляло перед Ольгой иначе, начиная с воспоминаний детства, над которым прополыхало кровавое зарево Пресни... Почти каждую полночь под ее окнами проплывали сонмища грузовых машин с факелами: рабочие завода АМО показывали столице свою суточную продукцию. Ольга вспоминалась при этом ходившие по Москве рассказы об ударных бригадах, невероятных, яростных людях, которые добровольно

отрабатывали подряд две смены. И эти рассказы возбуждали в ней глухое чувство обойденности. Где-то существовала сердцевина жизни, ослепительный ее очаг, поступки высокого смысла, то, что неизрекаемым, непереводаемым на слова призывом звучало в бетховенском «Эгмонте», в музыке Баха. А Ольга осталась среди своих подшефных, жалостных и удушливых. На Неглинной она сходила с трамвая. Она поднималась на третий этаж, садилась за свой стол, клала на него как бы изнемогшие руки. Какая снедающая душу бесполезность, пустота! И черная, в самое сердце излучающаяся коробка телефона, — сколько надо сил, чтобы не подойти к ней, не припасть...

Однажды, правда, Ольге поручили с'ездить на вокзал, принять груз бумаги. Она была рада хоть какому-нибудь делу. Женщина-шофер, в лобастом малахе своем похожая на римского воина, посадив Ольгу с собой, резко захлопнула дверь кабинки. Город побежал наперерез, наискось, за плечами шаталась домоподобная громадина пятитонки. Ольга попыталась заговорить, но женщина отмахнулась от нее отрывистым ответом, как от мухи. И, взглянув на ее жестко нацеленные, вынесенные вперед глаза, Ольга почувствовала себя праздною, излишней. А может, так оно и было? Ее жалкая доля работы выразилась в том, что она передала накладную какому-то человеку. Этого человека сердито разыскала та же женщина-шофер. Через лабиринт переездов и платформ она уверенно привела машину к нужному пакгаузу. Рабочие по ее команде покатали по доскам многопудовые рулоны. Ольга, оттесненная, стояла в сторонке, пудрилась и зябла. «Готово?» — после погрузки скорее приказала, чем спросила ее женщина. И Ольга в краешке пренебрежительного взгляда ее увидела себя, изнеженную и изукрашенную свою никчемность, укутанную красиво в мех. «Поседемте» — сказала она и отчего-то гневно вспыхнула... Дома, полистав телефонную книжку, она позвонила по нужному номеру. «Когда откроются автомобильные курсы и кого туда принимают?».

«Приходи через месяц, приноси документы, посмотрим» — ответили ей.

И тотчас же, словно не в силах остановиться, с разбега, позвонила Соустину. Она сегодня вечером ждет его, — нет, не в счастливом переулке, а около аптеки на Пречистенке.

Шел уже декабрь. Но погода выпала не обычная, не декабрьская, как будто нарочно для того, чтобы этот странный, неутешный вечер впился в память надолго... Оттепелый туман, желтая слепота улиц, из которой еле просвечивают фонари и окна и внезапно вымахивают трамваи. Жидкий снег, не стекая, кашицей лежит по тротуарам, ноги прохожих по щиколотку дрызгают в нем, зацепляя обжигающую грязь в калоши, в туфли, за чулки... А где-то есть теплое море, — оно, ведь, не приснилось, — и вечно зеленые парки, сбегаящие в самый прибой! Желанная фигура оказалась из мглы раньше, чем ожидал Соустин. Он, не здороваясь, взял Ольгу под руку, сердце билось, как у застигнутого врасплох.

— Почему, почему ты так долго изгала видеться? Только говори правду...

— Я и сегодня пришла только потому, что решила, Коля, поговорить с тобой серьезно. Очень серьезно. Может быть, в последний раз.

Конечно, охлаждающему вступлению этому Соустин не поверил. Она пришла, она опять сливалась с ним своей теплотой, он знал, что в такие минуты ее слабость, ее повиновение становились беспредельными... И глубже, как властелин, забрал ее руку. Пальцы его упирались в мех на ее груди. Ольга не сопротивлялась, но уступчивость ее, какая-то разумная, матерински-спокойная, встревожила Соустина больше, чем слова. Он увлек ее, подругу, в путанные, отемненные мглой арбатские переулки, он вел ее ближайшей к его дому дорогой, вел в невыносимом предвкушении... Чувствовала ли она, какая смотрела на нее сбоку голодная, скрипящая зубами нежность? Ольга послушно переступала за Соустинным на своих каблучках, но в опущенных веках ее, на напряженьи тонких бровей крылась своя упрямая, отчужденная мысль.

Ольга сказала:

— Ты хочешь моей тоски, ты недоуволен? Что ж, я люблю тебя. Но уезжай. Я тебя понимаю... мы оба ищем настоящей судьбы. Это — когда слушаешь музыку: есть что-то обязательное, возвышенное, единственное в жизни... какая-то вечная мелодия. Где же она в наших поступках, в наших делах? И приходит пора, какое-то требование изнутри... иначе не можешь жить! Хотя бы надо было ломать все, начинать по-другому... — В волнении Ольга то опережала Соустина, то замедляла шаг, пытаясь вырваться из его полуобъятий. — Я сегодня скверно говорю, перескакиваю... я все время одна. Самое мучительное для меня, Коля, это... неслитность, как бы тебе объяснить? Знаешь, я пробовала даже служить.

Соустин слушал хмуро.

— А ты не говорила об этом... с ним?

— Зачем? Он бы мне, наверно, посоветовал... ну, взять какую-нибудь культу работу на заводе, учить рабочих. Чему? Когда мне самой надо во всем переучиваться — и умом, и чувствами... Да не в этом дело.

Она обвела глазами унылый переулок. Низенькие домишки хирели и зябли, уже не кичась своей облезлой дворянской стариной. На углу — несъедобные железные замки продмага, спозаранку за ненужностью запертого... Казалось, всюду в окошках тусклели ночнички.

— Скажи, Коля... будет когда-нибудь радость?

— Радость? — Он подумал. — Раньше, лет двенадцать назад, я сказал бы, что ее надо завоевать.

— А теперь?

Внезапное раздражение вспыхнуло в нем. И слова, недавно услышанные у Калабуха, как-то сами сорвались с языка:

— А теперь, как думают некоторые, можем потерять и то, что имеем.

Впереди, в мгlistом разрыве зданий, промчался трамвай, как разнузданный конь. Приблизилось возбуждающее многолюдье большой улицы. Соустин, за-

медлив шаг, сказал каким-то нарочито-беззаботным голосом:

— Ну, вот и дошли, Арбат. Зайдем ко мне.

Ольга подняла ясное, доброе лицо.

— Нет, Коля.

Он гладил меховые ее плечи, заглядывая снизу в убегающие ее глаза.

— Но мы будем там одни, одни... а здесь мерзость, слякоть, люди толкаются, даже поговорить по-настоящему нельзя!

— Нет, Коля, не надо. Я хочу сказать тебе, зачем я пришла. Слушай.— Она приостановилась, расстегнула перчатку и рывком застегнула опять, словно поставила, вонзила точку. — Коля, я с двоими жить не могу. Хотя с Тоней я вообще сейчас не живу, мы в разных комнатах. Я не могу. Если хочешь, я завтра же перееду к тебе. Совсем. Вот.

Он слушал, чуть отшатнувшись.

— Мне кажется, тогда не будет вымученного дурмана, все станет спокойнее, яснее... Освободятся силы для другого, это необходимо сейчас.

Они помолчали.

— Я не ждал, Ольга... Я еще не думал об этом. — Слова ее упали, как непоправимое, внезапное несчастье. Вероятно, он терял ее, всем существом — навсегда терял. — Нет, я, конечно, думал. В конце-концов мы должны быть вместе, это ясно, иначе не может быть!

Он горячился, но рассудочно горячился, сердце его ныло. Не кажется ли ей, что наоборот — именно сейчас всякая ломка некстати усложнит жизнь? Он — человек без чувств, человек случайной профессии... Нужно же, наконец, собрать все иступления все свои силы, все напряженье, — она знает, для чего! И у них нет даже комнаты... Но все это, Ольга, родная, будет, будет!

И Соустин клятвенно сжал ей руки. А у самого в глазах прошла Катюша, жена, и светилась, и казнила его своей преданной, приветливой улыбкой...

— Что ж, хорошо, — безразлично сказала Ольга.

Еще несколько шагов сделали, потупленные, в молчании.

— А все-таки, Коля, ты не тот человек, которому можно довериться, чтобы спокойно перейти улицу.

Вот о чем было ее раздумье... Она ударила по самому больному, не щадя. И несправедливо. Минительность и ожесточение обуяли его. Подожди, еще подожди!

— Ты, Ольга, как самая близкая, должна бы знать меня получше, чем другие.

Укор его прозвучал сдержанно. Но Соустин тут же круто повернул назад: пора было кончать эту тягостную прогулку. И выделись-то не больше часа. В комнате у Соустина напрасно дожидались цветы... Переулки опять раскрывали перед обоими туманные, печальные устья. Ветер охлестывал их в последний раз, на память, противной мокретью. О, похоронный вечер, рыданием застрявший в горле! Впрочем, ни Соустин, ни Ольга, по видимости, не переживали ничего особенного, разговаривали о пустяках и, пожалуй, даже дружески. Вот и Остоженка, но Ольга на этот раз забыла воскликнуть, как обыкновенно: «Я уже дома!».

На горбе, во всю ширину улицы, возникло качающееся, лучисто-туманное зарево. И огненные фары прорвались, наплывали... Чьи-то чужие жизни пронесли из тумана в туман.

Почти под ногами у Соустина, рядом с тротуаром, в полуподвале, со звоном осыпалось дверное стекло. Раздался матерный гик. Из-под земли вываливался пьяный рослый парень в кепке. Сзади пытался его ухватить пожилой, большеголовый, в одном пиджачке. Пожилой вопил. Он догнал парня на улице, на трамвайной линии. Парень ударил его в грудь кулаком, потом налету еще ногой; пожилой упал на колени. И тот, в кепке, зверем закружил по мостовой, выбрасывая яростно кулаки, проклиная, отыскивая еще кого-нибудь.

— Ты куда? — с тревогой спросила Ольга, чувствуя, что Соустин тянет ее с тротуара. Она трепетала, встречая хулиганов, у нее были случаи в жизни...

— Мы перейдем здесь, — сказал он злобно.

И почти насильно повлек ее за собой. Парень на середине улицы удивленно и зловеще сбычился. Пара шла прямо на него. Впрочем Соустин оттолкнул Ольгу немного в сторону.

— Здравствуйте! — заорал парень, срывая с себя кепку, но, посмотрев Соустину в глаза, осоловело отступил.

Ольга усмехалась чуть-чуть...

Соустин, конечно, проводил ее до самого парадного. Уже взявшись за ручку, Ольга заворожено засмотрелась куда-то, должно быть, на сияния Крымского моста. «Что ты увидела?» — спросил Соустин. «Мне как-то показалось однажды, когда ты меня провожал, что оттуда, из-за угла, вышел Тоня. И вдруг повернул назад: наверно, потому, что узнал меня и не хотел смущать. Он тогда вернулся домой через час!».

Но Зыбин был безразличен сейчас Соустину. В ольгиных глазах отражались глубокие голубые мерцания, это походило на какую-то ночь в Партените, и он боялся вспомнить ее до конца, боялся опять пропасть. Навстречу губам его Ольга подставила щеку, и они скользнули по ней... Оставшись один, шагая к себе домой, он испытывал почти радостное равнодушие.

И в тот же вечер решил, что уедет, не увидевшись с нею. И решил не звонить больше. И он, в самом деле, не звонил.

Но накануне самого отъезда, уже начав укладываться, в сумерках, он вспомнил о ней и ужаснулся. Наскоро одевшись, выбежал напротив, к телефону. Он разговаривал, до боли в ладони стиснув трубку, зажав глаза рукой. Он разговаривал с нею так, что она должна, должна была, тоже без памяти, бурно выбежать сейчас из дома, навстречу ему... И, бросив трубку раньше, чем Ольга успела ответить, поспешил к Крымскому мосту.

*

...В половине седьмого в квартире у Ольги раздался второй телефонный звонок. Говорил из редакции Зыбин. Есть два билета в Художественный на «Бро-

непоезд». Может быть, Олюша захочет пойти вместе на прощанье? Тогда он будет ждать ее в под'езде театра...

К окнам, которые Ольга позабыла занавесить, подступала долгая, неодолимая ночь. Задыхающиеся слова того, другого, еще стояли в ушах. Последняя ночь... и было еще не поздно.

Ольга коротко ответила Зыбину:

— Да, я буду.

Она написала записку для подшефных: «Зыбиных нет дома», но несколько мгновений боялась выглянуть на лестницу: тот, сумасшедший, желанный, мог стоять за дверью. Нет, никого не было, и душевное сопротивление ее распалось разочарованно и тоскливо; едва нашла воли в себе, чтобы сесть за зеркало. Изнутри празднично освещенная, уютная, теплая коробка театра ждала ее в ночи, как убежище. И ждал успокоительный, большой, всегда ровный Тоня. Ольга старалась думать только об этом. Первое сближение их с Тоней началось именно с театра. Он звонил ей, своей соседке, из редакции. Среди мельтешенья ее подшефных, крикливых, суматошливо-высокопарных и каких-то бескостных он проходил отчетливой походкой человека, делающего совсем иное, трезвое, нешуточное. Он тревожил, притягивал ольгино любопытство... Зыбин звонил ей из редакции, что есть билеты, и она, сама себе улыбаясь, садилась, искусница, за зеркало.

...Она чуть тронула веки голубую тушью. После раздумья выбрала голубые бусы. Длинное синее платье обтянуло ей живот и бедра, опустилось шлейфом. Положив кончики пальцев на грудь, Ольга повертывалась перед зеркалом, — туго, изгибно обтянутая чувственность, дремлющие синие глаза... Она давно не наряжалась так. Ее самое возбуждало бальное излученье, исходящее от нее...

Она спускалась по лестнице, крадучись, как предательница, красивая, раздушенная, с легкомысленно мятущимся шлейфом... В тот год впервые начинали носить длинные платья. Пальто донашивались по нужде прежние — короткие, и платья выбивались из-под них

цветными хвостами. В под'езд МХАТ, сквозь легкую, сияющую от фонарей метелицу, спешили женщины, развевая цветные хвосты, бальную нарядность. Одиночки-мужчины ожидали возлюбленных, заложив руки за спины, рыская глазами. Так ожидал иногда и Соустин... Но Зыбин задержался в проходе, в самой толкучке, он и тут улучил минутку — потолковать с кем-то о делах. Раздеваясь, Ольга заметила, — и это тронуло ее, — что он во всем новом, даже галстук надет, что с Зыбиным случалось редко. Ей стало понятно, что о билетах он знал с утра, только из деликатности не хотел говорить ей, приневоливать заранее. И дикая боль пронеслась в ней, боль за него.

— Сколько мы с тобой, Олюша, не были в театре, года полтора? А помнишь, до свадьбы?..

Того, что называется свадьбой, у них вовсе и не было, он шутил. Он шутил с нею всегда немного опасливо, боясь, что не очень тонко у него выходит. И какой-то млажавостью опахнуло обоих; они опустили в кресла, словно стеснительно-полузнакомые, только начинающие игру. И вот раздвинулся занавес, со сцены заводшебствовал выдуманный, озаренный ночными огнями день... Ольге стало легче. Минута проходила за минутой, и каждая из них была ольгиной победой. И каждая минута все непроправимей, все невозвратней отдаляла Ольгу от того, кто, может быть, уже ненавидел ее где-то в этой ночи. Освобождение, спокойствие... Зыбин чуть-чуть наклонился к Ольге плечом, она сама отдала ему послушную, тоскующую руку.

В антрактах они, муж и жена, гуляли под руку, душистая теснота выносила их наверх, в буфет, где продавались черствые коржики, соевые пирожные и стаканы чая с одним кусочком сахара. В следующем действии Баталов запевал партизанскую. Кумачевая разодранная до тела рубаха развевалась на нем иступленно вместе с песней. Над залом бушевала веселая, безоглядная удаля. И все это действительно когда-то было, было! Зыбин потихоньку

отстранился от Ольги. Он сидел сейчас неприкосновенный, способный оттолкнуть, с остановившимся взглядом, с забывчиво открытым ртом... Он остался дико доволен песней, он нажег себе до боли ладони, аплодируя.

Ольга спросила его в антракте:

— Тоня, ты, ведь, тоже воевал на бронепоезде?

— Нет, я на броневике, это немного другое. — Плечи его возбужденно ходили, он то-и-дело наталкивался на людей. — У нас вот один разок было, в двадцатом, когда Врангель прорвался на Донбасс... Решили броневичками ударить ему в тыл, чтобы обеспечить, как говорится, отход. Ну, созвали всех нас, ребят, и прямо, по-честному, сказали: возврата вам, конечно, нет.

Ольга грудью повернулась, — не то слушала, не то искала в нем чего-то.

— Ребята были черноморские братишки. Ну, и что же! Выпили тогда мы крепко и пошли. — Зыбин вдруг словно смутился, заметив вперенный ее пытливый взгляд. — И пошли... Ну, и все в порядке. Вернулись... суток через трое. Видишь, даже в театр ходим!

Он по-добряцки рассмеялся. И все это для Ольги было не то, не то. И спектакль кончался тревожно-рано. Еще огромный кусок непрожитой ночи оставался, какие демоны еще могли из нее вырваться, какие сумасшедшие звонки!.. Она боялась итти домой.

Но Зыбин, такой необычно взвинченный сегодня, такой дурашливый, праздничный, предупредил ее:

— Олюша, а как насчет того, чтоб нам кутнуть напоследок, а? Хотишь в «Метрополь»?

Конечно, Ольга сияюще согласилась. Только зачем это «хотишь», опять нарочитая, привычная его шутка, зачем он продолжает прятаться, играть с ней, как с ребенком? О, как хотела бы она хоть однажды увидеть его плачущим или бесноватым! А Зыбин, как ни в чем не бывало, ташил ее под руку по морозным голубым площадям, насильно заставляя разбегаться, чтобы проскользнуть по накатанному асфальту, как на коньках, потом так завертел около себя, что фонари хохочуще слились перед

Ольгой в один звездистый круг... Если б он знал, какими сладкими шагами ходила она недавно — вдвоем — по этим местам, какую и сейчас невнятную и глухо-желанную песню они ей пели о преступных полночах...

Зеркальные, отсвечивающие соблазнами двери ресторана закружились, разверзлись.

Усевшись вслед за Ольгой за столик, Зыбин огляделся с мешковатым любопытством новичка.

В пустынной купольной высоте ресторана опрокинута сверкала люстра. Она давала тон торжественной изысканности зала. Блистающие приборы на столиках холмами уходили вдаль. Строгие официанты изъявляли бегучую готовность. Жизнь протекала здесь среди баловства и цветов. Поневоле вспоминались суровые, как во время войны, улицы, — они неподалеку, вот тут, за стеной, — в грубошерстных пальто, в кепках, продуктовые карточки. Зыбин тяжело повернулся в своем кресле. То была трудность, которая покрывалась только большим, беспощадно-смелым и умным кругозором. Вот он и сам здесь с Ольгой... Впрочем, довольно пока об этом! Зыбин подозвал официанта, заказал еду, бутылку вина, — только крымского, правда, Ольга? Вспомним сейчас твой Крым! А я тоже поеду на курорт, только другого назначения! — Ольга вкось оперлась на руку, показывая ему лишь прямой задумчивый пробор, линию носа, курчавые теплые завитки на шее. Она не видела, какой лелеющий взгляд устремлен на нее.

Ресторанная полночь разгоралась. Зал наполнялся, разговаривал, курил. Ольга выпила бокал вина. Оно было розового цвета. «За удачу в твоей работе, Тоня!». Нет, есть ей не хотелось. Огромную эстраду неспеша занимали музыканты. По залу пролетела тишина. Поиалось жеманное рыдание танго. И танцующие пошли по паркету качающимся лунатическим шагом, подбородок в подбородок, глаза в глаза.

К Ольге приблизился какой-то напроборенный модник, с восточно-томными черными глазами; острые отвороты пиджака стояли на его груди, как

крылья. «Иностранец?» — подумал про себя Зыбин и отвел глаза прихмуренно. Но тот попросил разрешения на чистом русском языке. И Ольга, готовно простирая руки, встала.

И свет погас. В середине зала над бассейном, укрытым в растениях, вспыхнули цветные лампы. Вокруг бассейна колыхалось радужное шествие танцующих. Зыбин обозревал его не без любопытства. То была волна с мутноватым осадком, в которой, если копнуть, поглубже... Она двигалась, двигалась перед ним, и вот, совершив круг, опять наплывало одно теплое пятно, которого ждали, просили глаза. Ольга покачивалась, удлинная, голубая... Зыбину почему-то смешливо пришло в голову, что вся эта раздражительная краса, надетая на ней, сделана на его газетные гонорары. Ночь путалась в противоречиях, и серьезных, и пустяковых... Да, красивая у него жена! Но не из тех красивых и опасных, от которых во время нэпа сбились с толку кое-кто из друзей его, в былом — крепких, стойких ребят. Ольга была другая — душевная недотрога, и Зыбин до сих пор бережно уступал ей право на это. Он ничего не сказал Ольге даже тогда, когда, после ее приезда из Крыма, они стали жить в разных комнатах. Может быть, его занимали дела поважнее? Он поманил к себе официанта, шепнул ему что-то. Тот быстро принес стопку водки. Зыбин выпил ее с резким движением. И мысли его отвлеклись к скорому отъезду, к просторам, в которые понесет его поезд, к могуче раскинутой там работе, накрывающей человека с головой, со всеми его мыслями и малодушными ущемленьями. Но, может быть, это тоже малодушие, — что отъезд стал для него желанным, вроде как забыть?.. Нет, Зыбина просто мучило бездействие. И надо было домой: возможно, ночью еще позвонят из редакции. Вверху распахнулся свет, к столику, обмахиваясь платком, подкормнула Ольга.

— Нравлюсь я тебе такая, Тоня?

— Вот танцы ты нашла время выучить, — заметил Зыбин с насмешливым укором.

— А для чего я не нашла времени?

Он не ответил прямо.

— Что же ты не расскажешь, как твоя служба?

— Я ушла.

Ее подивили яркие, крупные румянцы на лице мужа. Словно он хотел и не решался выйти из берегов обычной сдержанности. И стало ясно, что именно сейчас может начаться тот страшный поворотный разговор, от которого всегда бежала и которого так жгуче желала ее душа. С Ольгой рядом сидел человек, целиком из того главного мира, неслитность с которым, как она думала, отбрасывала ее в сторону от настоящей жизни. И этот человек был Тоня, ее муж. Какое-то одно безоглядное движение—и разрешится все, что ломало, уродливо теснило ее... Ольга опять прикоснулась губами к бокалу.

— Тоня, у вас в редакции есть сотрудник, мой знакомый, Соустин... как ты смотришь на него?

— Соустин? Кажется, работающий парень, только... невыраженный, с интеллигентщиной. Захотел поехать на периферию. Посмотрим его на новой работе, она будет ответственной.

— Но ты не знаешь, Тоня: журналистика, ведь, не его основное... Соустин не кончил университета, химик.— Ольга говорила, не поднимая от бокала голубых век. — Он хочет продолжать учиться, тут все его надежды, он хочет выявить всего себя на любимой научной работе...

Не слишком ли горячо, забывчиво-тоскливо звенел ее голос?

— Что ж, — сказал Зыбин, — ну, и пусть учится. Такие люди нам сейчас особенно нужны, — ты сама понимаешь, в связи с пятилеткой... У нас много специальных вузов, курсов, и будет еще больше, пожалуйста, учись, работай!

Ольга повела плечом.

— Мне кажется, ты немного не о том...

И она внезапно — ударом — устремила свой взгляд вглубь его глаз. Не показалось ли ей, что в них трепещет что-то бегущее, неверное, знающее?.. Выплыли десятки мелочей, незаметно

вонзившиеся когда-то в память. Тот человек, похожий на него, который тогда ночью повернул, почти бежал от их парадного... Мимолетные, после посещения мужа, встречи с Соустиным в редакционном коридоре: проходя, Зыбин нечаянно был несколько раз их свидетелем, и есть, ведь, короткие застигнутые взгляды, которые откровеннее, страшнее слов... Ольгу охватили и стыд, и гневная гордость, и ненависть к себе. И при помощи этого человека ей искать выхода? Горько улыбнулась внутри самой себя.

— Ну, неважно, Тоня, — уже лукавила она, — а почему ты сам едешь, а меня не приглашаешь с собой?

— А на кого останутся твои чудачки? — Впрочем голос Зыбина сейчас же стал серьезным. — Приеду туда, Олюша, осмотрюсь, потом напишу: может быть, тебе и полезно будет туда... хоть на время. Вообще, вместо этого кутежа — ну, я виноват! — нам бы, пожалуй, напоследок поговорить, подумать, Олюша... и о тебе, и о нас обоих.

Ольга, потемнев, выпрямилась.

— Дай мне сделать это самой.

— Ну, попробуй. Потом напиши...

Он остался любезным и щедрым, ее Тоня, до конца и на обратную дорогу заказал такси. Он дурачился, разлегся на сиденьи по-баловному, как заправский кутила, забавляя ее. И по дороге крепко обнял Ольгу верной, никуда не отпускающей ее рукой. Ольге было тесно и хорошо, и кружилась голова. Она пожелала тайком про себя: «Ну, поцелуй!..». И на повороте, в пронсящих, вращающихся огнях, как бы в ответ, к ней наклонилось лицо мужа, он искал ее, но в силу какого-то радостного противоречия Ольга увернулась, вырвалась из его тесных, настойчивых объятий к окну, как будто там проблеснуло что-то внезапно-интересное: то была игра!

Но зато на лестнице она потребовала, чтобы Тоня опять взял ее за талию. Ольга поднималась и падала назад, лежа на его руке, и кричала: «Тоня! Я пьяная!». Он делал притворно-испуганное лицо, увещевал ее: «Ведь, услышат же, скандал... Ольга!». «Я

пья-а-аная, Тоня!» — хохотала она и опять падала, чтобы Зыбин ее нес, почти волок на себе.

В коридоре оба остановились, улыбнулись друг другу, — никому из них не осталось понятным, о чем они улыбались, и оба разошлись по своим комнатам раздеться.

Еще не сняв пальто, Ольга поспешила к своему столу, схватила фотографию кудрявого самодушья, поднесла к глазам... Поэт глядел куда-то мимо, победительно, мечтающе. Ольга выдвинула ящик стола и спрятала портрет вглубь, жестко щелкнув замком. Потом достала из шкафа нужную книгу, перелистала ее и вынула оттуда ухороненную открытку... Пальто досаждало Ольге, но стоило освободить пуговицы, и оно сползло к ногам.

Снимок на открытке был сделан утром, в Партените. Оба они, и Соустин и Ольга, лежали в море плечом к плечу, смеющиеся, полуголые, и каждый изогнут, как лук, потому что прибор сейчас накроет их сзади, он уже опустил их головы сверкающей зернистой пеной. А глазам лежащих виделись в это время горячие горы, виноградники, райская лазурь!.. Ольга медленно разорвала снимок вдоль, — на одной половинке осталась ее голова и голая шея в ожерельи, в этом самом, голубом, — потом разорвала еще раз, как попало, потом на клочья, мельче и мельче. И в форточку выпорхнула целая пригоршня бумажных крошек.

Ольга помедлила, подставив голову под полночный ветер, ледяной, не освежающий, полный глухонемых воспоминаний. Со стороны Крымской площади близился тяжелый нарастающий грохот. На Ольгу знаком пахнуло предчувствием безысходности... По мостовой побежали отблески зарева. Это двигалась každношная демонстрация ударников АМО. Машины выходили из тьмы бесконечным шествием, празднично-шумные, поющие, осыпающиеся искрами факелов и бликами знамен, машины плыли вслед друг другу, и люди, сделавшие, оживившие их своими руками, торжественно стояли на них. По

городу двигался праздник мужчин в простоватых пальто и кепках, работниц в косынках и фетровых шляпках... Женское пение возносилось особенно неистово, в нем кипели и гордость, и мстительное ликование, направленное, может быть, и против Ольги, в которой еще не стерся, бесновался и огнями, и фокстротом «Метрополь». У нее сладостно заломило веки. Восторг, общий с этими недосыгаемыми, отрицающими ее людьми, все равно — поднимал и ее, закидывал ей голову, потому что нечем стало дышать, потому что она слышала опять вечную мелодию. Если бы и ей, и ей с ними!

Вдур показалось, что в коридоре хлопнула дверь. Замирая, Ольга соскочила на пол, на цыпочках подбежала к порогу. Да, по коридору приближались крадущиеся шаги. Его шаги. В окне еще грохотало, глаза у Ольги слиплись от слез. Она откинулась к стене, слабея, словно в обмороке, цветущая и счастливая, она ждала.

Шаги миновали дверь, в коридоре звякнула телефонная трубка, — вероятно, у Зыбина приключилось что-нибудь с собственным телефоном. Приглушенный разговор... Шаги вернулись, и опять стукнула дверь. Она закрылась решительно, на всю ночь. Настала тишина, из форточки далекое-далекое доносилось пение, как ветер. Ольга мгнулась, схватилась за ручку двери, стиснула ее и отпустила тотчас.

И почувствовала, как гаснет вся внутри, гаснет кожа на лице, гаснут руки. Только голубое платье слишком ярко, некстати ярко красовалось на ней, кричало, как к несчастью. Попробовала присесть в кресло у стола. На столе под абажуром сиял сильный, шестидесяти-свечевый свет, но неуловимый мрак, как слепота, пеленал комнату. Он зарождался в самой лампе, в нестерпимо раскаленных угольных волосках... Ольга сидела одна в своей изукрашенной комнате-гробу, среди воскуривающихся по стенам анемичных неземных цветов, среди бледнокрасочных утончений, кое-где засиженных мухами, кое-где пристертых затылками гостей: комнату пора было штукатурить сызнова.

Сколько времени прожила она так, в бессвязной глухоте, — час, два? Ей понадобился голубой стакан, стоявший на туалетном столике. Стакан из венецианского стекла был подарен ей в день рождения одним из подшефных поэтов. В шкафу отыскала флакон с розовой водой. Сулема хранилась у Ольги давно — для разных косметических надобностей, ее трудно было достать, но Ольга, модница, достала. В стакане жидкость обрела тяжеловатый черный цвет. Из стакана пахло аптекой. Ольга понюхала и покривилась.

А форточка еще оставалась открытой. Где-то внизу на воле проезжал пустой извозчик, копыта цокали неспеша, порой поскользаясь. Влетал мокрый снег, впивался в голую ольгину шею пронзительными, приятными мурашками. И в темноте, окутывающей этажи, неумирающими отзвуками еще жило все, что бурно пронеслось, просуществовало под этими окнами за день и за ночь. Совсем еще не оконченное, тревожно и неумоимо распирающее грудь.

И женщина, держащая стакан наготове, понимала, что то, что она собиралась сделать, она собиралась совсем не серьезно... Ольга поднялась к форточке и плеснула из стакана. Глаза залепило снегом. Извозчик внизу проезжал неспеша, согбенный от дремоты или от мудрости. Он влекся мимо спящих домов, мимо погасших фонарей, мимо каких-то выдуманных ночных теней, и Крымский мост открывал перед ним освещенный уменьшающимися, бесконечными огнями тоннель, как бы предвзярая сиянья и глубины раскинутого дальше, огромного, как жизнь, Города.

*

Соустин проснулся где-то за Рязанью. На мягкой полке колыбельно покачивало. Лет десять не видывал он вокруг себя этих распахнутых, кружильных снегов. Проплывали путевые будки, полузанесенные сугробами кустики, деревенский овин под почернелой соломенной шапкой... Поезд был почтовый, часто останавливался, —

только поздней ночью предстояло Соустину вылезти на нужном полустанке, а там еще проехать на лошадях двадцать километров. Он сходил почти на каждой остановке, читал полузабытые, возбуждающие в нем странный трепет названия станций. Даже в ветре чудились смутные, песенные, невозвратимые отголоски... И у вагонов топал совсем мшанский народ, в лаптях, в оранжевых нагольных полушубках, ушанах; и по-захолустному хрустел снег под ногами; и могучие осины с остекляневшими, звездистыми от инея ветвями возносились точь-в-точь, как в детстве над церковно-приходской школой; хлопающая с подвизгом станционная дверь напоминала об удушьи дедовой лавки...

Снегами, Мшанском все глуше заносило Москву.

Да, через много лет он ехал на побывку домой, Колька Соустин, который, бывало, околачивался босиком у ларьков на базаре, получал тычки, побольше вырос — кулачил тесто у деда в пекарне. И ехал он в мягком, дорогом вагоне; в кармане у него лежал мандат от столичной газеты; на Соустине была шуба-реглан с каракулевым воротником, шелковое кашне, модная мохнатая кепка. Как встретят его покривившиеся тусклоглазые избенки Лягушачьей слободы, убогий отчий быт, покинутый давно, говоривший уже на чужом для него языке? Попробовал взять книгу, начатую еще в Москве, но и сквозь строки романа пробивались те же мысли о близком свидании, и желанном, и чем-то страшном Соустина.

И спать — не спалось. Стоило лишь закрыть глаза, как в них непрошено разгоралась опять Москва, позавчерашняя, незажившая, жгучая.

... Соустин до одиннадцати ночи пробуждал тогда поблизости ольгина дома. Он и сам сознавал, что отчаяние, которому он дал волю в себе, унижительно... хуже, чем унижительно, потому что время и люди вокруг него напрягались совсем другим, потому что беспощадные силы сшибались над его головой... Порой ему представлялось, что он бежит, уже гонимый ими, как тот из «Медного всадника». Ночь трамваев,

грузовиков, плохо освещенная, безвыходная, задыхающаяся...

Оставалась еще замоскворецкая квартирка. Надо было зайти проститься перед отъездом. Или, быть может, опять обмануть себя минутным успокоением? Он мчался в переполненном трамвае, всю тяжестью измученного тела повиснув на ремне, закрыв глаза... Во дворике, знакомом и полутемном, пошатывались те же вязы, свидетели нищеты и чистой молодости, из окон падал бледный, как бы давний свет. Соустин вспомнил бак с пельменями и тот опаливший его на минуту порыв... А теперь вся страна подымалась в порыве, и даже эта квартирка, с взрослыми в землю окошками, со своей незатейливой жизнью, сдвинулась куда-то, может быть, опередила Соустина, днем и ночью несаясь вместе с временем на невидимом, безостановном поезде, — и свояк Миша, ударник, назначенный уже заведующим в своем магазине, и Катюша, и Люба действительно, без лишней оглядки жили, ревниво работали, учились, они знали, куда идет их поезд, и своего места на нем теперь не отдали бы. А поезд Соустина уходил на следующий день в шесть вечера.

И, в самом деле, в семейственный быт квартирки вошла некая неудобная перемена. Ни Миши, ни Катюши, несмотря на поздний час, не было дома. Один на складе, — какой-то внеочередной учет товаров, — другая после службы на курсах. Люба обрадованно встретила Соустина, наскоро запахивая на себе бумазейный халатик. Через столовую, где спал Дюнька и лампа была глухо прикрыта платком, оба прокрались на цыпочках. Присели на катюшину кровать. Осветился пушистый профиль любин, ее полуткрытый, серьезно внимающий рот. Она не сожалела, что Коля уезжает, потому что не хуже других понимала, какое теперь деятельное время. С такою покорной серьезностью, почти молитвенностью женщина могла относиться только к войне. Но все-таки Соустину показалось странным, почему Катюша не догадалась сегодня притти пораньше? А может быть, она вовсе не на курсах, а сидит сейчас

под темными деревьями у Кремлевской стены, где пары блаженно согревают друг другу руки? Катюша, святая Катюша... И ее женская плоть тоже хотела радости, смеха, сладкой опасности... Нет, это была не ревность; но — остаться одному, совсем одному, чтобы даже в минуты самой тяжелой болезни около его постели не наклонился кто-то, самый родной?

Он заторопился уходить, несмотря на молящие, отчаянные уговоры Любы, несмотря на то, что Катюша должна была вернуться с минуты на минуту. Ему нужно было куда-то двигаться; он знал, что и дома через полчаса ему станет тошно... Люба, вздохнув, пошла проводить его. Она стала на пороге; и Соустин, словно по немому зову ее, замедлил...

— Ну, передай привет Мише. А с тобой давай простимся, завтра едва ли...

Шуба его была распахнута. Люба послушно выгнула навстречу тоненький стан. Соустин задохнулся в ее губах, впился в них всей своей мукой, его зубы скрежетали от вопля. Глаза у этой девочки стали уснувшими, груди ее трепетали под его грудью, как птицы. Соустин прислонил ее к двери и выбежал с лестницы, не оглядываясь.

Вился полночный сухой снег. На одной из улиц пришлось пережить нескончаемую вереницу грузовиков, поплывших с песнями и факелами. Шествие завернуло к Москворецкому мосту, к центру, где в небе трепетал огненный язык государственного флага, где высились туманные скалы зданий, Большой театр, «Метрополь»...

Катюша пришла на другой день проводить. И глаза такие же ясные и заботливые, как и всегда. Как нелепы были вчерашние мысли о ней! Вот — отпросилась ради него пораньше со службы, напекла на дорогу пирожков. И, не утерпев, бурно принялась за уборку холостяцкого его жилья, с ужасом выгребая из углов и с подоконников всяческую заваль, старые газеты, обрывки черновиков. Ласка, семейная домовитость переполняли ее, накопили в ней, — какая это была жена! С нею обещалась полнота здоровой, невозму-

тимой, искренней жизни и такой же работы. И кто-то помыслил о том, чтобы навсегда оторвать Соустина от нее!..

— Ну, побудем вместе, Катюша, на прощанье! — Соустин бережно притянул ее к себе, усадил рядом на кушетке. — Как хорошо, когда мы вместе одни, как будто в своей комнате! Мы оба устали, Катюша, довольно... Знаешь, давай решим... — Чувство освобождения все ширилось в нем, безбрежно захватывало его, в окна вливалось холодное, лучезарное сияние зимы, верилось, что этот день, предстоящая поездка—последний рубеж, за которым повзрослому, по-бодрому начнется жизнь. — Давай решим, Катюша, что, как только я вернусь, найдем комнату во что бы то ни стало! В жилищном кооперативе обещают только через год. Но многие сейчас уезжают в командировку, сдают на время. У меня этот год самый серьезный!..

Катюша ничего не говорила, теребя со стесненным дыханием бахромки тряпочки, которою только-что стирала пыль. Она никогда не умела требовать для себя, Катюша.

— ... поворотный год. Я буду добиваться и добьюсь... Добьюсь работой. И будем оба с тобой учиться, а летом поедем отдохнуть куда-нибудь... в Крым! Ты будешь моим щитом, Катюша!

Она отдала ему свои счастливые глаза. Про щит Катюша не поняла, конечно... И как она по-детски рада была — помечтать наконец-то вместе.

— Да, Коля, тебе давно пора. Я не знаю, почему ты пропустил последнюю осень? Какой-то чужой ходил... А сейчас, Коля, это сделать легко, сейчас так идут навстречу! У тебя заслуги, твои лучшие годы взяла гражданская война. Я и про себя думаю, Коля: зачем мне эти нотариальные курсы, я теперь могу выбрать поинтереснее, какой-нибудь специальный техникум, правда? Это будет замечательно!

Она совсем освоилась, сама прижималась, ютилась к нему. Хорошая! И сладкую готовность прочитал Соустин в раскрасневшемся ее лице, в распутившихся, налитых губах, в этом запроки-

нутом прижиманьи — стыдливую готовность жены. Ведь, Коля уезжал надолго, она заботилась о полной прощальной ласке для него. Зимний день безбрежно, отдохновенно сиял... Соустин потихоньку освободился.

— Мне нужно еще найти извозчика, Катюша, я вернусь через десять минут.

Но дело оказалось несколько сложнее, и Соустин возвратился только через полчаса. Катюша еще прибиралась. И чем-то непредвиденно-неприятным ударила пустота письменного стола, тоже прибранного, обнаженного от книг. Там справа, — Соустин помнил, — под «Анти-Дюрингом» беззаботно засунута была карточка ольгина с надписью и еще один снимок, на котором оба они с Ольгой, во время прибоа... Он порывисто, как бы невзначай, открыл шкаф: да, «Анти-Дюринг» лежал там отдельно. Надо же было ей! Соустин оглянулся. Катюша следила за ним; она тяжело, вкось, как преступная, отвела глаза...

Об'ясняться сейчас, снова вызывать больные призраки?.. Он предпочитал уехать с комом в горле, унося на себе бремя этих молчаливых и покорных глаз. Потом, потом...

... Снотворные снега кружились в окне. Над деревьями, над овражками проплывал вагон с томительной, уютной своей духотой, с занавесями на окнах, с зеркальными дверями, с московскими разных степеней сановитости людьми, которые прохаживались, курили, читали... Нет, комфортабельный этот вагон совсем не казался чем-то чужеродным среди снеговой деревенской юдоли; и в вынужденной праздности едущих в нем людей сквозил некий деловитый дух, даже, пожалуй, военная подтянутость: вагон ощущался плывущим штабом. Страна лежала за его окнами, как раскрытая для работы книга.

И Соустин ехал среди отобранных этих людей не даром. Ему было поручено дело общественного значения, отмеченное особой, даже опасноватой остротой. Когда мысли о личном несколько отходили в сторону, это поручение вы-

ступало перед ним во всей своей суровой требовательности.

В день отъезда — то было еще до прихода Катюши — он зашел, он вынужден был зайти к ответственному секретарю.

Зыбин в своем кабинете читал. Почему он сделал вдруг такое остерегающееся движение? Соустин понял, взглянув вскользь на развернутую на столе папку с печатными листками. Он видел не однажды такую же в руках Калабуха, но каждый раз лишь издали видел... Зыбин быстро закрыл папку, положил на нее ладонь.

Что же, Соустин присел.

— Ну, счастливого пути, успешной работы! — Зыбин радушно откинулся в кресле. — Когда уходит поезд?

Соустин сдержанно сказал, что перед отъездом он хотел бы получить о своей работе более исчерпывающие указания.

— Указания? Пишите правду, вот и все. В частности? Пишите о том, как углубляется процесс коллективизации в деревне, как ведет себя кулак... о борьбе с ним. (Петр прошагал где-то по стуже, исхудалый, загнанно-озирающийся.) Ну... пишите о кадрах, уходящих с мест на строительство. Район, вы говорите, ваш родной, вы знаете его и в прошлом? Вот и из прошлого подберите несколько фактиков поярче, выпуклее, например, о кулацкой эксплуатации. Освещение будет полнее. (Соустин — скорее от стеснительности, чтоб не смотреть ему в глаза, — вынул блокнот, записывал.) Язык в ваших статьях очень художественный, но должен вам сказать, вы не сбижайтесь... за красотой, товарищ Соустин, вы особенно там не гонитесь, давайте фактов, фактов побольше. Правды.

Соустин бросил осторожный взгляд на закрытую папку. Документы, спрятанные в ней, исходящие из высшего органа партии, полагалось знать только Зыбину, Калабуху, они оглашались лишь среди членов партии, на закрытых собраниях... Конечно, Соустин отлично понимал, что означают иные важные документы в боевой обстановке, при близости врага... Но если бы хоть однажды кто-нибудь поговорил с ним

обо всем, начистоту, как бы давая ощутить ему свое голое сердце!

— Правду не только надо видеть, товарищ Соустин, надо уметь выявлять ее. Вот! — Зыбин, сам того не заметив, указал на папку, — допустим, что где-нибудь в Тамбове и, скажем, в Рузаевке головотяпы погноили на элеваторе несколько тонн зерна. (И Соустин подумал, что в папке наверняка это есть — и о Тамбове, и о Рузаевке.) Значит ли это, что аппарат наш ни к чорту вообще, что он никогда не справится с тем, что мы поднимаем, и вообще, что надо поставить под сомнение нашу систему хлебозаготовок? Нет, так могут рассуждать только те, кому выгодно видеть не всю правду, а только первую, внешнюю половину факта! Правда — умнее.

Зыбин поспешно вынул коробку папирос, закурил, предложил и Соустину.

— Правда-то в том, чтобы увидеть, где и какие основные действующие силы, и вытянуть их... Правда, товарищ Соустин, только одна: это есть то, что является железной необходимостью для класса. Впрочем, вероятно, вы и без меня все это хорошо понимаете. Не даром этим словом назван и центральный орган нашей партии...

Соустин слушал, выцарапывая в своем блокноте какие-то узоры. В Зыбине сегодня было что-то не всегдашнее, возбужденное, удивляющее... Как будто он вдруг отбросил пустяки, выпрямился... Один из ведущих, не задумывающихся... И, может быть, дома у них с Ольгой счастливые перемены? Соустин поднялся с места.

— А если такая вещь, товарищ Зыбин... В одной вчерашней газетке...— Он нелепо порывлся в газетном ворохе на зыбинском столе, ничего не нашел и взволнованно махнул рукой. — Неважно. Там один автор написал злободневную заметочку о нехватке продуктов в магазинах. И знаете, к чему он все свел, что больше всего возмущает автора? Почему в магазинах нет конфеток кисленьких для рабочих! Он так и пишет, грома мечет: наш рабочий любит к чаю кисленькие! Наш рабочий! — Знакомая жаркая слепота бешенства вдруг скрутила Соустина, кидала по комнате. — Вы

простите, товарищ Зыбин, знаю я эти кисленькие конфетки для простонародья, которые продавались на копейку по три штуки и которыми довели так же мыло. А ведь сам этот сюсюкающий сукин сын, наверно, обожает кофе покушать в «Метрополе». Почему же для рабочего-то, для хозяина, смеет он негодовать только о кис-лень-ком?

Он задыхался, руки его тряслись. Зыбин тоже встал, наблюдая его с усмешливым и каким-то новым любопытством.

— Ну, пошляков и приспособленцев у нас достаточно. — Зыбин шутивно посмеивался на прощанье. — Я вот тоже изредка захожу в «Метрополь».

Он протянул руку.

— Итак... — И внимательно посмотрел на Соустина: — А как у вас с Калабухом?

Соустин понял: после того случая ему предлагали защиту, если она нужна...

— Ничего.

— Ничего? Да... а почему же вы не сказали нам ни разу, что хотите учиться? Эх, химик! Наша редакция имеет связь со всякими институтами и всегда окажет вам содействие. Подумайте об этом.

Соустин едва не отшатнулся, изумленно пробормотав что-то. Ольга вдобавок выдала самое его сокровенное... На том и кончилась беседа. Беседа кончилась дружески, но осталось в памяти что-то хозяйское, предостерегающее, оно неотступно летело по снегам косыми тенями вагонов, столбами оконного московского света... оно досягало и до самого Мшанска.

Мшанск!

Неужели он в самом деле едет в Мшанск?

Последние пролеты пути, обнесенные глухою ночью, показались Соустину бесконечными. Не заносы ли? На каком-то раз'езде не вытерпел, спустился из вагона, — нет, ночной снег лежал спокойной, сказочной, исчезающей из глаз ровенью. Просто-напросто сердце его, в ужасающем своем биении, перегибало часы, минуты... Но вот промахнула, кончилась лесная темень. Дальше равнина, Соустин угадывал ее в законной мути, и по равнине бежит от

Мшанска большак, и с большака сейчас видно, как выхватило поездными огнями из-за леса.

Через раскрытую на площадке дверь ловил глазами медленно останавливающиеся станционные кусты, крыши знакомых-перезнакомых построек...

Соустин поставил чемоданы на снег. Со стекольным дребезгом хлопала станционная дверь. Справа, сквозь снежную пыль, ясно светил фонарь. Бегущий вдоль вагонов мужик в курчавой шапке вдруг остановился.

— Николай Филатыч, это вы будете? Я — Васяня, помните, маленьки-то вместе играли! Сестрица за вами выслала.

Соустин радостно здоровался.

— Да-да...

— Вы в вокзальце обождите, а я к саням сбегаю, тулуп там для вас, валенки. Я минутой!

И Васяня опрометью бросился прочь. Соустин вошел в станционный залик. На диване, на подоконниках, на пустом буфете, в тоскливой полутемени, спали впривалку друг к другу. Баба стояла, мотала в руках ребенка, баюкая. У билетного окошечка подавленно толпилось несколько опоздавших зипунов с котомками. Под самой лампой висел плакат — крымский лазоревый берег, около автомобиля красивая дама в вуалетке, развевающейся над пальмами, над дворцами, над морем павлиньего цвета, — не Ольга ли? Соустин смотрел на плакат, а в темени кто-то удушливо, по-избыному храпел, ребенок все плакал, все плакал, и вспомнилось летучее счастье, Партенит, и что-то вроде страшно за себя стало ему.

Услужливый, восхищенный Васяня помог переодеться, вынес к саням чемоданы. И уселись. Тулуп залепил Соустину рот, глаза. Когда выехали за мостик, ветер раздольно зашумел, заходил, во все стороны утонула снеговая волчья степь — без кустика, без жилья.

Васяня навалился Соустину на ухо.

— Петрушу-то, брательника, тоже я эдак ночком отвозил. И-и, набедовался!

И пошли посвисты, санная тряска-дремота, и сердце замирало вприсонках.

*

Петушиный неугомонный, дерущий крик... Петух орал где-то за тысячу верст от Москвы. К ноздрям подбирался праздничный угарец от пирогов. И нега, горячая детская нега, растомила боком к голландке, накалила ее до огненного, не пожалела дров. В родной скрипучей кровати потягивался безмятежно.

Мшанск!

Соустин вскочил в нетерпеливом предвосхищении большого, интересного дня.

Прежде всего — оглядеться... Оба окна дослепа заплела махровая ледяная листва. В горнице уже не видно дедовских бревенчатых стен: они оштукатурены, какого-то гробового цвета обои с розанчиками. Ну да, Петр одно время промышлял и обоями. На простенке — олеография в червивой рамке, сохранившаяся еще от деда, памятная, прочерненная, — какое странное нахлынуло терзание!

Соустин даже на табурет привстал, чтобы рассмотреть поближе. Тот же ручеек пенится по камням на одеревяненном холсте, дальше голландская мельница, непонятная уму, и какой-то понурый сказочный мальчик в широкой шляпе удит рыбу, — сумерки, давность почти затянули его. И Соустин вспомнил другие пробуждения свои — в юности, на холодной заре; как верилось тогда, что где-то в большом мире, за долами ждет его ненайденное счастье! Что ж, вот и побывал Николай Соустин за теми горами-долами, вернулся домой, теперь ему тридцать пять лет...

Накинув пиджак, он через кухню, где у печки хозяйничала сестра, вышел во двор. Сестра с опаской позвякивала сковородками, двигалась на цыпочках, думая, что гость еще спит. Чудилось в этом и любовь, и жалкая, подобострастная боязнь...

— Коленька, батюшка, да как же ты раздемшишься наружу, — ахнула она, — застынешь!

— Да ну, Настя, я здоровый, — отмахнулся он. И правда — щеки его полыхали темноватым румянцем, москов-

ский пиджак сидел хорошо, мужественно на широких плечах, на груди распахнута тонкая чистая сорочка. Спину почувствовал, что залюбовалась им из своей юдоли сестра.

Утренний, тихий, пуховый, по колена лежал снег. Соустин завернул сначала к полуподвалу, где помещалась встарь дедова калачная, — оттуда глянула нежилая мерзлая яма. Он пошел на задний двор. Когда-то место заманчивых игр, спасительных побегов, страхов! Едва Соустин полез туда, согнувшись в три погибели, как сверху, с застрехи, оборвалась снежная глыба, насыпала колючего снегу в глаза, за пазуху, даже подмышки. Ух, это была жизнь, свежесть, хорошо!

И остановился. Перед ним раскинулся занесенный снегом, разгороженный пустырь, — раньше тут стояла банька, теперь ее не было. И кругом, и поодаль — белые огороды, с останками плетней, ветлы, воронье... Еще дальше — надречная круча, над ней задами своими проступала главная улица, Пензенская. Он узнавал, где тот дом, или тот, где почта, где сквер; на грозового оттенка небе чересчур ярко выдавались снеговые кусты, снеговые крыши; поверх них высились колокольни со спиленными крестами. И тишина окрест, тишина, будто одетая в валенки... И в эти сны Соустин приехал с деловыми задачами! Он нагнулся, зацепил полные пригоршни снегу и начал натирать себе шею и лицо.

Когда он вернулся в горенку, на столе красовался настоящий праздник. Шумел медный самовар. Под чистым полотенцем отдыхал пылающий пирог, пусть и ржаной, но все же пирог, с капустой и яйцами, с сытно-промасленной коркой. И целое блюдо любимых «кокурок», то-есть слобных ржаных лепешек на сметане, сверху разукрашенных решеточкой, как исстари велось в Мшанске. И даже полбутылки водки грешно сияла на столе. Соустин был растроган, — будто деды так почетно принимали его, баловали. И тут же сообразил, что сестра на это угощение, конечно, оторвала часть из приглашенных им же денег, а он посылал ей в месяц рублей по 40 — 50. На кухне у нее Соустин

только-что осмотрел сковородки и горшочки: они говорили о скаредном житье, о крохах. А в Москве за десять лет перестало даже веритья, что где-то в самом деле существует сестра.

Она смущенно суежилась подле стола, по-обрядному усаживала брата, из почтительности оговариваясь, называя его на «вы». «Да будет вам, Коленька, я что же, я потом!...». На ней вязаная шерстяная кофточка бурого, старушечьего цвета, — наверно, самое нарядное, что у нее нашлось. Худенькое, выпитое личико перестарка, шея из двух толстых жил. Дед таскал ее за собой по ярмаркам, по базарам, заставлял стоять за шкатулкой. Так и простояла, пробазирила она девичью свою пору. Осталась горенка да кухня...

— Я бы с мясом пирожок-то завела: в четверг у Блиновых хрёка зарезали. Да не успела, все по рукам рассовали уж.

— Да и так замечательно, чудесно! — нахваливал ее Соустин.

Он достал из чемодана московские гостинцы: чай, сахара, несколько банок консервов, две палки сухой колбасы и даже катини пирожки, к которым не притронулся почти в дороге. Сестра бочком, смиренно подглядывала.

Потом, налив полнехонько обе рюмки, перекрестилась, стерла ладонью слезинку.

— Ну, дай-то бог, Коленька... со свиданьем!

И выпили. Шумел семейно самовар; белый, тихий, спокойный день светился в окнах, в ледяных цветах. Какой-то давний довоенный день, он — даже в яблочном запахе водки... Недовольный дед, наверно, хлопочет внизу в пекарне. Может быть, сейчас собираться в сквер на гулянье с барышнями? Полупустую горенку обволакивали исчезающие, канувшие в небытие вещи. Мальчик на картинке удил рыбу. Умершие глухо, по-родственному обступали Соустина. Где же явь?

— Ты, Коленька, не смейся про антихриста: его люди видали в селе Пыркине. Передние копыта лошадиные, задние — коровьи.

У сестры не нашлось даже желанья задать ему самый неизбежный вопрос: куда все это идет, теперешнее, и чем кончится? Так придавленно, убого жил ее ум. Она рассказывала ему про полувымерший мшанский мирок, про родичей и знакомых, сразу воодушевившись, как только дошел до них разговор, — в этом сосредоточился, вероятно, главный интерес ее жизни. Кто помер, кто женился, кто на себя сделал покушение, кто скрылся без вести, кто уехал в дальние края, в Москву или Сибирь, кто добился такой-то большой должности. Хотя сестра, по всей видимости, и глубоко отрицала современный строй, но к большим должностям относилась с завистливым почтением, а слово «комиссар» проносила благоговейным шопотом.

И — рюмка за рюмкой — полузабытый мирок этот начал сладко затягивать, разгорячать и Соустина. Перед ним ожила Пензенская улица, какой виделась она в юности, расположенная на круче, высоко над Лягушачьей слободой, с высокими каменными домами, принадлежащими людям благородного — чиновного или купеческого — звания. В палисадниках играли гитары, за каменными окнами прятались гордые недоτροги-красавицы, или они гуляли в садах, которые сползали райской гущей яблонь до самой Мши, где всклень, вровень с берегами неслась обильная вода. Когда Колька, великовозрастный босой дылда, проезжал этой улицей на возу с калачами, он от стыда напяливал картузишко на самые глаза и уродовал гримасой лицо, чтоб его не узнали. В те времена он до лихорадки начитывался Гамсуном. В баньке, на заднем дворе, потихоньку от деда хоронил свои колбочки, препараты, разные порошки для научных опытов и однажды чуть не умылся азотной кислотой.

И безудержно — даже дух захватило — захотелось сейчас же пройтись по Пензенской.

— Конечно, сходи, Коленька, — поддакнула сестра, — и с родней надо заодно повидаться. Одна у нас осталась родня: Ивана Алексеича Журкина семейство. Может быть, и о Петруше ка-

кой новый слухок есть. Как уехал, сердечный, с тех пор мне ни словечка...

Она зажала концами косынки глаза, всхлипнула.

— И домок-то без него отбирают, совсем отбирают, Колюшка, куда я денусь, и-и... То-и-дело этст шляется... бедняк-то, Кузьма Федорыч... ходит, приделивается.

— Какой Кузьма Федорыч?

— Вра-аг.

И упала головой на стол. Соустин вскочил, обнял жалкие ее, трясущиеся плечики (это горе было и тяжело, и чуждо ему), отрывал мокрые пальцы от лица, он готов был рассердиться, утешая ее: как Настя могла расстраиваться из-за такой явной нечестности? Ведь, писал же он... а в самое ближайшее время он лично отправится в совет и распутает это дело. Кто у них там начальство-то?

— Да кто, пастушонек бывший сидит... Бутырин фамилия.

Вот он с этим пастушонком поговорит, как следует. Смешно! А к лету дом надо обязательно отремонтировать, перекрыть сарай, двор огородить... Он наклонился над сестрой, всесильный, успокоительный, звал ее скорее одеваться, чтобы пройтись вместе.

И сестра повеселела.

— Я уж и всем говорю, что ты у нас, Коля, особый. Только что же супругу-то не привез? — И хмельновато, побабьему запела: — Уж как бы я посмотрела на нее, на родную мою сестрицу!..

На улице она почтительно приотстапала чуть-чуть от богато одетого брата и на встречных смотрела с такою нескрываемой мстительной гордостью! Соустин ничего не замечал. Улица его детства, Лягушевка, бобыльи завалинки, дорога, засоренная золой и соломой... Навстречу попадались только незначительные мужики и старухи. Где же гроза? С кручи, по спуску от Пензенской улицы, на ледянках каталась детвора. Во что попало закутанные эвереныши с сияющими глазами. Их детство виделось, словно с другой стороны пропасти. Эти-то даром получают уготованную для них наново перекроенную жизнь!

Он узнал дом на углу Пензенской, двухэтажный, кирпичного цвета, дом городского головы, когда-то в детстве казавшийся ему небоскребом. По улице тесно валяли мужики в зипунах.

Прохожие, как и встарь, плелись посередине ее, по дороге. Где же те высокие волшебные дома? Их, понятно, и не было никогда. Четыре-пять каменных сундуков, с узкими захолустными окошечками. А больше — трехконные мешанские флигельки с завалинками, со скамеечками для вечерних пересудов, с чахлой ветелкой; застрехи и оконные наличники изукрашены пронзительно-затейливой деревянной резьбой — всякие кочетки, кружочки, угольнички, плод самодельной ернической фантазии, от которой в душе тошно отрыгалось что-то вроде изжоги. Одна сторона улицы, совсем одичалая, скособочена бугром, замечена снегом, в котором не видно ни тропки; и за бугром — опять пустырь. Пензенская представляла глазам, словно вырытая со дна могилы... И из встречных никого не узнавал Соустин: новоявленный народ, чужой. Ну да, это подросли те самые, которые в оное время голопузыми бегали по соломенным слободам, по дворишкам. А те, с которыми померяться бы теперь, которым с торжеством показаться, уехали они, уехали из Мшанска, а иные и из жизни. Впервые он ощутил Мшанск во всей его выморочной опустелости. И что-то беспокойное, еще не узнанное проносилось ветром вдоль заборов, по крышам, по проломанным палисадникам. На угловой вывеске Соустин прочитал:

Интернациональная улица.

Прошли пустым полем базара. Глаза невольно населяли его призраками былых ларьков, лабазов, рядов... На юру, как нагие, высались две церкви. В одну из них заглянул Соустин. Приделы и алтарь завалены овсом, гребнями, холмами овса, в которых тонули старческие бороды угодников. Свет тускло падал через купол, рождая в зерновой массе бронзовое, как бы закатное, свечение. Так мужицкие головы светились когда-то, в глухоте времени, у всеошной...

Около церкви ожидали несколько подвод из уезда, по зерну у триеров лазили хозяева в терпко-пахучих овчинах, слышались обрывки глухотной «цокающей» речи. Ряд сел около Мшанска «цокал», переняв это от каких-то перекочевавших сюда северных насельников; из такого села изошли и Соустина предки. На базаре цокающих звали встарь коблами, дразнили «цай-бай». «Цай-бай, пойдем в цайную к Егор Егорыцу цай пить: у него цай горячий, прямо из печи течет!». Наплывало что-то неизбежно-мшанское, и явь, и небыль...

И сестра всюду семенила за Соустиным, в черном платочке, с поджатыми, осуждающими губами богомолки. Оба росли у деда, как пасынок и падчерица. Он-то, мужчина, выскочил все-таки в жизнь... А вот и широковетвистый сквер, вознесшийся над городом высоко на валу, на останках древнего земляного кремля. За городом тянулся столь же древний незапамятный вал, где жители когда-то отбивались от набегов ногайцев. В туманные времена на месте Мшанска стояла Мурумза—легендарная мордовская столица. Город всегда был повит в воображении Соустина сказочной исторической смутью, в которой безымянно тонули и какие-нибудь его необыкновенные сородичи.

— Проньку-то дурачка помнишь? — спросила сестра.

— Ну как же!

И она рассказала о Проньке.

Это был известный по округе вшивый, толстогубый, могучий мужик из Селитьбы, с угодливой улыбкой слабоумного, блуждавший ради подаяния по ярмаркам, базарам и поминкам. Кроме того, он помогал колоть дрова в женском монастыре, по неделям пропадая в запертых кельях у бородатых старцев.

Прошлой зимой Пронька замерз под стенами бывшего женского монастыря, ныне совхоза. Его хоронили в селе Селитьба. Именно о похоронах с особым чувством и со сладкоречием рассказала сестра. Некая молва после смерти облекла имя юродивого святостью. Едва вынесли гроб из церкви, у первой же избы была заказана панихида. Перед второй избы опять потребовали пани-

хиду. За гробом скопилось мрачное многолюдье. Платили за службу всякие доброхоты из толпы. Дальше причт уже без просьбы отпевал мертвого идиота по очереди у каждого двора. В первый день не обнесли и третьей части села, и гроб на ночь опять вернули в церковь.

— Три денька так-то хоронили, — вздыхала умиленно сестра, — священники бьются-бьются, никак до кладбища не донесут. А народу-то, народу! Говорят, религии нынче нет... У нас из Мшанска сколько ходило, и я было собралась, да расстройтва побоялась... И своего, Коленька, расстройтва много.

Соустин выслушал се с усмешливым вниманием. Эти похороны относились уже к разряду тех «фактиков», о которых упоминал Зыбин, о них, пожалуй, следовало записать. Конечно, это была форма сопротивления; оно скрытно и неистребимо притаилось и в его собственной сестре, но какое немощное, обреченное, покойническое сопротивление!

А вот бывшая полиция с пожарным двором, на котором избивали пьяных и жуликов. И над обрывом острог. Было что-то давно погребенное в приземистой, из выщербленного кирпича, осторожной ограде, помнившей крепостное право, николаевскую бессрочную солдатчину.

Теперь здесь помещалась кооперативная швальня.

Тупорылые каменные упоры поддерживали бывший острог над кручей... А внизу бурые, криво разбегающиеся бедняцкие слободки, ветлы, зады, переходящие в поля, в полях ногайский вал, за валом — снеговая метельная невидь... Хмель, что ли, не выветрился еще, терзал какой-то тоскливой непропетой песней? В давние июльские сумерки тут провозжали мобилизованных, отслужили молебн, и лохматое мужицкое скопище, окруженное конными стражниками, покорно повалило по дороге — к росстани, к полустанку, к братским могилам. И вот тут, на осторожной площади, занесся первый по-кочетиному протяжный, истошный бабий вопль, занесся, упал и забился на земле... А один раз — Колька был тогда восьмилетним мальчонкой — с'ехавшиеся из окрестностей базарники избивали на этой площади пой-

манного в чем-то человека; этот человек поднимался и опять падал, окровавленный, в рыжей бородачке, в рубахе распояской. То был запропавший за три месяца перед тем отец, по прозвищу Собачка. Как стучали тогда детские зубенки!.. Соустин подавил в себе что-то, готовое хлынуть безудержно, припадочно... И недалеко уже — только площадь перейти — оставалось до Журкиных, до родни.

Семейство Журкиных обитало на Планской, ныне Урицкого, улице, в обветшалом флигельке. Поля, одетая в толстую мужнину кацавейку, ожесточенно подбрасывала во все стороны горенки люльку, захлебывающуюся от плача; что-то другое каталось и ревели в ее юбках на полу. Сначала вперилась в Соустина неузнающе, враждебно.

— Да это Николай Филатыч, господи, — потом просияла она. У нее остались те же ясные боярышники глаза. Она отпихнула люльку, чтобы разохаться, расцеловаться, ревушее оторвалось от ее юбки, кубарем перевернулось, зарорало еще истощнее. На-ходу Поля подтолкнула зазевавшуюся стриженую девочку лет двенадцати. «Нинка, Машку-то, Машку с пола подыми!». И принялась смахивать сор с табуреток, опрокидывая их в воздухе, потом опять кинулась к люльке, где уже не плакало, а щелкало, икало. Два погодка-мальчугана, остриженные по-овечьи, рубцами, и одетые в длинные девчачьи сарафаны, встав плечо о плечо поодаль, засунув по большому пальцу в рот, исподлобья обозревали Соустина. Он присел, не раздеваясь, стыдящимися глазами оглядываясь кругом.

Проваленные половицы; в углу на сундуке ватные мусорные лохмотья, взбитые после чьего-то спанья; сдобноватый, тошный запах выжариваемых тут же, на голландке, пеленок. С подоконников натекло... На стене, на фотографии, сам Журкин в молодости, толстоусый, в вышитой крестиками рубашке, в крошечной фуражечке на пышных шарах кудрей, с гармоньей на коленях. И, несмотря на бедность, на недостатки, Журкин, во времена этой фотографии, по праздникам, на рождество и на

пасху, напыжившись из последних денег, принимал в гости деда, — не хуже, чем люди, — с наливочкой, с ветчинкой, со всякой рыбкой, а себе с женой позволял полакомиться неслыханным в Мшанске напитком: какао. Дед с сородичами снисходительно принимал угощение, но оттого Ваня не поднимался выше в его глазах. «Ты, говорят, как господа... какаву, говорят, пьешь?» — уничижительно усмехаясь, спрашивал дед на прощанье... И отвратно ощутился вкус гробовщиковой жизни, заунывной, мелкотравчатой, беспросветной, как детский плач. Соустин поделил между ребятами пригоршню московских конфет. Оба мальчугана в подрысниках с опаской приблизились к нему и молча рванули из его рук добычу. Сестра искося неодобрительно следила за делом.

Когда ребенок в люльке приутих (трехлетнюю Машку девочка укачала на коленях, развернув перед собой книжку, но не спуская глаз с Соустина), Поля поуспокоилась, разговорила, обращаясь однако больше к сестре, а Соустина, если он соизволял вставить слово, выслушивала без переспросов, с благоговейной, во всем согласливой почтительностью. Она горделиво оживилась, когда зашла речь о самом Журкине.

— Как же, сотню рублей прислал Ваня-то, спасибо ему! И работы, пишет, так много, прямо рвут! Он и по вечерам занимается, гармонь починяет. По вечерам, слышь, ему отдельное помещение дают, где поспокойнее. Ну, видно, начальству понравился, вот и уважают. Он у меня, ведь, такой почтительный, боязливый, слова поперек никому не скажет!

Мальчишки в это время шопотом сравнивали свои гостинцы, потом люто разодрались. Полосовались они скрытно, беззвучно, только слышалось пощипывание да костяной стук кулачишек по стриженным головам; да полы сарафанов яростно взлетали, обличая отсутствие штанов под ними. Поля, не прерывая речи, ухватила каждого за ухо и стукнула три раза друг о друга лбами,

так что у Соустина вчуже потемнело в глазах.

Сестра, по привычке подозрительно оглянувшись через оба плеча, нагнулась к Поле, спросила одними губами: ясно было, про кого.

— Про это он ничего не пишет... Ну, чтобы, конечно, не подводить ни себя, ни его. — Поля тоже перешла на полушопот. — Но только пишет намеком, что, дескать, знакомые наши тоже хорошо устроились и вроде еще лучше, чуть не в заведующие какие. Я и то говорила: давно бы ему, вашему-то, скрыться...

Сестра слушала нерадостно, не разжимая стародевьих скупых губ: может быть, от этого известия еще горче почувствовала она свою покинутость, сиротство? Девчонка за столом преувеличенно-громко долбила над книжкой одно и то же, видимо, только из тщеславия: «дер шулер... ученик! дер шулер... ученик!», то-и-дело украдкой вертя головой на Соустина, — не потрясен ли он тем, что вот она уже по-немецки читает! И Соустину неотвязно представлялось, что вот погаснет короткий день, сумерки протускнеют в окне, и некуда, и незачем будет выйти за ворота. Москва со своими огнями жила где-то на недосягаемой разуму планете.

... После духовитой горенки на морозе отрадно вздохнулось. Вот и побывал он через десять лет у Журкина... Сестра брела сзади неотступной и к чему-то невесело обязующей тенью. Вдруг она вскрикнула, сцепилась Соустину в рукав.

Из проулка, который выводил на базар, вырвался железный грохот. Один за другим катили два трактора. В сущности, они почти ползли, но от оглушающего рева, от туч снега, выбрасываемых из-под колес, получалось впечатленье бешеной скачки. Сестра судорожно висла у Соустина на руке и подталкивала его.

— Бутырин... смотри, этот самый пастишонок, Бутырин, и есть!

Парнишка, сидевший на переднем тракторе, не являл собой ничего особенного. Он еле взглянул на Соустина, цедликом занятый упоением власти над сотрясающим и везущим его чудови-

щем, — озорным, детским упоением. То были уже не сны, а настоящая, чадно, по-столичному пахнущая керосином явь, вторая, еще не известная Соустину жизнь Мшанска. Подгулявший мужик, перекосив плечи, остановился, укоряюще смотрел грохоту вслед. «Ком-му-нары!» — крикнул он, вроде как с угрозой, и хотел, видимо, добавить еще ядреное словцо. Но, увидев Соустина, постерегся, стащил обеими руками шапку с головы и поклонился.

*

Дня через два в сумерках Соустин очутился близ околицы, один.

Он разыскивал Васяню, своего извозчика, проживавшего где-то в Заовражной улице. Познание нового, нынешнего Мшанска Соустин решил начать именно с него, во-первых, потому, что тут легче начиналось, — Васяня сам пригласил его зайти, покалякать, — а, во-вторых, потому, что Васяню, сына зажиточного мужика с той же Лягушевки, отчасти знал он с самого детства. Получалась, таким образом, завершенная история одной мужицкой души; но в середине истории пока — белые пятна, пунктир.

Кстати об истории... В местной библиотеке, куда Соустин наведалься днем, нашлась на стене памятка такого содержания:

Важнейшие события из жизни б. города, ныне райцентра, с. Мшанск.

- | | |
|---|---------|
| Учрежден на месте древне-мордовского поселения Мурумза — | 1555 г. |
| Взят соучастниками Степана Разина под руководством казака Мишки Харитонов | 1670 г. |
| Вошел в состав укрепленных городов Московского государства — | 1673 г. |
| Разорен ногайской ордой — | 1717 г. |
| Присоединился к Пугачеву, воевода Андреев повешен — | 1774 г. |
| Назначен уездным городом наместничества — | 1786 г. |
| Первый уездный с'езд советов — | 1917 г. |

Установлен первый радио-
приемник с громкоговори-
телем — 1926 г.
Над Мшанском пролетел пер-
вый аэроплан — 7 ноября 1928 г.

... На излете селения чернели редкие избенки — все дальше и дальше одна от другой. Около самой росстани — каменный флигель, в нем зарезали когда-то бакалейщика с большими деньгами... Закат догасал рдяно, чересчур очерняя, как бы обугливая, предметы. И весь Мшанск наполовину обозначался, наполовину угадывался отсюда в виде неясного скопища ближайших изб и дальних темнот, с кустами, скворешнями и трупами колоколен в небе.

И сейчас главное, что деялось на этой уходящей в огромную историческую даль земле, под этими полевыми закатами, было: индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства.

И странно: оба конца времени, разделенные между собой такой чудовищной далью и непохожестью, — и тот, древний, с легендарной столицей Мурумзой, с ногайским валом, с неизвестными сородичами Соустина, что-то делавшими на этой земле, и тот, что сейчас, — оба эти конца, пред лицом потухающего на закате селения, осмысливались в непрерываемой, неизбежной и вековечной слитности. Полумосковский, полуздушный человек остановился, думал.

Да селение вовсе и не потухало. Под толсто нависшими соломенными крышами затеплились огоньки. Над базаром установилось полымя от электрического фонаря. Электричество провели здесь недавно, уже без Соустина.

Ему показали наконец васынину избу. Вся она снаружи, кроме окошек, хозяйственно укутана снопами и походила на деда, заросшего бородой до самых глаз. Васяня выскочил на стук. Он радостно снял шапку, да так и не надевал, пока бережно вел за собой гостя, — Соустину вспомнилась при этом льстивая почтительность сестры и Поли: несомненно, у мшанских тайлось преувеличенное, фантастическое представление о его служебном положении и могуществе.

Едва не загнулся о подворотню, за которой начинался темный — с первого шагу ни зги не видно — дворик. Заботливо ощупал в кармане литр, приготовленный с умыслом для откровенного разговора. Под ногами было мягко и пушисто от соломы. Да и поверху дворик был сплошь укрыт соломой, только в середине оставлено оконце, через которое пробивались звезды. Темно, тепло, как в тулупе за пазухой. «Скотина эдак любит» — пояснил Васяня. Из невидимого хлева пофыркивало, помыкивало, в'едалось в ноздри густо-сладковатым парным навозом.

Зато в сенях — полная темень, земляные ямы, ногу сломать. Преододел кое-как и сени.

Половину избы занимала громадная печь, на ней же, видимо, и спали Васяня с женой. Жена, по имени Клава, тотчас подошла, поздоровалась с Соустиным слишком долгим, тесным пожатием руки. Самодельный тусклячок освещал избу. В углу, под тремя крошечными жалкими образками, стол; Васяня пригнулся около него на облезлом старом сундучке, поставив его ребром, а Соустина устроил на проваленном венском стуле. У низкого оконца на двух кадках была положена доска, так что получилось нечто вроде скамьи, и на ней свалены черепки грязных тарелок, сковорода, пустая квашня, вообще — разная рухлядь. У двери на полу боченок с квасом. Васяня хотел было угостить, налить, да оттуда потянулась одна гуща. Под столом терлась, поблеивала ярка, каракулево-шелковистая, черная, с белым пятном на глазу. Кочевье, кочевье...

Васяня со вздохом, замысловато пояснил:

— Живу, Николай Филатыч, как пострадавший от стихии.

И он не замедлил поведать Соустину про пожар, как избу охватило огнем враз и погорело два одеяла, две пары полусапожек жениных, из них одна новая, пара васынинных сапог, кровать, да мало ли какого добра!

Соустину стало тесно от столь подробного перечисления вещей, не того ему хотелось.

А Васяня продолжал, как он надумал заняться овцами, чтобы поднять новую избу, — сначала своих расторговал, потом чужих перекупил и продал, и вдруг приходит к нему бедняк, Кузьма Федорыч, с лишением голоса...

Про Кузьму Федорыча Соустин слышал не в первый раз.

Жена накромяла к водке соленых огурцов, подав их на деревянной тарелке. Васяня сказал с похвальбой: «Это моя Клава!». Она притенила красивые ресницы, и под ними проблеснуло что-то себялюбивое, бесстыжее и привыкшее к баловству. Не мужицкая то была жена... И Васяня перехватил погорячевший взгляд Соустина. Нарочно, напоказ обнял Клаву — с какой-то неприязнностью, жадностью и ласково оттолкнул от стола в полутьму.

Он настоял на своем, налил и Соустину, выпил с удовольствием.

— А вы, Николай Филатыч, в Кремле там живете? Так, ага...

Соустин спросил:

— А как у вас с колхозом, Васяня?

Васяня отвел глаза, выровнял пальцами трескучий, смрадный фитилек копилки.

— Советское электричество, — сказал он и вздохнул. — Скоро, Николай Филатыч, и до лучинки, может быть, дойдем... А про колхоз какой разговор! Выдали колхозникам по пуду овса да по пятнадцать рублей деньгами, разве на это проживешь? Вы так высчитывайте: на одну душу соберет себе мужичок сорок девять пудов; да расходу скостит двадцать пять пудов, останется чистых двадцать четыре пуда. А ведь они, эти пуды, нужны, чтобы справить чесанки сыну к свадьбе... Или захочет мужичок, продаст коровку, овцу, выручит рублей двести, справит сыну пиджак, гармонию, чесанки... А в колхозе где он возьмет?

И дальше снова что-то такое про сапоги, про самовар, про пиджак и особенно про чесанки. «Какое нудное, мелочно-вещевое мышление, — подумалось Соустину, — без перспектив, без зари на завтрашнем горизонте, рассчитанное только на узкий мир вот такой избы...». Тысяча пылких выпренных

возражений, к тому же разъяренных хмелем, теснилась у него на языке, но Васяня пока не давал говорить, Васяня сладостно, уязвленно пьянел.

— ... Но лишение они, конечно, с меня сложили, как я есть самый бедняк: у Клавы вон рубашки на сменку и то нету... Клава, поди сюда, выпей! — крикнул он. Женщина послушно появилась из полутьмы, села за стол с лунатической, застыло-змеящейся улыбкой. — Я, Николай Филатыч, с гвоздя, с пустого места избу себе осилил, и я не то еще могу раздуть! Вон Петруша ваш в Красногорск ускребся и действует, а которые в Дюшамбе на пустые земли бегут...

Васяня схватил его руку, потянулся, — должно быть, поцеловаться захотел, но Соустин уклонился. Тогда Васяня навзрыд занес: «Ах, ты доля, моя доля, доля бедняка...». Пел он чувствительно, с оханьем, с затяжными остановками, но, не докончив и первого куплета, замотал головой и заскрипел зубами так пронзительно, так мрачно, что у Соустина морозом подрало по спине.

А Клава тем временем неслышно выпила и хрупала огурец, выпячивая мокрые лакомые губы. Потом Васяня попросил и ее попеть — тоже не без явной горделивости, и Клава, вытерев губы, спела: «Ты сидишь у камина и смотришь с тоской...». Васяня подтягивал лежонько. Иногда она вскидывала на Соустина свой взгляд, темный, длительный, как бы из глубины своей посылающий ему этот страдальческий любовный романс, и тогда Соустин, в странной покорности, не мог оторвать глаз от нее. У ног его ярка тихо бляела. Подошла толстая, лохматая, грустная овца Катька и, кормя дочь, заворожено глядела на поющих людей.

Потом и Соустина настала очередь порассказать кое о чем, и разговор вернулся к тому же, к колхозу. Речь у Соустина полилась воодушевленно, чересчур даже воодушевленно, с каким-то злобным огоньком, с отчаянным самоспасительным желанием непременно перчить кому-то, не одному Васяне... Сидел в окоселых полупотемках, говорил.

Да, он верил в конечное превосходство, в великую воспитательную, переделывающую силу обобщественного труда, в новое, непреложно-ясное крестьянское будущее, из которого будут начисто выметены остатки полузвериного житья, косноязычия, темноты... Правда, не все тут ему представлялось отчетливо, он, кажется, путал несколько колхоз с коммуной, и получалось у него что-то чересчур без задоринки налаженное, завидно-уютное, благополучное...

Васяня, выслушав его с сонным, но напряженно-учтивым вниманием, завосторгался:

— В такой колхоз все бы пошли без разговоров. Кому в тепле да в светле жить не захочется!

И тут же горестно вспомнил:

— К нам вот наемдни рабочие приезжали, уговаривали. Один выступил, зачал обрисовывать: «Товарищи, пойдем в колхоз, и будут тогда у нас свои курочки, свое маслице, свои яички!».

Рассказывал он как-то заученно: видно, не раз эти перенятые у кого-то слова говаривал. Потом приблизил к Соустину подмигивающие по-свойски и где-то в глубине глумливые глаза.

И Соустину вдруг открылся смысл этой нарочной, неестественной избы-кочевья, с притворной, как на сцене, раскиданной рухлядкой, с недопроданной яркой, этих потемок, тягостных и подозрительных, как омут, этой нездешней Клавы, то-и-дело страстно расширяющей на гостя свои глаза. И сам Васяня явно имел на него какие-то виды... Опасливое чувство охватило Соустина, — так он остерегался когда-то сыпняка... Васяня, словно учуяв его состояние, вдруг вскочил размашисто.

— Пойдем-ка, Николай Филатыч, на ветерок, тут недалеко свадьбу играют. Очень интересно будет на это невежество посмотреть!

По темной улице сыпало метелью, звезды заволокло; избы спали, нахлобучив на себя сугробные крыши, укутавшись в снопы, наглухо отгородившись друг от друга. Но некая нестихающая судорога пробегала сквозь них, — так виделось неотвязно после васяниной избы. И на пороге женщина простирала

на прощанье руки с тусклячком. «Да не студи горницу!» — зарывчал на нее Васяня. По дороге рассказал кое-что Соустину — опять по-свойски, на ухо, про Кузьму Федорыча, рассказал и про Бутырина-папушонка, который будто забрал чужие дома, хозяев повыгнал, и один такой дом купил себе, а другой сестре: стоит тысячу, а он за полтора ста. «Где же она, власть-то?». Соустин стесненно молчал.

К окнам избы, в которой справляли свадьбу, припали жадные, дотошные бабы. Васяня, как свой, провел Соустина сквозь народ прямо в прихожую. Там тоже тесно, в давку толпились бабы и парни, стараясь заглянуть в открытую дверь горенки. В углу горела коптилка, и несколько подростков, лет по пятнадцать, в шапках и зипунах, лежа животами на столе, хлестались в двадцать одно. Какая-то старуха, из хозяйских родственниц, ругательски гнала их, но мальчишки словно и не слышали... Перед Соустиным расступались готовно, толкая друг друга. За спиной слышался хвастливый, испуганный шопот Васяни: «Филата, калашника-то, внук, а теперь в Москве с Калининым работает!». Было противно, стыдно, хотелось вырваться, уйти, но толпа неуклонно выдавливала его к горенке. Сбоку подвалился неизвестный старичок, остриженный в скобку и противостоительно наряженный в бабий дипломат с лисьим воротником; старичок строго сунул ему ладошку лодочкой, и Соустин должен был ее пожать. Заметил, что и старичка к нему подтолкнул тоже Васяня.

Жених с невестой по обряду сидели в переднем углу. Хлипко наигрывала невидимая гармошка. Жених в бирюзовой рубахе с отложным воротником, невеста в ситцевом платье с шоколадными и зелеными цветами. На столе — только самовар да пустые чашки: небогато игралась свадьба. Глазели в окнах приплюснутые лица, и из-за спины Соустина тоже глазели, натужно дыша: глазенье это было обрядом. Две иконы висели над молодыми: Серафим саровский, сгорбленный, круглобородый, с палочкой и медведем, и богоматерь, склонившая голову к плечу. И молодые

напевно клонили головы друг к другу, как на иконе...

А Васяня многозначительно подпихивал Соустина в бок и громко вопрошал присоседившегося к ним старичка:

— А сколько овец у тебя было? — Старичок отвечал простуженным, могильным голосом. И Соустин со злостью и стыдом угадывал, что и разговор этот затеян и разыгрывается Васяней нарочно для него и для народа; нехорошо было, что народ в самом деле прислушивался... — Так. А сколько лошадей? И, значит, сопоставили тебя, как кулака?

Гармошка в горенке взбодрилась. Две девицы поднялись, скинули с ног полушажки и пошли танцевать. Одеревянело кружились, сходились и расходились, глядя мимо друг друга, глухо оттопывая пятками в шерстяных чулках. «Что это за танец?» — чтобы заглушить Васяню, спросил Соустин, не разглядев, что спрашивает у какой-то задремавшей старухи. «Тустеп» — оживилась старуха.

— А сколько у тебя едоков? — продолжал Васяня все громче напирать на старичка... Народ глазел теперь только на Соустина. Васяня определенно поднимал его, делал предметом неких темных и опасных упований; и вместе с тем чуялось в поведении его сокрытое, угрожающее озорство. И этой свадьбою, тоскою косного, глухоманного житышка угостил, может быть, не даром... Тут как-раз мальчишки так хлестнули колодой по столу, что лампа потухла. Соустин грубо двинул локтем старика и, не оглядываясь, продрался на улицу.

Васяня и тут оказался рядом с ним. По пути ухватил под окном девку, ломал.

Потом догнал Соустина, запыхавшись.

— Конечно, около одной своей жены скучно, я шалю иногда, Николай Филатыч.

Девка раз'яренно кричала:

— Я тебя знаю, у тебя жена Клава — б..., вот ты кто!

Васяня как-то срыву смолк. И когда через несколько шагов заговорил, Соустин не узнал этого верещащего, ядучего голоса.

— Что ж, что у меня лошадь хорошая... Что ж, это значит справедливо, что меня через каждый день на полустанок с зерном гоняют за двадцать километров? Вот лес скоро общество начнет делить, а меня беспрерывно на полустанок. Эх, Николай Филатыч, загоню я свою лошадь, загоню я овец... А потом — на дорогу, соберу компанию. мы все это им вспомним!

Но Соустин шагал, нахлобучив воротник. И Васяня, должно быть, уразумел, что от него только отряхнуться скорее хочет этот человек... Хмыкнул, приостановился.

— Ну, покамест прощайте, нашу улицу не забывайте! Наша улица прозывалась Заовражная, а теперь — Парижской Коммуны, вот и дощечка висит! — кривлялся он с обидой и озорством. — А Журкину-гробовщику, который эти дощечки писал и привешивал, мы тоже вспомним!

Так на угрозе и оборвалось прощанье. И не только Журкина, а и кого-то другого обняком, предупреждающе касалась эта угроза. Да, трудно было оставаться сейчас лишь свидетелем: это значило — ходить по лезвию. Пробираясь посредине сугробной полночной улицы, невольно озирался Соустин: не перебегают ли кто следом темными подворотнями. И обманна была старинная, кладбищенская, уездная тишина, — тревогой она немотствовала, играла ножом.

★

«... В селе Царевщина половина населения — сезонники-строители. Есть среди них балованные, путанные. Против коллективизации прямо не выступают, но хитрят, уваливают. На словах — полевную кампанию мы приветствуем, план приветствуем, а как доходит до дела, например, вносить задатки на трактора, — они в сторону. Сбивают и коренных землепашцев, которые рады бы покончить со своими клиньями, перейти на коллективный способ обработки. Зарабатывают некоторые в сезон не меньше 7 руб. в день. Недавно наезжал представитель Красногорстроя, опять роздал задатки по 25 руб. А на пашне у них

кое-как работают бабы, или землю отдают исполу кулакам. А зимой валяются на боку, идет выпивка, игра в лото, в карты. Конечно не всем, но очень многим расставаться с такими порядками не хочется...

Работающий на селе политрук ремонтной тракторной бригады — из Мшанска — сказал:

— Надо бы вопросик поставить перед профсоюзными организациями, как они сезонников своих просвещают... Да-а. А тут кое у кого, будь моя воля, я первым делом профбилеты отобрал бы».

Это была первая запись в блокноте Н. Раздола. Из села Царевщина пришел некогда в Мшанск дед — Соустин. Глубь народная, отчие истоки... К этим истокам и укатил Соустин в первые же дни. Никто и не подивовался на него в селе, не до того было. Горница в сельсовете разрывалась от споров, от галдежа, сородичи в городских рабочих кабакейках, в напоказ распущенных шарфах развязно, по-городскому покупали...

В этой записи уже нащупывалось ядро будущей статьи. Еще лишь несколько обобщений... И Соустин чувствовал, что статья эта выйдет искренней. Он не знал доподлинно подробностей, еще не видел этих рвачей в лицо, но они и безликые вызывали в нем отчетливую, неуклонящую неприязнь. Он ввязывался в настоящее дело. И потом вопрос о профсоюзной работе: действительно, поднята ли она до уровня других огромных, как на войне, дел стройки? Тема была вполне достойна центральной печати.

С царевщинским активом ходил по избам — собирать задатки на тракторы. Знали его активисты, как «товарища из газеты».

... Отемненные соломенными навесами, как у Васяни, дворы. В избах топились печи. Пока завязывался разговор с хозяином, баба яростно расправлялась с чугунами, обернувшись к гостям спиной; но спина эта сторожила, видела зорче глаз... В сущности, главное было переговорено на собраниях. Хозяин просительно звал: «Мотря, поди-ка...». За перегородкой шептались, шелестели. Хо-

зяин выходил и твердо, с усилием, выкладывал на стол несколько бумажек, как бы припечатывая их к столу. То были особенные деньги, медленно сосчитанные, серьезные, строгие... И хозяин, словно подбадривая гостей, облегченно шутил: «Значит, как погорельцы, на новое житьишко повернули!». Ничего сокровенного, того, о чем думалось на московском четвертом этаже, тут не было, а, может быть, и не стоило его искать. И открывался простой и вместе с тем необъяснимый смысл того, что происходило. По царевщинским избам, среди исконных сугробов, хлевов и огородов происходило прощанье. Соустин приехал не к середине действия, а к прощанью. Оно было и беспокойно, и порой тоскливо, и чаще — по-молодому порывисто. Почившие деды и родители присутствовали при нем незримо. И Соустин яснее, чем когда-либо, ощутил, что, в сущности, и он в своей жизни тоже прощается, отплывает.

Было и так: вошли в один двор, просторный, но пустой, заброшенный. Один из слугников поднялся на кухонное крыльцо, позвякал щеколдой. Бабий раздраженный голос визгнул из-за двери: «Кого надоть? Ничего не знаю, хозяина дома нет. Ушел, с утречка ушел...». И изба замолчала, замкнулась, как крепость. А когда входили во двор. Соустину невольно кинулось в глаза, что задние ворота только-что затворились и даже промелькнули ноги в сапогах и добротных калошах. Да мало того, они и сейчас выжидали, по ту сторону подворотни, эти пакостно-внимательные калоши! Наверно, одного из тех, балованных... И мстительно, нетерпеливо хотелось сесть скорее за статью: ударить этих оттуда, откуда они и не ждут!

А в одной избе едва не случилась — лично для Соустина — неприятность... Семья за широким столом полдничала. Хлебали из блюда гречневую кашу с молоком. На тяжелых, только-что вымытых дубовых скамьях восседали двое плечистых, яблочно-румяных парней в гимнастерках, старуха, молодайка в красной повязке. Бородатый глава выступил навстречу пришедшим.

— Насчет задатку? Дело.

Был он свиреп на вид, ряб, крупноноздрыст. Но глаза этого человека притягивали своею ясностью, такой умной, бесповоротной ясностью, что вчуже становилось успокоенней, тверже на душе. Он шутивно-грозно обернулся к столу.

— Ну, сыны, как? Давать?

Сыны засмеялись, расплескивая кашу, относя ложки ото рта. Они заразили смехом и молодайку. Снеговое утро светило через окошки на чистые полы. Хозяин сказаал:

— Доставай, мать.

И именно этот человек, в котором чувствовался настоящий вожак, хозяин, с особой пристальностью заинтересовался Соустиным. Может быть, потому, что в своем хозяйстве он считал необходимым знать все и всех. Даже после того, как Соустин, несколько стесненный, предложил ему городскую папироску, он не перестал приглядываться к нему в упор.

— Смотрю я, будто незнакошный мне...

Спутники пояснили:

— Это товарищ из газеты, статейки пишет. Он тутошний, земляк.

— Во-он как, — прищурившись, словно не доверяя, протянул хозяин. И сыны, и молодайка притихли, глядели на Соустина. — А фамилие ваше как будет?

Соустин смутился. Хозяин был в пожилых годах и, несомненно, помнил кулацкую славу односельчан Соустиных. Есть ему когда разбираться, кто был дед, кто отец... Сейчас он спрашивал ласково, мягко. Соустина охватил противный, вовсе не заслуженный стыд.

— Моя фамилия Раздол, — с усилием сказал он.

...С самого дня приезда это прошлое Соустиных легло на него бессознательно-неприятной обузой. Жгучий был воздух в Мшанске и окрест него... И дело с дедовским домом казалось в этом воздухе не так уж легко и победоносно разрешимым, как представлялось из Москвы. Чем дальше, тем тягостнее и неохотнее думал о нем Соустин. Он уклонялся от него, от этого дела, под

разными предложениями, хотя сестра ежедневно напоминала ему — не столько просьбами, сколько терзающим своим лицом. И сама жизнь неминуемо напоминала... Только-что Соустин, вернувшись из Царевщины, уселся за стацию, — а в горнице пылала полная дров голландка, а в кухне весело постреливала жарящаяся свинина (Насте около брата зажилось опять сытно, домовито, тепло), и работа предвкушалась желанной, отрадной, как отдых, — только-что он уселся, как в дверях слышалось испуганное шипение сестры.

— Колюшка, опять заявился энтото, враг. Стоит, обсматривает.

— Кто, где?

Сестра в отчаянии тыкала пальцем на окна.

— Он, он самый... Кузьма Федорыч. Вон стоит.

Соустин глянул сквозь оттаявшие стекла. Посреди улицы, в самом деле, остановился человек в мохрявой шапке и вдумчиво, словно примеривая что-то, обозревал соустинский дом.

— Это он нарочно, паршивец, нарочно душу мне изводит!..

— Позови его сюда, — сказал Соустин.

— Пугни его, Колюшка, пугни хорошенько.

Кузьма Федорыч зайти не отказался. Пшаркал ногами по половичку и степенно проследовал за Соустиным в горницу. Тощему этому мужику было за пятьдесят. Губы его, под реденькими усишками, как-то чудно поигрывали. Пожалуй, могло это быть и от горечи...

— Да мы ничего, — ответил Кузьма Федорыч на предложение садиться. Однако сел, закинув шапку на окно и растягнув на груди зипунишко.

Так вот он каков, этот зловещий Кузьма Федорыч! Ну, зловещим-то он был только для сестры и Васяни, а к Соустину, понятно, это не имело никакого отношения. И Соустин держался с ним спокойно и радушно, как посторонний, лишь временно хозяйствующий здесь человек.

Подвинув к гостю папиросы, он объяснил, что ему, сотруднику газеты, чрезвычайно интересно познакомиться с

Кузьмой Федорычем, как представителем мшанской бедноты, кое о чем побеседовать, побывать с ним на собраниях,—за тем Соустин его и пригласил.

Кузьма Федорыч упрямо сидел к нему боком.

— Я всей здешней бедноте председатель, верно. Собрание я тебе моментом соберу: хошь сейчас соберу, хошь когда.

Эта неожиданная готовность не то, что удивила, скорее неприятно озадачила Соустина. Кузьма Федорыч как бы говорил: болтай, болтай, я знаю, что дело совсем не в этом! Папироску не взял, сказал, что некурящий...

— Ну, о собрании мы еще сговоримся, а пока давайте закусим.

Соустин открыл банку консервов, осетрину, — из московских запасов. Сходил на кухню за вилками, за хлебом. Кузьма Федорыч поесть был не прочь. Выломал из коробки кусок рыбы в красном соусе и, поддерживая ломтем хлеба, чтобы не стекало, отведал.

— Рыбка ничего, я эдакой еще не едал.

И подвинул к себе всю коробку поближе. Соустин, куря, ждал дальнейшего.

— А брательник твой, Петруша-то, куда уехал?

Соустин ответил сухо:

— Не знаю.

— А я знаю. На пустые земли уехал. Туда много народу едет. Я Петрушу знаю.

И опять непонятно было: от простосердечия болтает Кузьма Федорыч или глумится. Пока ничем этот бедняк не подходил для газетного очерка... А Кузьма Федорыч доел рыбку и хлебом долизал остатки соуса. Потом сходил в кухню, к кадушке, выпил один за другим два ковша воды. С полдороги вернулся, выпил еще ковш.

— Вот тоже, — сказал он, садясь и обтирая усы, — занялся я как-то, сосчитал, сколько портновских иголок можно от Мшанска до Пензы уложить. Три триллиона пятнадцать тысяч сто.

Разговаривать Кузьма Федорыч продолжал в сторону, как бы для себя одного. Вообще, на хозяина он обращал не больше внимания, чем на муху. А Со-

устин нарочитым радушием старался показать, что нисколько он этого не замечает. Получалось какое-то шутовское единоборство... Он велел сестре принести и свинину. (У сестры сузились от ненависти глаза, но тотчас побито погасли. «Что ж, Коленька, — говорили они, — твои деньги, твой и ум».) Кузьма Федорыч, увидав свинину, покривился.

— Чего же раньше не сказал, а я уж воды напился. Я как воды полный стану, так меньше ем. А вот до Блудовки дойду, опять есть захочу. Я человек редкий.

Однако поднатужился, поел. Вдруг обернулся на вошедшую сестру — очень строго.

— А ты, Настя, — я все вижу, — на меня не косись! Теперь такое время: моя взяла. И я должен вам говорить, а вы должны слушать.

Это наставление предназначалось, кажется, не для одной только Насти. Но не возмущаться же было всерьез! Соустин, наоборот, смешливо поддакивал. Кузьма Федорыч впервые — с недоверием — оглядел его и нахмурился. И что-то скоро после того стал собираться домой.

Соустин сказал на прощанье:

— Значит, Кузьма Федорыч, я к тебе как-нибудь загляну?

Тот буркнул:

— Заходи.

Какую-то беспокойную досаду оставило у Соустина это посещение. Он не хстел быть в Мшанске Соустинным, хотел быть Раздолом. И все этот дом... За несколько следующих дней успел написать статью (в которую пристегнул для колорита и пронькины похороны) и отослать ее в Москву; успел и еще кое-где побывать. Но Кузьма Федорыч не выходил из головы. Однажды под вечер Соустин отправился к нему.

Кузьма Федорыч обитал в самодельной, похожей на каравай, глиняной хибарке, с двумя крошечными, вровень с землей, окошечками. Хибарка до того скособочилась, что крыша одной застрехой лежала прямо на сугробе. Перед окошками — связанная кое-как из слег загородка и изуродованная старостью

ветла. До революции сюда нередко па-ломничали местные любители-художники: дочь протопопа, Катя Магнусова с компанией, податной инспектор Веселаго, мечтатель-поручик Хренков — с мольбертами, с кистями, с закуской. Они находили, что эта избушка — очень красивый русский видик. Если бы ветла уродилась еще покоряжистой, а глиняная лачужка совсем обвалилась, они нашли бы видик еще милее. Господа рисовали и закусывали, а Кузьма Федорыч сидел у окошка, гордо и с хитроватым видом покуривая. Усмешка его и тогда была необъяснима. Потом господа жертвовали ему на сороковку. Однажды Кузьма Федорыч сообщил господам, что он в лесу поймал живьем медвежонка. Показать его, однако, не показал, боялся, как бы не покусал чужих. С тех пор про медвежонка пошла слава по Мшанску. Зверь прижился у Кузьмы Федорыча, питался, рос, и Кузьма Федорыч на досуге ходил рассказывать господам и в лабазы — купцам, на какую мерку он прибавился, что он жрет, какие у него замашки. Но чужих к медвежонку так и не допустил ни разу никого, пока тот не вырос в медведя и не сбежал в лес... Возможно, что иные из начитанных господ, узнав о том, что никакого медвежонка не было, назвали бы Кузьму Федорыча сказочником. Но никто из них не приметил, с каким ядом на смехучих, на горьких губах разносил этот мужичок свои сказки.

За хибаркой у Кузьмы Федорыча имелся огородный клинышек, который он пускал под картофель, а в иные годы под овес. Кузьма Федорыч и в пастухах ходил, и работал в сенокос и жнитво на поденной, и прислуживал в базарные дни в чайных, и водил господ на охоту. Дочь его, Ксюшка, поступила в горничные в Пензу к купцу Солнцеву, потом гуляла проституткой. Она отравилась спичками. Старший сын, продотрядник, красногвардеец, был убит под Новохоперском. Младший, комсомолец, председательствовал сейчас в сельсовете в Симбухове. Сам Кузьма Федорыч от германской войны отбоярился тем, что прикинулся юридивым; так и проюродствовал три года...

Соустин застал его одетым, собирающимся в поход. Однако, увидев гостя. Кузьма Федорыч тотчас же настойчиво (и в то же время с безучастным видом) потянул его в избенку, усадил на лавку. Возможно, Соустин тоже чем-то его беспокоил... Под берложьим приземистым потолком боязно было разогнуться. Вечер мерцал чуть-чуть в обледенелых окошечках. Вместо пола — земля, в нее вколочен стол и единственная лавка, она же и топчан, на который брошен тулуп шерстью вверх... Кузьма Федорыч достал с шестка что-то завернутое в тряпицу, сказал:

— На, поешь.

Разложил на столе, на тряпице, два печеных яйца, соль, ломоть хлеба. Соустин хотел отказаться.

— Ешь, я у тебя ел. Да ты не бойся, у меня всего этого много.

Кузьма Федорыч, кажется, врал так же, как когда-то про медвежонка... Пришлось отведать угощенья. А Кузьма Федорыч выгреб из ящика стола и перетряхивал в пригоршнях что-то гремящее.

— Посмотри-ка, пули. Это большак мне оставил. Когда в продотряде тут служил, то всяки-разны пули собирал. Любитель.

Он высыпал на стол с десяток самых разнокалиберных патронов, и русских, и австрийских, и американских, и еще других, неведомых Соустину образцов. Иные были толщиной в большой палец. способные уложить слона. Кузьма Федорыч забавлялся ими.

— Возьми, говорит, папаня: сгодятся... Мож-быть, и сгодятся. А я так думаю: затопить бы эдакую громадную баню, напарить ее, согнать в нее всех попов и буржуев и зажечь. — Кузьма Федорыч махнул рукой и странно засмеялся. — Когда я чего болтаю, ты не слушай. Я человек редкий.

Но и гость тоже посмеивался: что ему, он же был посторонний человек. И Кузьма Федорыч снова помрачнел. Рот его сморщился брезгливо. Он вдруг сбросил свое юродство, заговорил напрямик:

— У меня, Николай Филатыч, от холода здесь кость ломит. И я этот на-

стин дом ваш все равно заберу, мне Бутырин обещал. Я в тепло хочу. Потому что теперь моя взяла. Я здесь всю жизнь жил. А там коклетки кушали. Да винцо пили. Да в тепле... А если кто супротив меня будет делать, то у меня еще сын есть председатель. Бутырин не даст, я к сыну поеду.

И, катая пульки по столу, искоса, испытующе поглядывал глазом на Соустика. Что же, тот слушал, кивая сочувственно. Нет, никак не удавалось Кузьме, Федорычу втравить его в свару. Вот как назло не удавалось! И Соустин с равнодушным видом пояснил, что лично его дом не интересует, это дело сестры, а у него совсем другие задачи. Вот если бы Кузьма Федорыч рассказал ему что-нибудь для газеты о мшанских делах. Можно и мандат показать...

— А что мне мандат... Я сам есть тоже власть. Когда у меня кость ломит...

И опять Соустин подтвердил, что Кузьма Федорыч совершенно прав, в этой лачуге ему оставаться больше нельзя. Он со своей стороны тоже поговорит с этим... товарищем Бутыриным. То, что делается сейчас, делается в первую очередь для таких, как Кузьма Федорыч.

Соустин говорил, конечно, вполне искренно и говорил уже покровительственно, как сильнейший. Теперь-то он уже втолковал Кузьме Федорычу про себя, кто он такой в самом деле. Но Кузьма Федорыч сидел перед ним, опустив голову, угрюмый, ничему не верящий. Насчет собрания, которое он пообещал Соустину, отозвался вяло. Вот если сейчас в бывшую управу пойти, там бабий актив...

— Хошь, пойдём, со мной везде пропустят.

Но по дороге Кузьма Федорыч трудно молчал, а потом и вовсе отстал. Смеркалось, звонили ко всенощной. В бывшей управе, где собрались колхозницы-активистки, огня не зажигали. Выступала женщина в черной рубахе, обремененная ремнем, в черной юбке и валенках.

— Они и мне и говорят: будут у вас в колхозе все подчиненные, а не хо-

зяева. Я и спрашиваю: а кто же хозяева-то?

В древнем Мшанске, под благовест, крестьянка, одетая в мужнину рубаху, призывала:

— Надо нам, товарищи-колхозницы, создать здесь ясли, консультацию для матери-ребенка, надо общую столовую.

В бывшей городской управе стемнело совсем, женщины, тоже отемненные, сидели кругом, чинно, словно за прялками. «Когда-то писатели Чеховы, Короленки звали нести свет в народ, устраивать для него школы, организовывать ясли, столовые для голодающих. Меньший брат, гражданская скорбь... А сейчас меньший брат без всякой опеки, сам строит для себя то, что ему надо. Да, это хозяева, а не подчиненные. Как сказал тогда Калабух? «Органические силы возьмут свое». Вот: они уже брали свое...

А в сумрачных окнах путался звон, их заволакивала захолустная, чеховская ночь. Пустые палисадники, спозаранку потухшие окошки, где-то воющая собака... По темной Пензенской брели на звон старухи, тыкая подождками в снег, горбатые, непримиримо насупившие на лоб черные монашьи полушалки. И Настя, должно быть, среди них... Старый Мшанск живел, подымался из гробов своих. И вдруг веселой молнией облеснуло базар. Электрическое диво вспыхнуло над снегами, над старухами, и одновременно в райсовете, от которого удалялся Соустин, жарко зажглось в окнах, и зажглось, многолюдно загудело по соседству в Народном доме.

Соустин зашел в толкучие сени: это тракторные курсы, оказывается, устраивали вечеринку. Мшанск жил денно и нощно! В просторном зале, сдвинув стулья на середину, молодежь расселась тесным семейным кругом, иные едва не на коленях друг у друга. Трактористов и трактористок отличали от остальных не только ватники и комбинезоны, но и та непоседливая озабоченность, которую наложила на их охудавшие лица непривычная учеба. Девушки были по-деревенски полногруды, розовы и губасты, парни — с крепкими, быстрыми руками: ни один из таких не даст себя в

обиду! Это были те самые, о которых однажды заочно философствовали Соустин с Калабухом, только совсем не должествующие, а живые.

И сверху сиял бальный свет... Лет пятнадцать назад в этом же Народном доме гремели вечера. Двери — настежь в летний сад; кружевные, изломно поводящие плечиками барышни всякого господского сословья, чиновники и студенты в золотопуговичных кителях, — они касались талий своих дам, словно одуванчиков, чуть дыша. А из сквера, из-за темных обрызганных звездами деревьев глазели заречные девки и парни. И порой разгоряченные кавалеры выбегали в сквер, в темноту: потискать девок... Теперь те, стоявшие за деревьями, хозяевами вошли сюда.

И распевно заиграла большая, как орган, гармонья. В углу обступили Кузьму Федорыча, который показывал какое-то шутовство на спичках: он был здесь свой человек, он веселился, он смотрел ребятам в глаза. Среди танцующих Соустин узнал и молодоженов, на чью свадьбу затащил его Васяня: на молодом был ватник тракториста... И стало почему-то обидно под эту веселую для других музыку. Оттого ли, что еще раз узнал, как Васяня нарочито, грубо одурачивал его? Или от зависти к этой нашедшей себя, все завоевывающей молодости, от мыслей, что они с Ольгой уже постарели, что постарел самый их быт, даже их любовь? Ольга, Ольга... Курсанты отплясывали тот же ту-степ.

На другой день он предложил сестре начисто развязаться с дедовым домом, снять где-нибудь подходящую избенку и переехать. Обещал высылать побольше денег. Но Настя, выслушав предложение, потемнела и перестала разговаривать с братом. Вдобавок через соседок к ней доползли вести о якобы каких-то новых готовящихся кознях Кузьмы Федорыча... В доме стало кладбищенски тяжело. А однажды Соустин застал сестру в чулане, где она возилась с веревками, нарочно по-недоброму возилась.

— Глупости делаешь! — зарычал он в сердцах и насильно выволок бьющуюся Настю в горницу.

Надо было так или иначе кончать с этим делом.

Впрочем в сельсовет заглянуть все равно было неминуемо. Собранный за месячное почти пребывание в Мшанске материал следовало дополнить еще документальными данными, порыться в делах сельсовета. Так что о сестре Соустин мог поговорить попутно, между делом.

Лягушевка принадлежала к заовражскому сельсовету, носившему название по концевой слободе, тому самому, где председательствовал бывший пастушок, комсомолец Бутырин.

Оказалось, что Соустин заявился туда не совсем вовремя. День в сельсовете и без него выпал трудный, путанный... Утром из области была получена телеграмма с пометкой «хлебозаготовительная», то-есть с самой срочной, ответственной пометкой: в течение суток разгрузить заготовленное зерно из заовражских магазинов и вывезти на элеватор, в Пензу. Для этого требовалось пятьдесят подвод. Но в тот день заовражские делили дрова и почти все подводы были угнаны в лес, за двенадцать километров. Поди, оторви мужика от дележки! Гонцы, разосланные Бутыриным по дворам, обнаружили пока только трюхи замешкавшихся хозяев с лошадьми.

За длинным столом, с ножками в виде косоного креста, Соустин узнал паренька, однажды с таким упоением промчавшего мимо него на тракторе. Он озабоченно согнулся над листком, исписанным через копировку; один глаз его то-и-дело мучительно жмурился. Пареньку, очевидно, нелегко приходилось, он ничего не видел кругом и не слышал...

Однако, когда Соустин показал ему мандат на имя раз'ездного корреспондента «Производственной газеты» Н. Раздола, мандат, в котором все учреждения приглашались содействовать Н. Раздолу в получении материалов для очерков о коллективизации, — пастушок почтительно вскочил, сам принес ему из шкафа нужные дела и даже смахнул рукавом пыль с табуретки. Два парня, сидевшие за дальним столом, смотрели, приоткрыв рты... Из

прихожей чаще начали заглядывать мужики, будто по делу, пили воду из кадушки, стоявшей у окна, остатки из кружки выплескивая на пол, а сами пытливым глазом косясь на приезжего.

После такого приема разговор о сестре вдруг показался воистину совсем пустяковым делом. И нечего было его оттягивать, надо было начинать сейчас же... Но из прихожей словно ветром внесло Кузьму Федорыча.

Бутырин резко повернулся к нему: видимо, его ожидал.

— Ну как?

— В Заречной, Миколя, еще двоих сыскал, вот я какой. Значит, Малухина Ваську, Никанора-то рыжего зять, да Блинкова Алексея Егорыча...

Он запнулся, увидев против себя за столом того, кого не ждал видеть. И Соустину стало не по себе от этого обиженного взгляда. Кузьма Федорыч сделал, однако, вид, будто не знавал никогда никакого Соустина... Нагнулся к Бутырину:

— А зачем тут у нас, Миколя, чужие бревна?

Бутырин досадливо отмахнулся.

— Какие еще чужие бревна? Дальше говори.

Но Кузьма Федорыч молчал, держа нечто свое на уме. Веки его были упрямо, враждебно опущены. Бутырину не терпелось.

— Ну?

— Ну... про Васяню я еще слышал. Вечер с извозу приехал. Отдыхал, а теперь в лес собирается.

— Почему ты не зашел, не задержал?

— Задержи ступай! На вилы, что ль, напороться? — Кузьма Федорыч оживился. — Ты мне бумажку дай... с печатью. Уж с бумажкой я его задержу!

И Кузьма Федорыч даже ухмыльнулся. Видимо, на время забыл и про Соустина. В морщинах около рта обострилось горькое, жестокое.

— Задержу-у!

— Выдам наряд. Значит, шесть подвод есть.

Бутырин сам с собой разговаривал вслух:

— Еще надо сорок четыре. А где же взять? А? Значит, надо мне ехать в лес. Значит, я с Алексеем Егорычем и поеду.

А Соустин перелистывал дела, будто читая... Вспомнилось злобное пророчество Васяни: «... а меня беспрерывно на полустанок!...». И эта горячая радость Кузьмы Федорыча... В зловещем омрачении предстал полутемный васянин двор. Но Кузьма Федорыч, очевидно, ни о чем таком не тревожился, он был сейчас очень нужный человек. Начал даже выговаривать пареньку:

— Тоже вот... бегай, бегай для вас день-денской, а ты мне избы хорошей и то не справишь. Мне в тепле-то как бы хорошо! Вот брошу вас всех, уеду к сыну, к председателю... и ничего ты со мной не сделаешь!

Бутырин дул на печать, посмеивался.

— Ты у нас актив... И никак ты не можешь нас бросить.

— Актив, актив — притворно-сердито ворчал Кузьма Федорыч.

Получив бумажку, он упрятал ее в шапку, с оглядкой упрятал. Взор его опять скользнул по Соустину — ревниво, неприязненно. Топтался около паренька.

— Слышь-ка, Миколя... что я скажу-то...

Но Бутырин подталкивал его к прихожей.

— Валяй, отец, делай.

Кузьма Федорыч надел шапку. И вдруг, словно найдя себе утешенье, лихо повеселел.

— Эх, и скислит сейчас Васяне!

Но Соустин, кажется, уже не слышал этого, так заинтересовало его одно заявление, попавшееся в делах... Писал его инженер, Виктор Ивушкин, которого Соустин помнил гимназистом, — просил восстановить в избирательных правах старуху-мать, ввиду полезной и преданной работы его, Ивушкина, для советской власти.

И тут же в делах была приложена копия ответа сельсовета в город, на завод. Сельсовет запрашивал, почему на таком важном для строительства заводе, где работают тысячи пролетариата, держат на службе сына мшанского ку-

лака, имевшего пять батраков, и почти что помещика в мелком масштабе. Сельсовет требовал дело немедленно расследовать и о решении уведомить бедноту Мшанского района, из которой Ивушкины порядочно попили крови в старое время...

Соустин замешкался несколько, однако оборол себя. Позвал Бутырина:

— Кстати, товарищ, у меня, кроме газетного дела, есть небольшое личное недоразумение, вернее — касающееся моей сестры.

Паренек слушал, наклонясь, локтем опершись на стол: что дальше.

— У моей сестры дом отнимают, якобы за невзнос налога моим братом, Соустиним Петром, бывшим кустарем-торговцем...

— Это скрылся который? А ваше-то фамилие как будет?

— Моя — тоже Соустин, я — брат..

— А как же в бумаге-то сказано: Водопоп, что ли?

— Раздол. Это мой псевдоним, я так в газете подписываюсь.

— Ага, темнишь там, стало быть!..

Бутырин отошел, что-то приказал парням. Те вразвалку приблизились, без разговоров сгребли дела, лежавшие перед Соустиним, и отнесли их в шкаф. Соустин подождал еще минуты три; о нем словно забыли. Он встал, сам подошел к Бутырину.

— Так как же, мы с вами не договорили...

— У нас про это никаких разговоров не полагается, подай заявление.

Соустин торчал перед Бутыриным униженно, ненужно... На Соустине была модная мохнатая кепка, отличное пальто с каракулевым воротником. В Москве его любила изящная женщина... Бутырин обернулся и вдруг спросил:

— А ты, гражданин, скажи нам адресок, где в Москве-то работаешь. Дай-ка мандат.

*

В Пензе товарно-пассажирский подкатил в сумерках. Когда Соустин протискивался к выходу, на темной площадке кто-то больно ударил его по уху. Он

вырвался на перрон вдогонку за человеком с бородой.

— Эй, ты, сволочь... как ты смеешь!

— Словами не одолел, так он кулаком, — осуждающе крикнул кто-то из пассажиров.

Другой, пов'едливее голос, сказал:

— Жалко, мало еще влепил!

Население вагона вываливало наружу, озлобелое, разодранное спорами. Соустин, горячась, тыкался по перрону, но обидчик пропал бесследно в сутолочном народе. Кипела злоба, ухо постыдно ныло... Правда, спустя несколько минут, за стаканом чая, Соустин успокоился, даже некое мстительное услаждение почувствовал... Дело началось в вагоне — опять спором о колхозах. Больше всех ярился один, с цыганской смоляной бородой, как оказалось — бывший богатый шорник из мшанской округи. Шорник рвал у себя на груди рубаху, клял... Соустин не мог смолчать, душа его теперь особенно отвращалась от этих людей, потому что его самого несправедливо как бы отнесли к их числу... Конечно, ему, столичному журналисту, было легко, под ядовитое одобрение слушателей, побить в споре перевертенья-кулака, заставить его под конец замолчать, притулиться в темь. После, на площадке, шорник пакостно, исподтишка отомстил за все... Ну, да черт с ним!

А вечером Соустина уже баюкало в зеркальном уюте международного вагона. Земля предков отплывала назад. Опять сугробы да опухшие от снега леса, да древние дочерна избенки, как в сказке, завалившиеся под овраг. Кое-где рассыплются за бугром невиданные еще среди этой убогости бирюзовые, звездистые огоньки: стройка... и взметнется сердце, как если скажут: «А вот за этим бугром — война...». Впрочем и в избенках никакой сказки не было; как убедился Соустин, рушили везде ее, сказку, древлюю, милую для барского сердца убогость, со скрежетом рушили, с моторным ревом, с бедой.

... В сумерках, после того, как произошел у Соустина разговор в сельсовете, вскачь понеслись из леса пустые подводы. Ночью, нагруженные зерном, они

двинулись по большаку. Но Васязи не отыскали. Не могли его разыскать и на утро — для Соустина, которому вдруг пришло ехать на полустанок. Ни Васяни, ни Клаввы, ни лошади.

Зато возвращавшиеся на другой день возчики нашли в ометах Кузьму Федорыча. Он лежал ничком, как глубоко спящий; правую откинутую руку его уже замело сугробом. Мохрявая окровавленная шапочка примерзла к голове. Как только разнесся слух о находке, к ометам хлынула задрами вся Заовражная слобода.

Грозным напущением проводил Соустина Мшанск... И это был уже не Мшанск: то, что дейлось в нем, разрасталось по своему смыслу гораздо шире, разрасталось, расхлестывалось во всю неоглядную даль страны.

... Он прильнул к сумеречному окну. О Васяне почему-то донимали всякие мысли, навязчивые, как стук вагона, тошнвые. Где же сейчас? Петлит в розвальнях где-нибудь по проселкам, с рухлядью, с Клаввой, со смертью за плечами, направляясь к дальним станциям, к пустым землям, к компании, которую еще нужно собрать?.. Вон там, за промчавшимся переездом, в метелице заскакала и пропала чья-то лошада... Грязная изба-кочевье, васянина песня, блудливые повадки Клаввы сливались сейчас, издали, в один тоскливый вороний крик...

Утром поезд влетел в заиндезелые, культурно прочищенные подмосковные леса. В коридоре курили несколько пожилых таджиков с циковскими значками. В Рязани продавались свежие московские газеты. «Известия» сообщали о приезде в СССР министров и общественных деятелей одной дружественной державы, НКВД устраивал им торжественную встречу. Поезд уже обволакивала государственная атмосфера Москвы. Чем ближе к ней, тем больше мучила Соустина томительная нервная потягота. Заранее видел даже те хлестучие безжалостные слова, которыми будет написано о нем в редакцию. «И о решении просим уведомить бедноту Мшанского района...». Благополучие его дало

трещину с неожиданной стороны, оно зависело теперь от того, что недавно он считал только материалом для статей и размышлений...

В «Производственной газете» во время отсутствия Соустина произошли кое-какие перемены. Удивительнее всего, что вместо уехавшего Зыбина обязанности ответственного секретаря исполнял теперь Калабух. Очевидно, ему простили былые промахи, снова поверили... К Соустину отнесся он попрежнему благожелательно. Статьей о сезонниках в редакции остались довольны. Она была сверстана в одном «подвале» со статьей Зыбина, с его первой корреспонденцией из Красногорска, в которой тоже крепко доставалось профсоюзному руководству. «Значит, Зыбин обязательно прочитает мою статью и убедится, что не зря меня послал». От этой ободряющей мысли даже пастушонок затуманился.

— Денек сегодня отдохните, а вечером... — Калабух протянул Соустину билет, отпечатанный на какой-то особенной глянцеваы бумаге. И загадочно ухмыльнулся. — Это вам тоже будет полезно... для расширения кругозора!

Соустин даже не осмыслил сначала, что означал этот подарок. Сотрудника редакции (рукой Калабуха была вписана фамилия Соустина) приглашали на дипломатический прием; прием, с участием представителей обществественности, устраивался в честь той самой дружественной державы. Да и не в силах был осмыслить, тело еще ехало, ехали в глазах избенки и сугробы. И давно невиданный телефон на столе Калабуха то и дело заставлял горячо, испуганно-сладо толкаться сердце.

И вот вечер...

В зале дипломатического особняка Соустин встретился со своим начальником. Из толпы к нему направлялся Калабух. Он был непривычно нов, параден в этом черном штатском костюме, в сияющем тугом воротничке. Он приветливо, словно обнять желая, протянул Соустину руки.

— Впечатляетесь? Ну вот, ну вот... — Мимо них прошагал японский офицер, лаковые глаза его безразлично, слишком безразлично прикрывались дремот-

ными выпуклыми веками. — Теперь поставьте это с тем, что вы видели в стране... а вы, вероятно, видели кое-что, потом расскажете? Вы замегили, как ловко и вежливо притворяются все эти иностранные люди, играют с нами в любовьность? Обратите внимание вон на того. — Калабух указал на рыхлого, стриженного ежиком, уже виденного Соустиным сановника, прислонившегося к колонне. — Это граф... он владеет одной третью всей земельной территории своего государства. Это банки, рента. Это капитал. Он тоже очень любезен... Наша страна находится в процессе... в очень трудном, м-м... смелом и, естественно, связанном с известной долей риска. Вообразите, что эти графы именно сейчас найдут дальше невыгодным притворяться и попросту схватят нас за горло?

Вероятно, было неизбежно в данной обстановке разным людям думать об одном и том же. Вместе с тем это было как бы продолжением того предтезного разговора. Только тон Калабуха показался Соустину чересчур навязчиво-зловещим...

И он возразил, как возразил бы всякий другой, советский, на его месте. Очевидно, международная ситуация складывается так, что... И главное — Красная армия сейчас очень сильно и великолепно оснащена технически, это всем известно...

О, Калабух знал это и без него.

— Да, наша Красная армия!.. — Он кивнул несколько раз с тяжеловесной, замкнутой горделивостью. — Красная армия... Но, дорогой товарищ, кроме армии, существует еще важная вещь: экономика. Как, например, вы думаете... м-м, обстоит у нас дело с золотым обеспечением, с нашими государственными фондами?

Обращенные на Соустина пристальные глазки Калабуха продолжали говорить, договаривать, продолжали внушать что-то серьезное, очень серьезное... «Это не я его, как демон, возвожу на скалу, чтобы искусить, а он меня... И зачем, для чего я ему нужен?». Впервые, да, впервые почудилось Соустину в дружеском обращении с ним Калабуха не-

что, чего, быть может, следовало остерегаться... Оглушительные звуки вырвались, загорланили на весь зал.

С хоров, из-за белых перил, неожиданно грянул джаз.

Человеческая зыбь в зале расступалась; по паркету пара за парой уже отшагивали фокстрот скованными ногами. Раздирающие, невразумительные звуки ломались в огромных просторах зала.

Тают снега

Во дворе Наркомзема, в поисках курсов, Ольге пришлось спуститься в полутемное бетонированное подземелье. Там охватила ее такая пронзительная мерзлота, что она почувствовала себя голой. Где-то в коридоре потрясающе взорвался мотор; оттуда напал жирный керосиновый угар. Он пахнул опьянительно, запахом предстоящего, необыкновенного для Ольги дела.

Она шла на сильных своих ногах, открытых до колен, в чулках чувственно-го цвета, в коротком меховом жакете, изящная и по-своему искренняя. Да, возможно, мерзлых стен этих неслышно касалась вечная мелодия... За стеклянной конторской дверью Ольга нашла, кого нужно, — человека в шинели и ушане, обедающего возле лампы-молнии. Суп, каша с компотом на тарелке... И, вынув из сумочки вместе с документами нечаянно и платок, тотчас сладостно окутала ошеломленного человека, всего с головой окутала в тончайший бальный аромат. Снега, фиалки... Человек, потопая в аромате, воззрился на нее.

Что, на автомобильные курсы? Они откроются не раньше, чем через месяц, задержечка получилась...

— Вот на тракторные, может быть, гражданочка? Тогда — пожалуйста, хоть с завтрашнего дня!

На тракторные? В голосе говорившего слышалась усмешечка, но Ольга не обратила на это внимания. Тут было открытие, от которого ее кинуло в озорной и радостный жар. Почему она сама не задумалась до этого? Трактор... в газетах, в речах, в лозунгах его поднимали сегодня над страной как орудие грозной, небывалой переделки. Извечно-

крестьянская даль сотрясалась под его железным ходом. Просвечивало новое существование... Даже поэтики, эстеты, дармоедничавшие у Ольги, высказывали претензию на этот неуклюжий, но полезный механизм, со слюной спорили о том, как «обжить» его в стихах и прозе. Да, трактор — это было куда решительнее автомобиля. Ольга присела и перечеркнула кое-что в заявлении.

— Давайте на тракторные, — сказала она.

— Жуткая механика, — вступился чей-то новый голос.

Она обернулась, в конторе был еще некто, не примеченный ею, также по-рабочему одетый, с неожиданной нежностью, бледноватым лицом, зеленоглазый... Все это были неведомые, завтрашние ее люди, с которыми ей жить и общаться.

Она чувствовала себя явственно идущей среди мелодии.

На обратном пути подумала: «А Тоня как? Говорить ему, или нет?». И до щекотки захотелось — не писать пока ничего, затанцевать про себя... Ах, Тоня, чудак Тоня!

Муж писал ей нечасто. Но, казалось ей, там, в походном номере, в полночь, подолгу думал над ненаписанными еще словами и беспомощно курил, и хохолок свой терзал...

А в письме получалось так:

«... Эх, приехать бы тебе сюда, поглядеть, что наворочали люди, да понять, что они еще наворочают, да не только бы поглядеть, а окунуться, — может быть, и нашла бы себе что-нибудь подходящее... Да боюсь пока звать тебя. Зубцы у тебя какие-то еще не вскочили на свое место... Скучаю по тебе, Олька, грустнушка ты моя потерянная, взял бы я тебя сейчас крепко в руки, да... писать-то про это, может быть, нельзя? Как насчет того, чтобы поработать тебе педагогом? Ты для этого все имеешь, подумай-ка! Как твои подшефные? Ты бы, Олька, получше разобралась в них, я это без всякого заднего заскока говорю, потому что сейчас разбитая нами мразь лезет во все углы. Обязана ты разобраться. Жить я тебе, ты знаешь, не хочу мешать, живи... Не-

задача у нас с тобой, невязка, собственно говоря, получилась. Я вот думаю, может быть, разлукой кое-что вылечится. Впрочем, ничего я в этом научно не понимаю. Оба мы — люди в норме. что тут за псих получается? Ну, поздно уж. Написал бы я тебе еще ласковое что-нибудь, да для тебя про это потоньше, похудожественнее надо, а ты, кикимора, на этот счет меня не подковала!.. Ну...».

Странно, в письмах его почти не было пейзажей. А Ольге, как и всякому в те годы, хотелось не только сквозь газетные и очерковые строки, а сквозь живые чьи-то, близко знакомые глаза (будто через свои) увидеть то, что напругало страну такую фронтовой тревожностью, то, во имя чего жизнь была урезана опять до пайка во всем, и в хлебе, и в одежде. Хотелось уловить недоговоренное... Тоня там все видел сейчас в явь, но не в привычке его были — ни пейзажи, ни подробности, которые она могла бы назвать откровенными. Очень осторожно говорил даже о своей собственной работе, хотя Ольге было понятно, что там делалось при его озлобленной, именно озлобленной, почти мстительной какой-то работоспособности. Он как бы бережно и вместе с тем чуждо отстранял ее локтем от всего подобного. Да и правда, знала ли она Тоню?

«Мой муж» — думала она, и странно, и неправдоподобно звучало для нее это слово близости. Отсутствующий, он теперь цельнее как-то поднимался в памяти — весь, с каторжным своим детством, с измыканной на войне молодостью, с таким, до самоистязания доходящим, трудолюбием. И в ответ что-то беспомощно кричало в Ольге, — обида ли за него, собственная ли виноватость? Она чувствовала, что Тоня идет далеко от нее, в своем особенном, недосягаемом воздухе. И она не знала, почему мучительно было это сознание, — от любви, или от той же неутоленной жажды: найти для себя настоящее? В эти минуты она ненавидела Соустина за Партенит, за это растлевающее ее тайное видение. К облегчению ее Соустин уехал.

И Ольгу обступила временная, непрочная тишина. Надо было торопиться, жгуче торопиться... «Не поработать ли тебе педагогом?». Тоня был коммунист, но он плохо слышал человека, с которым жил рядом... Да, сделать все, добиться всего тайком и — ликовать, о, как ликовать над растерянно-радостным его обалдением! «Ну, вот, Тоня, я сама вас догнала, видишь?». Она представляла себе эту минуту десять раз на дню, это стало для нее чем-то вроде приятного пьянства или курения папирос.

Подшефные опять забредали по вечерам, но не попржнему: реже, да и вяло как-то. И новое: подшефные выбывали понемногу из-под ольгиной опеки. Такое всеобъемлющее напряжение обволакивало работающую день и ночь страну, такой начинался голод в людях, что даже самые залежалые ассортименты их выхватывались и пускались в полезный оборот. Поэтики переключились на прозу, — да, раз было нужно, они могли делать грамотную, добросовестную прозу, они уезжали в качестве очеркистов, притом по самым неожиданным специальностям: на мясо- и овощезаготовки, в животноводческие совхозы, в кустарные промартели, на рыбные промысла... Потому что все, что работало и заново вырастало в стране, хотело перекликнуться о том, как оно работает и растет. И среди художников ольгиных реже затевались теперь громокипящие, по сути ерундовые, дискуссии — насчет Ренуара, Ван-Гога, Матисса (отечественных живописцев тут вообще не признавали); художники почистились, поприоделись; недосыпая ночей, вычерчивали и выписывали многокрасочные диаграммы для предприятый, конструировали фотомонтажи и оформление срочных промышленных выставок, из картона и стекла клеили изящнейшие, утекающие в воздух, под Корбюзье, макеты киосков, павильонов ТЭЖЭ. И в стекле павильончиков отблескивало и у них какое-то синее будущее... А один из подшефных композиторов написал симфонию для радио «Путешествие по новостройкам», где музыкально переплетались гудки летящих поездов, песни, рычания машин

и всякие жизнерадостно-разноречивые строительные шумы. Симфония передавалась в эфир не один раз, она оказалась нужной. Вообще, оставались не у дел лишь немногие: особого рода богемная шпана, которая предпочитала что-то выжидать.

И что стало бы с Ольгой, если бы однажды больше ничего не оказалось у нее, кроме вот таких последышей? Но она теперь молчала весело: она же была богаче всех! Однажды проснулась Ольга, трелеща, как в детстве: над изголовьем светил новый, страшноватый и жданный день.

Предстояло в первый раз пойти на курсы.

И с тем же неистребимым волнением спускалась опять она в знакомое ей нежилое подземелье. Коридоры, освещенные на поворотах малосильной лампочкой; хватющий за ноги раскаленный от стужи асфальт... Но за огромными гаражными воротами, где нужно было протиснуться через узенькую калиточку, ослеплял высокий пятисотсвечевый свет, и плавало такое приятное, веселое керосиновое тепло! Слушатели, человек сорок, собрались здесь слишком спозаранку, наверно, от того же нетерпеливого волнения, что и у Ольги; это были те, кого она мало знала и звала про себя народом, в большинстве командированные от колхозов и коммун, в грубо пошитых деревенских пиджаках и малахях. Были три женщины — в поддевах и теплых платках; стесняясь, они держались все три вместе, любопытничая по сторонам и перешептываясь. Ольга нарочно надела на себя самое поношенное, а на голову натянула старенькую фетровую шляпочку; но все равно, на первый раз что-то непереходимое отделяло ее, одну ее, от этих, в большинстве уже сдружившихся между собой, людей (все они жили в Доме крестьянина), и было для нее невообразимо даже — подойти и сразу, просто заговорить с кем-нибудь из них. На нее, городскую дамочку, с открытыми шелковыми коленями, чуждовато глядели.

Она одиноко присела на краешек тесовой, наскоро сколоченной парты и исподтишка рассматривала своих будущих

сотоварищей. Наверно, то были отборные из массы, те самые, о которых писали теперь, как о новых людях. Среди них виделся милиционер, несколько демобилизованных красноармейцев, у которых петлицы еще не успели выцвести. Было двое-трое пожилых. Ольга пока видела только поверхность... Над одним колхозником, по фамилии Тушин, смеялись. У него были стоячие, наивно-жадные глаза. Тушин впервые в жизни проехал по железной дороге и впервые увидел электричество. Тушин привез с собой невероятную и молчаливую страсть — все узнать. В Доме крестьянина он съел две пробки, любознательно и скрытно копясь в проводах. В трамваях он научился ездить бесплатно. Сегодня утром его поймали с поличным, за ним погнался милиционер, но так и не догнал. Это было, очевидно, событием: под дружественный смех на классной доске мастерили карикатуру: Тушин убегает от милиционера.

И Тушин, ковыряясь за преподавательским столом — в разъятых там внутренностях мотора, — нераскаянно посмеивался.

Преподаватель оказался знакомым: тот самый, зеленоглазый, который вступил в разговор с Ольгой в конторе.

— Трактор — это значит, по-нашему, тягач, — так начал он урок. — Вот, значит, до чего люди доперли, до какой жуткой механики! — Он преподавал впервые и, как горожанин, наверно, думал, что с такими слушателями надо погибать попростонароднее, поядренее. — Но вы этой механики, ребята, не бойтесь, была бы смекалка! Рассмотрите рабочий процесс двигателя.

Тяжелая серая масса двигателя лежала перед ним на столе. Ольга никогда в жизни не имела дела с механизмами и вдруг усомнилась: сумеет ли она когда-нибудь разобраться в этих причудливых металлических наростах, в железных кишках... Для того, чтобы восторгествовать, как она мечтала, обязательно надо было одолеть вот эту не свойственную ей, грубовато-железную премудрость... Она нервно вслушивалась в объяснения. Она ревниво подсматривала за женщинами, — может быть, их чернорабочее

мышление усвоит эти вещи гораздо скорее? Нет, у всех трех, припавших головами друг к другу, были слишком недоверчивые, оробелые глаза... Однако, что же тут сложного? Вспышка газа толкает поршень книзу, очень понятно. Поршень передает усилие коленчатому валу и вращает его. Четыре такта работы. Их последовательность — первый цилиндр, второй, четвертый, третий... Последовательность зависела, конечно, от формы коленчатого вала. Ольгу прямо радовала эта по-детски простая, ритмическая связь, ей было ясно все, все! Можно было даже играть про себя: если в первом цилиндре сжатие, то что в третьем? Только, когда преподаватель начал показывать части двигателя, слушатели, по деревенской привычке, кинулись базаром к столу, и это ее раздражало. И адски стыли ноги... К концу уроков Ольга опять искоса посмотрела на колхозниц: те, подперев щеки руками, следили за лектором безучастно и устало. Собою Ольга была довольна.

И домой она возвращалась с необычным чувством очищения, хорошо выполненного долга. Пролетающие мимо нее машины несли в себе скрытую молниеносную игру поршней и клапанов.

Вечером она еще раз с жадностью прочитала в книге о том, о чем говорил преподаватель, и даже давала несколько вперед. Предмет давался совсем нетрудно (Ольга проходила, ведь, физику в гимназии), она сумела почувствовать даже изящество в этой взаимосцепленной, точной работе механизмов.

На другой день Ольга пришла на занятия в валенках, как и прочие. Но на нее и без того перестали оглядываться, попривыкли уже, да и некогда было. Только женщины попрежнему жались от нее в сторону... Преподаватель сказал:

— Теперь давайте, я попрошаю кого-нибудь. Ну, хоть ты скажи, дедушка! Дедушка оказался колхозником лет тридцати пяти. Он весело и растерянно встал, видно было, что даже от пустякового вопроса — для чего существует поршень — с непривычки сразу его обнесло туманом. Тушин не вытерпел и

выскочил за него с ответом. Ольгу взяла досада на Тушина, она бы тоже ответила и даже еще лучше.

Преподаватель еще кого-то искал глазами.

— Твоя как фамилия? — нацелился карандашом на одну из колхозниц.

— Кулючкина.

Она стояла, деревенская, круглолицая, туго зачесанная под платок. Губы прикрывала кончиком платка.

— Скажи нам, Кулючкина, вот что: какой будет порядок работы цилиндров?

Женщина подумала, вздохнула. Она еще не привыкла учиться. Ольга невольно подалась вперед. Глаза ее тянулись к лектору, они молили его, эти глаза. С самолюбивой страстностью она хотела ответить, блеснуть именно сейчас, перед этими отвертывающимися от нее женщинами... Как она ненавидела Тушина, тоже напряженно приподнимавшегося и уже беззвучно шевелившего губами, готового выпалить, сорвать ей все...

И преподаватель подчинился ее глазам.

— Ну как, скажи ты, хозяйка!

Она звонко ответила, но этого ей было мало, ей хотелось еще говорить, говорить!.. Преподаватель посмотрел на нее внимательнее, как бы узнавая; ему не понравилось что-то... Переходя уже на «вы», он спросил ее, — нарочно, чтобы поддеть, выкопал самое каверзное:

— А скажите: если в первом цилиндре сжигание, что будет... в четвертом?

— В четвертом? — Это же была ее игра... — Конечно, выхлоп.

— Безусловно. — Преподаватель повял и отвернулся.

Ольга села, улыбаясь. Победительница, она одна улыбалась среди общего угнетенного затишья. Даже Тушин уважительно повел на нее оком. Но не для Тушина проблистала она... Те женщины, признали ли они ее наконец? Краешком глаза глянула в их сторону: все три сидели потупленные, сухо-молчаливые!.. Непереносимый стыд укусил ее в сердце. Как оно отвратительно было, ее мелочное блистанье!.. Конечно, они ни-

когда не изучали физики в гимназии, они пришли сюда потому, что захотели по-другому повернуть свою горбатую бабью долю. А у нее, у Ольги, могла быть только блажь!..

★

И с Тишкой случилось такое, чему не мог взаправду поверить ни он, ни Журкин, чему, если бы узналось, не поверило бы никак и тишкино село, покинутое им три месяца назад. В марте приняли Тишку для обучения на шоферские курсы.

Вокруг барачков с весной все шумнее, все деятельнее оживали строительные пространства. С плотинкой к марту было покончено, плотина внезапно опустела, обезлюдела, — только полукруг серых, готовых к бою бастионов. Людей, сломивших ледяную реку, выученных теперь и знаменитых, перебросили на главную площадку. Здесь скапливалось напряженье, готовился к теплу главный бросок сил. В тепляке Коксохимкомбината уходили в кружительную даль штабеля фасонного огнеупорного кирпича: тут вырастут батареи коксовых печей, долженствующих в этом же году дать кокс для первой, невиданной в Европе домны. За тепляком толпились, еще невидимо толпились в воздухе циклопические сооружения углепечи; на горе — контуры дробильных и обогащательных фабрик; у реки — сотрясающаяся машина электростанции; и еще целый город подсобных заводов, многоэтажных жилищ, предприятий, которые пока лишь в воображении строителей осеяли эти снега и ямы и отжимали в степь (а может быть, и стирали совсем с земли) хиреющую, сбившуюся около колоколенки слободу.

От обилия движущихся людей, грузовиков, подвод скорее затаил, загрязнял снег на центральной площадке. Однажды мартовской ночью над нею звездно повисли огни: это заработали новые агрегаты ВЭС, временной электростанции. И бегали, и свистели там, на подездных путях, паровозики, по-жилому свистали, как бы в огоньках некоего, уже существующего городка.

С весной, с концом авральной погрузки, судьбы всех барачных перекраивались наново, и Подопригора ворочал этой перестройкой вместе с рабочкомом, отбирал, месил... Из барачных сбилось несколько бригад — плотников, каменщиков, бетонщиков, чернорабочих. Золотистого взял в тепляк, на фасонную кладку коксовой батареи; туда же, в плотничью бригаду, попал и гробовщик. Петра устроил охотно Подопригора по его специальности — в арматурный склад около того же тепляка... И вот просветило утро, когда впервые предстояло Тишке отправиться на новое дело, одному, по отдельной от Журкина дороге. Вышли они, однако, вместе.

По синей морозноватой дороге стеклел кое-где мартовский ледок, на припеках вышелушивался помет; добавить бы еще два ряда изб по сторонам, с уютными плетнями, ветлами, грачами... Этого же просило и облако — сияющим из-за горы горячим краем... Широчайшие рукава у Тишки хлестались на-ходу, словно перепончатые крылья. Шагал за Журкиным — шутенок, выраженный под попа.

— Дядя Иван, скажи... мож-быть, зря я взялся, а?

— Дык что я тебе скажу? С тобой уполномоченный говорил. Кажный ударяет, чтобы где получше. Попытай, конечно...

Голос был чужой, с горечью... Сзади рыкнул грузовик. Он загнал обоих в сугроб, прокосолапил мимо в громе и снежной пыли, кося бездушными очами, бросив в оторопь Тишку.

— Дядя Иван, а ты знаешь сколько-нибудь... чем эта машина работает?

Журкин нехотя пораздумал.

— Интересовался я раза два на двигател, на мельнице, когда рожь возили молоть. Конечно, работает обыкновенно керосином. В середине поршень ходит, значит — колесо крутится, а от него ремень...

Тишку это объяснение ничуть не подбодрило. Да и не виделось, чтобы гробовщик склонен был к сердечным разговорам. Вообще, после посещения рабочкома Журкин понурился еще больше, убито молчал. Накануне плотник

Абуткин по секрету доложил ему один зловещий слух. «Тебя, слышь, скоро в рабочком к секретарю вызовут». У Журкина в первую минуту ноги подкосились. Вот оно, начиналось... Зачем к секретарю? И он понес в себе этот слух, как камень... А еще, на-днях, Поля подала ему письмо, и гробовщик, узнав почерк, покраснел. И Поля смотрела так, как будто в душе его читала весь срам. Спросила с враждебной вежливостью:

— От родни, что ли?

— Из дому, — выдал ответ Журкин.

Поля-жена писала, что к весне подели последний хлеб и картошку, что на присланные деньги подкупили еще два гуда ржи, картофелю, постного масла, спасибо отцу, что не оставляет свое семейство, только как сам, — не голодает ли там, в сибирской стороне? Жалеющая домашняя теплота была в этом бабьем писаньи; и теснилась в нем оборванная родная детвора, глядела уповающе на далекого папаньку, который дает пищу...

У детворы этой оставалась еще корова. Но теперь Поля спрашивала — не продать ли ее, корма кончились, а на базаре дороговизна, не укупить. Да ясно было, что и для самого семейства, при всей долиной бережливости, припасу закупленного хватит не больше, чем на месяц, — никогда еще так близко к последнему краю не подходило у гробовщика... Нет, написал, чтобы скотины ни за что не продавала, как-нибудь подержаться еще месяц-два, а он добьется, придет еще.

И написал ей, что на работе устроен он прочно; рабочих рук сюда — только давай! Кусок для себя имеет сытный. Побочню на гармошках кое-что зарабатывает. Дальше, с расширением стройки, говорят, еще больше будет выгоды...

И вслед за письмом, для подтверждения, выслал из зашитых, из отложенных денег еще пятьдесят целковых. Столько же оставил для себя. На всякий случай, на билет.

... Над слободой заунывно звонили, что-то чаще стали звонить там в последние дни. Поговаривали, что место,

где стоит слобода, будто собираются использовать под второе водохранилище. И еще поговаривали о каком-то чуде — знамени на слободе... Да, гробовщику было сейчас не до сердечной беседы. Тишка все-таки неотстанно брел за ним, за сугорбой спиной его, на которой потряхивались топор и пила. Две человеческих тоски сплетались без слов... И хоть незачем было, — когда дошли до тепляка, полез за Журкиным в темное жерло входа.

Сразу придавила обоих невиданная, кружительная высота. Двускатный тесовый потолок тепляка чуть виделся наверху, далекий, как небо. В огромном полусумраке, в огнях было напутано всякого, и не разглядеть. Артель собралась около лесов, как бы в глубокой яме, Журкин поспешил туда же. И Тишке, не смуги его Подопригра, быть бы сейчас там, привыкать бы к испокон крестьянскому, деревянному делу. Он растерянно глазел на огромные горы щебня и песку, на вытянутые ввысь, плетеные из арматуры столбы, на подвешенные между ними лампочки солнечно-невыносимого света. По ту сторону столбов другой народ, не плотницкого, более резкого, светливого нрава, устанавливал двухэтажное, незнакомое Тишке сооружение бетономешалки. Привыкать бы здесь да привыкать... От плотников, от тесу, на котором они по обычаю устроились перед работой покурить, хорошо тянуло сосной, цветочным духом махорки. словно летом в деревне, около срубов.

У бригадира крылья шлема захлестались по щекам, он упал среди плотников коршуном. От ужаснувшегося его лица у артельных цыгарки сами повываливались изо ртов. Бригадир неистово плясал по цыгаркам: за куренье в тепляке полагалось под суд. И бригадир срамотил, сгонял с тесу лежебоков, подпихивал их, совал в руки топоры. Барачные были озадачены: не так обычно начиналась артельная работа, которой ждали они после разгрузки, как отдыха. Подтянув штаны, задумчиво поплевывали на руки.

И вон у Журкина рубанок ныряет по доске.

На помост над бетономешалкой вылез человек в кепке и громко скомандовал. Чугунный ковш под ним грохнул, закрутился, отдавая эхо по всему тепляку, как по церкви, по доскам на земле скакали тачки, волоча за собой людей, приплясывая на стыках. И плотники, до того времени лениво двигавшиеся, тоже будто заскакали на лесах, еле поспевая за всеми этими грохотами.

Свистящим колесом неслась мимо оглушенного Тишки работа. Он стоял в стороне, отрезанный ломоть...

Слышалось, как за стеной грузовики рычали моторами, ломились по доскам, по ямам: волшебные звери. Тишке стало все равно, стало пропаще-сладко. Пошел в темное их логово — один.

*

И правда, после разливанно-огненных снегов по дороге, почти жарких от весеннего солнца, в первую минуту попал Тишка за порогом в сплошную темень, растерялся. Среди собравшегося в комнате неясного народа кто-то прыснул. Наверно, опять над ненавистным псповским кафтаном... Напряг глаза, осмотрелся в тумане — барак, как барак. Подряд тесно наставлены длинные столы и скамьи из свежего теса. Сообразил, шмыгнул на самую заднюю, в уголок.

Обучающиеся сбились от безделья в проходе около какого-то пузатого парня, развязно прилегшего на стол и, должно быть, самого бывалого и пронырливого из всех: так уважительно его слушали. Да и остальные тоже, видно, были подобранные, из ловкачей ловкачи, большинство — городского, рабочего обличья, столь чуждого Тишке, тревожного... «Стрелки, — подумал он, — один я матушка-деревня. Ничего, из уголка-то как-нибудь...».

Там был еще один — исхудалый, не померно долговязый и, несмотря на пожилые года, до того мучительно-вихлястый, что Тишку от него затомило... Если смолвит кто особо интересное что-нибудь, он сейчас же, в восторге, то одного толкнет в плечо, то другого в бок, ему дыхания уже нехватает, ему пятки

жжет, ему хочется, чтобы все до одного дивились, нет, прямо, чтобы ахали все! В тишкиной деревне считали таких людей негодящими.

Разговор шел про самое серьезное, про самое завлекательное: какой оклад дадут будущим шоферам.

Пузатый и об этом знал уже кое-что. Посадят их всех, конечно, на грузовик или на тягач, а при норме работы оклад сто девяносто рублей в месяц.

— Сто-о... девяносто?

Ему глядели в рот.

Вихлястый не давал послушать, кидаясь от одного к другому.

— Ты не беспокойся, уж раз Василий Петрович говорит... Василий Петрович, он, не беспокойся, он везде уже полазил, везде понюхал!

Тишка перестал прятаться, прислушивался, потрясенно мигая. Как же это он сам, дурак, не вспомнил, не подумал ни разу о том, что, кроме похвалы, кроме пришибленной от зависти деревни, будет ему еще жалованье? Сто девяносто... Невероятие обволакивало его, какое-то безбрежие света, в которое блаженно-трудно смотреть... А гробовщик получал всего восемьдесят, он горбился внизу, в закутке своем, там и останется, его уж стало жалко. Там же, внизу, Петром проблеснуло... Ага, подожди, подожди! У мамыши в Засечном уже не двор, крытый соломой по-теплому, а другое нечто распухало, радугами расплывалось.

Тишка лихорадно подсчитывал: если двадцать на месяц проедать...

— Сто девяносто — это только оклад, — пояснял дальше парень, именуемый Василием Петровичем. — Потом за сверхурочную полагаются еще рейсовые, с километра...

— Это во кругу сколько же?

— Во кругу у некоторых, конечно, не у всех, до триста, до четыреста набегает.

Кто-то даже подсвистнул от удивления. Тишка по краешкам скамеек перепархивал все поближе к говорящим. Какой-то, по уши в шарфе, торопливо распутывался, чтобы тоже сказать слово.

— А вот еще лучше тем шоферам, которые с вокзала до строительства ездят. Они в обрат, порожние, наса-

жают баб, а с каждой бабы кладу по трешке. Опять выгода.

Василий Петрович неприятно посмеялся:

— Такая выгода до одного разу. Накроют, дак так за это по затылку нададут...

— Начешут! — веселился вихлястый.

Тишка встревожился: вдруг сам он, когда сделается шофером, избалуется большими деньгами, обжадуется, захочет однажды рвануть еще больше, и... враз рухнет все счастье это нежданное. Напружился, зубы сцепил заранее, чтобы удержаться тогда... Путь-дорога тишкина затуманилась теперь впереди чорт знает чем, — невиданной одеждой, пирогами досыта, славой...

У хозяина в Засечном была дочь Фроська (кованые сундуки-то с приданным), одних годов с Тишкой. Оба спали в кухне — девчонка под теплым потолком на полатах, Тишка внизу, на деревянном ларе. Фроська вставала раньше, чтобы затопить печку, и Тишка часто маялся, будто еще спя, а на самом деле подглядывая через дырку своей худой дерюжинки, как косматая, в задранной спросонок рубаше, слезает она, вполне уже девка, на печную приступку, с приступки на подоконник. Потом Фроська начинала по-шалому будить его, скидывала дерюжину с отбивающегося, того же, горящего тела, норовила ущипнуть как-нибудь поозорнее. Один раз, дерясь, заскочила к нему под самую дерюжину, с головой. У Тишки руки и ноги срамотно окоченели.

По снежному первопутку отец, мать и Фроська поехали в соседнюю Растеряху к престолу и в гости к Чугуновым. У Чугуновых был сын, молодчина, лошади. Тишке велели сбегать еще сена принести под Фроську. Она развалилась — в лисьей поддевке, в полсапожках с калошами, в ковровом платке, напудренная, бедрастая, готовый товар, — и не покосилась даже на Тишку, пока тот подпихивал под нее сено; перед ней уже игрались хахали, гармонисты, лошади. Туда и помчали ее с богом.

А если бы не кухонный Тишка стоял тогда у саней, а тот, каким он будет вот

теперь, месяца через три, когда кончит учење? Протуманилась Фроська, оробевшая и ослепленная, не верящая своим глазам... опять самоутешительные вымыслы поднялись волной, понесли... Однако не надолго. Разговор уже шел о будущей учебе, о том, что в ней самое трудное; от разговора под сердцем начинало посасывать.

Парень в шарфе, недавно осмеянный, оказывается, служил сколько-то сторожем в гараже и понимал кое-что. Он нахмурился, возгордился.

— Самое трудное — это я скажу: карбюратор.

Никто, вероятно, не знал, что это такое, на парня смотрели с опаской и недоверием.

Один Василий Петрович равнодушно согласился:

— Карбюратор — это, конечно, да. Но вот зажигание, пожалуй, посерьезнее будет. Почему?

Парень в шарфе опять сник, угнетенно моргал.

— Потому что надо знать всю теорию электричества.

Тишка почувствовал к Василию Петровичу трусливую неприязнь. Каждое его слово подсекало разгоревшиеся надежды. Оставался только где-то Подпригора: может, и дальше потянет, подсобит деревенскому?

А непоседливый все не унимался.

— Василий-то Петрович, он, знаешь, когда на плотине-то, на бетономешалке работал, бывало — не его дело, а он весь мотор облазит. Про него, брат, в газете заострили, как про самого выдающего. Вася, покажь им газетку-то!

Василий Петрович как бы нехотя слазил рукой за пазуху, выворотил оттуда целый ворох пышно растрепанных бумаг, пакетов, старых газет, — в том и заключалась причина мнимой его пузатости. К развернутому по столу листу тотчас же жадно полезли все, а за ними, позади, — и Тишка. На листе в одном из портретных четырехугольников красовался в лихо заломленном барашковом ушане не кто иной, как сам Василий Петрович: барашковый ушан, несомнен-

но, был его, и щекастость, как у медвежонка, тоже его. Внизу печатное:

Тов. В. ЛУКЬЯНОВ

один из лучших бетонщиков-комсомольцев бригады т. Маймидуллина.

Приятель его ликовал.

— Молоток парень, а? А ты спроси, давно ль он из деревни! Василий Петрович, сколько же прошло, как ты из деревни?

— Шесть месяцев.

«Ну да...». Тишка не хотел верить насчет деревни: Василий Петрович отрывал у него, перехватывал у него последнее... Когда заявился учитель-шофер, мешкотного Тишку в толкотне отфери опять на заднюю скамейку, к стене.

— Мы с вами, друзья, имеем такую установку — учиться на шофера. Дело хорошее. Но для шофера, скажу наперед, главное всего будут две установки: выдержка духа и глазомер.

Учитель терзанул на могучей груди кожаные отвороты пиджака, сбросил прочь кепку: долгих поучений не любил, а сразу же — к делу. Да и курсы были спешные, трехмесячные. Что у нас самое-рассамое основное в машине? Это — мотор, или двигатель. А которое вот тут на столе, — наверное, уже щупали, — это называется цилиндрический блок двигателя.

Тишка алчно тянулся через стол, чтобы ничего не упустить, но передние тоже тянулись, привставали, он видел только шапки или кудлы. И в самом переду видел вертлявый барашковый ушан, — казалось, он-то и застл, как можно зlostнее, то справа, то слева учительский стол, — ненавистный ушан, который все хотел зацапать для себя одного... У Тишки даже зубы скрипнули: дурак, пока все разговаривали, почему не уселся там, спереди? А учитель говорил дальше — про цилиндры, в которых от вспышки горячего получается двигательная работа, — вот он сейчас покажет чертежом на доске.

И учитель вычертил мелом три палочки: две стоячих, одну продольную. Хилые, кривоватые, белесые палочки. «Цилиндры, цилиндры» — старательно повторял Тишка. Все равно, — не только

непонятно, а прямо противоестественно было, чтобы в таких палочках могла прятаться и завывать та чортова сила, которая бурей мчала грузовик с Тишкой, дядей Иваном и еще с двадцатью дюжими мужиками. (Она и тут рядом, в гараже, рычала то-и-дело.) Перед Тишкой возникла телега, понятная, добрая, обильно подмазанная дегтем, и лошадиные ноги, с упрямой наугой волокущие ее. Тишка не хотел, но телега увозила его все дальше, все отраднее увозила куда-то, где цилиндры облегчительно пропадали совсем... Он не поддавался, он до тряски во всем теле напрягал слух, всего себя с отчаянием выжимал навстречу словам о цилиндрах, о поршнях, но слова текли мимо, пустые, не дающиеся, чужбинные, их хватали и понимали только вот эти сидящие впереди, городские, сызмала наострившиеся на всяких железных хитростях, они даже знаяще переспрашивали то-и-дело учителя. У Тишки сладко, предгибельно закатилось под животом.

Во время перерыва тут же пролез к учительскому столу. Лежало там одутлое железное тело, зияющее дырами, а с боков выпустившее отростки и трубы, как бы сучклявое. Оно было выдуманно, уродливо, нарочито запутанно, чтобы заморочить человека... Тишка попробовал спросить у парня в шарфе, тоже, видать, неудачника, где же цилиндры. «А вот» — парень ткнул пальцем в круглую дыру. Тишка сопоставил с этим палочки учителя, клокочущую везучую силу, — все запуталось еще бедовее. Поискал места на передних скамьях, но всюду лежали шапки.

Вечером тягостно ему было явиться на глаза Журкину: как бы не начал спрашивать... Но гробовщик не видел и не слышал ничего... Кипел чайник, на табуретке горел фитилек, и разложена была рабочая снасть, а он, отвернувшись, забыв про все, затискав бороду в кулак, глядел и глядел в огненную печурку.

— Не захворал ли, дядя Иван?

Гробовщик вспугнуто встрепенулся.

— Да нет, так... навихался днем-то. Смотри: струмент сейчас взял, он из рук валится.

И в первый раз ощутил себя Тишка

одного роста с дядей Иваном. Теперь уже не зазорно было спросить:

— Дядя Иван, а что такое цилиндр?

— Какой цилиндр?

— А в машине.

Журкин вяло подумал.

— В машине — не знаю. Вот шапки раньше такие были, господа их носили, назывались цилиндры. Вроде, ех упомнишь, старые старики на деревне носили — гречневики. — Впрочем по лицу тишкиному понял, что говорит неподходящее... — Ну, как у тебя наука, парень?

— Да так... — Тишка пасмурно колупал пальцем печурку.

Журкин больше и не допрашивал.

К ночи опять неурочно зазвонили на слободе — густо и грозно. К ночи малолюднее теперь становился барак: те, что постарше, раньше укладывались спать, утомленные и успокоенные спорой, теперь уже по своей специальности, работой. Тех, кто помоложе, выманивали на позднюю гулянку весна, электрические огоньки, кустами рассыпанные на более оживленных участках, где и клубы, и кино, и девчата... В бараке догасали печи, догасали дремотные — под благовест — разговоры о том, что вот на слободе открылось знамение — засветился церковный купол, — что бабы мутятся. Обуткин, направляясь домой, позвал с собой Журкина — посмотреть чудо.

На ночном косогоре уже стоял народ. Журкин увидел под собой внизу что-то вроде светящейся тучки. Он вгляделся пристальней: да, в густой, как топь, темноте купол сиял голубовато, сонно... Журкину стало страшно, ему хотелось защититься, закрыть лицо руками. Он жил на какой-то зыблущейся земле... И Обуткин рядом подавленно вздохнул.

Журкин, немного погодя, спросил его:

— К секретарю-то что-то не зовут меня. Может быть, зря наболтали?

— Не зря. Они выдерживают, сведения какие-нибудь собирают. Они теперь не упустят.

Говорил он, словно отравой поил... Журкину вспомнился прошедший день, непривычно взвихренная в работе ар-

тель; вспомнилось, как и на себе, чистице ее, ощущал он каждую минуту неотстанные, упрямо направляющие руки. «Да, эти не упустят, умеют свое взять от человека, без скидки!». Люди топали по настилам лесов, словно лезли на приступ, словно за опоздание грозила неслезанная угроза, словно была — война. «Оно и есть война».

— Они, коммунисты-то, везде промезж себя, как войско, сцеплены, — сказал Обуткину.

— Именно... не как мы, простаки.

И Тишка прислушивался к звонам... Чудилось, что звонят не из слободы, а из самого Засечного, из маменькиной бобылей темноты. Это оттуда выпустили его в мир с подогнутыми коленками, с вытянутой просяще шеей. От себя — от такого — хотелось освободиться, как от удушья... То приходило уже начало сна. И на свет выбегали машины — в богатстве, в чудесах...

Спозаранку, не дождавшись ни пробуждения Журкина, ни чаю, бежал неумытый Тишка к гаражу с куском хлеба в кармане. По дороге поднял увесистую железную гайку, припрятал за чем-то.

В классную комнату он словчился попасть одним из первых. Сейчас же облюбовал себе самое лучшее место, вчерашнее место Василия Петровича: на углу передней скамейки, против учителя. Как сел, так больше и не сходил отсюда. «Ну-ка, где сядешь теперь... звонарь?» — тешился он злорадно насчет Василия Петровича.

А Василий Петрович заявился как раз с опозданием, чуть ли не одновременно с учителем. Оставались только темные дальние скамьи... Василий Петрович, однако, не раздумывая, пошел вперед и опустился на краешек, рядом с Тишкой, потеснив его вправо. Тишка сладко задохнулся от ненависти. Было тесно, связано... Он двинул, что было силы, локтем в бок Василию Петровичу, и тот, недоуменный, осел на пол. Рука тишкина забилась в карман, сжимала там железную гайку. «Н-ну, н-ну, попробуй!...». Он почти всхлипывал от злости, от обиды. В это время вошел учитель. Василий Петрович поднялся,

все так же непонимающе озираясь, его тут же позвали с другой передней скамейки, дали место. Тишка раскрылся нарочно пошире, чтобы другой кто не вздумал покуситься на скамейку, отдышавшись.

Кожаный живот учителя все закрыл перед глазами.

— Ну-с, — сказал учитель, — сначала я посмотрю, ребята, как у вас мозги работают насчет учебы. — Он страшно, в упор, глянул на Тишку, не успевшего отвести глаза. — Ну вот ты... как фамилия-то?

— Встань, — подталкивали Тишку.

Приподнялся опасново, покорно.

— Куликов Тихон...

— Ну вот... скажи нам, товарищ Куликов... — зажав подбородок ладонью, учитель немного подумал. — Скажи, чем же это двигается, ходит наша машина?

Зрение тишкино различило на столе ту же чугунную тушу с беспощадными, ехидными дырами, сучками, кишкообразными отростками. Она обволакивала все существо его нелепицей, слепотой, она предрекала позорище... «Дяде Ивану-то куда лучше, легче» — заунывно, по-пропащему, подумалось. И тишина была вражеская, висела железом.

— Чем ходит, колесами, — сказал он.

И показалось — весь барак разодрался от хохота, как тогда, над обновой... Но показалось только: в самом деле посмеялись недружно, иные даже наугад, потому что немногие еще знали, как ответить. Только одно видел Тишка ясно: веселый Василий Петрович, боком легши на стол, тянул руку к учителю, он тянул ее как бы для того, чтобы еще завиднее, горше стало Тишке, он выхвалялся:

— Я знаю, я зна-аю!

★

Начиналось время грязей, которое на этой развороченной земле, на километры оголенной от растительных покровов, походило на штормовое бедствие. Почва на площадках расплывалась в тестяное косматое месиво, взрытое тысячами мучительных следов. Изуверская, нигде не виданная грязь не

только выматывающе вязала ноги, она старалась совсем выдрать их из чело- века. Колеи зияли, как рвы с водой, гру- зовики беспомощно выдыхались в них, стояли по полдня скособоленные, бро- шенные. Над обрывами котлованов ви- лись веселые и страшные тропинки, гли- нисто-скользкие, с раскатом к пропа- сти...

А в прозоре, между невеликими гора- ми, — бездонная ровень степи, ветви- стые, еще со снегом овражки, озерки, трясиновые, лучистые разливы дорог, где ни конного, ни пешего... На сотни ки- лометров обложило стройку величавое безлюдье распутицы.

И слободские базары, которые рас- кидывались, со старины, по средам и воскресеньям, пообезлюдели, победнели. Несколько местных личностей зябло на ветру, руки в рукава, с каким-то безна- дежным барахлом подмышкой. Два-три пустых, сдуру забредших откуда-то воза. Мокроносая скаредная старушонка раз- ложилась на тряпиче синевастую конину. За пустыми, выморочными ларьками сквозят вышки и городки стройки, она, оказывается, совсем близко, — когда это втихомолку подползла? — барачные крыши уже подпирают самый базарный бугор... И Аграфене Ивановне, с коро- бом булочек гуляющей по бугру, видит- ся против воли недалекое, окончательное запустение на сем месте, видится и вер- ится в это, чего не было раньше ни- когда. В страхе перекрестилась она на церковь, но и церковь плыла, среди пол- дня, обреченным, пошатнувшимся ко- раблем. От креста Аграфене Ивановне стало не легче... В таком упадке сил повстречал ее Петр, нарочно для встречи с нею завернувший на базар; на слободу он не показывался уже дней десять.

С Аграфены Ивановны сразу смыло дурные сны. Будно не один Петр, а десяток, целое сонмище сметливых и дея- тельных молодцов надежно окружили ее... Попеняла Петру:

— Что же пропал, советчик, я уж в барак хотела посылать: такая буза у меня дома вышла...

Петр насторожился: из-за кого? Больше всего он боялся некоторых не- чаянностей — именно там, в ее халупе...

Нет, речь шла о Сысое Яковлевиче. Старуху, когда она произнесла его имя, скорежило от негодования, потянуло да- же сплюнуть; такое отвратное, в'едли- вое поведение сбнаружил новый ком- паньон. Сысой Яковлевич, оказывается, три вечера подряд, не зная на гря- зилу, незванно шлепал в слободу, все думывался, все нудил, когда же ба- рыши. А и всего обороту, не считая двух бочек с керосином и кулька воблы, было от него на грош с копейкой! Когда же начали считаться, вынул Сысой Яков- левич очки, а из-за паузы толстую за- писную книжку и стал поименовывать по ней, что давал, аккуратно все до послед- него огрызышка, даже за дырявый ро- гожный кулек из-под воблы проставил семнадцать копеек, а потом, что обиднее всего, начал оттуда же вычитывать по- дробно, с деловым причмокиванием, на какие продукты могла поменять озна- ченный товар Аграфена Ивановна и по какой цене могла сбыть те продукты на базаре. «Да эдаких цен и в Москве не слыхано!» — ахала Аграфена Ивано- на. Но Сысой Яковлевич настоятельно подчеркивал цифирки в книге, сызнова с расстановкой и со сладью перечмокивал цены, барабаня при этом пальчиками, тихий, вникчивый; и глаза его, устрем- ленные поверх очков на Аграфену Ива- новну, подозревали кругом голое жуль- ство... Должно быть, не вышло у ко- оператора из головы сказочное изобилие аграфенина стола, верилось — сразу хапнет и он золотые горы! «Ну, и чер- воточина же ты, кормилец» — не утер- пела Аграфена Ивановна и рассчиталась с ним по совести, как сама понимала. Сысой Яковлевич ушел, подняв нос.

Все-таки теперь беспокоилась, не рас- сердится ли Петр, который столько хлоп- пот положил из-за кооператора. Но тот, к ее удивлению, равнодушно посвистал: — Эх, мамаша, проживем и без него, на наш век дураков хватит! А вот и его как-раз на помине несет.

Действительно, сам Сысой Яковлевич выступал по бугру, на фоне неба и сте- пей, надменный, как памятник. Появле- ние его здесь, несомненно, имело особый, даже злокозненный, смысл. Оба собе- седника украдкой скосили за ним гла-

за. Сысой Яковлевич подошел к пустым ларькам, понюхал; потом вознамерился поспросить о чем-то развалившегося на одном из возов, в соломе, бездельного мужичка, но так и не решился; затем помедлил в раздумьи возле старушонки с кониной. Тут только заметил Сысой Яковлевич знакомцев и сейчас же с достоинством зашагал прочь. Поровнявшись с обоими, снял шапку, не глядя на них, и надел ее, тоже не глядя. Петр в ответ тронул малахайшко.

— Так, так, — и проводил кооператора понимающей, уничтожительной усмешкой.

Ясны были замыслы Сысои Яковлевича. После знакомства его со слободой он бродил, пожираемый завистью и алчностью, не находя себе покоя. Ведь, кооперативные-то сокровища были его, только его, а он, дурак, скольким дал около них руки погреть... Он терзался... Теперь Сысой Яковлевич искал, очевидно, ходов, чтобы дальше загребать самостоятельно, в одиночку.

Аграфену Ивановну грызла ревность.

— Вот хапун, вот жмот! — распалась она. — Кулак! Вот правильно бы советская власть сделала, если бы таких сволочей, кулаков давила, так и надо!

— Вам-то что за грусть, мамаша, — утешал ее Петр. — Работает ваш паутинник и еще будет работать, чего же еще!

Собственно говоря, встреча была нужна Петру лишь для одного: хоть издалеку дыхнуть воздухом и бытом халупы, от которой сам насильно отлучил себя; успокоиться, что ничего не случилось. Мог бы спросить обо всем напрямик, но и это запрещено было тем же беспощадным собственным приказом... Он только осведомился, налажены ли подводы для оборота с деревней к ближайшему после распутицы базару: ожидалось большое весеннее торжище, совпадающее как-раз с предпасхальной неделей, а в чернорабочих бараках и землянках, да и не только там, но и в итээровских гостиничных номерах проживало немало истовых тещ и домохозяек, которые, в меру осторожности, знаменовали пасхальный день если не церковным, то хоть кухонно-пищевым

празднеством... При разговоре об оборотах Аграфена Ивановна проявила какую-то суеверную боязливость, — этого Петр раньше в ней не замечал. Слободу — и ту, слышь, собираются затопить. Базар, верно, с'едется после поста громадный, вроде ярмарки, кто с умом, на год себе может обеспечение промыслить.

У размечтавшейся Аграфены Ивановны — безнадежье в глазах.

Петр досадливо нахмурился. Она все забывала про второго, таинственного Петра, образ которого он настойчиво внедрял в нее, в которого и сам начинал вживаться и верить. Только он мог предугадать судьбы и события... Стоял перед ней, на бугре, плечами выше крыш, выше гор, — пускай в той же рванине своей, в глинистых сапогах, — удалую голову его обтекало облака.

— Мамаша, о чем разговор? Сами-то вы не видите, что кругом? Про деревню я уж не говорю, послушали бы нас в столовых...

— Ты вот такое говоришь, теперь уж все равно, и про Мишу выискал бы.

— Миша что ж? Я вот тут, в Красногорске, а он где-нибудь в Харькове, или на Сельмаше, и ходит он в одинаковой со всеми людьми одежде. Мы, мамаша, уничтожаемся и обратно воскресаем. — Старуха с таким упованием глядела ему в рот, что Петра щекотнуло. Дурашливо-злобные смешинки заиграли у него в глазах. — Скажу уж вам, есть такая сила на земле, называется — второй интернационал.

— Это какой же второй?

— Это другой, маманя. У большевиков — третий, красный, а это называется желтый.

Аграфена Ивановна моргала.

— Господи, то красные были, то зеленые, то белые, а теперь еще желтые народились. Толку-то что от желтых будет?

Петр отвернулся. Спросила:

— Что же, Петруша, спокинул нас, не заходишь?

— Да как-то некогда, мамаша. Знакомства много завелось; некто из снабжения, ответственные работники. Тем

паче у меня дело к ним есть. Туда-сюда сходить, поговорить...

Петр не привирал. Толкаясь часто по делам своего склада в коридорах и отделах управления, давно многих служащих он звал по имени-отчеству. Кое-кого заприметил, — по недомолвкам, по особой оглядке, — он умел угадать здесь припрятанные вожделения, готовность к иным, наряду со службой, питательным предприятиям... После того, как Петр раза два щегольнул здесь новым костюмом, его стали отличать от других. И правда — радушием, улыбками, папироской уже выявлялись будущие приятели. Прежние дружки прозябали в барачных низах. Петр поднимался на новую ступень.

Пояснил вскользь:

— Получается, мамаша, возможность уйти от железа и через них на какой-нибудь другой склад снабжения устроиться. На продуктовый там или на вещевой.

Аграфена Ивановна даже сменилась в лице. Она-то знала, что такое склад снабжения! Волшебная кормушка для немногих, для умных, наглухо запертая от прочей голодной шантрапы. И эту кормушку — притом государственную — целиком вручат в руки Петру, а, значит, и ей, Аграфене Ивановне... На кой тут пес и Сысой Яковлевич! Аграфене Ивановне суеверно захватило дух, ей хотелось и поверить немного, и не верилось, как в Мишу. Все фантастичнее разрастался Петр.

Он исподтишка наблюдал за старухой, довольный. Зять — Шароваристый — теперь окончательно был растерт в порошок. И вместе со старухой мнилось Петру, посылал он сейчас в слободскую халупу еще для кое-кого отравное волнение.

... Попрощавшись, издали еще раз оглянулся на Аграфену Ивановну для проверки. Старуха ковыляла задумчиво и грузно, — да, она добросовестно тащила на плечах незримую посылку.

В памяти его гневно пылали дусины глаза. Нет, он ничуть не раскаивался в своей дерзостной выходке. С каким, должно быть, мстительным, бушующим нетерпением ждала на другой день Дуса

его обычного прихода, чтобы унижить самым лютым, самым сладчайшим способом; унижить, насытиться и потом отвернуться равнодушно, — она, ведь, по-женски пронизала, конечно, что значили обращенные на нее порой его алчные и жалобные взгляды, она сумела бы ударить в самое нежное, беззащитное место и еще два раза повернуть нож в ране. И он не пришел. Он не пришел и на другой день. Он не пришел и на третий... Обманутая ненависть ее кипела в пустоте, перекипала, возможно, в нечто неожиданное, в тоску... Петр теперь не был никто для Дуси, он наполняюще метался в ней, обуревал ее... Житейским, зорко взвешивающим чутьем своим Петр угадывал, что действует безошибочно.

Но, чем дальше, тем труднее становилось, особенно к ночи, пересиливать себя. Он тоже был замурован в пустоте, и пустота эта длилась ежедневно, бесконечно, как зубная боль. Мысль о Дусе вызывала терпкую жажду. Два раза, по ночам, тайком ходил под ее окно. Оно светилось, его то-и-дело пересекала тень. Там жили себе по-всегдашнему, ни сколько не нуждаясь в Петре, который жалко висел сейчас на заборе, суча ногами... А может быть, — небылица все то, что он в одиночку надумал о Дусе? Проверки, ведь, не было никакой.

И вот, после встречи с Аграфеной Ивановной, что-то дошло в нем до крайности. Пора было выходить на свет, действовать. Иначе могло постепенно затянуть его забвеньем. Назавтра подвертывался удобный случай: Аграфена Ивановна, свирепая церковница, непременно отбудет вечером на собрание.

Днем еще раз взвесил. Да, срок пришел.

По слободской слякоти шагал на цыпочках — в новых кавалерийских сапогах, в новых калошах. Ни вечер стоял, ни ночь... Звезды над головой Петра мешались с багровым воспалением построечных огней. И в мыслях путалось настоящее с несбывшимся... Все равно, даже если неудача, не было уже возврата Петру к прежнему мизерному, хотя бы и узаконенному, прозябанию (ему в рабочкоме пообещали профбилет), к

спокойному куску, за которым он потянулся сюда вместе с Журкиным. Слишком широко в себе размахнулся, разблестался он! На случай всякой неожиданности с Дусей голова его заранее искала противоядия... Петр начинал все-таки задумываться о той второй, подпольной силе, намеками на которую зачаровывал он Аграфену Ивановну, он уже чувствовал себя в меру осмелевшим, выросшим для этой силы. И разве поведение и самое существование его не было уже полуподпольным? Ему бы хотелось прощупать суть, поговорить, да не знал, с кем. Были кое-кто, которых подозревал он в сопричастии, — например, Санечка; но поучаться у своего подручного Петру не позволяло самолюбие, да и числился тот где-нибудь внизу, в последнем звене...

Он достиг, наконец, знакомого палисадника. Два окна, выходящие из горницы, были темны; светилось сквозь ставни только четвертое, у Дуси. Да, она была одна... Петр что-то долго отряхал ладонью грудь, расправлял плечи. Прошел через калитку в сенцы.

Могло все кончиться в одну минуту. «Кто там?» — спросит голос из-за двери. «Это я...». — «Вам мамашу? Ее нет дома». И не нужно было никаких самоистязующих выдумок, скитаний под окнами... В бараке замигает лампа-молния, задымит печка, это логово — по тебе!

Он постучал. Каблучки по ту сторону пропорхнули легко, песенкой.

— Кто там?

— Это я, Петр...

Секунды молчания шли, это было не так-то легко, как казалось издали. Петр рукой перехватил себе горло.

За дверью что-то делали, возможно — отодвигали засов. Петр впервые почувствовал над собою ночь как темноту огромного материнского мира. Ночь была блаженна сама по себе... Вот он и вошел в горницу.

— Мне бы мамашу надо, по делам...

— Ее нет дома.

Дуся не уходила; выжидающая, горячечно-настороженная, стояла в тени у стены. Возможно, теперь уже она, она сама боялась, чтоб Петр не ушел... В

горницу клином падал свет из приотворенной двери боковушки. Что-то лампадное, предпраздничное... На Дусе была светлая кофточка, нагретая ее теплом, девичья распашонка. Лицо смутнело в полутьме, она какая-то не всегдашняя, стояла, смолкнувшая, робкая, посерьезневшая. Петр выдвинулся на свет, — так, чтобы распашонка кенгурового воротника роскошно заиграла (куда тут вербовщику!), чтобы в профиль обозначилась мужественно-резкая скула; телу он придал положение полета, опершись руками о стол. Он сказал:

— Вы на меня в обиде, Евдокия Афанасьевна, насчет одного знакомого. Только напрасно: этого босяка все равно не нынче-завтра бы поймали, я специально от вашей мамашки неприятность отводил.

— Для мамашки, видать! Для своей выгоды языком вперед забегаете... и нашим, и вашим.

Петр опечаленно усмехнулся.

— Зачем мне выгода? Когда я каждый час могу ждать своей катастрофы... Вот вы хоть, по своей обиде, можете сходить и заявить: скрывается, мол, на стройке под таким-то именем беглый буржуй, Соустин. Правда, Евдокия Афанасьевна, если очень уж у вас кипит на меня, записочку без своей фамилии напишите, куда надо, и хватит.

— Вы меня не учите, — сказала Дуся.

— А выгода мне какая? Я — нездешний человек. То-есть ни здесь, ни где родины у меня больше нет. Что же, мне вон и профсоюзный билет дают. На склад снабжения назначают, больше инженера оклад. Нехитро теперь и вроде инженера заделаться, на курсы повышения пойти. Но у меня есть, Дуся, своя цель жизни, и, верно, ради нее, когда я сюда ехал, я по вокзалам с тарелок долизывал...

Дуся вздохнула.

— Вы контр? — по-детски, почти робко спросила она.

— Жить не дают. — Петр все больше и больше подпускал в свой голос рыдающей страстности. — Что же, вы думаете, это мурье (он презрительно потрянул свои кенгуровые роскоши)

меня удовлетворяет? Нет, мне не с кем здесь разделить мой духовный мир! Я, Дуся, переживания имел, я молчу... может быть, и вот тут, на плечах, звездочки когда-то были (он прилгнул, неизвестно, для чего). Я в Китае бывал, до самого Харбина ездил. Реки желтые, горы, цветы, каким глаз не верит! Все тропки там знаю, и, если нужно, дорогу туда опять найду.

— Это вы про заграницу, — сказала Дуся, подавленная чудесами, колеблющаяся: верить ли... — Но ведь там, в Китае, дико, одни желтые живут.

— А за Китаем-то море? Только в кармане бы что было: там — на пароход и, пожалуйста, — в любые страны. Где и белых, и русских много. Где, может быть, и Мишу повстречаю...

Он выпрямился, и вправду — весь уже нездешний, весь бесстрашно устремленный в будущие скитанья. Ей сказал добро:

— Теперь уж и подавно совсем я в ваших руках!

Стояла бездыханная тишина, горница все быстрее, все полоумнее кружилась в лампадном — как давно-давно в Мшанске — канунном полусвете.

— Почему же вы не заходили? — едва слышно вымолвила Дуся.

— Почему не заходил? — вырвался у Петра сумасшедший шопот. — Почему не заходил? Да я и захожу-то сюда, может быть, только для того, чтобы вами через стенку подышать! — Пронзительная, восторженная дрожь якобы прервала его голос, и женщина, прижав руки к белой кофточке, к груди, бесильно отшатнулась.

— Ну, я пошел, — Петр рывком сгреб шапку.

Но на улице, под прохладными, прекрасными звездами опять сорвал ее с себя, рукой схватился за лоб. «Эх, эх... напиться бы!». Да он и без того, словно хмельной, колесил в новых сапогах по слободской грязи, не разбирая, как попало.

★

Поля разговорилась в кооперативной очереди с женщиной, обе по-дружески,

хорошо разговорились, и Поля порадовалась про себя: не нашла ли она, наконец, себе товарку в барачном этом помещении? В тот раз выдавали седлдку и конфетки «барбарис». Вот бы зазвать к себе новую знакомку, закутить с нею соленьким, потом помориться немного и на жажду — чаю горячего с конфетками. Поля была чуть-чуть сластеной и изредка в одиночку, по-холостому устраивала себе такие невинные празднички.

Пока, ведь, с одной собой взаперти жила. Пока...

Новая знакомка оказалась тоже кастеляншей, только с более солидного, раскинутого в самом центре, участка, — с доменного. На ней, на этой пожилой, чистоплотной женщине, внушал доверие дорогой полушалок, надетый поверх красной, повязанной повойником косынки. Была она в поддевке, в низеньких сапожках. Личико худенькое, но при этом неожиданный властноватый басок. Она говорила по-хозяйски: «у меня в бараке», «в моем бараке», так внушительно и гневно налегая на слово «моем», как Поля не говорила никогда. Эта женщина приехала на строительство по осени, вместе с мужем, бывалым монтажником; он по осени, через месяц, и умер. Женщина переступила через горькую свою судьбу, в шагах ее была медь, и женщина не жаловалась, калякала деловито. Поля с первых минут почувствовала себя меньшей, послушной около товарки.

Женщина, не раздумывая, сразу же согласилась пойти к Поле. «А почему не сходить, не посмотреть; может быть, от вас какой пример себе выведу!». И Поля впервые забеспокоилась потихоньку. Очень уж хорошо, роскошно было на дворе! Во-всю раскинулось солнечное хозяйство, до неузнаваемости накаливая светом пустоши, дороги, постройки... Из-за гор новорожденная поднималась синева, такая чистая, такая огненно-ясная, что ломало глаза. Самый ветер, казалось, блистал... После такого света внутренность опекаемого Полей барака предстала в столь мрачном, пещерном убожестве, что даже защемило у нее.

Хотела было схитрить, протолкнуть знакомку прямо к себе в каморку, в бабий, хоть и бедный, уют, но та остановилась на пороге и как-то внюхивалась жадно — назло Поле — в барачную глубину. Не спрашиваясь, зорко простривала между койками.

Поля подневольно плелась сзади.

Воздух в бараке никогда не был столь удушливо-прокислым, как сегодня. Горчило в носу от вчерашнего, банно-застоялого запаха гари... Незванный судья в полушалке молча казнил своими сжатыми губами. «Дура, дура, зачем сама себе напасть навязала?». Солнце, влетающее сквозь двелые, конопатые от копоти окошки, еще более оголяло все это позорище. Вагата уродливых, нахальных печек, где на плитках останки вчерашней жратвы, опрокинутый набок чугунок с чем-то невыплеснутым, какие-то непотребно распятые тряпицы. Изпод коек — вихры запиханного туда охапкой белья. Кажется, что и одеяла, и ситцевые, просаленные затылками наволочки того же сорного, коростяного цвета, ляжешь — и посыплются тебе за шиворот щекотные крошки, песок и даже мелкая щепка. Бугорчатую, железной крепости кору на половицах, о которую запинались сапоги, пришлось бы отмачивать месяц, недели отдирая скребелом. Это с Поли сейчас сдирали рубаху при всех, открывали срам... Конечно, она могла бы в оправданье сказать и про Степу-коменданта, и про единственный куб на участке, и про семь ведер воды, которые негде нагреть, поплакаться насчет уборщиц и прочего, и прочего... Но жестко смолчала. Солнечный крест окошка, дрожа, огневел на стене... Бывало, в девичьи времена на стене путевой будки отражались, вместе с окошком, еще узорчики дешевой, до сверканья вымытой, занавески. Шли товарные, занавеску отпахивала некая снисходительная заколдованная курносенькая царевна, с шитьем на коленях, шли товарные в мартовском снегу, и со всех тормозных площадок наперебой скалились кондуктора-женихи!

И у Поли пропала вдруг всякая охота звать к себе на угощение новую товарку. Особенно после того, как та,

окончив дотошный осмотр, вышла, не промолвив ни слова, с теми же поджатыми губами, только спросила: давно ли Поля служит, из каких мест приехала? «Сама-то хороша... про мужа давеча сказала и глаз не промочила!..». В остреньком облике знакомки почудилось ей противное монашеское ехидство. И когда та пригласила Полю прогуляться теперь к ней, на доменный участок, Поля, несмотря на дела, даже осветилась вся от радостной, мстительной готовности. Поля хотела в свою очередь сразить.

... Бараки, сшитые из стандартных щитов, новенькие, островерхие, играли в глазах переливчатой сосновой желтизной. Дали бы Поле такую обивку! Свежевыструганные, тоже переливчатые кадки у стен были полны голубого неба. Некая нарядность пропестрила в окошках. Поля взглянула в полглаза: за каждым, за каждым стеклом розовели бумажные занавески, вырезанные просто при помощи ножниц на разный узор; какое-то, хоть и не хитрое, но любовное тщание чувствовалось в этих занавесочках, и это было первое, что задело, оскорбило Полю. «Подумаешь, премудрость какая!». Знакомка радушно (и торжествующе, наверно) провела ее через просторные сени.

И здесь, за порогом, в сосново-чистом коридорчике, увидела Поля то, что никак не могло, не смело тут быть. Однако оно было. Поля стояла ограбленная. Робкая и пышная дума ее — серебряный кипятильник «титан» тихо и вполне обыкновенно поклокачивал перед ней; Поля ощущала на оболочке глаз ласковое, светящееся его тепло. Сияние его казалось столь всепроницающе, что и дальше, вместо барака, представлялись какие-то серебряно-чистые, невозмутимые покои... Знакомка, не замечая своего счастья, по-привычному погрела ладошки об это сияние, сказала:

— Вот мы сейчас и чайку: под селедочку!

И простецки, по-бабьи улыбочиво заиграли морщинки, горем когда-то насборменные. Но Поля, не ответив, ожесточенно направилась прямо в барак: всеми движениями она повторяла свою

контролершу. Так же поджала губы, сузила глаза. Но губы были лживы, они расклеивались, распадались сами собой. Глаза завистливо косели... И здесь по всему помещению гуляло солнце, но тут оно было дружеское, было заодно с хозяйкой. Поля не хотела видеть, но видела эти, хоть и нехитрые, но чистенькие половички, расстеленные в проходе по вымытому полу, эти аккуратные шкафчики между койками, и опять эти занавесочки, которые говорили о какой-то страшной неприкосновенности всего здешнего порядка и чистоты, и эту необычайную, необычайно-отрадную, так что вздохнуть хотелось, пустоту под койками, потому что ни одного глиняного грязного чудища не выпирало нигде. И Поля вздохнула, она уже больше не насильничала над собой.

По верху окошка, над соседним баракком остановилось в молодой синеве жгучее, как солнце, облачко. Весеннее, разнеживающее... Да, Поля вздохнула: «Хорошо тут у вас, не уходила бы!». От чая отказалась: как-нибудь в другой раз... Вихрем тащило ее назад — скорее, скорее в свой барак. Вихрь зачинался в ней самой, она не могла отдать себе отчета, что это: то ли желание перекрутить, что ни попадя, то ли кинуться сейчас, руки себе поломать о какую-то необузданную, бешено-зловонную работу? Когда Подопригора вечером позвал ее, заодно с другими, на поселковое собрание — насчет церкви, она не сказала ничего, только яростно перекусила нитку, бросая шитье.

Треволнения около слободской церкви все сгущались. Купол продолжал таинственно светиться, и отсветы эти доползали до баракков шорохами слухов, загробными устранием. Великопостно плакались колокольные звоны. Над солнцем, над артелями, выходящими на работу, пролетали они согбенными призраками уныния и могилы. А на кладбище за церковью оказались однажды выкорчеванными и изуродованными все памятники с красноармейскими звездами.

— Строительство идет на штурм, а вы обратное опережают нас своим штурмом, — сказал Подопригора.

И он пообещал своим ребятам тоже показать кое-какое знаменье.

На поселковое собрание поохотились идти с ним платничий бригадир Вася Демин, Золотистый, башкир Муртазин, семь-восемь человек из молодняка да из соседнего барака человек десять. И Поля пошла. Едва ли заметила она, как выпрямился на своей койке, застыл вслед ей вербовщик. Насчет того, брать ли башкира, Подопригора сначала колебался. Но оказалось, что Муртазин ни в какого Аллаха не верит, следовательно, можно было почесть его за равноправного со всеми безбожниками. Итак, опять сбилась около Подопригоры вся неотстанная компания. Уже когда уходили, рванулся вослед и Тишка — какие-то последние упования толкали его к Подопригоре.

В просторной небогатой горнице керосиновая лампа горела на столе, отчего большинство рассеявшихся на скамейках безлико пропадали в тени (иным, может быть, того и хотелось). Больше всего было баб. Некоторые из них встретили пришедших острой, отчужденной оглядкой, особенно Полю, державшуюся настойчиво-независимо, чуть ли не заносчиво. Тишка примостился позади, рядом с мордастой, нахохленной старухой, которая тотчас резко подобрала шаль и отодвинулась. Он сразу узнал ее, эту лютую старуху. Тишка понимал, конечно, что он появился здесь ей назло, и ему было приятно (особенно приятно потому, что старухой этой дорожил Петр, — тут кое-что Тишка уже прозревал); и было еще приятнее, если бы старуха тоже узнала его. Но Аграфена Ивановна сидела прямо, дико впорившись перед собой, она и оглядываться не хотела на подобное дерьмо. Ну что же, Тишка пока затаился.

Со скамей подымались местные слободские люди, говорили. В сущности, едва ли и стоило говорить. Время ломилось на слободу железною грудью, разве этого не видно было даже из узких слободских окошечек? Над малым этим собранием витала та же воля, которая воздвигала домны, беспощадно переграждала реки, творила неузнаваемого человека. В поселковых избах мно-

жились новые постояльцы — со строительства; поселковая молодежь, в свою очередь, уключивалась в бараки; кончалось притаенное, запечное житье. И сама слобода могла кончиться гораздо раньше, чем погребла бы ее под собой водяная масса второго водохранилища. Не в церкви, а именно в этом было главное для Аграфены Ивановны и подобных ей. И говорить им едва ли стоило, но все-таки хватались за какую-то малость, говорили. Вышел бородавчатый, нестерпимо-добрый, кроткий лицом старичок.

— Мы, рабы божии, против строительства вашего ничего не говорим. Вы стройте себе, стройте, если вам нужно. Но и нас, рабы божьи, не трогайте, зачем нас трогать? Вот эдак, по любви, и постановим.

Вышел лобастый, осанисто-бородатый. Этот оказался воинственное.

— Я, являясь также церковным старостой, теперь служащий: как церковный сторож, получаю с даяния верующих сорок рублей в месяц. Прошу верующих — дать мне характеристику и направить меня в город Свердловск.

Оратора поддержали одобрительным говором. Там и сям прсрывались смелюющие, задористые голоса. Аграфена Ивановна — и та что-то набарматывала. Тишка удивился, увидев присевшего по другую сторону ее нежданного Обуткина.

И Обуткин, и старуха возбужденно зашептались, когда выступил, наконец, Подопригора. Глаз у Аграфены Ивановны стал злой и внимательный. Тишка радостно заерзал, он чувствовал, что дождался, что для старухи сейчас начинается самое ненавистное. А заодно с нею, значит, и для Петра... А у Подопригоры лицо было лукаво-веселое, и Тишка тоже веселел. Речь шла о чуде. Видимо, Подопригора приготовил кое-что особенное...

— Читали вы в газетах, будто изобрели где-то черный луч, который останавливает всякую жизнь? Вот этот луч и светит отсюда на наше строительство...

— Сам ты черный! — крикнули из безопасных мест, из потемок.

— И черный тебя подослал! — не удержалась, рывнула и Аграфена Ивановна и тотчас же шалью закутала рот.

Подопригора становился все веселее.

— Но этот черный луч впоследствии оказался небылицей. Так и здесь. Это же купол светится, а наш же рабочий луч играет, я вам весь фокус могу сейчас раз'яснить и даже отрегулировать.

Обуткин яростно нашепывал что-то Аграфене Ивановне, припавшей к нему ухом. Нашепывал и подталкивал, наущал... Аграфена Ивановна опять высвободила рот.

— А что про чудо в писании сказано? Чудо — это не фокус, а знак господень под всяким видом... значит, бог нам указывает... Как это? — сбившись, обратилась она вслух к Обуткину.

Тот втянул голову в плечи.

— Ну, продолжай, продолжай, гражданинка! — подбадривал ее Подопригора.

Аграфена Ивановна поугрюмела.

— Чего мне продолжать... вот отец дьякон — он скажет.

— Какой отец дьякон?

Подопригора, любопытствуя, подшагнул поближе: Кто-то, досадуя, поправил старуху.

— Да он не сейчас, он бывший...

Обуткина всем телом коряжило в сторону. Подопригора узнал его, усмехнулся:

— А-а...

Вернулся назад к столу.

— Может, отец дьякон в курсе, расскажет нам?

Недобрая судорога пробежала по его лицу. Кругом тягостно примолкли.

— Так вот, граждане, мы с ребятами пришли сюда, приглашаем вас всех нынче на косогор, с которого обзревается чудо. Вы увидите, что нынешнюю ночью чуда нет. Почему? А вот большевики так сегодня распорядились! А теперь, хотите, сейчас позвоним по телефону на строительство, и это чудо нам опять засветит! Понятно?

Чудо раз'яснялось очень просто: с расширением электростанции поставили несколько фонарей большей световой силы между слободой и строительной площадкой. От двух фонарей лучи па-

дали — поверху — прямо на купол, в щель между бугром и строениями, — казалось, падали ниоткуда, потому что самых фонарей за бугром не было видно. На сегодня их нарочно погасили, и чудо, действительно, пропало.

В разных местах Подопригоре захлопали в ладоши. Тишка, ликуя, оглянулась на Аграфену Ивановну, но та сидела, закаменев, будто слушала только Обуткина, который горько ей на что-то жалобился. Тишка захлопал и сам, нарочно захлопал у самого ее уха и часто-часто... Мало того, привскочил и крикнул: «Правильно, правиль-на-а!». Аграфену Ивановну только чуть-чуть повело. Тишка подосадовал, что зря ладони обжег.

Потом голосовали. Опять кто-то почувшийся провopil из потемок (Тишке показалось, что там вторая, точь-в-точь такая же Аграфена Ивановна). Аграфена Ивановна вышла из оцепенения и зорко покидывала глазами на поднимающиеся руки. Тишка тоже тянул свою: это значило, что и Тишка желает, чтобы вместо церкви быть клубу. И не только назло старухе тянул, но еще и потому, что душа, что юность его отворачивалась от гробовых звонов, от материной темноты.

Сила ненависти поневоле повернула к нему старуху. Тишка углом глаза увидел ведьмастое, перекошенное ее лицо. Тогда он нарочно еще встал, перегнулся, насколько хватало силы, через передних и тянул-тянул, прямо рвал из себя руку. Скамейка под ним сотряслась, послышалось удушенное рычание. Тогда Тишка внезапно обернулся к ахнувшей старухе, глаза в глаза, и оскалился по-дьявольски.

Возвращались опять вместе, дружно, говорили толкаясь около Подопригоры. Вместе зашли на бугор. Слободу завалила мглистая низовая тьма, в которой кое-где слезились огоньки. Светящееся видение отсутствовало... «Значит, богито жулили, нашим электричеством работали?». — «А вот теперь через них плюхает кто-нибудь в темень по грязи, да еще в новых сапогах!». Все захохотали. И никому не хотелось обрывать эту ночь, итти спать в барак. Друг в

друге ощутили какое-то тепло, грелись в нем. Когда уходили с собрания, около лобастого в углу похоронно сбились сумрачные, напоследок косящиеся. Может быть, мысль, воспоминание о них заставляли и этих, идущих с Подопригорой, тесниться поближе друг к другу? И Подопригора ощущал то же самое... Три месяца назад барак встретил его напором недружелюбия, жадности, тоски. Да, он слышал и понимал ее, барачную тоску-чужбину. Но вот теперь, хотя бы для этих немногих, выделившихся, вместе с человеком начинала теплеть и чужая земля. Тут — особым сближением этих людей — творился тот же новый, не засиявший еще город... И все, не сговариваясь, проводили Подопригору за перевал.

Один Тишка только отбивался, ковылял отдельно. Подопригора нашел его, зашагал рядом.

— Ну, как твои цилиндры, преосвященный?

— Да никак... учусь, — Тишка брел, потупясь.

— Я у одного инженера книжку видал про автомобиль, разве попросить для тебя?

— Угу... — Их разговор слушали другие, которые шутя уверовали, что Тишка их «покатает», — и Тишка опять посовестился открыть всю безутешную, постылую свою тяготу. Так с нею и остался. Если бы в сторонке где-нибудь с ним поговорил Подопригора да подольше... И в первый раз шевельнулось у Тишки негодование на маманьку, — за себя, за такого, — и негодование, и жалость к ней... Попроситься у Подопригоры на другую работу — это был позор. «Уеду в деревню, на-те!» — горько и злобно думал он.

А за перевалом открывалось ночное невероятие стройки. Сначала — редкие огненные шары по изволокам гор. И в горах — молодая, зовущая темнота... Люди возбужденно заговорили, чаще смеялись. Башкир Муртазин, стеснительно оглядываясь, — не слушает ли кто, — попросил Подопригору: «Товарищ, как бы мне женку сюда выписать?.. голова без нее болит...». Подопригора хотел пошутить: «А у меня почему же

не болит?». Но шутка не вышла, сказал: «Ладно, поговорю в рабочке». И мысли увели его на миг от Тишки, от остальных, увели в то недалекое, иногда тягостно сияющее ему место на Урале, где жительствоваала чета Забелло. Он тронул за локоть молчаливую, но не отстающую от всех Полю. «А у меня пацаны-то аховые... прихожу вчера, они из ружейных гильз пороху насыпали на стол, собираются поджигать: иллюминацию вздумали сделать. Вот ведь беда!». Собственно, он должен был сказать так: «Меня, Поля, в эту ночь и всегда тянет быть с тобой, а, ведь, скажут: «Коммунист—и с кастанейшей своего участка путается». Нехорошо. А я, ведь, человек!». Тронул женщину за локоть, но она отстранилась. Спросил: «Почему все молчишь?». — «Да молчанка напала» — сухо ответила Поля. И Тишка, идя рядом, слышал разговор с Муртазиным, видел игру с Полей. Люди эти жили на своей земле... И постепенно поднялись невидимые, лишь по краям сияюще-очерченные горы, и темнота внизу раздвинулась в мерцающий, текущий огнями мир. Огни в долине сквозили светом утра. В одной точке молниеносно вспыхивало то-и-дело лучистое, ослепительно-синее: это был сон во сне...

Подопригоре дальше одному спускаться в тот мир. Каменщик замешкался около него.

— Ты, золотистый, попомни мое слово-то... насчет завода. Хочу попытаться вашей рабочей жизни.

— Устроим,—сказал Подопригора.— Мы вот и Полю к машине поставим, сделаем из нее ударницу высшей квалификации. Так, что ль?

Он все пытался ее расшевелить, согнать с нее непонятную насуспенность. Но Поля молчала. А хороша она была в ту ночь на краю косогора, над огнями: лицо голубое, как в кино, незнакомые, жаркие глаза... Подопригора помедлил около нее, прощаясь.

Тишка долго не спал. Огни мерцали, текли сквозь него. Подопригора продолжал оставаться с ним — сильный, добрый, опекающий. Он, конечно, будет сокрушаться, когда Тишка уедет в де-

ревню, и, если узнает заранее, никогда не допустит этого. Но Тишка видел себя бессильным поступить иначе, и ему, пожалуй, доставляло наслаждение наперекор сокрушающемуся Подопригоре, наперекор себе повторять: «А вот уеду, а вот уеду!..». Он и сам не понимал, что за чувства раздирали его.

★

В рабочке Коксохима давно не случилось такой бури. Женщина не вошла, а разъяренно ворвалась в дощатую, с утра обложенную очередью, комнатушку, где засели, кроме секретаря, профорг Подопригора и один московский товарищ из газеты. Плевать было женщине, что сзади бушевала, материлась смятая очередь, что трое сидящих за столом людей встретили ее странными глазами... Прямо к ответственному столу покатило гневно-запыхавшееся, раскоченное существо, до тревожности знакомое Подопригоре. Только-что доложил он, с подробностями, о вчерашнем собрании, а секретарь добавил к этому, что на коксовых печах выяснилась целая бригада каменщиков, сплошь из баптистов, причем сам бригадир выступает на молениях в качестве главного жреца. Трудность заключалась в том, что каменщики эти, редкой квалификации, были односельчанами, связаны родством, — как их тут без свары растасовать по отдельным бригадам?.. Секретарь, вырванный из раздумья, вопросительно уставился на Полю.

— Нет уж, нет уж, — вознегодовала она, — раз я пришла, я не уйду! Я не за себя пришла, а за шестьдесят человек... Вас поставили за рабочими смотреть, чтобы они не как скоты жили, а вы как за этим смотрите?

И зачестила, и зачестила — нарочно без передышки, чтобы никто не поспел и слова вставить, чтобы вот так эти трое и сидели, ошарашенные, пока она не высрамит их за правду до конца. Подопригора и впрямь был ошарашен, и стыд за публично ополумевшую Полю, — эту смирную Полю-то! — противный стыд сцепил его и не отпускал... А Поля, распаяясь, когтила и когтила.

Конечно, в истошном рассказе ее барачная обстановка представлялась в десятков раз отвратнее и мрачнее, чем была на самом деле. Комендант-нюня только и знает, что беспросыпно трывнькает на гитаре. Над матрацами — не прокашлять, — метелью ходит гнилая труха. А печки... — Тут Поля чуть не задохнулась от них, от лютых... печки тоже были для позорища выложены на секретарский стол, как они есть, до потолка опеленутые вонючим паром, к вечеру нашурованные осатанело, докрасна, так что даже бревна стенные раскаляются, — тут не только барак, а весь участок полыхнет в момент, как порох!

— Вы вон лозунги про заразу развешали, чтоб ее бояться. А вот погодите, как с теплом-то везде раскиснет, у вас в каждом бараке зараза пойдет. Какие же от этого лозунги получаются?

Секретарь, прихмурившись, обернулся к Подопригоре.

— Это на твоём участке?

— На моем. Верно, грязновато там...

— Грязно-ва-а-то! — фыркнула бессердечная Поля.

— Так короче... чего же ты требуешь? — спросил секретарь. Кажется, разговор этот в присутствии третьего, незнакомого Поле человека несколько угнетал его... Кожа у секретаря под глазами усталая, в белых крапинках. Черная, посевшая от долгой носки рубашка... За хлипкой дверью по-вокзальному, внабой теснились люди, каждый со своим интересом, — сколько сот их пройдет здесь за день! Поля готова была пожалеть секретаря. «Ну, уж нет, нет, не отступлюсь!». И этот третий, незнакомый, так ясно, ободряюще глядел на нее.

И Поля начала перечислять, что ей надо: заносясь, она уже подымала голос за весь участок — упомянула и про прачечную, и про баню, и про медпункт, и про ЗРК... А в бараках сейчас же начать всеобщую скоблежку и чистку, сейчас же для того дать кипятильники, «титаны» эти, а печки все к чертовой матери.

— Насчет «титанов» трудновато, друг, лучше мы вам еще один куб обхлопочем...

Полю даже затрясло от негодования, она не дала и договорить. Слыхали они про кубы, сколько уже времени сулят их поставить! Значит, подожди еще полгода, подыхай в грязи! Для кого же тогда кипятильники на складах, для особенных господ? (Поля в пылу своем чувствовала, что вот-вот подастся секретарь, уже в руках у себя видела заветную, зеркально-сияющую добычу, только поднажать немного, и Поля, хитрая, во-всю поднажимала!) Надо, чтобы и в мужичьих бараках что-нибудь, как солнце, светило. Чтобы насквозь в бараке было, как на небе, вот как должна делать советская власть. Чтобы мужик чисто жить приучался. И еще, и еще всякое такое: вчерашние, обзавидованные знакомкины горницы распахивала теперь Поля над секретарским столом, сказочно населяла ими свой шестой участок... А если нет, она и выше пойдет, посмотрим, что на это партия скажет, когда женщину не хотят и слушать, и только разговор один, что дайте ходу женщине!..

— Погоди, погоди, — приостановил этот ливень секретарь. Досадливые и вместе одобрительные смешинки играли у него в зрачках. Перемолвившись взглядом с остальными двумя, — вот баба! — потянулся к телефонной трубке.

Подопригора, в ошеломлении, молчал: обдумывал про себя новую эту, как гром, внезапную Полю. А она, казалось, и забыла о нем, сидела сердито-победоносная, выпрямленная, готовая опять, если нужно, ринуться в бой. Из отдела снабжения по телефону что-то возражали, наверное, жадничали, хотя секретарь веско и даже зловеще разъяснял им, что дело с распределением пора повернуть по-другому, обратит внимание на наиболее отсталые участки, а такие имеются, под конец самлюбиво потемнел, сказал, что заедет поговорить лично. Поле написал бумажку.

— Завтра иди в снабжение, там добивайся.

— А печки когда к чертовой матери?

— Заедем к тебе, посмотрим.

— Но если что, я опять приду, — пригрозила Поля и, по-царски, смаху запахнув шаль, покатилась.

Тот, незнакомый, встал, перехватил ее около порога.

— Ну-ка, товарищ, дай мне на память твою фамилию и где тебя найти.

— Полю спросишь... на шестом участке.

Человек записывал. Ему нужно было для газеты. Читала она такую — «Производственную газету»? Поля, положив палец на губы, покачала головой. Ну, вот. И завтра она должна была — удастся или не удастся ее дело, все равно — позвонить об этом по телефону в гостиницу, в редакцию. И вызвать товарища Зыбина. Газета тоже возьмется за это безобразие. И, если начнется опять волокита, то...

Поля поняла, зло, готовно вспыхнула.

— Беспременно позвоню, ей-богу!

И ей понравился высокий, молодой лоб незнакомца. Едва удержалась, чтобы не подняться на цыпочки и не откинуть с этого хорошего лба русую прядку, которая вот-вот упадет в глаза...

Секретарь, постукивая карандашиком, спросил Подопригору:

— Что же ты про бараки молчал?

— Я не молчал, я сколько раз сигнализировал.

— Плохо сигнализировал.

Подопригора, словно окаменев, загляделся на окошко. Правда, он раньше Полю мог раз'яриться, поднять тревогу на этом участке. Но Подопригора и сам обитал кое-как в тесной клетушке, да еще при нем два безответных маленьких тельца, однако, не жаловался. Победа мыслилась ему непременно за суровыми хребтами лишений, в отказе от себя, в воинственном обеднении жизни. Почему же и другие не должны поступаться вровень с ним?

— В гражданскую не это видали, — сказал он. — В данный момент главный бросок у нас идет на строительство...

Зыбин, строчивший что-то в блокноте, поднял голову.

— Мы, дружище, фундамент социализма строим не только на коксовых печах... Должен знать. И в жизни. И в жизни тоже нужно... чтобы в ней сейчас с одного края все больше светлело.

С гражданской ты вредную путаницу не разводи!

Холодные были глаза.

— Ты, может быть, про трудности еще скажешь? Они есть. Но меряются трудности человеком, а не метром.

Подопригора насулился.

— Что ж, может, я и не справлюсь... Я вон просился на стройку, хоть на бетон, меня не пустили. Теперь на коксовых кладка началась, тоже работы много...

— Ерунду не говори, — сухо прервал его секретарь. — Тебе дали большое дело, и ты должен людей довести... Партиец, донбассовец! У тебя вон какие люди! Пыл! Тебя поучат. Как же ты эту каштанюшку просмотрел?

— Она у меня в активе, — пробормотал Подопригора.

— Вроде невязка у тебя с активом получается. Да. Интересно, как же с теми обстоит, которые не в активе-то?

Подопригора замешкался. Пришел ему на память деловой арматурщик, который сам помог выявить жулика-вербовщика... Зато вчера среди рабочих обнаружился дьякон, а он, Подопригора, проморгал, прошляпил... Или опять тот, угрюмый и подозрительный бородач, — кто он? Нехватка людей не оправданье...

«Да, здорово меня пощипали, — горько подтрунивал он над собой, выходя на волю. — Наверно, за дело! Говорят — путаница...». Но и у самого Подопригоры пробивалось иногда опасение: не тащится ли за ним незаметно некий ядовитый послед от Вольки Кубасова? Трупное заклятье свое наложил Волька на цветущие мальвы, на счастливый семейный свет в комнатах, и Подопригора сумрачно отворотился от них... А вот сейчас над строительством, над близящимся социализмом плыли весенние облака, шумы, хлестал голубой ветер! Поля, розовая, злая, горячая, недавно пробежала здесь по лужам. Лужи, обманно-бездонные, сияли. У Подопригоры ветром выхватило газету из рук, и он неуклюже погнался за ней, смеясь и чертыхаясь. Сбоку свистнуло, по узкоколейке, между лесов и ям, продирался состав, и чумазый машинист,

перевесившись через поручни, весело щерился не то на Подопригору, не то на солнце.

Утром Поля появилась в приемной отдела снабжения. Заодно прихватила с собой и коменданта, — он несчастно жмурился позади нее, словно только-что спросенок вытасенный на свет, в шинели, перепоясанной непотребно на самых бедрах, вроде подрячника. За столом сидел седенький, бесчувственный сухарь в очках, с карандашиком за ухом. Вот такую язву, наверно, стоит в газете прохватить! Поля подошла к нему шагами, исполненными предгрозовой твердости. «Ну-ка, только скажи мне что...» — и шаль на себе запахла для боя. Седенький, однако, ничего не промолвил, неспеша сходил с бумажкой в кабинет к начальнику, потом, вернувшись, вынул неспеша карандашик из-за уха; тут Поля не вытерпела.

— Сколько дали-то?

— Резолюция: два кипяильника.

И Поля ни с того, ни с сего, до сладкой ломоты в сердце умилилась на седенького. Совсем не за что было его прохватывать! И как это он ладно, неспеша, с толком крепит-разносит дела по книгам!.. Со счастливыми глазами обернулась к коменданту. Тот, зазевавшись на окно, одной рукой изображал гитару, а другой нащипывал невидимые струны. Ей и смешно, и противно стало.

По телефону из гостиницы ей ответил резвый басок:

— Товарища Зыбина сейчас нет. С вами говорит сотрудник редакции Горюнов. В чем дело?

Узнав, что это Поля с шестого участка, Пашка закипел:

— Ну, давай, давай материалец! Как с кипяильниками? Отпустили? Ну, то-то. Мы с товарищем Зыбиным приедем, ты жди. Заметку хотим пустить. Ага! Теперь мы такое задумали: устроить соревнование по участкам на лучший барак. Ты должна выйти у себя на первое место, так и знай! Потом — конкурс во всепостроечном масштабе. Лучшие на всем строительстве бараки премировать! Обмозгуй это дело хорошенько.

У Поли голова горела от дум. Зна-

чит, коменданта прежде всего к шаху-монаху!..

А «титан» водрузили в проходе, прямо против полевой каморки. Он должен был обслуживать два барака. Люди, не расходясь, толпились до вечера в праздничном этом углу, — да, отсюда благородное металлургическое озарение падало на весь барак, — с охотой, наперебой тащили дровишки, растапливали, пробовали струю, и чудно многим было, что струя бежала только из кипящего. «Умна-ай!». Поля, сидя в каморке, лишь покрикивала, чтоб руками не лапали. Она уже не выбегала то-и-дело, чтобы еще и еще раз тешиться обновкой. Она переживала горделивый отдых, полноту удовлетворенности, почти материнской, слушая шумливую суету за дверью. Поля изумлялась самой себе, — она, одинокая домашняя женщина, сбежавшая в чужие места, очутившаяся среди одних мужчин, на огромной стройке, оказывается, могла тут добиваться кое-чего, пересиливать других, завоевывать — и как! Кипяильник был только началом; неиспытанная, пьяно-захватывающая ширь обещалась впереди... Полю подняло с места; в каморке тесно стало для такого ликующего дыхания. Хозяйкой прошлась по бараку, не удержалась, крикнула мужикам:

— А печки-то скоро к чертям посшибаю!

Ей обозленно пустили вслед:

— Ой, склизкая... попробуй!

Поля вышла во двор. Мартовская темнота, свежесть ночного заморозка; как будто чуть-чуть пахло цветами... Горы пропали или поднялись, может быть, еще выше, страшно ушли в самые звезды, в зыбь из звезд. Поля стала добрая и слабая, захотелось по-бабьи с покорной прижмуркой потянуться, да так, не открывая глаз, и привалиться к чьей-то теплоте. Но не было никого... Только-что, проходя по бараку, видела Журкина, — он пристроился у печурки, как всегда, трудолюбиво согнувшись, мусоля ладки. Перед ним слеповато горел фитилек... Поля дивовалась на торжественные весенние звезды. А гробщик старался над своим делом у печурки, он и не подозревал о них.

★

Базары, базары! Петр трепещущими ноздрями вбирал знакомый сыздетства, веселящий настой из конского навоза, дыма, рогож, ситцевых платков и разной сестной тухлятинки... В базарах прошла вся его жизнь, они чередовались в ней, подобно волшебным жатвам. В шумах, в гомоне их доплескивалось что-то из самой ранней, умытой из ледяного колодца молодости... Тогда, в Мшанске, они разливались с зари — коровьим ревом, гармоньями, мамаевым плчищем телег, скота и людей. Между рядами и лавками толкалось, тискалось базарное быдло, необозримое скопище простакон, прикопивших за зиму в деревне кое-какой достаток и, на всякий случай, крепко укрупивших этот достаток в карманы нижних портов. А в ларьках, в красных рядах, в лабазах сидели, как в засадах, ловцы, сладко унохивая, дожидаясь... И даже ветерок островато припахивал деньгой! А ярмарки под казанской божией матери обителью, где Петька впервые глотнул чародейной водки, где первую в жизни девку сволок под обрыв к Мше... А Петры и Павлы в Лунине, а девятая пятница в Селитьбе, с певчими, с крестным ходом, с золотеющими в обильной ржи поповскими ризами: в ризах шествовали, делали свое дело тоже добытчики, сродственные базарным, и было радостно, что весь мир, до самого неба, состоит вроде из одного громадного млекопитающего базара!

Петр пробирался в чащобе продавцов и покупателей, словно среди дружественного войска. Да, базары не покорялись, они существовали, они пробивались изпод земли, несмотря ни на что! И все было бы точь-в-точь, как встарь, в Мшанске, если б только не чужаки-башкиры кое-где в островерхих шапках, да не верблюды, лениво разлегшиеся под бугром, на солнышке... Кое с кем из темных, шныряющих Петр перебросился на-ходу полусловом; заглянул к возам, будто бы доверху навитым безвидной соломой, — около них кипел невидимый, из полы под полу, бойкий торг... И уже был осведомлен обо всем: что Аграфена

Ивановна выскребла для сегодня из баньки последние запасы, что большие возы, ожидавшиеся со степи еще с вечера, пока не под'ехали; что старуха в беспокойстве рыщет где-то тут же, по базару. Петр, впрочем, не очень растревожился, хотя в возах и сам участвовал порядочной долей: все подымалось сейчас к удачливости и благополучию. И вдобавок он в первый раз сегодня показывался базару в блистательной обнове, к изумлению и зависти засаленной базарной шантрапы, считавшей его за панибрата; окончательно добывал эту шантрапу начальственный портфель, небрежно торчавший у него под локтем, — портфель был приобретен в предвидении будущего ответственного поста. У Петра тмилось в глазах от собственного красования; он шел по базару, как высший!

Над разлитым народищем ботали и кувыркались колокольные перезвоны. Солнечно цветились бабьи платки, лошадиные головы, палатки. И не стало видно слободы, она утонула за чело-вечьей зыбью, за оглоблями, за шарманками, за конским ржаньем. Чудовищный базар распирало все шире, отроги его загоняло в огороды, в пустыри, до самой церкви, до иерейских могил, над которыми, в голых березках, могуче, покойницки гудели колокола.

... Про колокола гулял злой говор по базару.

А снизу, из баракон, подходили еще и еще, много недавне-деревенских, в нарядных пиджаках, в сберегаемых для радостного дня сатинетовых рубашках.

И Поля неугомонно выпроваживала своих жильцов на базар, затеяв с утра яростную уборку по всему бараку. Всякие гости могли нагрязнуть... Добыла где-то двух сверхурочных помощниц; втроем скребли полы, намыливали закопченные стены, заголившись выше колен, на забаву некоторых озорных бородачей, упорно из-за этого зрелища отлеживавшихся на своих койках. Бабы ругались, назло поотворяли все окна, напустив полон барак будоражных голубых сквозняков, нарочно смаху хлестали тряпками по залитому водой полу; неудобно стало... Тишка молчком от Журкина ушел пораньше. Он решил

сбыть, наконец, срамную шубу и шапку: тогда, вместе с накопленными, у него хватило бы денег и на билет, и на расплату с Петром, и еще осталось бы кое-что до деревни, просуществовать первое время с маманькой.

Занятий в этот день не было, и Тишка, выйдя на волю, опухнувший ласковым, сверкающим ветерком, впервые за весну глянул кругом себя. (На курсы ходил, как незрячий, от дум упершись глазами в землю.) Да, подошло настоящее тепло. Чистой голубой водой стояло небо, совсем полевое. Даже на кочковатой, окаменевшей после грязи тропе пробивались кое-где иглочные травянки. Прутьяные кусты у речки, что отделяла бараки от слободы, недавно черные, вдруг ярко посерели, раздулись в одну ослепительно-серую чашу, прутья напряглись, живели... Тишка подумал, что где-то прошли полые воды. Наверно, уж пашут. Вспомнил, какая пустая, обглоданная бывает по весне деревенская улица, по которой надо спозаранку каторжно тащиться в голое, холодное поле. В чужое поле...

В шубе разморило всего, гнуло к земле, чуть не на четвереньках всполз на бугор. В небе, по краю бугра, тучей стоял народ.

Тишка проталкивался к барахолке. Обступила парная человечья теснота, многоустый говор, зазывы, соблазны. Баба в толстой юбке вынимала из-под себя чугунок с теплым красным соусом, в котором сочнела картошка. В широчайшем противне, который чудом держался на крошечном примусе, влавль жарились мясные пироги. Примус зазорничал, погас, хозяин в сердцах окатил его бензином, чиркнул спичку. Пламя хлопнуло, вымахнуло в человеческий рост. Тишка отшатнулся. Промахнула та самая сила, он знал, что работала и в машине, в железных ее мраках. «Цилиндры, цилиндры» — вспомнилось ему, и не дающая покоя язва опять заболела... Его дернула за полу молодая цыганка, растопырившаяся на корточках и перетряхивавшая между колен белые и синие камешки. «Положи, голубь, на ручку, расскажу всю судьбу-фортуны, что тебе будет в жизни от

твоих хлопот!..». Тишка замешкался, перед ним встала судьба его, не решенная еще, глядящая в темень. Хотел вынуть гривенник, послушать, что скажет, что вынесет из этой темени цыганка. Но бок-о-бок с ним проминались из толпы несколько парней с курсов. И Василий Петрович, кажется... Застыдившись, Тишка вильнул в сторону.

Неустанно трезвонили колокола, пропадая за базарным гамом, только ногам слышалось недряное их гудение. Чей-то нагольный полушубок мазнул Тишку по лицу. От полушубка едко и родимо пахло деревней. И вообще, базар постепенно оборачивался чем-то отраднo-знакомым, как будто это шумело и играло колоколами на Петра и Павла в соседнем селе Луние. У возов по-деревенски понурились привязанные лошади, и, куда только глаз хватал, торчало воинство оглобель; сама базарная толпа больше, чем наполовину, состояла из бородатых земляных хозяев-мужиков. И парни, те же барачные, гуляли здесь по-деревенски — компаниями, кто в обнимку, выпустив из-под кепок нахальные чубы, а передовой, с видом поножовщика, нес через плечо роскошь-гармонию. Все это было свое, облегчительное, далекое от ненавистной, ехидной пронырливости Василия Петровича и прочих... И Тишке впрямь стало легче. Ехать, конечно, ехать! Он забыл и о шубе, слонялся тут, как от избы к избе, глазел, слушал. И здесь чаще всего пробивались разговоры насчет церкви. «Говорили, чугуна миллионы пудов нароют, а сами колокола снимают; этак-то легче... зажрались, хлеб-то им не сеять, не жать!..». Одна слободская, в платке и кожаном пиджаке, навившая на руку дюжины две чулок, рассказывала бабам, как милиция грянула с утра на слободу, — ловить беглого какого-то попа, а кто говорит — святого, и как он не дался, улез на колокольню и пропал. А колокола звонят с этого случая сами собою, и никто не может остановить. «Звонят, звонят в остатний...» — плакала кто-то. В немолчном трезвоне над впусченным, удушливым от небывалого многолюдия базаром в самом деле чуялось злове-

шее... В другом месте некий беспокойный, то-и-дело озирающийся человек с домашней кошелкой в руках советовал обступившим его мужикам послушать его, ехать в обрат непременно стадно, артелью. Подальше болтали опять о колоколах, и опять о близких ветрах, о неминуемой огненной напасти, — уже не в первый раз слышал Тишка, как об этом болтали. Вот и хорошо, что вовремя уедет, ускребется от беды!..

За шубу ему надавали в одном месте десять рублей, да и то без охоты: время шло к теплу, притом шерсть была вонючая, волчья. В другом — только помочали головой. И, оглядев нечистые косяки его, западающие за воротник, спросили участливо: «Ты кто? псаломщик, что ль?». — «Нет, я так» — ответил сердито Тишка.

Ну, шубу-то, за сколько ни шло, он всегда сумеет продать!.. Перед ним сквозь поредевший народ открылась просторная площадка. Около разрисованного полотнища деятельно расхаживал фотограф. Все-таки у Тишки еще не выходило из головы щелкнувшее и мгновенно вымахнувшее над пирогами пламя. Может быть, оставалось тут только поднатужиться чуть-чуть и продрать какую-то последнюю слепоту?.. Мужичкой настойчивой и жадной памятью Тишка сумел за три недели запомнить почти все названия частей мотора — шатуны, клапаны, кривоколенный вал и прочее. Но взаимное сочетание их ускользало от него, согласованная работа, целесообразная пляска частей не проглядывалась до конца, от этого только болел мозг. И сидел, обалделый, а клапана плясали в бессмыслице...

Размалеванное полотнище ударило ему в глаза. Тишка, забыв обо всем, восхищенно остановился. Перед ним неземное голубое озеро отражало небывалые горы и деревья. В озеро сбегали ступени божественного белого дворца. В небе парили самолеты и дирижабли. На озере плавали лебеди, крейсера, парусные яхты. К дворцу мчался яркий автомобиль. И перед декорацией отдельно стоял на земле небольшой фанерный автомобиль. В Тишке вдруг забезумство-

вало желание. Он еще никогда не испытывал этого, — чтоб себя, Тишку, увидеть живого на карточке... Фотограф, угадав его помыслы, принялся пуще обольщать, развертывая, потряхивая перед ним нарядную черкеску.

— Прошу, молодой человек: снимок в костюмчике, два моментальных экземпляра, цена один рубль! Дешевле грешков!

Тишка, смутившись, поспешил отойти подальше за полотнище. Но озеро не забывалось, томило, словно разожженное в нем разноцветными огнями. И стройка, от которой он уезжал, хотел уехать, совместилась неведомо с этим озером, представилась праздничным пиром, который будет продолжаться и без него. Обделенный, никому ненужный, он вздохнул. Хоть что-нибудь привезти в деревню от приснившейся здесь однажды славы!.. Кругом не было видно ни одного насмешника. Он вернулся к фотографу и показал на автомобиль.

— В этом можно?

Фотограф лебезил:

— Устроим, устроим, молодой человек. Сделаем снимочек в декадентском вкусе!

Он помог ему облечься в черкеску, по вороту отороченную серебром и стянутую серебряным же поясом. На голову Тишка получил шапку-кубанку, не хуже, чем у Петра. Он стоял среди лебедей и самолетов, неузнаваемый, удивительный для самого себя. На земле отринута валялась рыжим ворохом шуба. Фотограф посадил его в автомобиль; нет, он решил, что Тишке лучше встать в автомобиле. В правую руку, заставив наотмашь откинуть ее, он вложил Тишке саблю, в левую, протянутую вперед, дал пистолет. Отбежав к своему ящичку, прицелился. Тишка, в длинном черном балахоне, в шапке лихо набекрень, летел, возвышался на машине, как на подставке, размахнувшийся, беспамятный.

— Прошу спокойно, — сказал фотограф.

... Журкин задержался в бараке позже всех. У него случилась неприятность: пропало белье. По случаю мытья полов надо было всю поклажу

из-под коек убрать вверх. Гробовщик, славив под койку, к изумлению своему, не нашел там ничего, кроме пустого мешка. В мешке же было сложено все немытое белье, а на себя Журкин надел последнее. У него руки опустились... Спусти несколько минут, когда возвращался со двора в барак, через приоткрытую дверь полойной каморки узрел свою пропажу: рубахи и исподники его, чисто выстиранные, сушились там благополучно, вперемежку с полными. Этого совсем не чаял он...

И сам подвинулся, отчего так легко задышалось, так дурашливо-радостно стало вдруг. По бараку гуляла сквозняки, они пахли волей, свежей речкой. Не темнеет, не грозит больше стужа над бездомным человеком... А, может, и все по-хорошему обойдется?

Надо было подойти к Поле, поблагодарить. Во всех углах, под хлестанье воды, гремел ее ругательский голос. Поля догадалась, наверно, с чем он идет, сердито повернулась задом и начала наскребывать пол с таким остервенением, что Журкин поневоле остановился. Он увидел только коротенькую холщевую рубашку, голые здоровенные ноги в калошах. Хотел отвернуться и не отвернулся, благо Поля не смотрела. Гробовщик крикнул и пошел. До самого базара истязали его голодные, жаркие мысли.

Первым делом протолкался к нарядным галантерейным рядам. Гривы глянцево-разноцветных лент хлестались по ветру. Только этим и красовалась скудная торговля. Среди рядов старичок с бородавчатым, юродивым лицом, без шапки, собрал около себя народ. К животу он прижимал кружку с надписью: «На украшение храма». Старичок потрясенно грозил:

— И ученые говорят: к концу идет наш век, и извергнутся вулканы. И окутается вся земля огненной массой...

В сотрясаемой кружке звякало. Парень, выпачканный в известке, на-ходу насмешливо кинул:

— Церковь постановлено ликвидировать, на какое же ты украшение собираешь?

— Отцепись, раб божий, сгинь, тебя

не трогают! — визгливо и неожиданно нагло прорыдал старичок. Ясно было, что он чувствовал здесь около себя крепкую, до времени затаившуюся опору... И вообще неуловимо тревожил Журкина этот базар, многотысячеголовый, тесно спертый, не управляемый никем. Широкоскулые, заросшие волосом морды показывались и прятались за старичком. Сквозило здесь то же недоброе, раздираемое грозами время.

Наконец, разыскал палатку с платками. Понравился ему один, солнечно-желтый, с красными розанами по желтому и с пышной бахромой. Он мысленно повязал им Полю кругом ясных щек, над карими мордовскими глазками напустил кокетливый конек. «Ну, прямо вы — Милитриса Кирбитьевна!». — «Кто, кто?». Спросил у продавца, сколько... И вдруг одним глазом увидал гуляющего вдоль рядов Подпригору: руки в карманы, перевалка с боку на бок. «Ага, выслали и сюда проведать, чуют...».

— Один четвертак, — сказал продавец.

Журкин вяло отложил платок. Если даже на пятнадцати сторговаться, что у самого-то останется? Вон она, напасть-то, рядом ходит... Были и подешевле, — беленькие, в черный горошек. Для гроба, старушечьи.

... Прямо подойти, присовестить в глаза:

— Ну, скажи мне навсегда, дашь ли ты мне, человеку, спокойно жить, или нет?

Кто-то потрепал его за шиворот. Оглянулся — Петр.

— Платочек облюбовываешь?

— Жене, — нехотя, смущенно ответил Журкин.

— Ну да, жене, ха-ха! — Петр мигал, подзадоривал, подпихивал кулаком в бок. — Да я вижу, толку-то у тебя не выходит. Как она?

Журкина обидно заело, — рассказать бы ему про белье-то! Но только ухмыльнулся загадочно, совсем, как Петр.

— Поклевывает маленько, — сказал.

— А я, Ваня, хотел от тебя выдержать один секрет. — Петр, опершись об

угол ларька, заговорил ласково, не кривляясь. — Помнишь, говорил я тебе про одну принцессу, что никогда и не взглянет на меня? Ну вот... посмотрел бы ты на нее намедни, после одного нашего разговора. А! Ваня, Ваня,—Петр отчаянно и с упоением схватился за голову, — жожу я, и во мне опиум какой-то!

Журкин только промывчал невнятное. Да, Петр умел хватать сладкие куски. И во всем.

Сегодня, на солнце, он казался Журкину особенно великолепным, победительным. Вот, — думалось гробовщику, — и партия теперь везде действует, партия трудящихся и бедняков, а все-таки благополучествует Петр, как благополучествовал и раньше. А он, Журкин, навсегда бедняк бесталанный? Глухая обида точила гробовщика, и не знал, на кого... И не только наряд красил сегодня Петра. Приятно, молодо было лицо, вычерченное в воздухе блеском. Раздольно смотрелось его глазам. И Дуся невидимо, балованно обвилась вокруг модного его полупальто... Журкин был всего года на три старше. «Кабы мне тоже костюмчик да щеки оголить... Да каску!». И тут же с досадой отряхнулся от пустяковых мыслей. Подопригора еще не пропал, казался за народом.

— Я, Петра, все об своем деле. Нет моего терпенья. Хочу сам к партийному подойти, поговорить. Пускай все на-чистоту... на один конец! Как посоветуешь?

В зрачках у Петра крутился хрустально-цветной базар.

— По-моему, сам ты себя заморочил. Перевелся бы на другой участок, и все.

— Да они, Петра, везде коммунисты между собой сцеплены, все одно узнают, еще хуже.

У Петра лицо скисло, встревожилось. Журкин невольно оглянулся. Из толпы, бесновато колотя вокруг себя руками, продиралась Аграфена Ивановна, вскосмаченная, ужаснувшаяся, со сбитым на сторону коробом.

Петр предостерегающе шагнул вперед.

— Мамаша...

Старуха захлюпала беззвучно, без слез. Глаза ее несли нечто страшное. Журкин соболезнующе снял шапку, поклонился, но старуха, оглянув его, как пустоту, шатнулась за ларек, поддерживаемая Петром. Гробовщик услышал тихие подвизги, подвыванья.

— Мамаша, — укорял Петр.

— Что же делать-то, Петруша, а! Отняли под самой слободой... а-а...

— Кто? — Голос сменился у Петра, охрип.

— Кто! — Журкин, не оглядываясь, чувал, что она тычет пальцем в его спину, ненавистную ей спину. — Жили мы тихо, никого не трогали... — Аграфена Ивановна с умыслом взрыдывала все громче. — Подожди, вспомнит господь эти слезы... Вот как ударят ветра-то...

Петр шикал на старуху, силком поволок ее куда-то. Журкин тоже двинулся прочь. Уныние овладело им. Он брел краем бугра. Долина стройки раздвигалась под ногами ровно, как по озеру, солнечно, населенно, вся в лагерных дымках, в крышах, в шершавых торчках лесов, арматурных вышек, в промельках могуче-бетонных бастионов. Все это росло неостановимо, день ото дня, подобно полою воде, настигало свое будущее... И все это будет истреблено? Журкин-то и руками, и всем горбом своим знал, что значит, например, связать из теса одну площадку на лесах... И под каждой крышей жило там такое же теплое тело и дыхание, как у него, у Поли, у Тишки,—оно жило, думало, варило хлебово, работало. Он мысленно накинул на эти крыши ветра, об'ятую огнем Сызрань, которая до сих пор содрогала его в снах. И он видел пламя, еще страшнее, чем в снах, оно косматилось старухой, дорвавшейся наконец до своего, ликующей...

Были эти мысли омрачительны и тягостны, а у Журкина своих бед хватало. Он долго крутил по толкучке и между лавчонок, пока в игрушечном ряду не приметил кого надо.

Подождал, пока Подопригора приторговывал что-то.

— Поговорить? — переспросил он гробовщика. — Верно, поговорить надо... — Ничего хорошего не обещало

это согласие. — Ну, пойдем, где по-тише.

В руке у Подопригора золотела новенькая ребячья дудка. «Ага, собственных-то дитят жалеет» — с уязвлением подумал Журкин. И свои, все шестеро малых, заболели в нем перед страшной минутой. Подопригора вывел гробовщика на тот же малолюдный край бугра.

— Слушаю, — сказал он непроницаемо-спокойно.

И гробовщик малодушно ослабел. Напор его сразу пропал, дыхание остановилось, как тогда, в бараке... И слова потерялись. Он напрягся, — хоть что-нибудь выдать из себя, и не нашел...

Подопригора кончиком сапога стал-кивал камешки вниз.

— Ну?

Гробовщик следил, как сбегали камешки, Глазам его открывалась та же знакомая солнцевеющая долина. Казалось, еще удушливая гарь оседала на ней после недавнего видения... У Журкина нечаянно вырвалось:

— Вот... болтает народ, что ветра придут, сухмень... И от одного уголька или от цыгарки все строительство сразу, в секунду может смести. Сызрань вот также одна горела...

Подопригора сделался внимательнее.

— Верно, болтает кое-кто, слышал.

— А нам оно, строительство, кусок хлеба дает. Значит... надо такой удар сделать, чтоб не давать добро уничтожать. А какая ваша охрана? Вон ваша охрана стоит, с бабой язык чешет.

То было внезапное, само собой пришедшее озаренье. Подопригора как бы поощрял, но испытующе, с холодком.

— Что же, говори.

— Дара у меня нет — говорить. Я вот в одно время в пожарной дружине участвовал, в охотниках. Вот, кабы и здесь... в каждом бараке, на каждой постройке охотников завести. Обучить: кто будет лазальщик, кто топорник, кто домальщик. Чтoб, как войско... чуть какой случай, и оно — раз! — ударяет.

Мысль была нехитрая, но Журкин расплылся от нее. Даже шапку лихо

сшиб назад. Подопригора задумчиво играл дудочкой.

— Так. — И глянул сухо, в упор. — У тебя раньше собственное дело было?

— Ну, гробишко когда по случаю сколотишь... столярные поделки там... рамы какие-нибудь.

— Сколько мастеров имел?

Журкин горько ухмыльнулся.

— Где уж там мастеров... Одному-то делать нечего. Село у нас, район. Село Мшанск.

Подопригора смотрел на него отсутствующими глазами. Он в себя смотрел. Но не время было для этого сейчас... Он встряхнулся.

— Что же, ты правильно это задумал. Тут... молодежь надо в работу взять. Вот попробуй у себя, организуй.

Журкин не ожидал, чтобы так сразу...

— Ничего, действуй, мы тебе поможем.

В радостной расpalенности своей гробовщик сейчас был на все согласен. Солнце, какое солнце лилось на мир!

— Поможете — тогда конечно. Опять же надо разный припас достать: веревки, топоры.

Гробовщик осмелел, баловное мечтанье даже позволил себе:

— Опять же каски...

Подопригора согласен был и на каски. И теперь он больше хотел знать об этом человеке.

— Ты ведь в плотничьей артели работаешь?

Журкин объяснил, что он, собственно, мастер-краснодеревец, и опять: что мастеров этих осталось мало, потому что для них работы нету. Подопригора порицающе сказал:

— Нам мастера на квалифицированную работу, на деревообделочный завод нужны.

Журкин потупился — ожидающе, благодарно. Вот когда приспела минута — выложить все... И не рассказывалось ему, а прямо пелось — словоохотливо, звонко, по-бабьи: про те же гробы, про мшанское бедованье, — всего себя вынес перед Подопригорой, как на ладонях (чуть даже не упомянул насчет

восьми ртов, восьми кусков, но во-время осекся)... Подопригора слушал, сочувственно кивая. Иначе и быть не могло. И вдруг опять просверлил Журкина взгляд — пристальный, резкий.

— Так ты говоришь, сюда кусок рвануть приехал?

Гробовщик смутился, не зная, к чему такой поворот. Неизвестно, что сказал бы дальше Подопригора, если бы странное смятение не почуялось от них неподалеку. Базарную толпу зыблило, шатало волнами.

... Тишка спустился со своего поста-мента. От сказочной переодетости, от волнения млея голова. Фотограф уже обмывал карточку, пылко любуясь:

— Очень дивный снимок, только с глазом, молодой человек, маленькое изувеченье получилось. Ну, ничего!

В то же время из-за полотнища вернулись (Тишка втайне давно этого опасался) гуляющий Василий Петрович и с ним человек пять его присных. Остановились, глаза, посмеиваясь. Тишка с умыслом медленно расстегивал свой диковинный кафтан, назло как можно медленнее, чтобы доказать, что нисколько они его не касаются. И все-таки горько защемило от них, от счастливых... В это время вытолкнуло на него из толпы Аграфену Ивановну.

Она шла колесящей, полупьяной походкой, за нею — пасмурный Петр. Это он, Петр, потребовал — разыскать и еще раз допросить возчика, который ездил с возами: не было ли с его стороны какого шахер-махера? Аграфена Ивановна беспамятно бормотала на ходу, злоба ее продолжала искать пиши, и Тишка вдруг сверкнул перед ней серебряным своим опереньем.

Старуха узнала его — с ненавистью, с трясеньем.

— Смотрите... как-кой клоун разрядился! — ахнула она. — И эдакий клоун... эдакий сопливец руку тянул, чтоб церкву божию ломать! Поотсохли бы у тебя руки, паскудный!

Тишка опешил, но тут же упойтельное остервенение подхватило его. Как будто обиды этой только и жаждала душа.

— Мы, тетенька, не кирпичи ломаем, а ваш буржуйский притон! —

Эти слова он слышал от Подопригоры и теперь с наслаждением отплачивал ими старухе в самые глаза — за счастли-чиков, за цилиндры, за все... — И будем ломать, да, и будем ломать!

— Да как это ты... — отшатнулась старуха. — Граждане! — она крутилась, окончательно ополоумев, не находя слов. — Граждане... вот этот день-ги у меня вынул!

Василий Петрович подвинулся к старухе, серьезный, руки в карманы.

— Не ори, чего зря орешь.

Старуха завопила опять. Вблизи загустел народ. Петр загородился за ним, зорко поджидая, что будет. Цепкая лапа ухватила Тишку за ворот.

— ЭТОТ?

Фотограф плачуще суетился.

— Погодь, не тронь в костюмчике. Костюмчик съмет, тогда бей.

Василий Петрович сшиб кулаком лапу с тишкиных плеч.

— Брешет она... мы видали...

— Граждане! — ликующе вопила Аграфена Ивановна.

Некая рука сгребла ее, оттащила назад. «Дальше, мамаша, без вас обойдется» — шипел ей на ухо знакомый голос. С недоброй торопливостью протискивались поближе к шуму барахольщички, лотошники. Тишка бездыханно взирал на чьи-то щеки, подобные волосатым шарам, слышал тяжелый дых; это те, хозяева, доискивались его. Среди них крестился бородавчатый старичок. Все валилось на Тишку круженьем, убоем... Друзья Василия Петровича отпихнули его к себе за спины. Спины были в пиджаках, крутые, нацеленные.

Вдали раздался милицейский свисток. Базарные, гудя, надвинулись... К Тишке подбежал в раскрыленной шубе Журкин. Гробовщик, не переводя духу, засучил рукава и быком пошел вперед. И стена колыхнулась вместе с ним.

Но так ничего и не случилось. Петр махнул рукой Аграфене Ивановне, поджидавшей под бугром, и, подсвистывая, сам стал спускаться. К Тишке подошел Василий Петрович со своими, подал ему с земли шубу.

— Надевай, пойдешь с нами, — серьезно сказал он.

★

Практическая езда на тракторе для курсов, на которых училась Ольга, производилась под Москвой, в совхозе «Металлист».

Поле для езды открывалось тотчас подле полустанка. Со ступенек вагона Ольга спустилась в апрельское бессолнечное утро, в тишину. Особенно удивила ее эта необычная, бескрайно разлитая ясность. А у себя дома, пробудясь, она увидела первым делом сумрачное окно. Кое-где по бороздам остался легкий снег, похожий на неплывшие тучки. Березы, почти прозрачные, струились в небо... В юности в это время года Ольгу тянуло уйти куда-то за несбыточную лазурь, или назло, на грусть любимым — умереть. И сейчас островатой и обезволивающей весенней невнятицей обносило ее, словно ветром, только поддайся! И она стояла податливая, забывчивая, как ребенок. Но тут же за путями проступали кирпично-красные тылы заводов, за березами промахивали голенастые железные конструкции электросети; чуялось невдалеке разноцветное и могучее возбуждение Москвы. У ворот совхозного гаража стайкой собирались ольгинь товарищи: каждому предстояло нынче в первый раз управиться один-на-один с клокочущей машиной. Ольгу ждало действие; волнение, может быть, наивное несколько, передавалось и ей. Она присоединилась к знакомкам в платочках.

Высокие ворота гаража раз'ехали. За ними в сарайной глубине уже хозяйничал преподаватель. Он выглядел сегодня хмуро-недоступным и сразу пресекал всякие шутейные приветствия, — машины были совхозные, рабочие, а неопытные, взбудораженные ребята могли накрутить чорт знает что. И ребята благоговейно присмирели. Преподаватель сунул Ольге ведро.

— Заправишь маслом, вон там накачаешь, в углу. Да пальто хоть снимите!

Ольга осторожно несла ведро, полное густозеленой тяжелой жидкости. Наманикюренные пальчики посинели, когда

наливала масло через воронку в бак. И чем труднее, несноснее было, тем горделивее ощущала она удовлетворение... Не потому ли, не потому ли, что все это являлось для нее еще игрой? Вот колхозница Полянщикова, в платочке коньком, что, встав на ящик, наливала с усилием воду в радиатор, делала настоящее, нужное ей.

Сначала к трактору подпустили женщин. Ольга первая ухватилась за пусковую рукоятку. Кипенье, что ли, нетерпеливое так обессилило ее? Она дернула рукоятку изо всей силы, но та не поддавалась. Кругом стеснились, молчали внимательно, испытующе. Грудь «интера» возвышалась над головами давяще-огромно. Железные его колеса хотели двигаться, врубаться в землю. Ольга рванула рукоятку так, что заныло в поясище. И опять рукоятка осталась на месте, словно прикованная. «Слабо» — послышался насмешливый возглас, должно быть, Тушина. Ольга в безнадежной ярости продолжала дергать рукоятку частыми, истерическими рывками. Могло перешибить руку, пусть! Преподаватель легонько за плечо отстранил ее от трактора, задышающуюся и пристыженную.

К трактору нерешительно пододвинулась Полянщикова.

Но и у нее первая потуга оказалась неудачной. Кругом уже посмеивались. Тогда женщина неторопливо сбросила платок на плечи, загладила назад волосы и, опять взявшись за рукоятку, упрямо бросила ее на себя. И трактор ворчнул и залопотал. И тотчас перешел на гул и трясение. Полянщикова выпрямилась, конфузливо-счастливая, улыбающаяся. И Ольге совсем не было обидно, она тоже ощущала облегчение и радость за нее, сияла за нее, — этим она платила какой-то долг.

Заработал второй «интер» — у мужчин. Сарай раздирало дружным грохотом, в котором тонули крики, волнение, смех. Это было в самом деле неиспытанно и опьянительно. И Ольга-неудачница жарко толкалась, суетилась вместе с остальными. Преподаватель и его помощник выводили тракторы из гаража, оставляя на земле рубчатый след.

Вот и поле.

Первые, вызванные по списку, садились за руль, трогались. Их провожали, подбодряли шутками. Они уезжали, впившись руками в штурвал до ломоты в мускулах, неестественно замершие, немигающие. На втором кругу, однако, уже раскланивались с сотоварищами, принимали нарочито равнодушную осанку, вообще, похвалялись, что это плевое дело — вести машину. Но горящие щеки и зубы выдавали их. И тракторы кружились взад и вперед, как бы подчинившись общей опьянительной лихорадке.

Наконец, и Ольга, волнуясь, взобралась на сиденье. Нежданно очутилась она высоко-высоко.

Рядом сидел тот зеленоглазый преподаватель. Остановившаяся машина укрощенно, ожидающе клекотала. Неужели она двинется сейчас под ее, ольгиными, руками? Это стало вдруг до трепета невероятным. И язвочка еще побаливала — от неудачи в гараже... Ольга нажала ногой на конус, поставила первую скорость, — нет, ей все не верилось. Закусив губы, она понемногу, как рвущуюся птицу, отпускала педаль, оставалась какая-то секунда до того, когда родится движение... сердце сладко замерло... Трактор шевельнулся и грузно повалил вперед. Преподаватель одобрил, — хорошо, без рывка двинула, теперь давай вторую скорость! Поле, березы, дымно-красные корпуса медленно потекли на Ольгу, такие головокружительные, что на них нельзя было смотреть. Она, блаженствуя, повернула штурвал налево, и неуклюже-железная, содрогающаяся машина торжественно пошла тоже налево и кругом. Нет, то была уже не игра, а жизнь, ветер, закинутая голова, победа! Ольгу изумляло, как этот человек рядом с ней может сидеть так скучливо и думать даже о чем-нибудь домашнем? На развороченных ездой бороздах она разминулась с другим трактором, за рулем которого царевала Полянщикова. Платок ее опять сбился на плечи, волосы взвихрились венком, она закивала Ольге навстречу, озаряясь безудержной улыбкой... И у Ольги сам собой раз-

ехался рот, обе они сейчас были вровень друг другу и пенились до краев одним и тем же. Может быть, в эту минуту вот так просто и кончилась ее отдельность от них? Так думалось, так хотелось Ольге.

Выпускной экзамен держали в том же подземельи, где обучались. Дело происходило ночью, отчего возбужденное собрание походило на вечеринку. И веяло на Ольгу чем-то прощально-праздничным... Одна из женщин, выскочив из акзаменационной комнаты, вдруг кинулась к Ольге, бурно охватила ее руками, спрятала голову у нее на груди. «А ведь сдала, ей-богу сдала!» — и смеялась, и всхлипывала она. И, подняв лицо, смутилась, — в пылу своим приняла Ольгу за одну из товарок. Но Ольга не отпустила ее, вместе с нею подошла к остальным женщинам, слушала их рассказы о только-что минувших страхах, их гадания о будущем. Попросилась — прийти к ним завтра в Дом крестьянина проститься.

Для этого свиданья она не надела ни валенок, ни курсового наряда, а обычный свой костюм. Она вошла, ведь, теперь в среду этих женщин, как своя, значит, нужно было быть с ними такой, какой она была на самом деле. Ольге необходимо было это свидание, чтобы убедиться еще раз в том, что она достигла того, чего искала; она даже надумала — рассказать им просто, поженски сердечно о своих отношениях с мужем, о странной тяготе и, может быть, услышать какое-то мудрое бабье слово... Отраду давала ей эта мысль. В Доме крестьянина ее провели наверх, в чистую комнату с четырьмя аккуратными постелями, с зеленью на окнах, с круглым столом под суровой скатертью; крестьянки среди этого, внушающего бережную опрятность, городского комфорта, стоя, встречали ее.

Ольга выложила на стол яблоки и конфеты, размашисто разделась — как дома — и присела, положив локти на стол, чуть декольтированная, благоухающая. Она навязывала свое угощение. Женщины взяли по яблоку, церемонно откусывали, они были и довольны ее посещением, и отягощены. И раз-

говор получался такой же, как посадка их: чинно-окошенный, нарочитый и не о том, о чем было надо Ольге. Посудачили о вакансиях, — были они и в Узбекистане, и в Сибири, и даже на Дальнем Востоке, туда приглашали трактористов на большие ставки. И женщины были, конечно, втайне горды, что и они среди тех, которых приглашают, ищут... «Мужчины-то, может, и поедут, которые с колхозом не связанные, а из женщин кто же, — разве бессемейные?». Спросили, где же намеревается работать Ольга. Она сказала, что еще подождет, подумает. «У вас, наверно, муж много зарабатывает?» — спросила уважительно Полянщикова. И Ольга резко почувствовала и платье на себе, и оголенные свои локти, и нитку изысканных бус на шее... Поговорив еще о пустяках, она простилась.

И опять одна — стояла на тротуаре, лицом к лицу с ночной Москвой, которая стремилась перед нею своими огнями, людьми, распутиями. Стояла недолго. Ее несли быстрые, злые, упрямые шаги. Она вошла на телеграф, на ходу сдергивая перчатки. Телеграмма была в Красногорск: «Выезжаю Ольга».

Песня

На заводе, на деревообделочном заводе Журкин не бывал никогда. Слышал только отдаленно. Мыслился он ему в виде его же собственной, только расширенной во много раз, мастерской и со множеством выстроенных рядами верстачков, за которыми люди размашисто пострагивают, долбят, пилят. Ведь, работа, что там, что здесь, — одна и та же!

Подопригора повел его прежде всего в чертежную.

Там увидел Журкин на столах широкие синие листы, сплошь исполосованные белыми линиями-волосками и разными циркулярными кривыми. «Это и есть чертежи, — пояснил охочий к объяснениям разметчик.—Потом они переносятся на разметочную доску, длинной в нормальную высоту делаемой вещи. Вот, скажем, это ворота...». Жур-

кин воззрился на стоймя поставленную перед ним тесину, хватавшую чуть не до потолка, всю причудливо разрисованную с обеих сторон теми же чертежными хитростями, размеченную до сантиметра... Кое-что он разгадывал тут, — шипы, переплетенные между собой, как пальцы, фаски, филенки. Он чуть покосился на Подопригору, наблюдавшего за ним с благосклонной усмешечкой родственника, приведшего своего питомца впервые на экзамен. Покосился, и нехватило духу сказать... А хотелось... Завод-то, ведь, выделял простые вещи: рамы, двери, оконные коробки, щиты для стандартных барakov. И вот зачем-то ухищряли это дело, держали специалистов-чертежников... им, конечно, жалованье только давай! Среди этих недоумений Подопригора подтолкнул его дальше—через заваленный всяким древесным материалом коридор.

За широкой аркой начинался самый шумливый цех: машинный. Не успел еще Журкин до конца окинуть глазом это помещение, светлые высоты его, уходящие под двухскатную крышу, как рядом что-то взвыло пронзительно. Опилки провихрились мимо лица. Парень, упершись грудью в толстый деревянный брус, проталкивал его на станок, с другой стороны брус подхватила девушка в повязке, сняла его со станка: брус, ровно распиленный, распался. Одну половину, сделанную по мерке, девушка отложила в кучу таких же брусков, другую перебросила обратно парню. Тот снова напер грудью, станок дико завыл, девушка уже откладывала в кучу новый брус, а тонкую оставшуюся от распилки плашку кинула в сторону. «Это циркулярная пила» — пояснил Подопригора не без горделивости. Журкин стоял строгий и помрачневший... А парень легко толкал брус за брусом, пила взывала, эдак же вот Журкин разнимал обыкновенно хлебный каравай: прижмет его к груди, полоснет ножом поперек, и ровню полкаравая отвалится—порция на восемь душ... Пока Журкин стоял около пилы, она навела, наваляла столько брусков, сколько сам он вручную не

напилил бы за полдня. Только покачал головой.

А Подопригора, которому это ошеломление гробовщика доставляло явное удовольствие, вел его дальше от станка к станку. Вот механический фуганок, который строгаёт брус или плаху сразу с двух сторон — «пласть» и «кромку», вот рейсмус, с точностью дострагивающий две других стороны. Самовращающиеся сверла в'едались в дерево, как в масло. Но сильнее всего поразил Журкина фрезерный станок, его чудесная способность настраиваться на самые различные фасонные резьбы, будь то «фаска» или «чепель», или закругленная арка для окна. Гробовщик смотрел, — кругом работал без останова умный и яростный инструмент, словно неслась живая металлическая река-быстрина. В цеху было просторно и даже как бы малоллюдно. Груды успокоительного, свежееобструганного и опиленного дерева сливочного цвета, а кое-где тронутого, сквозь стеклянную стену, розоватостью апрельского вечера. Исконный, горьковато-скипидарный аромат... В гробовщике сокрушилось что-то.

Ходили подносицы в цветных повязках, взявшись за ношу по-двое; их разговор пропадал в разноузорном шуме. Строгальные станки дышали звучно, с крёхотом. После взывания пил оставалась в воздухе жалобно-серебряная трель. В гуде долбежного станка чудились колокольные звоны... Люди у станков работали по готовым разметкам (вот для чего — чертежники!), вернее, работали машины, а люди нехитрыми движениями только направляли материал. И гробовщика начало угнетать недоумение, для чего же, собственно, понадобятся здесь его руки, его мастерство? Но спросил Подопригору не об этом, а совсем о другом:

— Дак ежели, скажем, день и ночь так валять, то сколько же этих рам да дверей можно наготовить? Тогда, значит, недели через две и делать нечего будет... завод-то встанет?

Подопригора рассмеялся:

— Ты, друг, насчет наших масштабов неправильно прикидываешь. На

один Коксокомбинат и то этого завода вряд ли хватит! А там еще соцгород, там жилые дома, всякие подсобные предприятия, школы, клубы, театры. Это не завод, а капля.

Журкин с трудом вообразил текущую отсюда, ежедневно и нескончаемо текущую прорву рам, дверей и прочего. Возможно, только в эту минуту открылась ему вся громада, необ'ятность стройки... А Подопригора вводил его в следующий цех. В сборочный. Собственно, в этот цех он и прочил гробовщика. Тут было потеснее: штабеля готовых для сборки деталей, целые переулки штабелей, но зато уютнее, тише и от обилия стружек мягче ногам. И родные верстаки стояли здесь один за другим. На одном из них немолодой рабочий фуганком внимательно подстрагивал раму, на другом вгоняли нагель в переплет, на третьем подклеивали. «Стой, тут что-то получается» — выиграло у гробовщика. Он испытывал нетерпеливый трепет, зуд в руках. Он не хотел итти никуда дальше.

Между тем Подопригора разыскал и привел человека в дымчатых очках. Человек приподнял очки, чтобы лучше разглядеть и оценить Журкина, и глаза у него оказались тоже дымчато-зеленые, холодно-добрые. Это был начальник цеха. Да, мастера ему нужны, — сказал он. В сборочном цеху происходит окончательная сборка и зачистка продукции. Рабочие делятся на бригады: вот бригадир-то, на котором лежит точная пригонка деталей и наблюдение за сборкой их, и должен быть из опытных столяров. А найти их не так-то легко.

Журкин слушал, томясь... Если б можно было, рванулся бы он весь сейчас, чтоб показать... Глазами об этом просил. О себе рассказал немногословно, с пятого на десятое, сильно стесняясь того, что и рабочие у верстаков приостановили работу, слушали. И как-то само собой случилось... Журкин снял пальто, кинул на стружки; немолодой мастер, работавший у верстака, как бы не в силах противостоять его отчаянному взгляду, отодвинулся, протянул гробовщику фуганок. Журкин

поставил ребром раму, прицелился глазком. «Есть отчасти маленький перекос...». Руки стиснули фуганок цепко, жадно. Строганул раз, два. И забыл обо всем, словно поплыл в знакомых, отрадных местах! Когда поднял голову, то увидел на себе внимательный взгляд дымчатых очков. А Подопригра даже не смотрел в его сторону, очевидно, вполне уверенный. Журкин, нехотя, тоскливо возвратил инструмент. Он-то отвык верить...

Начальник цеха объявил, что Журкина берут на испытание на некоторое время и чтобы завтра с утра он приходил на работу.

Испытание не продлилось и двух дней. Начальник цеха был сам из столяров и умел оценить работу с первого взгляда. На воротах завода появился приказ: «Столяра Журкина И. А. зачислить бригадиром сборочного цеха с сего...». Через эти ворота, мимо блистающей на них поюшей бумажки, гробовщик входил теперь, как свой человек.

И все-таки: и верилось, и не верилось еще...

Слишком много горького отстоялось в памяти у гробовщика. Он помнил голодную безработицу довоенных лет. Он пережил в Мшанске бедованье одиночки. Прочности, вот чего никогда не знал он в своей рабочей судьбе. Но теперь он упрямо захотел ее, этой прочности, он захотел ее и для завода, для всей стройки. Ибо то, что его провели приказом, было уже прочно. Приказом Журкина проводили в первый раз в жизни. «Да, тут чегой-то получается» — приятно содрогался он, потирая руки.

Бригаду ему дали в шесть человек. Потом разрешили добавить еще двоих. Журкин легко уговорил перейти к нему из плотничьей артели Васю-плотника и его товарища — паренька. Ведь, он же звал их на завод! Журкину доставило тщеславное удовольствие — показать всему бараку, что вот он сам теперь набирает людей; а в обоих парнях нравилось ему то, что они неизбалованные, по всему видно, способные к обученью. «Эх, — думал, — Тишку бы

еще!». Но Тишка стал отрезанный ломоть и пропадал по целым дням, а то и с ночевкой, где-то на стороне.

Завод отстоял от барака далеко: почти на том же участке, куда ходили на разгрузку. Журкин шагал, и вспоминалась ему зима, прожитая, как тяжелые сумерки. «Что ж, без худа добра не бывает...». На месте бывлой разгрузки теперь бежали чистые рельсы. Опять составы посвистывали про далекую даль. Но едва ли слышал их Журкин. Апрель, красногорский апрель, охватывал его со всех сторон, яркий и теплый, и кипучий, кипел он работой и новыми надеждами. За воротами распахивался заводской двор, с развалами, с холмами бревен, теса, брусьев; грузовики подвозили еще. На воротах белел приказ.

В первой смене работали с Журкиным четыре человека его бригады. Во второй — до двенадцати ночи — остальные четверо. Журкин должен был только перед уходом подготовить им материал и дать указания.

В пять вечера Журкин отправился обедать. Теперь он был свободен до утра, мог пойти в барак, отдохнуть. Но и обедалось через силу... И после обеда тотчас же скорым шагом отправился опять к заводу, словно боясь, как бы тот не ускользнул от него. К тому же четверо подначальных работали там — одни.

Пришел, будто посмотреть, проверить, а потом и сам потихоньку встал за верстак. Теперь жадная и мнительная душа его была спокойна. Он хотел укрепиться здесь так, чтобы никто уж не мог столкнуть его с этого места, хотел врасти здесь корнями. И засновал фуганок, опять потекли одна за другой детали. Руки мастера собирали их в вещь, подгоняли, охорашивали, пускали в жизнь.

В двенадцатом часу появился начальник цеха, минуты две глядел на эти руки из-под очков.

— Ты что же... на деньги, что ль, такой жадный, шестнадцать часов работаешь?

Журкин вздохнул, разогнул спину. Застеснялся.

— Да все одно, куда же время девать? Я... за дело беспокоюсь.

— Ага-а...

И начальник цеха, по имени Николай Иваныч, сам бывший столяр, угадал в глазах этого человека тоску о прочности, несомненно, знакомую когда-то и ему самому. Сказал:

— Беспокойство твое, конечно, хорошее...

И на другой день, после обеда, Журкин вернулся в цех. И на третий... Работа обуюла его, как лихорадка. Он работал до полуночи, разгибаясь только на обед и не ощущая при этом ни тяготы, ни изнурения. А если и ощущал, тягота эта была приятна и благодетельна, как лекарство, она постепенно как бы очищала организм, восстанавливала радость духа. Радость! Давно не пробовал этого кушанья гробовщик... На время даже затмила в нем эта лихорадка Полю-жену, ребятишек. Гробовщик жил, исходил алчностью над верстаком, не видя кругом ничего. От верстака его могли оторвать теперь только с мясом.

А через неделю-полторы, благодаря своему опыту и этому напористому безустальному трудолюбию, гробовщик как-то даже главенствовать начал в цехе. Бородатый, строгий и истовый в своих рабочих повадках, он прежде всех остальных кидался в глаза. Он приходил в цех спозаранку, предвкушая его трудовой уют, родные столярные запахи, утреннее солнце, от которого сияет куча стружек, а штабеля брусев огненно просвечивают насквозь. Из механического доносилось хоровое подвыванье и пенье пил. Слух гармониста воображал причудливые мелодии. От верстаков навстречу бороде кричали: «Иван Лексичу!». Журкин снимал пиджак, аккуратно вешал его, потом оправлял на себе опояску: как дома. Да так оно и было: как дома. Случалось, что Вася-плотник (фамилия его была Поздняков) и еще кое-кто из молодежи застревали у дверей механического, заглядываясь на машины. Журкин сердито гнал их, подражая тому дельному и горячему бригадиру из

тепняка: «Вали, вали, сначала свою работу справь, а это от вас никогда не уйдет!». И начальник цеха тоже звал его Иваном Алексеевичем, а он начальника — Николаем Иванычем. Бригадир, что помоложе, не стыдился спросить у него иногда совета: «Глянька на минутку, Лексев!». Гробовщик с достойной осанкой подходил, вынимал карандашик из-за уха, показывал, как надо.

Подопригору за эти дни он не видел ни разу, но не сомневался, что тот следит за ним издали. И ярость, с которой гробовщик набросился на работу, подхлестывалась еще сильнее этим незримым наблюдением. Гробовщику не просто хотелось отплатить человеку за добро, ему хотелось сделать так, чтобы Подопригора загордился им, чтобы Журкин был поставлен ему в заслугу. Подняться как-то необыкновенно, совершить чудо! В этих мечтаньях играла немалую роль газета «Красногорский рабочий», которую Журкин стал почитывать в перерыве и в которой описывалась доблесть отдельных рабочих и целых бригад и помещались портреты, — около этих портретов как бы играла музыка. И о том же судили-пересуживали ребята за верстаками, с явной завистью, и о том же рассказывали на собраниях. Зачиналось, передавалось от человека к человеку то героическое волнение, которое доставило потом стройке мировую славу, мировые рекорды в различных областях труда. Уже татарская бригада землекопов вынула за смену какое-то чудовищное количество кубометров земли; бетонщики изо дня в день повышали друг перед другом кривую замесов; отлачивались монтажники, арматурщики, слесаря. Но про столяров еще не было слышно... Не слышал еще Журкин про столяров, и сердце его исподтишка, жгуче, предвкушающе билось. Он-то нагляделся теперь на здешних мастеров, посравнивал себя с ними, он знал настоящую цену себе. Ох, как разжигал его этот Подопригора, сам того не ведая!.. Но пока работал Журкин без всяких расчетов, вслепую, нахрапом, ломил, как медведь

через бурелом. Однажды Подопригора заглянул-таки на завод.

— Ты, друг, говорят, вроде ударника заделался?

Журкин усмехнулся, отвел глаза.

— Дак нам только бы работа была... а ударить я всегда могу!

Подопригора закинул руки в карманы и молча, не поймешь — смешливо или серьезно, обмеривал его взглядом. Пожалуй, он уже близок был к тому, чтобы гордиться...

— А ты не забыл обещания-то... насчет пожарной организации? Сезон как-раз подходит.

— С ребятами мало-мало калякал.

— А я в рабочекоме поговорил. Значит, ты свой опыт проводи, а мы потом вызовем тебя, соберем народ. Выступишь, расскажешь нам, поделишься... Так?

Журкин, не поразмыслив, мотнул головой.

А когда поразмыслил, то испугался. Страшное заключалось в том, что надо будет в ы с т у п а т ь. Он не забыл, как оскандалился тогда, в бараке... Толкнулся было за Подопригорой вдогонку, — «ну, какой я говорок!», — но того и след простыл. И вдруг обозлился на самого себя: «А чего я боюсь, что боюсь?.. Другие попроще меня и то не боятся говорить; посмотри, как выступают да обрисовывают!».

И, ведь, Подопригора, тот самый, недавно грозный для Журкина Подопригора, теперь только ради него приходил на завод. Подопригора, партиец... «Эта сила — она промежду себя, как войско, сцеплена!». И, оказывается, этой силе, то-есть партии, нужен он, Журкин, она тянет его к себе. Вот где была главная прочность! Может быть, давно следовало додуматься до этого Журкину, а пришло оно только сейчас; он поневоле закрыл глаза (стоял за верстаком), и молоток выскользнул из рук, и такое безбрежное, ничем не колеблемое успокоение охватило его, впервые охватило за многие-многие годы, может, за полжизни, — успокоение не только за себя, но и за Полю-жену и за сирот-ребятишек... И не нуждался он теперь в Петре, за которым не пропа-

дешь, да и ни в ком... И вспомнил, как в отчаянии, против самого себя, пожелал однажды этой зимой Подопригоре: «если б простудился он, в одной кожанке, ведь, ходит; простудился бы, да слег...». Вспомнил — и на весь день к чертям расстроился гробовщик.

А с ребятами он, действительно, говорил.

Как-то ночью бригадные вышли на двор, к кадушке с водой, покурить. Журкин, хотя и некурящий, тоже присел подле на камешке. Над головами, в глубокой и тихой высоте, жарко текли звезды... Несмотря на полночную тишь, то-и-дело прорывался настойчивый ветерок. Было в нем, в ветерке, беспокойное предвесье... Журкин опасно заметил:

— Ребята, вы с огнем-то помирнее, вон тут сколько сушняку кругом навалено. Полыхнет в одночасье! У нас вот снова в Сызрани...

И он рассказал им про сызранскую беду, когда небо от дыма затмилось, словно ночью, а люди без ума метались в огненном капкане... А ежели здесь, на стройке, случится что, не дай бог? Рассказывал он, особенно про ужасы, нараспев, по-бабьи, и парни, слушая, забыли про цыгарки. А угрюмый, оперыщийся на берданку сторож подозрительно спросил:

— Ты к чему это все?

— А вот к чему... — Журкин словно только и ждал этого вопроса. — Им бы сбить здесь свою дружину, чтобы она, в случае чего, сразу — как вихрь! Это дело он насквозь знает. Приспособление, какое требуется, партийные обещали дать, Журкин уже с ними говорил. Дружину даже обязательно надо! И Журкин строго, внушительно, как начальствующий, повторил то, что слышал не раз на собраниях:

— Вы знаете, чья здесь вся имущество? Она вся — народная.

Потом описал, как будет действовать лихая дружина. Бой на горящих крышах, кружительные лестницы, каски! Во дворе можно устроить ученье, лезть по столбу, по веревке, орудовать шлангом. Про дружину узнают по всей стройке, возьмут ее в пример. Дальше

у гробовщика переходило в сказку, в мечтанье: дружина спасет что-то, очень важное... за нею, только за нею, в случае где-либо серьезного несчастья, прискачут бешеные машины... Ребята обступили гробовщика, им передавался его жар. «Верно, Лексев, здорово!». На несуществующую дружину падал заранее тот же знакомый героический отсвет. Вася Поздняков, бывший плотник, решительно предложил:

— Нечего и откладывать, бригадир. Завтра еще с ребятами из первой смены надо потолковать.

Журкин спохватился: ой, затянулась же перекурка.

— Пошли, пошли.

★

О дружине Журкину пришлось поговорить и в завкоме. Он говорил долго и так же пылко, как с ребятами, и завкомовцы уважительно его слушали... (Только кончив, обсказав все, с изумлением понял гробовщик, что, ведь, это он выступал. Нечаянно как-то получилось!) В завкоме начинание его, конечно, одобрили, даже расстарались тут же, нашли где-то для дружины три пожарных каски.

В охотники записалось двенадцать человек. Своими силами смастерили длинную переносную лестницу, врыли на дворе гладкий столб для лазанья. Отыскалось нужное количество топоров и ломиков. Обучение решили производить по утрам, перед началом работы, а также перед второй сменой. Оно было нехитрое: по команде таскали лестницу, вползали наверх по столбу, катали по двору катки со шлангом. Но над этими движениями бушевала воображаемая беда.

Одну и ту же дорогу топтал Журкин ежедневно: от барака к заводу и обратно. И все неузнаваемой становилась она... Однажды на горизонте, за тепляком Коксохима, сразу вскинулись в небо две трубы, тонких и высоких: так называемые скрубера. Через день выросла третья. Слово отплывающий корабль стоял за горизонтом. Да и горизонта уже не было, его сплошь заткала

стрельчатая линия строительных вышек и лесов. Журкин теперь осматривался кругом с ревнивым любопытством старожилы. Он уже знал, где и что. Особенно его интересовала домна. Вчера она была похожа на огромный железный чан, а сегодня уже поднималась каланчой, и у нее намечалась талия с перехватом. В смертоносной выси, на кране, вились около нее комсомольцы, вились, пели и клепали. Выходя из барака, Журкин загадывал, сколько они еще наклепают за день... Однажды утром загадал на четвертый скрубер. Вышел на чистое место, глянул: четвертый скрубер уже просекал небо, едва-едва не ровень с тремя остальными. Ого! Разверзались под ногами котлованы такой необъятной глубины, что на дне и по скатам их мог бы уместиться целый Мшанск. И по дну, словно по широкой долине, ездили грузовики, тележки, сновали отряды людей, махали ковшами экскаваторы. Душа не отвращалась уже, как прежде, от этой железной чужбины, от ее грохотов, лязгов, от сверлящих и режущих звуков, наоборот — она обступала Журкина дружественным многолюдьем, он шагал по твердой, поработанной им теперь земле, шагал, как свой, паровозики посвистывали, и он, Журкин, задирая вверх бороду, глаза, посвистывал тоже. Ему мечталось: урвать бы часика два свободных, побродить, осмотреть всю эту кипучку насквозь, досыта... Как-то соблазнился, дал себе передышку и из столовой вернулся в знакомый коксохимовский тепляк. Громадина турмы, угольной башни, давила уже под самую крышу, готовясь прошибить ее; плотничьи леса и люльки вознеслись, чуть глазу видно. Сколько пропащего, горького пережил здесь гробовщик!.. Теперь он стоял да посвистывал. Около печей разыскал Подопригору.

Сообщил ему, что с дружиной у него все почти готово. Показать ее работу он подгадывает к кануну праздника, первого мая, вечерком, так и с ребятами сговорился. Покажут они, будто весь завод запыхал с крыши, и они будут его отстаивать. Пусть Подопригора и другие товарищи придут, проконтролируют.

— Договорились, — сказал Подопригора. Ждали его где-то другие, спешные дела.

Но Журкин не уходил.

— У меня еще есть... слово. Наше строительство — на нем тысячи народу... работают (чуть было не сказал: «кусок отрывают», да спохватился), и в него сунули миллионы денег. Чегой-то должно из этого получиться! Но оно получится, когда везде будет прочность. А есть, которые ударяют наоборот: чтобы ее не было... Ты сам, товарищ Подопригора, в бараке-то говорил...

— Правильно, есть.

— Есть, есть, — обрадовался гробовщик. — Он идет себе ночью по стройке, будто какой бродяга... глядишь, или запалит, или еще что. Его не уловишь. А скоро ветра... — Он перешел на торжественный шопот. — И вот... если бы ребят, а паче всего комсомольцев, тоже на этот случай в бродяг или в пьяных переряжать, да пусть они по стройке ночью рыскают, да документы им дать, чтобы чуть что заметили... за машинку — раз.

Подопригора слушал его терпеливо. Горячность гробовщика, он видел, была неподдельной. За плечами Журкина, в синеве, высочайше реяли четыре трубы-скрубера: отплавывал гигантский корабль... Подопригора сказал:

— Предложение твое дельное, но чего-то вроде, как в кино, получается. Надо еще обсудить.

И добавил:

— А ты вот что: снял бы, чудак, бороду, а то в станок попадет, вместе с башкой, ведь, ее оторвет.

— Да я и то покумекиваю. — Гробовщик смущенно зарделся.

В иные ночи теперь Журкин совсем не уходил с завода, ночевал в завкоме на диване. Николай Иванович, начальник цеха, звал его в одну такую ночь к себе чай пить и за чаем сообщил, что, возможно, при заводе скоро начнут строить жилой стандартный дом; по всей вероятности, и Журкину, как мастеру, дадут отдельную комнату.

— Конечно, тогда и семейство, и жену можешь к себе выписать. Большое семейство-то?

Журкин замялся.

— Да н-нет...

И тяжело вперился в свой стакан с чаем.

...О Поле почти забыл и думать Журкин, страдаемый лихорадкой нового устройства. Впрочем, возвращаясь в поздний час, иногда замедляя шаги около запертой ее каморки, настораживался. Поля обычно уже спала. И скучная тень пробегала по душе... Утром перебрасывались словечком на-ходу. Поля говорила только приятное: «Я всегда загадывала, Иван Алексеич, что вам, как мастеру, большой ход будет». А Журкин немножко важничал.

Однажды он не являлся ночевать подряд две ночи, Полю, должно быть, это задело... Когда Журкин вернулся, дверь каморки, несмотря на полночный час, была распахнута, там светло горела лампа, и Поля сидела за столом нарядная, в маркизетовом платье горошком. Журкин, замирая, гордо прошел мимо. В бараке огни в лампах-молниях были приспущены... Поля в полумраке сама догнала его: «Иван Алексеич, у меня к вам маленькая просьба: не можете ли завтра составить компанию в кино? Мне в рабочкоме два билета дали». Она подняла руки, поправляя кудерьки в своей прическе, особенно пригожей сегодня. Журкин опустился на койку около ее колен, от которых пахло новой материей. «Что ж, могу составить» — отвечал он, не подумав, сладко застигнутый врасплох. И Поля, вежливо поблагодарив, ушла... Как был Журкин в одежде, так и свалился, разбросался на койке. Неутоляюще, женственно пахло новой материей... Койки Петра и Тишки пустовали. «И где их носит, полуночников, где их только носит?» — поражался Журкин... Но врал он самому себе, не это было в голове.

На другой день сходил в парикмахерскую, подстригся и купил новую кепку стального цвета. После обеда на завод неожиданно забрел Петр (сказал, что по дороге); в первый раз случилось это. И под сердцем у Журкина почему-то тревожно кольнуло. Легче теперь ему было, когда не видел Петра. Словно

чувствовал себя виноватым перед ним в какой-то измене... Из цеха, от людей поспешно, опасливо увел гостя во двор. И Петр понял эту его суету, покривился... «Работаешь, Ваня, стремишься?» — «Работаю маленько». — «Что ж, работай... бог труды любит». В последнее время, после того базарного шума, Петр выглядел кислотовато. Но не насмешливый тон его слов раздражил Журкина. Гробовщик подметил, как Петр, резко повернувшись, перемигнулся с кем-то во дворе. С кем? Работали возчики, подносицы материала, черно-рабочие. Как ни напрягался Журкин, не усмотрел того человека... Ему стало неприятно. Он не хотел, не хотел, чтобы Петр или что-либо, исходящее от Петра, касалось этого завода! В тягостном, озлобленном раздвоении пребывал он до самого вечера.

А вечером у клуба, что на доменном участке, поджидала его Поля, то-и-дело поглядывая на дорожку. Огненная вывеска, огненный конек клубной крыши празднично колыхали в нежно-туманных сумерках. Как будто в сумерках молодости своей опять плутал гробовщик... И к праздничной получке написали ему за две недели полтораста рублей! Не всякий из этих людей, столпившихся около клуба, получал столько!.. Гробовщик почувствовал себя статным, ловким, могущественным.

Подошел к зардевшейся Поле, подал ей руку лодочкой. Поправил на голове новую кепку, одернул пиджачок, под которым красовалась рубашка, вышитая в крестик. «Ну?» — сказал он. И, следуя на шаг впереди Поли, степенно озираясь, направился в клуб.

В тесовом зале обе присели на стульях у стенки. Мимо гулял народ. Журкин не знал, с чего повести разговор, и сразу затомился. Снял кепку, внимательно осмотрел ее, опять надел. Поля чинно и радостно сидела в своем замечательном платье горошком, в красной повязке. Она так надушилась ландышем, что ело в глазах, и этот спиртной запах еще более дурил голову гробовщику.

— А вам товарищ Подопригора привет посылает, — начала Поля; было в

ее словах что-то заигрывающее и поддевающее.

— И от меня также обратно, — вежливо отозвался гробовщик и насупился.

«Значит, опять она... и нашим, и вашим». И Журкина ни с того, ни с сего начала угнетать его борода. Никогда он не чувствовал себя с нею таким нескладным. Стоило ему чуть повернуться туда или сюда, а борода уже нагло, на потеху всем, торчком вылетала вперед. Из-за нее и двигаться перестал, замер истуканом. Злился:

«И правда... смахнуть ее ко псам».

А Поля напевала:

— И долго, Иван Алексеич, у вас такая сурьезная работа будет, чтобы вас по целым дням не видать?

Журкин ответил как можно равнодушнее, истуканнее:

— В скорости, Поля, и совсем большая перемена может выйти. Не знаю, насколько правда, а будто комнату мне в заводском доме дают.

— Ко-омна-ту? — изумилась Поля.

И Журкину злостно-приятно было, что так метко попал, оплатил... Однако Поля и не думала расстраиваться. Она хихикнула, ежась, словно от щекотки, и локтем толкнула гробовщика.

— Теперь совсем жени-их!

Прежняя, милая Поля-простота! За стеною музыка хорошо играла. И Журкин готов был блаженно растопиться... Но вдруг вонзилась ему в душу Поля-жена: это она должна была радоваться за комнату, это она ему и рубашку крестиком вышила...

В это время распахнулись двери в зрительный зал. Туда повалил народ. И Журкин с Полей двинулись. Перемогая тоску, Журкин все-таки придерживал Полю ладонями за бока, чтоб не очень ее толкали. Это в первый раз он держал ее так... И Поля, как будто нечаянно, приваливалась к нему теплой спиной. Вышли уже в проход, где совсем свободно, а Журкин все вел ее в ладонях, не мог оторваться.

Поля, спустив с плеч пальто, устраивалась рядом, счастливая.

— Ах, как я кино люблю, Иван Алексеич!

Упала темнота, и будто только вдвоем остались в жизни. И Журкин перестал сопротивляться, его охватывала сладкая бесчувственность, забвенье. Он слышал колокольчиковую музыку пианино; на экран выпорхнули серебристые видения. Года два назад видел он кино в Мшанске, в Народном доме: стоял, таращился из толпы, позади стульев, совестясь, что от кучи ребят пришел на такую забаву...

На экране бежали и расшибались под музыку морские волны. Море было красивое: из музыки, из каких-то страданий и из волн... По горе, среди незнакомых деревьев, в ветер сбегала стриженная стройная девушка, за нею далеко виляя шарф. Поля жарко наклонилась.

— Это, Иван Алексеич, курорт показывают. Я очень люблю! Товарищ Подпригора говорит: когда стройку кончим, обязательно всех нас на курорт пошлют.

Ну, этому-то, конечно, Журкин не поверил. Он вспоминал: где еще, среди каких невзгод своих видел он на картинке такую же ликующую жизнь? Нет, теперь она уже не страшила его. А Поля, словно засыпая, все клонила, клонила к Журкину и, наконец, оперлась плечом ему о грудь. Так удобно было ей... Она была горячая, тяжелая. Она сладко пахла. Кудерьки ее щеко-тали Журкину щеку. Он тоже хотел придвинуться поближе, совсем щекой к щеке, но не смог из-за этого чорта, из-за бороды... Музыка путалась, извивалась у него в ушах. Поля разлеглась еще поудобнее. Она сделалась роднее сестры. Журкин закрыл глаза и, что есть силы, закусил губу, чтоб существо его не разорвалось.

Когда вышли на воздух, гробовщика знобило, а у Поли были заспанные, узенькие глаза. Приходилось расставаться; Журкин ночевал на заводе, потому что предстоял решительный день: показ дружины. Поля сказала, что тоже придет посмотреть.

Она, хоть и простилась, никак не могла уйти.

— Я вам, Иван Алексеич, про уполномоченного не договорила. Он на праздник в березки звал гулять, на

пикник. — И заторопилась. — Он сказал, что и вас позовет.

— Что ж, — согласился Журкин.

Ночные смены проходили на работу. Там и сям вырывались из темноты огненные ярусы лесов. Ночь гремела и сияла, как полдень. Журкин не знал, что бы ему еще сделать!

И — озарило:

— Поля, у вас сундучок-то мой... Если на эту гулянку пойдем, так я гармонию с собой заберу.

— Да? — расцвела Поля. — Иван Алексеич! Значит, кончили зарок-то?

Журкин ответил уклончиво:

— Попробую маленько, сыграю.

Работал он на другой день рассеянно, непоседливо. Хотя дружина была вполне готова к показу и, можно сказать, сама рвалась к этому делу, Журкин все боялся упустить что-нибудь. Выбегал посмотреть, привесили ли обренок рельса для тревоги, так ли расчистили двор... Да и вообще, близость праздника возбуждающе просвечивала всюду. В цехах стало нарядно от красных, развешанных гирляндами полотнищ.

Близился назначенный час. И Поля, главное, и Поля-дуреха захотела притти — на свою голову! Журкина опьяняло предощущение торжества. Понятно, не мог он предвидеть, как все это кончится на самом деле...

К шести часам на дворе временно приостановили работу. У сараев замешкался любопытствующий народ. Шоферы заглушили грузовики, слезли с машин. Появился Подпригора с парнем из газеты. Пришли товарищи из завкома, пришел начальник цеха, Николай Иваныч. Напоследок Поля пробежала из калитки, смешливо зажимая рот.

Двор в середине был пуст. Из окон доносилось неугомонное рычание станков.

Ждали.

Журкин вырвался из дверей цеха. Бегучим шагом пересекал двор. Его сапоги были зеркально начищены, пиджак в талии лихо перехвачен ремнем. Поля ахнула, свхатилась руками за щеки: бороды у Журкина не было. Мчался по двору черноусый и чернобровый молодчага в золоченой каске!

А у самого Журкина сперло дыхание. Народ рябил перед ним, народ кружился, народ смотрел, конечно, восхищенно. От пронзительной гордости глаза у Журкина залило слезами. Он подбежал к Подопригоре, отдал ему честь и рывком, по-военному, тряхнул руку. Больше не удостоил никого.

Человек, стоявший около подвешенного на столбе обрезка рельса, не сводил с Журкина глаз. Журкин, подбоченясь по-командирски, махнул ему рукой. Человек упоенно заколотил по рельсу палкой.

Дикие, вопящие звуки тревоги... Они оборвались внезапно. И в окнах смолкли станки. Тишина напряглась ощущением настоящей, невыдуманной беды...

И с двух противоположных концов завода высыпали во двор дружинники. Легкие, ярые, поверх пиджаков перетянутые ремнями, двое в касках. За ремнями — топоры. Четверо и еще четверо схватили по лестнице, мчали эти лестницы по двору. Еще четверо катили и разматывали катки со шлангами. Журкин приложил свисток к губам, резанул трелью.

Лестницы взлетели кверху, уперлись в карнизы, переливающиеся зыбью праздничных флажков. Двое и еще двое кошками скакнули на крышу, выхватили топоры, снизу подтягивали шланги. Журкин, помутневший, свирепый, обернулся к зрителям.

— Граждане, это будто вон там занялось, в куточке, за трубой!

Парни молотили крышу обухами топоров, воображаемо взламывали ее, валял воображаемый раскаленный дым, норовя удушить... Журкин гаркнул:

— Вод-ду!

Зычно у него получилось, вроде как тогда в вагоне «ст-теклы вст-авлять!». Дружинники подводили шланги к пожарным кранам. На крыше размахивали шлангами, целились в ожидании воды. Воды не было.

— Вод-ду д-д-да-вай! — остервенело заорал Журкин.

Дружинники растерянно туда и сюда вертели краны, но шланги оставались вальями, пустыми. На крыше происходило явное замешательство.

Журкин, раз'ярившись, сам подбежал к крану, отпихнул дружинника, начал орудовать ручищами. Потом отвернул шланг, посмотрел...

К нему уже неторопливо подходил Подопригора, за Подопригорой — парень из газеты, в болотных сапогах, с кожаной военной сумкой через плечо. Журкин поднялся с колен, запыхавшийся, потный. «Озорство» — бормотал он. Потом вместе с Подопригорой и парнем направился ко второму крану. И в тот кран, как и в первый, был глубоко, накрепко загнан дубовый клин.

Подопригора вскользь осмотрел, ощупал.

— Кто-то подарочек к празднику удружил. — Он положил Журкину руку на плечо. — Ты, друг, духом не падай, показал ты здорово... А этим делом мы займемся.

И на мгновение без слов, одним взглядом перемолвился с парнем из газеты.

★

После полудня отшумели разноцветные толпы на широкой степной площади Красногорска. Заводская молодежь, с которою Журкин участвовал в шествии, тотчас разошлась в разные стороны; Журкин примкнул на обратной дороге к своим барачным, но и те разбрелись, по-праздничному, кто куда. В запасе — целый день безоглядного отдыха!

В полупустом бараке окна и двери были распахнуты настежь. Ветер гулял по просторному помещению (печек больше и в помине не было) среди чисто застланных коек. Запах прохлады, запах теневой стороны дома... Журкин постучал к Поле, попросил ее выдать заветный сундучок. Расположившись на койке, бережно вынул из него гармонию, обдул ее со всех сторон, полюбовался. Богатая была гармония! За цветистой резьбой, с боков ее, переливался шелк. Меха блистали никелевыми наугольниками. За перламутровыми ладами таились волшебные голоса, по которым так истосковался слух!.. И снова почувствовал в себе гробовщик силу игры, ту самую рву-

щуюся без удерж, переворачивающую все нутро силу, которая когда-то заставила рехнуться три села... Нет, он уложил свое сокровище обратно. Ее нужно было сберечь, эту силу, донести туда до березок, и уже там — хлынуть! И он заранее видел изумленного, пришибленного насквозь тоской Подопригору, видел слезы в горящих полных глазах. Тоска, беда... Истерзанный, измученный, наш брат-мастеровой.

С воли пришел Петр, принаряженный, но что-то скучноватый. Вяло скинул кепку, вяло побалагурил насчет гробовщической бороды, присел.

— Иль куда собираешься, Ваня?

Журкин ответил — куда. Петр ожилился.

— Я тоже присоединяюсь к вашему обществу.

— Ну-к что ж, — сказал сдержанно Журкин.

Петр только сейчас заметил раскрытый на койке сундучок.

— А гармонья на что?

— Играть буду, нынче праздник.

— Ага-а-а... — понимающе и чуть-чуть глумливо протянул Петр в нос. — Та-ак. Зарок ломаешь, Ваня? Достиг?

— Дак мне что... был бы только кусок верный.

Петр прищурился одним глазом — пристально, многозначительно.

— А ты думаешь, он верный у тебя?

Журкин молча отвернулся, запирая сундучок. Неприятно ему было, что Петр незванно навязался в компанию, а разговоры эти запутывали опять, омрачали... И воспоминание о вчерашнем, как ни отвертывался от него Журкин, то-и-дело набегало недобрым ветерком.

Поля уже стояла, насквозь светила в дверях, звала. В руках у нее — кошелка. Журкин взял сундучок, потом из шкафчика еще кое-что, секретное, а Петр, конечно, кавалерственно выхватил у Поля кошелку. Нет, праздник-то все-таки получался.

Подопригора ожидал по дороге у рабочкина.

И еще по тропкам и дорогам двигались нарядные люди, с узелками и без

узелков, направляясь туда же: в березки. Березовая рощица — вон она, над Красногорском, на горе. За стволами ее светилась степь, российская сторона... Туда же, в березки, пробирались по площадке Коксохима и Тишка с Василием Петровичем, оба без кепок, в голубых майках, а Василий Петрович нес на плече гитару, как ружье. Майку Тишка надел в первый раз и на гулянку вышел тоже в первый раз.

По ухабам сзади валил грузовик, попутный грузовик, и Василий Петрович гитарой загородил ему дорогу.

За рулем сидела молодая женщина. Она остановила машину не совсем ладно, мотор заглох. Василий Петрович, как хозяин, закинул гитару в кузов и ловко вскочил одной ногой на колесо. «Что это я тебя будто не знаю. Давно ездешь?». Женщина ответила, что недавно. Она ездила несколько дней с инструктором, а теперь, в праздник, ей дали попрактиковаться одной. Женщина была приветлива и немного сконфужена. «Ну, вали» — поощрил ее Василий Петрович.

Женщина хотела вылезти, чтобы завести мотор. Но Василий Петрович спохватился: «Куликов, подсоби, живо!». Тишка, дичась, рванул у женщины из рук заводную рукоятку. «Зажигание-то проверил?» — строго окликнул его сверху Василий Петрович. Тишка покраснел и, просунувшись через окно в кабинку, поправил рычажок. В кабинке около женщины райски пахло. И Ольга увидела около себя напряженные, совсем детские, загнутые ресницы.

Когда машина двинулась, Василий Петрович присел на угол кузова и всей пятерней хватил по струнам. И Тишка захохотал. Но Василий Петрович не смеялся, он пристально глядел куда-то в сторону, он даже вскочил и замолотил кулаками по крыше кабинки.

— Стой! Стой!

Вдоль тепляка, вдоль бесчисленных штабелей шамотного огнеупорного кирпича брел человек. Одна губа его была рассечена надвое, глаза кровавые. С похмелья все ему было ненавистно. И хотелось пить. Он увидел в тени

тепняка водяную колонку. Подле никого не было... Человек приналег животом, что-то отвернул в колонке, и вода ударила из нее фонтаном. Человек ловил струю ртом, но его отшибало. Вода шумела, толстым столбом била вверх, ручьилась по земле... Человек попробовал завернуть гайку, но не смог, да он и не очень старался. Плюнув, махнул рукой и, не оглядываясь, поспешно свернул куда-то за кирпичи. А вода рвалась с треском, выше стропил тепняка, вода низвергалась на землю, сливалась в блистающие лужи. И уже не лужей, а целой рекой подтекала под драгоценный импортный, купленный на золото шамот...

— Стой! — орал Василий Петрович. Выкрикивая дикие ругательства, он уже бежал к колонке. Тишка поглядел недоуменно на брошенную в кузове гитару и тоже прыгнул.

Василий Петрович яростно крутил гайку, но она не поддавалась или была свернута, вода с тою же силою била, свистала, обрушиваясь на землю, на праздничные его брючки. Парень выпрямился и пустил вдоль тепняка новое ругательство, еще страшнее первого. Ольга в кабинке призакрыла глаза. Остановились несколько любопытных. Василий Петрович зажал отверстие ладонями. Из колонки с визгом брызгало, стреляло, река под нижними рядами шамота продолжала прибывать... Тогда Василий Петрович с таким лицом, будто убивал кого-то, сорвал с себя майку и накрутил ее на колонку. Одной майки оказалось недостаточно, ее пучило, из-под нее хлестали струи. Василий Петрович прохрипел что-то Тишке. Тот тоже стащил с себя майку. Теперь Василий Петрович закупорил колонку окончательно и сам сверху лег животом, а сбоку к ней прижался голым животом Тишка, для крепости охвативший руками и колонку, и Василия Петровича. Издали уже спешили двое ротозеев из охраны. Василий Петрович кистил их на все лады, без передышки.

Потом шли к машине за гитарой. «До свиданья» — хмуро бросил Василий Петрович Ольге. Тишка ежился

поодаль, стыдился. Гулянка не вышла, и было обидно, так на первый раз обидно, но он с верой смотрел на Василия Петровича. Оба повернули, побрели, полуголые, домой. Василий Петрович нес гитару на отлете, чтоб не замочить, праздничные брючки на нем слиплись, и в руке оба несли по мокрому комочку: по майке.

Ольга глядела им вслед. Ей казалось, что она наконец поняла многое, и не только умом, поняла какой-то лучшей, человечнейшей частью своего существа. По-матерински вспомнила она терсницы...

Подопригора встретил компанию чисто выбритый, в белой рубашке. Через полчаса поднимались уже на гору. Это была та самая гора Красная, насыщенная чудовищными залежами драгоценной железной руды (руда эта выпирала даже на поверхность), знаменитейшая советская гора, у подножия которой и ради которой созданная небывалый завод-гигант. На рыхлых увалах вершин бежала весенняя дымка, покоилось небо. Не было видно работающего человека, человек отдыхал, но и во временном этом безмолвии, в застылости буровых вышек, безлюдных карьеров, недомонтированных кранов проступал тот же стремительный размах!.. Все на этой земле — сооружения, люди, подвиги — хотело, рвалось превысить черту всегдашнего, житейского... Компания приотдохнула, полюбовалась на солнечную, оставленную внизу долину. Журкин отыскал глазами свой завод. А вон зеркалится, горит за плотиной озеро, а вон и бараки шестого участка! Подопригора с лукавым видом сказал Поле:

— Относительно палаток я уже говорил кое с кем: дадут.

— Каких палаток? — удивилась Поля.

— Так мы же бараки-то будем штукатурить? А людей на время в палатки.

Поля еще не слыхала, что будут штукатурить. Это Подопригора заглаживал прошлое, преподносил к празднику подарок. Белоснежно-сияющие стены, от которых даже в пасмурный вечер светло! А у той, товарки, стены тесовые, летом в оба гляди, чтобы клоп

не завелся... Но Поля была не из тех, которых можно в миг улестить. Протянула равнодушно:

— Во-от что...

А глаза у самой стали пылкие. Журкин прислушивался, понимал... Конечно, не тягаться ему с Подопригорой в таких делах. «Ну, подожди, зайдем на горку, выну гармонь...». И опять обнесло его дрожью, от предвкушения песни.

Петр шагал позади всех. За козырьком кепки не видно было лица. Думал свое... Ходили слухи, что у Сыся Яковлевича в магазине неладно, несколько дней шла ревизия. Этот дурак мог зашиться, а потом и на других наклепать со зла. И прибыток, ранее получавшийся от базаров, пока кончился. Реже случалось теперь бывать у хмурой старухи, около своего счастья. И с этим счастьем тоже нужно было еще лавировать...

Первую достигла рожицы Поля. Аукнула и, раскрывив руки, побежала. Подопригора ринулся за ней. Журкина стесняли гармонья и сумрачный сзади Петр, а то и он выкинул бы какое-нибудь коленце. Березки опажули его прохладой и простотой родины. От их белых, частых, словно бегущих кругом, стволов, от бездонной — во все стороны — глуби их, тоже белой и узорчатой, закружилась голова. Подопригора все-таки поймал на полянке Полю, которая отбивалась, закатывалась от смеха. Потом подбежала и к Журкину и его закрутила, вместе с гармоньей, до темноты в глазах. Чго ж, захотелось ей поиграть!

На полянке и присели. Поля поместилась около Подопригоры (и тому это очень понравилось, нет-нет да поглаживал ее по плечу), раскрыла кошелку и принялась хозяйничать. Расстелила на траве домашнюю салфетку, выложила хлеб, воблу, яйца, соленые огурцы, три бутылки ситро... У Журкина от этого изобилия вчуже заболело сердце.

— Зачем вы, Поля, этак израсходовались-то?

Оказывается, не одна Поля, а и Подопригора тут постарался. Тогда и

Журкин слазил в боковой карман. Уж если праздник, так чтобы все честью! Косясь на Подопригору, он торжественно поставил перед Полей запретную пол-литровку. Подопригора погрозил ему пальцем, однако, первый не отказался, глотнул из кружки, которую поднесла ему Поля.

И прочие глотнули. Поля раскраснелась, шумливо угощала всех, повязка спустилась у нее с головы. Да пусть! За березками, под вечереющим солнцем, сквозил далекий-далекий кусочек стройки. Глядел туда Журкин из-под березок, глядел, словно из Мшанска. Словно и не было разлучных двух тысяч верст... Сказал бы он об этом сейчас от души, сказал бы всем, положив руки на грудь, да Петр сковывал его... Все подзакусили, разнежались, привалились спинами к березкам. Поле, главной заводиловке, не терпелось.

— Теперь-то Иван Алексенч нам сыграет!

У Журкина полыхнуло жутко под сердцем. Петр вдруг лебезливо оживился:

— Вы его попросите эту песню, он знает какую... от которой заплачешься!

И начал хвалебно расписывать Подопригоре, как за Ваней три села ушли, и как после этого Ваню посадили в острог за политику. Подопригора не то слушал, не то нет.

— Ну-ка, Журкин!

Гробовщик вынул свою красу из сундучка, положил пальцы на лады. Голова его кручинно упала на гармонью. Он взял пробный аккорд — в минорном тоне песни. Березки, березки, за ними островок с вечереющими, причудливыми зданиями. И гробовщик вызвал в своей памяти гиблую пургу, бушующую над чужбиной, слезные проводы, как на смерть, покойного отца, подвальное жилье, забитое до потолка гробами, — все дальше и дальше, в глубь пережитого, рыдая, улетали его мысли. Рыданьем должна была рвануть сейчас за сердца гармонья. И гробовщик рванул.

Далеко в березках отдалась песня. Журкин сыграл ее раз, начал во вто-

рой... Подопригора сидел, курил. Поля возилась со своей повязкой, кудерьки охорашивала. Не забирало их обоих... И гробовщик сам чувствовал, что не то у него выпевается. В отчаянии он подпустил еще больше жалостности, пронзительной и протяжной, в крик. И только один полузакрытый тоскливый глаз Петра чуял на себе.. Нет, не выходила песня. В нем самом не выходила она. И песня гасла, пальцы его вяло перебирали лады, словно это он сыграл только пробу. Поля подседала — игриво, просительно.

— Иван Алексич, вы бы повеселее что-нибудь.

Мало он знал веселого. Вот разве ту-степ? И он заиграл, конечно, только в угоду компании, переборчатый мшанский ту-степ. В Мшанске на свадьбах девушки скидали полсапожки и оттопывали его в одних шерстяных чулках. И Поля вдруг взвилась с места с платочком в руках, закружилась, отступая с поклонами, разводя пальцами юбку. И-и-их! На опушке поляны остановилась компания парней и девчат, загляделась. Подопригора, привстав на колени, нахлестывал в ладоши. И в самом Журкине озорные живчики забегали. Хорошо сейчас было, семейно! Он нашел нечаянно какой-то новый, зажигательный, для него самого диковинный, перехват. Гармонья ахнула вдруг на всю рощу, словно силы в ней прибавилось втрое.

Парни с девушками на опушке закружились парами.

Откуда-то надвигался гул. Слово изнутри, гудели березы, струнно гудела земля. Журкин заиграл потише. Люди на опушке подняли головы. С запада,

розовея, шел самолет. Поля, запыхавшись, упала рядом с Журкиным. Тоже смотрела вверх. Гробовщик чуть-чуть наигрывал.

— Пассажирский... наверно, из Москвы, — шурился Подопригора.

— Куда он, интересно, — приподнявшись, гадал Петр.

— В Сибирь куда-нибудь, на стройку... а, может быть, и дальше, до Китая.

— До Китая? — переспросил Петр, и Подопригора подивился на его голос, на мутные, тоскующие глаза. И еще увидел Подопригора, как Поля, от изнеможения, легла щекой к гармонисту на плечо. Он скривился, обращаясь к Петру:

— Что это, братец, лицо у тебя бывает такое...

И отвернулся. Отвернулся и лег на траву. А гробовщик опять заиграл. Может быть, взгрустнулось Подопригоре, среди берез, о семейном флигельке, о тех цветах за окошком? Или затосковал о ребятишках, оставленных внизу, в бараке? Что ж, ребятишки с завтрашнего дня пойдут в детский сад. Или какая неумная дума о работе ущемила его?.. Самолет подошел к Красногорску со степной стороны, горы раздвинулись в ущелье, там осколком синего моря проблеснуло озеро, и в воздухе — цепочка первых огней. Стройка двигалась под самолетом необозримо, взвихренно.

Подопригора поднял голову. Поля улыбалась ему, не то ласково, не то виновато. И Подопригора, что же делаешь, улыбнулся. А Журкин все играл, все играл!

Конец первой книги



Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ



Н. И. ЕЖОВ

К двадцатилетию ВЧК — ОГПУ — НКВД

20 лет назад в огне борьбы за укрепление Советской власти и за упрочение победы Великой Октябрьской социалистической революции был создан орган государственной безопасности, орган советской разведки—Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Возвращенная партией Ленина—Сталина, ВЧК скоро стала «грозой буржуазии, неусыпным стражем революции, обнаженным мечом пролетариата» (Сталин). В борьбе против свергнутых эксплуататорских классов советская разведка—это разящее оружие диктатуры пролетариата — на всем протяжении своей 20-летней истории разоблачала заговоры внутренних и внешних врагов советской страны, охраняла мирный труд советского народа и очищала нашу родину от шпионов, вредителей, диверсантов и террористов.

Капиталистическое окружение явилось основным фактом, определившим условия борьбы единственной страны диктатуры пролетариата.

«Мы — страна, окруженная капиталистическими государствами. Внутренние враги нашей революции являются агентурой капиталистов всех стран. Капиталистические государства представляют базу и тыл для внутренних врагов нашей революции. Воюя с внутренними врагами, мы ведем, стало быть, борьбу с контр-революционными элементами всех стран» (Сталин).

Поэтому защита диктатуры пролетариата от всех происков контрреволюции стала самой насущной задачей на следующий день после победы Советской власти.

Ленин говорил:

«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»...

Под руководством партии Ленина—Сталина наша Великая Октябрьская социалистическая революция быстро научилась защищаться.

Учитывая, что на все происки контрреволюции диктатура пролетариата должна отвечать «репрессией, беспощадной, быстрой, немедленной, опирающейся на сочувствие рабочих и крестьян» (Ленин), партия создала особый карательный орган защиты революции—ВЧК.

«Этот орган был создан на другой день после Октябрьской революции, после того как обнаружили всякие заговорщицкие, террористические и шпионские организации, финансируемые русскими и заграничными капиталистами» (Сталин).

На посту первого руководителя Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией партия поставила лучшего соратника Ленина и Сталина, негибаемого большевика, стойкого рыцаря революции, Феликса Эдмундовича Дзержинского.

«Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской революции. Гроза буржуазии — вот чем был Феликс Дзержинский» (Сталин).

Формы и методы борьбы мирового капитализма против первой страны социализма на разных этапах менялись. Но на всех этапах этой борьбы неизменной оставалась постоянная скрытая война агентов мирового капитализма против советской страны путем посылки в нашу страну и вербовки внутри страны террористов, вредителей, диверсантов, шпионов.

В годы гражданской войны агенты мировой буржуазии и ее разнообразная разведка пытались террором и диверсиями, шпионажем и заговорами взорвать тыл страны, чтобы нанести поражение Красной Армии, защищавшей советский народ от империалистических захватчиков. В годы мирного строительства террором и диверсиями, вредительством, шпионажем и заговорами мировая буржуазия пыталась подорвать хозяйственную и военную мощь нашей страны, посеять смятение среди трудящихся масс и облегчить таким путем военную интервенцию против Советского Союза.

В борьбе против страны социализма враги народа не останавливались ни перед какими преступлениями. Они шли на продажу родины, на сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами. Когда *«... дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости... когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами» (Ленин).*

Все контрреволюционные организации, начиная от савинковского «Союза защиты родины и свободы», меньшевиков, эсеров и кончая троцкистско-бухаринскими бандами, продавали нашу родину империалистическим хищникам. Они, как верные псы и лакеи империалистов, действовали по заданиям разведывательных органов иностранных государств, чтобы любой ценой свергнуть диктатуру рабочего класса, вернуть свободный советский народ к ужасам капиталистического гнета и эксплуатации.

РАЗГРОМ ОРГАНАМИ ВЧК ЗАГОВОРОВ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ВЧК, созданная Советской властью, складывалась и закалялась, как орган защиты диктатуры пролетариата, в огне борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией.

Разбитые в боях в дни октябрьского штурма капиталисты и помещики, царские чиновники и генералы, черносотенное офицерство, все контрреволюционные партии кадетов, меньшевиков и эсеров бросились с бешеной яростью в атаку против установившейся новой власти—власти рабочих и крестьян. Контрреволюционным саботажем они пытались принудить неокрепшую еще диктатуру пролетариата отказаться от решительного слома старого государственного аппарата. Спекуляцией они стремились усугубить экономическую разруху,

унаследованную советским правительством от царского и буржуазно-помещичьего господства, и задушить революцию голодом. Они затевали военные мятежи и заговоры, чтобы ослабить Советскую власть.

Отражая при помощи ВЧК натиск внутренней и внешней контрреволюции, разоблачая и уничтожая заговорщиков, пролетарская диктатура показала величайший размах, глубину и неиссякаемые силы победившей революции.

Велика роль ВЧК, как зоркого стража революции в тяжелые годы гражданской войны и военной интервенции иностранных полчищ.

Советская Россия, окруженная армиями 14 государств, превратилась в осажденный лагерь, опоясанный огненным кольцом фронтов и подрываемый изнутри лазутчиками империалистических разведок.

Крупнейшие английские разведчики и провокаторы Локкарт, Поль Дюкс, Сидней Рейли; германские шпионы Рицлер и Шуберт; руководители польской шпионско-диверсионной и террористической организации — «Польской организации войсковой» («ПОВ»); организатор всех антисоветских авантюр в Японии, глава японской военной миссии во Владивостоке Араки; агенты французских империалистов — все они плели сеть заговоров, восстаний, насаждали шпионов и диверсантов, готовясь нанести удар в спину Советской России в решающий момент борьбы на фронтах гражданской войны.

ВЧК во главе с товарищем Дзержинским раскрыла и ликвидировала в 1918 году крупнейший по своим размерам заговор английского разведчика Локкарта, который по существу был заговором всех разведок мирового империализма. Планы заговора обсуждались на совещаниях иностранных дипломатов. Заговорщики ставили себе целью в контакте с Троцким и его бухаринским охвостом сорвать мирную передышку, сорвать Брестский мир. Они готовили провокационное восстание воинских частей, арест всего состава ВЦИК'а, убийство Ленина. Подкупом и провокациями заговорщики хотели открыть дорогу на Москву английскому экспедиционному корпусу в Архангельске.

Восстание чехословаков, военные мятежи контрреволюционной организации савинковского «Союза защиты родины и свободы» в Ярославле, Муроме, Рыбинске, контрреволюционный мятеж «левых» эсеров, убийство Урицкого и Володарского, покушение на жизнь Владимира Ильича Ленина — все это составные части заговора Локкарта и его сообщников.

Советская власть ответила на террор и заговоры внутренней и внешней контрреволюции красным террором, призвала рабочих и крестьян к бдительности, к решительной борьбе с контрреволюционерами. Народные массы поднялись на защиту своих завоеваний, помогая ВЧК ликвидировать заговор.

ВЧК вскоре раскрыла другой крупный военный заговор в Петрограде, организованный английским разведчиком Поль Дюксом в период наступления Юденича (1919 г.). Вместе с контрреволюционной организацией «Национального центра», деятельность которой направлялась и финансировалась иностранными разведками, шпионы организовали восстание на форту «Красная горка» в мае 1919 г. У них на службе были изменники и предатели, пробравшиеся в штабы Красной Армии, оборонявшей Петроград. В буржуазных особняках, в зданиях дипломатических миссий хранились винтовки, пулеметы, гранаты и бомбы для военного мятежа в Петрограде.

ВЧК раскрыла этот заговор, напала на след шпионов и заговорщиков и ликвидировала заговор «Национального центра».

Разгром этого заговора сыграл серьезную роль в деле победы над Юденичем.

ВЧК также раскрыла коварные происки и заговоры германской разведки. Немецкие империалисты готовили оккупацию Москвы военными силами в момент контрреволюционного левозсеровского мятежа. Они насаждали своих шпионов на Петроградском фронте и отправляли белых офицеров на юг России для формирования белогвардейской армии.

ВЧК вела беспощадную борьбу с коварной, подрывной деятельностью польской разведки. Шпионская агентура польских панов, стремясь осуществить «федеративный» план Пилсудского, т. е. поражение Советской Украины и Белоруссии, прибегала к самым гнусным средствам. Взрывы мостов, поджоги складов, убийства партийных и советских работников, засылка глубоко законспирированных провокаторов в партийные и советские организации—все это входило в арсенал подрывной деятельности польской разведки. Эти планы польских интервентов были разбиты ВЧК.

ВЧК с помощью рабочих, крестьян, красноармейцев разгромила многочисленные заговоры иностранных разведок.

Она показала себя

«разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчисленных покушений на советскую власть...» (Ленин).

Разгром органами ВЧК заговоров иностранных разведок был в то же время разгромом и внутренней контрреволюции, так как *«внутренние враги нашей революции являются агентурой капиталистов всех стран»* (Сталин).

Без ВЧК мы бы не победили на фронтах гражданской войны, мы бы не отстаивали свободы и независимости нашей родины.

ГПУ В УСЛОВИЯХ МИРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Победоносное окончание гражданской войны, изгнание белогвардейцев и интервентов из пределов нашей родины не устранили опасности капиталистического окружения. Партия Ленина—Сталина видела эту опасность и предупреждала о ней трудящихся. На IX Всероссийском Съезде Советов, в декабре 1921 г. В. И. Ленин заявил от имени советского правительства:

«Советское государство допускает к себе иностранных представителей под предлогом помощи, а эти представители помогают свергнуть Советскую власть, чему примеры бывали. В положение такого государства мы не попадем, благодаря тому, что мы будем ценить и использовать такое учреждение как ВЧК. Это мы можем всем и всякому гарантировать» (Ленин).

ВЧК, реорганизованная в конце 1921 г. в ОГПУ, продолжала и дальше борьбу с контрреволюционными заговорами, со шпионами и диверсантами, засылаемыми иностранными разведками, охраняя завоеванный в боях мирный труд. Одновременно ОГПУ начало борьбу с экономической контрреволюцией, с вредительством, со всеми попытками срыва мероприятий Советской власти по экономическому возрождению страны.

Капиталистический мир был вынужден пойти на «мирное» сосуществование со страной строящегося социализма. Но он не отказался от мысли подготовить новую вооруженную интервенцию. Поэтому «скрытая война» — засылка шпионов и диверсантов, руководство контрреволюционными организациями в тылу СССР не прекращались ни на один день.

Успехи социалистической индустриализации вызвали новый нажим международного империализма на Советский Союз, активность всех внутренних и внешних врагов нашей социалистической родины. Белогвардейские агенты иностранных разведок совершили ряд диверсионных актов внутри СССР. Троцкисты и зиновьевцы перешли в это время к открытой антисоветской деятельности, вступили в контакт с белогвардейцами, создавали при их помощи подпольные типографии, открыто призывали иностранную буржуазию к ускорению вооруженного нападения на Советский Союз, обещав помочь ей в свержении Советской власти.

Движимые ненавистью к стране строящегося социализма, но вынужденные отказаться временно от военной интервенции, враги советской страны перешли к экономической интервенции, как основному методу подготовки вооруженной интервенции против Советского Союза.

Вредительство — дезорганизация и выведение из строя как отдельных предприятий, так и целых участков народно-хозяйственного фронта было важнейшей формой этой экономической интервенции. Контрреволюционные элементы из числа старых специалистов, тесно связанных с эмигрировавшими за границу бывшими хозяевами фабрик и заводов, по прямому заданию разведок капиталистических стран, вели замаскированную вредительскую работу.

В 1928 году ОГПУ была разгромлена банда шахтинских вредителей, ставивших перед собой задачу разрушения Донбасса.

«Шахтинцы» были связаны с многими иностранными разведками. По заданиям этих разведок вредители портили электростанции, выводили из строя вентиляцию и водоотливы в шахтах, разрушали транспорт, стремясь к полной приостановке топливного снабжения нашей промышленности.

Экономическая интервенция капиталистического мира охватила не только Донбасс, но и целый ряд других отраслей промышленности.

ОГПУ распутало клубок подлого заговора, показав, что за спиной вредителей стояли такие акулы международного капитала, как нефтяной магнат Детердинг и официальные учреждения иностранных государств.

Экономическая интервенция была рассчитана на то, чтобы подготовить почву к новой военной интервенции капиталистических стран против Советского Союза.

Товарищ Сталин говорил в 1928 году:

«Классы существуют, международный капитал существует, и он не может смотреть спокойно на развитие страны строящегося социализма. Раньше он, международный капитал, думал опрокинуть советскую власть в порядке прямой военной интервенции. Попытка не удалась. Теперь он старается и будет стараться впредь ослабить нашу хозяйственную мощь путем невидной, не всегда заметной, но довольно внушительной экономической интервенции, организуя вредительство, подготавливая всякие

«кризисы» в тех или иных отраслях промышленности и облегчая тем самым возможность будущей военной интервенции».

Великие победы социализма в СССР, успешный ход осуществления первой пятилетки, поворот крестьянства на рельсы социализма и переход к политике ликвидации кулачества как класса — означали крах надежд международной буржуазии на восстановление капитализма в СССР. Это послужило причиной усиленной подготовки новой вооруженной интервенции против Советского Союза со стороны империалистических государств.

С этой целью иностранные разведки организовали силами контрреволюционных элементов внутри СССР вредительство и шпионаж в гораздо больших масштабах, чем раньше, чтобы вызвать всеобщий хозяйственный кризис в нашей стране к моменту вторжения на советскую землю империалистических армий.

Союзниками империалистов в подготовке вооруженной интервенции против СССР явились троцкистско-зиновьевские и бухаринско-рыковские предатели. Борьба троцкистов и бухаринцев против генеральной линии партии, их злобные усилия сорвать сталинскую пятилетку полностью соответствовали интересам капиталистических интервентов. Уже в этот период вредители и шпионы иностранных разведок видели в троцкистах и зиновьевцах, в Бухарине, Рыкове и их приспешниках своих естественных союзников.

Однако, ОГПУ и на этот раз сорвало планы интервентов. Были разгромлены основные организации вредителей и шпионов.

ОГПУ разгромило «Промпартию», которая представляла собой разветвленную шпионско-вредительскую организацию, действовавшую под покровительством французской разведки. «Промпартия» была связана с объединением русских капиталистов за границей «Торгпромом», имевшим свою базу в Париже (Рябушинский, Денисов, Коновалов, Нобель, Гукасов и др.).

Передавая своим иностранным хозяевам шпионские сведения, руководители «Промпартии» уже делили между собой министерские портфели, торгуя нашей родиной, обещая интервентам «уступить» Баку, правобережную Украину, предоставить любые концессии иностранным капиталистам и готовясь превратить СССР в колонию западно-европейского империализма.

ОГПУ разгромило также партию кулацкой контрреволюции — банду кондратьевцев и чайновцев. Свою вредительскую, диверсионную работу эта шайка проводила преимущественно в деревне, в земельных органах, сельскохозяйственной кооперации. Поощряя кулацкие хозяйства, разрушая совхозы и колхозы и ведя шпионскую контрреволюционную работу, она прямо опиралась на предателей Бухарина—Рыкова—Томского.

Разгром этой эсеровско-кулацкой банды означал удар по кулачеству и помощь бедняцко-средняцким массам крестьянства в укреплении великого колхозного движения.

В 1931 году ОГПУ разоблачило и разгромило вредительско-шпионскую организацию меньшевиков. Так называемое «Союзное Бюро» меньшевиков, разгромленное чекистами, представляло собою разновидность агентуры иностранных разведок, действовавшей, главным образом, под видом «экономистов», «плановиков» в хозяйственных органах Советской власти.

Вредительством и провокациями меньшевики подрывали материальное положение рабочих масс, стремились организовать голод в рабочих районах, чтобы вызвать этим недовольство Советской властью.

Разведки империалистических стран осуществляли свою подрывную деятельность, прикрываясь также так называемой «технической помощью». Но и эта ставка интервентов была бита. ОГПУ разоблачило вредителей и шпионов из английской «Интеллидженс-Сервис», которая заслала в СССР разведчиков под видом инженеров и техников английской фирмы «Метрополитен-Виккерс».

Разгром «шахтинцев», «Промпартии», кондратьевцев-чаянцев, меньшевиков-интервенционистов — расстроил планы врагов и немало помог выполнению первой пятилетки.

БОРЬБА С ФАШИСТСКИМИ РАЗВЕДКАМИ И ИХ ТРОЦКИСТСКО-РЫКОВСКО-БУХАРИНСКОЙ АГЕНТУРОЙ

Победа социализма в нашей стране, окончательная ликвидация всех эксплуататорских классов, рост морального и политического единства советского народа, сплоченного вокруг партии большевиков и Советского правительства, вызвали бешеную ненависть и звериную злобу фашистских поджигателей войны. Видя свою полную обреченность, остатки разбитых эксплуататорских классов внутри страны перешли к самым крайним, самым отчаянным средствам борьбы против победившего социализма. Именно в этот период товарищ Сталин предупреждал:

«...чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они итти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последние средства обреченных» (Сталин).

В авангарде остатков разбитых эксплуататорских классов стали наемные лакеи фашизма — рыковско-бухаринско-троцкистские шпионы, вредители, диверсанты и убийцы. Они полностью слились с фашистскими разведками, выполняя их задания по организации террора и диверсий, шпионажа и вредительства.

«...троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств» (Сталин).

Двурушничая и прикрываясь партийными билетами, пролезая в партию и на ответственные посты, троцкисты и рыковцы «оказались прямой находкой для разведывательных органов иностранных государств» (Сталин).

Эти подлые фашистские наймиты хотели отдать рабочих, крестьян и нашу трудовую интеллигенцию на разгром фашистским бандам, они хотели превратить нашу цветущую родину в колонию японо-немецкого и польского фашизма.

Ради этого они убили т. Кирова. Ради этого они собирались убить других руководителей нашей страны. Ради этого они шпиони-

ли, вредили, производили железнодорожные крушения, производили взрывы на шахтах, поджигали заводы, совхозы, колхозы.

Не сразу удалось раскрыть лицо глубоко замаскированных, изощренных в подлости и провокации, лютых врагов народа—Троцкого, Зиновьева, Каменева, Пятакова, Радека, Бухарина, Сокольников, Рыкова, Рудзутака, Енукидзе и других менее известных, но столь же гнусных врагов народа.

Притупление классовой бдительности, преступная беспечность, граничившая с предательством, проявившиеся во многих звеньях нашего советского и партийного аппарата, долгое время облегчали врагу возможность вести его гнусную подрывную работу. Враги пытались парализовать даже советскую разведку, засылая в ее органы фашистских шпионов.

Только благодаря прозорливости руководства нашей партии, своевременно укрепившего органы НКВД и мобилизовавшего бдительность всей нашей партии, рабочих, колхозников, интеллигентов, чудовищные злодеяния троцкистско-рыковско-бухаринской банды были разоблачены до конца.

По инициативе партии и правительства в органы НКВД был направлен для руководства секретарь ЦК ВКП(б) тов. Н. И. Ежов.

Под руководством тов. Ежова советская разведка стала наносить беспощадные и меткие удары троцкистско-рыковско-бухаринским бандам. Перед лицом трудящихся всего мира советская разведка раскрыла чудовищные дела и замыслы поджигателей новой мировой войны, презренных агентов фашизма.

В кратчайший срок были разоблачены и ликвидированы осиные гнезда этих наемных лакеев фашизма, террористов, диверсантов, вредителей, шпионов.

Славные наркомвнудельцы распутали грязный, отвратительный клубок, в котором под руководством фашистских разведок сплелись воедино троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, рыковцы, буржуазные националисты, меньшевики, эсеры, белогвардейские генералы.

Карта врагов оказалась битой.

Центральный Комитет ВКП(б) в своем обращении к избирателям в Верховный Совет СССР от 6 декабря 1937 года дал высокую оценку этой работы НКВД. ЦК ВКП(б) отметил, что наша родина имеет теперь в своем распоряжении *«проверенные карательные органы», «способные обезвредить шпионов, вредителей, диверсантов и других врагов советского народа».*

СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА — ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ НАРОДА

На протяжении своей двадцатилетней истории советская разведка боролась на самых опасных и передовых участках классовой борьбы. Она заслужила горячую любовь советского народа и звериную ненависть всех врагов трудящихся. Она показала себя зорким стражем революции, охраняющим завоевания социализма и мирный труд советского народа. В борьбе с многочисленными врагами нашей родины—с заговорщиками, шпионами, вредителями, диверсантами — она вышла победительницей.

Особенно велики победы советской разведки в борьбе с фашистскими разведками и их троцкистско-рыковско-бухаринской агентурой.

Сила и непобедимость советской разведки — в силе диктатуры рабочего класса, в силе власти Советов. Созданная и воспитанная партией Ленина—Сталина, советская разведка сильна большевистской партийностью, высокой идейностью в работе, неразрывной связью с советским народом. Трудящиеся Советского Союза считают делом своей чести помогать славным наркомвнудельцам в их трудной и почетной работе. Связь советской разведки с трудящимися массами неизмеримо выросла в настоящее время, когда «...в нашей стране создано невиданное раньше **ВНУТРЕННЕЕ МОРАЛЬНОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО НАРОДА**, моральное и политическое единство социалистического общества» (Молотов).

Это делает советскую разведку непобедимой.

Советская разведка в отличие от разведок буржуазных стран отстаивает кровные интересы трудящихся. Советская разведка отстаивает дело мира, борется с поджигателями войны.

«...В мире нет ни одного государства, где бы органы государственной безопасности, органы разведки были бы так тесно связаны с народом, так ярко отражали бы интересы этого народа, стояли бы на страже завоеваний народа.»

В капиталистическом мире органы разведки являются наиболее ненавистной частью государственного аппарата для широких масс трудящегося населения, поскольку они стоят на страже интересов господствующей кучки капиталистов. У нас, наоборот, органы советской разведки, органы государственной безопасности стоят на страже интересов советского народа. Поэтому они пользуются заслуженным уважением, заслуженной любовью всего советского народа». (Из речи т. Ежова на заседании Президиума ЦИК СССР 27 июля 1937 г.).

В целях повышения революционной бдительности масс в борьбе с фашистскими разведками и их троцкистско-бухаринскими бандами партия приняла необходимые меры к тому, «чтобы наши товарищи, партийные и беспартийные большевики, имели возможность ознакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительско-диверсионной и шпионской работы иностранных разведывательных органов» (Сталин).

Осуществление этого мероприятия партии уже принесло свои плоды. Повысилась революционная бдительность масс, возросло умение распознавать замаскированных врагов народа. Борьба с бухаринско-троцкистской агентурой фашизма, борьба за сохранность государственной тайны, за нерушимость социалистической собственности стали делом миллионов.

Советский народ помнит слова товарища Сталина: «Пока существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы агентами иностранных разведок».

Тем более помнит их и будет помнить наш НКВД.

Советский народ знает, что его неусыпный страж — НКВД будет и впредь беспощадно громить и корчевать врагов народа, подлых изменников родины.

Таковы славные итоги двадцатилетней работы ВЧК—ОГПУ—НКВД.

(«Правда», 20 декабря 1937 г.).

Памяти Феликса Дзержинского

С. ДЗЕРЖИНСКАЯ

«Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время, это — одно непрерывное действие, чтобы устоять на посту до конца... Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и у меня твердая воля идти за мыслью до конца...

Кольцо врагов зажимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу... Каждый день заставляет нас прибегать ко все более решительным мерам. В данный момент предстал перед нами величайший наш враг — настоящий голод...

Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля: бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным, чтобы, как верный сторожевой пес, растерзать врага.

Я почти совсем не выхожу из моего кабинета — здесь работаю, здесь же за ширмой стоит моя кровать... Адрес мой: Б. Лубянка, 11».

Так писал мне Феликс о своей работе на посту председателя ВЧК 27 мая 1918 года. А спустя несколько месяцев прислал мне следующие строки:

«В постоянной горячке я не могу сегодня сосредоточиться, анализировать и рассказывать. Мы — солдаты на боевом посту. И я живу тем, что стоит передо мною, ибо это требует сугубого внимания и бдительности, чтобы одержать победу. Моя воля — победить, и, несмотря на то, что весьма редко можно видеть улыбку на моем лице, — я уверен в победе той

мысли и движения, в котором я живу и работаю...

А здесь танец жизни и смерти — момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...».

Последними словами Феликс характеризовал тот период гражданской войны, когда молодая диктатура пролетариата, обороняясь от внутренних и внешних врагов, в ответ на контрреволюционные военные заговоры, на белый террор — покушение на Ленина, убийство Урицкого и Володарского — должна была прибегнуть к беспощадному уничтожению врагов народа.

Чем объяснить, что на тяжелый, но почетный и ответственный пост партия выдвинула Феликса Дзержинского? Что дало ему возможность оказаться на этом посту на высоте положения?

Объясняется это его безграничной преданностью партии Ленина — Сталина, необыкновенной цельностью его революционной природы, его постоянной, неразрывной связью с трудящимися массами и всей его прежней жизнью.

Пламенная любовь к трудящемуся и угнетенному человечеству и жгучая ненависть к его врагам привели Феликса в ряды борющегося за коммунизм пролетариата, и, раз встав на этот путь, Феликс отдал себя этой борьбе целиком, до конца, не имея никаких других интересов, никаких дум, кроме интересов пролетариата и дум о его победе.

Феликса закалила долголетняя неустанная революционная борьба в царское время, тюрьмы, каторга и ссылки, вечное скитание лишенного крова, преследуемого царскими шпиками подпольного борца.

Плодотворная работа Феликса на посту стража социалистической революции обуславливалась его кристальной ду-

шевной чистотой и правдивостью, безграничной отвагой, непримиримостью и беспощадностью к врагам партии и революции. Самый близкий товарищ Феликса становился его врагом, если он шел против партии, если действовал во вред партии.

Всякие переживаемые партией трудности еще больше разжигали в Феликсе бешеную энергию и неумолимую силу борьбы.

В трудной работе на посту председателя ВЧК—ОГПУ Феликсу, как мне кажется, немало помогло то, что он еще в годы подполья воспитал в себе исключительную бдительность. Несмотря на его многократные аресты (они объясняются его неутомимой, кипучей революционной деятельностью, не говоря, конечно, о других причинах), он был превосходным конспиратором, и в то же время мало кто в годы подполья так много поработал над сохранением чистоты рядов борцов революции, над искоренением провокации, как Феликс.

Организационная партийная работа была его стихией. В марте 1905 года Феликс писал: «Моя задача — это местные партийные организации. Когда кончу работу здесь (в Варшаве. — С. Дз.), поеду в другое место».

Во времена подполья Феликс знал каждого члена организации. Когда я в начале 1905 года впервые встретилась с Феликсом на квартире у одного товарища, когда я принесла полученное на мой адрес конспиративное партийное письмо, я была поражена, что Феликс, как заботливый хозяин, знает уже обо мне, о той маленькой работе, которую я тогда выполняла.

После каждого провала в организации Феликс лично изучал его причины и работал над вскрытием провокации. Особенно много времени он уделял этому чрезвычайно важному делу в 1910—1912 гг., когда в связи с черной реакцией умножились случаи предательства в рядах партии. Феликс лично проводил следствия по этим делам, и благодаря его усилиям разоблачен был не один провокатор. Эта работа дала ему большой опыт в борьбе со скрыты-

ми врагами революции и несомненно помогла его позднейшей деятельности.

Особенно остро переживал Феликс предательство Троцкого, Зиновьева, Каменева и Пятакова — этих кровавых фашистских псов и убийц, и, несомненно, их подлая измена ускорила смерть Феликса.

Он весь принадлежал партии. Это проявлялось даже в мелочах. Припоминаю такой факт, имевший место в 1910 году в Кракове в эмиграции. Это было время, когда буржуазные попутчики давно уже прекратили свою материальную поддержку партии, и вся партийная работа велась исключительно на средства, получаемые от взносов самих рабочих. Жалованье партийных функционеров было более чем скудно. И вот случилось, что товарищи уговорили Феликса пойти в кафе на чашку кофе с пирожным. Феликс считал это для себя большим излишеством и, чтобы искупить свою «вину» перед партией, на следующий день внес в партийную кассу сумму, равную той, которую истратил в кафе.

Свой скромный образ жизни Феликс сохранил до последних дней своей жизни. И не потому, как думали некоторые «партийные» обыватели, что он будто бы был аскетом. Ничего подобного. Его образ жизни вытекал из его отношения к делу, из понимания роли коммуниста.

«Мы, коммунисты, — говорил он мне неоднократно, — должны жить так, чтобы широчайшие массы трудящихся видели, что мы не дорвавшись к власти ради личных интересов каста, не новая аристократия, а слуги народа, — что победой революции и властью мы пользуемся не для себя, а для блага и счастья народа».

И он был таким верным слугой народа каждой частицей своего тела, каждым биением своего сердца, каждым движением своей мысли.

Когда вспоминаешь его светлый образ, из души вырывается одно лишь желание: быть таким же преданным партии Ленина — Сталина, таким же бесстрашным в бою, таким же беспощадным к врагам, таким же верным слугой народа, как Феликс.

ИЗБРАННИКИ НАРОДА

Депутаты Верховного Совета Союза ССР — депутаты высшего органа государственной власти нашей любимой родины! Избранники народа, — они облечены высоким доверием миллионов трудящихся, создающих новую, замечательную жизнь. Избранники народа, они плоть от плоти, кровь от крови строителей социалистического общества.

Двенадцатое декабря 1937 года, день выборов в Верховный Совет СССР, навсегда войдет в историю нашей родины как величайшая историческая дата. Это был день всенародного торжества социализма. Победил блок коммунистов и беспартийных, нерушимый сталинский блок! Победили рабочие, крестьяне, интеллигенция, продемонстрировавшие перед всем миром свою горячую любовь, беззаветную преданность и огромное доверие товарищу Сталину, Сталинскому Центральному Комитету партии большевиков, Советскому правительству.

Два десятилетия назад, на заре Великой Октябрьской Социалистической революции, когда рабочие и крестьяне впервые приступали к титанической работе по созданию нового общества, Ленин с бичующей силой обрушился на тех политических обывателей, которые представляли себе социализм так, что его, мол, преподнесут на тарелочке, в готовеньком платьице. В решительных битвах с врагами революции, водимый мудрейшими вождями Лениным и Сталиным, преодолевая трудности, участь и побеждая, народ совершал невиданный в истории переход к социализму. Теперь социализм в нашей стране победил окончательно и бесповоротно. Социализм — это живая жизнь миллио-

нов. Социализм — это быт, творчество народа, это грозная, непобедимая сила!

12 декабря 1937 года депутатами Совета Союза и Совета Национальностей были единодушно избраны кандидаты могучего блока коммунистов и беспартийных — трудящихся страны социализма. Все они, депутаты Верховного Совета, — скромные и благородные сыны и дочери нашего народа. Первым депутатом избран волею народа творец Конституции победившего социализма Иосиф Виссарионович Сталин. Избраны сталинские соратники, закаленные борцы за социализм. Избраны люди, у которых нет большего счастья в жизни, чем борьба для блага народа. Избраны передовые строители социализма — рабочие, крестьяне, интеллигенты. Избраны партийные и непартийные большевики, — забойщики, академики, токаря, врачи, трактористы, профессора, колхозники, учителя, воины Красной Армии, писатели, архитекторы, ткачихи, летчики, — люди, облеченные доверием трудящихся.

Нет большей чести, чем быть избранником народа! Образ верного посланца народа с замечательной глубиной обрисован товарищем Сталиным. Образ, воплощающий в себе волю, бесстрашие в бою, беспощадность к врагам трудящихся, твердость, честность и правдивость.

«Избиратели, народ, — сказал товарищ Сталин, — должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических дея-

телей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин, чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были также свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин, чтобы они были также мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин, чтобы они были также правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин».

Во всей своей деятельности депутаты Верховного Совета должны следовать по пути, указанному Лениным и Сталиным!

Депутаты Верховного Совета — живое воплощение всего передового в нашей стране. Они вышли из народа и тысячами крепчайших уз связаны с народом. В биографии каждого депутата отражается жизнь нашей родины. Это особенно ярко видно из их речей перед своими избирателями. Выступая перед народом, они, кандидаты блока коммунистов и беспартийных, говорили замечательно просто и образно о себе, о своей родине. Мы печатаем выдержки из выступлений ряда кандидатов победного блока коммунистов и беспартийных, избранных волею народа в Верховный Совет СССР.

ЗАБОЙЩИК АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

Я — член великой партии Ленина — Сталина. Горжусь тем, что принадлежу к этой сталинской когорте, которая сделала меня человеком.

...Вы знаете, как я, Стаханов, забитый деревенский парень, стал передовым рабочим. Это великая партия Ленина — Сталина, наш мудрый вождь Иосиф Виссарионович Сталин воспитали меня,

сына орловского крестьянина-бедняка. Это великий Сталин из моего рекорда сделал для всей страны практический вывод, и этот вывод называется всенародным стахановским движением. (Аплодисменты, крики: «Ура!», «Да здравствует товарищу Сталин!»).

(Из речи А. Стаханова на шахте № 10 им. Артема в Донбассе).

ТКАЧИХА ЕЛИЗАВЕТА ГОНОБОБЛЕВА

С трибуны этого многолюдного митинга я заявляю, что с великой гордостью буду носить звание депутата. С честью и на деле я оправдаю ваше ко мне доверие.

Оглянитесь вокруг! Каким стал народ нашей страны? Что за люди присутствуют здесь, на митинге? Нет прежних усталых, обездоленных ткачей. Вот они стоят, советские люди! Сытые, тепло одетые, довольные, — вот они, господа своего счастья, наши ивановские ткачи.

Я не ошибусь, если выражу вашу волю такими словами:

— Пусть долгие годы живут и здравствуют руководители партии и правительства, пусть долгие годы живет родной Сталин на страхе врагам, на радость нам — рабочим и всем трудящимся!

Да здравствуют сыны и дочери великого советского народа!

(Из речи Е. Гоновоблевой на встрече с избирателями в гор. Иваново).

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ИВАН МОСКВИН

Как замечательна моя родина! Возьмите искусство наших народностей. Оно лежало под спудом. Мне надо было прожить 60 лет, чтобы познакомиться с прекрасным казахским театром... Посмотрите на наши фабрики, заводы, дома. Какая колоссальная стройка! То, что раньше можно было видеть только во сне, стало явью. Наши новые города, наши железные дороги, наша непревзойденная оборона — на небе, на земле, под землей, на воде, под водой. И главное, это перековка человека, во что я очень верю, потому что я перековался и перековался навсегда. (*Аплодисменты*). Так что же это за мастерская, для которой нет ничего невозможного? Кто эти замечательные мастера? Мастера—

это наш Сталин и с ним весь 170-миллионный народ. (*Бурные аплодисменты*).

Скажу вам, товарищи, как мне кажется. Обаяние товарища Сталина огромно. Смотришь на него и думаешь, кто он для нас? Я так считаю: он для нас все. Он — наша гордость, наша мудрость, наша любовь. Он — олицетворение нашего счастья, нашей радости, нашей свободной жизни. Конечно, имя Сталина среди угнетенных народов мира останется в веках. (*Аплодисменты*). А мы с вами будем гордиться тем, что живем в один век с великим Сталиным! (*Бурные аплодисменты*).

(Из речи И. Москвина на совещании агитаторов Фрунзенского избирательного округа в Москве).

КАЗАК ДЕНИС ЮДИН

О моей жизни вы знаете. Это — жизнь простого крестьянина. Сейчас я уже не тот, каким был, когда батрачил у кулака Заволокина. Теперь я зажиточный. В нынешнем году получаю около 200 пудов хлеба и 1.000 рублей деньгами. В личном хозяйстве у меня корова, два теленка, 10 овец, птица и т. д. В семье у меня 11 душ. В нынешнем году получил 4.000 рублей пособия от государства. Все наши колхозники стали зажиточными.

...Во всем мире нет другой такой страны, кроме нашей родины, где тысячи

тружеников выдвигали бы из своей среды для управления государством такого же труженика, как они сами. Спасибо, товарищи, за оказанную мне честь и доверие!

Всю жизнь я вел неустанную борьбу с врагами народа. Я был верен долгу, партии, трудящимся. Таким я останусь на всю жизнь. Ваше доверие оправдаю. (*Аплодисменты*).

(Из речи Д. Юдика на предвыборном митинге в Хопёрском избирательном округе).

ФРЕЗЕРОВЩИК ИВАН ГУДОВ

Я прошел большую школу жизни. Когда я был батраком, неграмотным, темным человеком, я не знал, что меня ждет впереди. Только партия Ленина — Сталина дала мне новую жизнь, открыла мне широкий путь творческой работы. Из батрака, потом чернорабочего я вырос до фрезеровщика. Когда два года тому назад я готовил свой первый стахановский рекорд, я жил одной мыслью: как можно лучше отблагодарить партию

большевиков, которая меня воспитала, и с этой мыслью 13 сентября 1935 года встал к станку.

Доверие советского народа — это такое счастье и такая честь, которые надо оправдать делом. 2 ноября я дал обещание товарищу Сталину выполнить новую стахановскую норму на 1.500 процентов. Слово свое я сдержал, дав 1.900 процентов. Я обещаю товарищу Сталину и вам, избиратели Ленинского

избирательного округа, что в ближайшие дни я этот свой рекорд перекрою и дам 2.500 процентов производственной нормы.

Я отдам все свои силы, все свои способности на дальнейшее процветание на-

шей родины, а если потребуется, то всю жизнь за интересы страны социализма.

(Из выступления И. Гудова на собрании избирателей Ленинского района г. Москвы).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАИСОВЕТА ПРАСКОВЬЯ ПИЧУГИНА

Я, женщина нашей страны, вспоминаю четыре даты в моей жизни.

Первая — это, когда я пришла на строительство 1-го Государственного подшипникового завода им. Л. М. Кагановича, когда я вступила в ряды рабочего класса нашей страны.

Вторая — это, когда я вступила в ряды великой партии Ленина—Сталина. Я горжусь тем, что являюсь дочерью этой великой партии.

Третья — когда меня правительство Советского Союза наградило высшей наградой нашей страны — орденом Трудового Красного Знамени.

Четвертая дата — 20 октября, когда меня выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Мне оказали огромную честь и доверие. За это доверие и честь я приношу вам самую искреннюю благодарность.

Как верная дочь нашей великой партии Ленина — Сталина, я заверяю вас, что отдам все свои силы на борьбу с врагами народа, на борьбу за интересы трудящихся масс, на борьбу за торжество идей коммунизма — великого дела Ленина — Сталина!

(Из речи П. Пичугиной к избирателям Пролетарского округа г. Москвы).

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЙ ПАВЛОВ

Мы живем, товарищи, в сталинскую эпоху. Наша страна выросла и расцвела. На советской земле растут новые люди. Нет для наших людей таких трудностей, которые бы они не преодолели. Героизм наших людей — это результат громадной воспитательной работы, которую проделала большевистская партия.

Если фашистские правительства посмеют напасть на нас, мы будем их громить на их же территории. В этой борьбе нас поддержат многомиллионные массы трудящихся капиталистических стран. Наши сестры, жены и матери, провожая нас в бой за родину, скажут:

«Дерись с врагами, как доблестный

сын социалистической родины, и я встречу тебя, как человека, выполнившего свой долг, как героя».

Я, командир-танкист Красной армии, в прошлом сын крестьянина-бедняка, имел великую честь испытывать нашу военную технику в борьбе за укрепление государственных границ. Задание было выполнено образцово. Иначе и быть не могло, ибо мы, советские люди, воспитанники партии Ленина — Сталина, до конца преданы народу. Героев у нас десятки тысяч, миллионы, они выходят из народа и тесно связаны с ним. В этом наша мощь, в этом наша сила.

(Из речи Д. Павлова в гор. Кирове).

МАСТЕР НИКОЛАЙ МАЛЮШИН

Я сын крестьянина, я сын трудового народа, воспитанный нашей ленинско-сталинской партией, воспитанный великим нашим вождем товарищем Сталиным.

Товарищи, я, как верный сын нашей партии, борюсь и буду бороться со всеми врагами рабочего класса, со всеми врагами крестьянства, со всеми врагами нашего трудового народа. Я буду бороться за нашу великую, прекрасную страну Советов — страну социализма.

Я пришел работать на завод черно-рабочим, а сейчас я работаю мастером, и этого может добиться в нашей стране всякий, кто желает честно, внимательно относиться к труду, тот, кто любит свой труд и свою родину.

Доверие, которое вы мне оказываете, — это доверие нашей партии, я постараюсь его оправдать. (*Аплодисменты*).

(Из речи Н. Малюшина на митинге избирателей в г. Мытищи).

АКАДЕМИК ТРОФИМ ЛЫСЕНКО

Я глубоко уверен, что в ближайшем будущем люди смогут творить по своему желанию новые, нужные социалистическому сельскому хозяйству формы растений. Люди социализма должны переделать и переделают окружающий нас растительный мир на свой, социалистический лад.

Для капиталистического общества это просто фантазия, для нас же это ближайшее задание. Мы в этом уверены, мы к этому идём.

С методами коренной переделки природы растений мы знакомим опытников, знакомим колхозные хаты-лаборатории и не сомневаемся, что они в этом глубоко теоретическом вопросе окажутся такой

же опорой, какой были до сих пор во всех разрабатываемых нами вопросах.

Принося глубокую благодарность трудящимся Ново-Украинского избирательного округа за то доверие, которое они оказывают мне, я обещаю попрежнему, укрепляя связи с массами и не жалея сил, бороться в сельскохозяйственной науке за дело социализма, за дело коммунистической партии и гениального вождя трудящихся всего мира, первого кандидата в Верховный Совет от всех народов СССР товарища Сталина, ведущего страну от победы к победе.

(Из обращения Т. Лысенко к своим избирателям).

КОЛХОЗНИЦА КАЛЫМА АМАНКУЛОВА

Моя жизнь — счастливая жизнь. Мать иногда говорит мне: «Дочка, ты родилась под счастливой звездой». Нет, не в этом дело. О женщине-киргизке позаботилось не небо, а советская власть. Как жили мы раньше? Нас продавали нелюбимым, нас били кому не лень, над нами глумились. Кто теперь посмеет это сделать? Теперь мы — равноправные люди. Сталинская Конституция закрепила за нами право на труд, отдых и образование.

Мне, родившейся за два года до революции, не удалось в детстве учиться. Старшие считали позором отдавать де-

вочку в школу. Сейчас я научилась грамоте, ко мне прикрепили учителя.

Раньше бедняки-киргизы ходили в рубище. Моя мать в своей юности никогда не имела хорошего платья. У меня же их десять-одиннадцать. Моя мать жила в юрте, в холоде и грязи, а я живу в благоустроенном доме из двух комнат с европейской мебелью. А я разве одна? Так живут теперь все колхозники.

Все это дала нам Великая Социалистическая революция, все это дала нам партия Ленина — Сталина.

(Из речи К. Аманкуловой в селе Александровское Киргизской ССР).

МАШИНИСТ ПЕТР КРИВОНОС

Я стал машинистом в счастливое, сталинское время. Я, как и многие машинисты нашей родины, понимал, что рост богатства Советской страны требует от нас, чтобы мы быстрее возили хлеб, уголь, металл, машины. Чувство любви к родине, привитое мне коллективом рабочих, ленинским комсомолом, который меня воспитывал, поднимало во мне волю, настойчивость, стремление преодолевать все трудности, ломать все пределы.

В 1935 году, когда пришел на транспорт Лазарь Моисеевич Каганович, я повел жестокую борьбу с предельщиками

ми, первым поломал предельческие нормы, повел поезда по-большевистски, и за это меня партия и правительство наградили орденом Ленина. На достигнутых успехах я не остановился. После того, как я освоил паровоз серии «Э», я перешел на мощный советский локомотив серии «ФД» и на этом локомотиве также достиг успехов. Правительство вторично наградило меня орденом. Сейчас работаю начальником депо Славянск.

(Из речи П. Кривоноса на собрании железнодорожников Славянского узла).

КОНЕВОД ИСМАИЛ КУНТУГАНОВ

Меня, бывшего батрака, выдвинули кандидатом в депутаты верховного органа государства. Я вижу в этом любовь и уважение трудящихся нашей страны к моему, когда-то забитому ногайскому народу.

Я вижу в этом еще одно подтверждение правильности национальной политики нашей партии. Партия, рабочий класс сделали так, что у нас навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком, уничтожено угнетение одной нации другой. Трудящиеся сами руководят своим советским государством. Всем этим мы обязаны мудрому Сталину. Все это у нас хотели отнять враги народа — троцкисты, бухаринцы, буржуазные националисты. Этих проклятых фашистских агентов мы до конца разоблачим и раздавим.

Мой ногайский народ не имел в прошлом своей родины. Это были бездомные кочевники, которых помещики и кулаки не считали за людей. Только при

советской власти, благодаря Ленину и Сталину мой народ нашел свою родину, свои чудесные колхозы. Я счастлив, что живу и работаю на благо нашей родины!

Семь лет я работаю в колхозе. Все силы я отдавал и отдаю своему делу, учась у большевиков бороться с трудностями. Читая газеты, я старался не пропустить ни одного слова великого Сталина, и каждое его слово укрепляло мою бодрость, решимость и уверенность в победе.

Я заведу колхозной конефермой. Мы вырастили сотни боевых коней, часть из них мы уже отдали Красной армии весной и дадим еще, если нужно будет. Для защиты родины мы дадим столько коней, сколько потребуется для уничтожения врага. (*Бурные аплодисменты*).

(Из речи И. Кунтуганова перед избирателями в Хасав-Юрте, Дагестанской АССР).

УЧИТЕЛЬНИЦА ОЛЬГА ЛЕОНОВА

Любуясь на счастливое, радостное детство наших детей, я невольно мыслью удаляюсь в прошлое, вспоминаю свое детство, свою юность. Какая огромная разница! Тяжелое детство было у меня.

Я жила в семье рабочего, нас было шестеро ребят. Заработка нехватало. Мы жили в нужде. И в этих условиях я мечтала быть учительницей, чтобы принести пользу народу.

Помню свой первый выпуск. Я вела своих ребят сдавать экзамен в другую школу за 7 километров. Экзаменовал земский начальник, холеный барин. Он безразлично смотрел на плохо одетых детей, равнодушно задавал вопросы. Его нисколько не интересовало, что это первый выпуск молодой учительницы, его не интересовало, что это для нее знаменательный день. Несколько моих ребят ступешались, не могли ответить на вопросы. Я просила о переэкзаменовке. Нас продержали до вечера. «Господа» закусывали, отдыхали, а мы в это время

сидели на пороге школы. Таково было отношение к учительнице в старое время, отношение, унижавшее ее.

С какой огромной радостью встретила я Великую Октябрьскую революцию! Мне 42 года, но я считаю себя ровесницей Октября, потому что настоящая моя творческая, любимая работа началась после октября 1917 года в советской школе. (Аплодисменты).

(Из речи О. Леоновой на собрании избирателей Свердловского избирательного округа в г. Москве).

СТАХАНОВЕЦ ВАСИЛИЙ МУСИНСКИЙ

Два года тому назад на совещании стхановцев в Кремле наш любимый товарищ Сталин вдохновил нас на новые подвиги. Появилась у меня гордость и смелость, хотелось добиваться все большей и большей выработки. Я — прежде темный, незаметный деревенский человек — стал на виду, меня уважали не за богатство, а за труд, мне сам товарищ Молотов прислал телеграмму и поздравил с успехами, когда я стал распиливать уже по 400 и 500 кубометров за смену и за мной шли рамщики нашего и десятков других заводов.

Из меня, деревенского неграмотного парня, партия и страна воспитали орденосца, студента Промакадемии. Я — кандидат в члены партии. На себе ощу-

щаю закрепленное Сталинской Конституцией право на образование. Учусь не только я, — учится вся моя семья. А в семье отца не было ни одного грамотного.

Всем, чем я стал, я обязан нашей славной, закаленной в боях с врагами, непобедимой партии Ленина—Сталина. Я всем обязан вождю, учителю и лучшему другу всех трудящихся — нашему любимому Сталину. И, как сын трудового народа, я отдаю все силы за дело партии, за Сталина, за дело построения коммунизма, отдаю все свои силы и, если потребуется, отдаю жизнь.

(Из обращения В. Мусинского к избирателям Северного избирательного округа).

ЛЕТЧИЦА СОНА ПЕРИ КИЗЫ НУРИЕВА

Мне 22 года. В этом возрасте голова полна всяких мечтаний. Я мечтала летать еще выше, еще лучше, я мечтала о дальнейшей учебе на благо моего народа — цветущей республики Азербайджана. Но могла ли думать я, дочь бурового мастера, рядовая девушка селения Адмираджаны, выпестованная в числе миллионов любимым товарищем Сталиным, что на мою долю выпадет такая великая честь!

Переживая это радостное событие, я вспоминаю всю свою жизнь.

Я водила почтовые самолеты из Мильской степи, летала по хлопковым колхозам Агджабединского и Евлаховского районов, пробивала туманы и облака, поддерживая связь с гористыми Закачалами и Нухой. И ни разу мой самолет не имел аварии.

Пролетая над колхозами, селами и городами одной из одиннадцати республик Советского Союза, я слежу не только за работой моторов и приборов самолета, но наблюдаю также и жизнь. Она сказочно изменилась! Азербай-

джанская женщина из бесправной рабыни стала полноправным гражданином. Она собирает рекордные урожаи хлопка, преподает в школах, руководит работой нефтяных промыслов, управляет самолетами. Она вышла на свободный и радостный путь, и никому теперь не отнять у нее знамени Ленина—Сталина, которое она крепко сжимает в своих руках.

Мои избиратели! Я горячо благодарю

вас за оказанную мне честь. Велико ваше доверие, велика моя гордость за страну, где чабан, рабочий, молодая девушка-летчица становятся государственными деятелями. Я молода, моя жизнь впереди, она полностью будет принадлежать родине, меня воспитавшей.

(Из письма Сона Пери кизы Нуриевой к избирателям Закатальского избирательного округа Азербайджанской ССР).

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРГЕЙ ЧЕРНЫХ

Мне, молодому человеку, не пришлось участвовать с оружием в руках в дни Великой Октябрьской Социалистической революции, — я был молод тогда для этого. Сейчас мы выросли, мы боремся за освобождение трудящихся всего мира, продолжаем начатое вами, нашими отцами, дело.

В 1917 году вы воевали лишь с визговками в руках. Сейчас у нас — моторизованные воинские части. Все это — свидетельство побед рабочего класса.

Мы имеем величайшее достижение человечества — самую демократическую в мире Сталинскую Конституцию. Страна наша, вождь наш Сталин воспитали нас, молодежь, дали нам радостную жизнь. До 1927 года я учился в школе.

До 1930 года работал в Н.-Тагиле, на железной дороге. Я учился в автошколе, учился хорошо, хотя давалась мне учеба трудно. Добился я поступления в ту воинскую часть, куда мне хотелось.

Под руководством партии Ленина — Сталина страна наша достигла неслыханной мощи. Сейчас мы имеем колоссальные достижения в оснащении нашей армии военной техникой. Рабочий класс под руководством большевистской партии сделал наш Советский Союз непобедимым.

Да здравствует учение Ленина — Сталина! (*Бурные аплодисменты*).

(Из речи С. Черных на собрании избирателей в Нижне-Тагальском округе).

ТРАКТОРИСТКА ПРАСКОВЬЯ АНГЕЛИНА

Да, товарищи, прошло для нас время нищеты и голода. Наш родной Сталин привел нас к новой, счастливой, зажиточной, культурной жизни. Встречи с нашим любимым Сталиным на всю жизнь останутся в моей памяти.

О себе мне рассказывать нечего, вы меня знаете. Я — дочь бедняка. Сейчас — трактористка. Меня воспитали ленинский комсомол и большевистская партия, меня воспитал лично товарищ Сталин своей отцовской заботой о всех нас, в том числе и обо мне.

Трактором я управляю, кажется, неплохо. (*Аплодисменты*). Но я обязуюсь здесь перед вами, что в случае надобности пересяду с трактора на танк и в первых рядах пойду бить врагов социалистической родины. (*Бурные аплодисменты*). А бить мы их будем на их территории. (*Аплодисменты*).

(Из речи П. Ангелиной на собрании колхозников в селе Васильевка — Дюбасс).

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА ПАРТИИ МИРОН ДЮКАНОВ

Биография моя простая и краткая. Родившись в семье батрака, я успел пережить все ужасы жизни безземельного и безлошадного крестьянина, весь гнет помещичьей эксплуатации.

Четыре года я провел на фронтах гражданской войны. Под Царицыном мне выпало счастье быть в частях, которыми лично руководил великий Сталин.

В Донбассе, на шахте им. Сталина, я проработал 13 лет. Я ставил перед со-

бой задачу быть примерным рабочим. Учился сам, помогал другим и учил их. Приложу все силы, чтобы с честью оправдать доверие избирателя.

Пусть живет много лет вдохновитель наших побед, лучший друг и учитель стахановцев, родной, великий Сталин! (*Продолжительные аплодисменты*).

(Из речи М. Дюканова перед избирателями в Донбассе).

КОМСОМЛКА ТАИСИЯ БОБКОВА

Вот я стою перед вами. Вы выдвинули меня кандидатом в депутаты Совета Союза. А кто я? Я такая же, как и все вы. Меня, простую крестьянскую девушку, воспитали ленинский комсомол и партия Ленина—Сталина.

Расскажу вам коротко о себе. Я приехала в Дзержинск из деревни малограмотной. Первое время работала няней. У меня была одна мечта: работать на заводе, учиться, получить квалификацию. В 1928 году я вступила в комсомол, затем пошла на завод в рабочий коллектив, который хорошо меня принял. Сначала работала помощницей аппаратчицы, упорно училась, ликвидиро-

вала свою малограмотность и техническую отсталость. Я не жалела своих сил для работы и, как только началось соревнование, включилась в ударную бригаду. За ударную, образцовую работу в 1933 году правительство наградило меня орденом Трудового Красного Знамени.

Да здравствует великий и мудрый вождь народов, лучший друг и учитель советской молодежи товарищ Сталин! (*Бурные аплодисменты. «Интернационал»*).

(Из речи Т. Бобковой на собрании девушек в Чкаловске).

МАСТЕР ЯКОВ БЕЗЗУБОВ

Мне 43 года. Отец мой, как и дед, был потомственным батраком. Жили мы в деревне Шишкино и всей семьей работали на кулаков и помещиков. После смерти матери в 1906 году отец отдал меня в работники. Круглыми сутками я выполнял непосильную для детского возраста работу, получая за труд 8 рублей да зуботычины.

В 1915 году на меня, забитого батрака, царское правительство надело солдатскую фуражку и погнало на империалистическую бойню. На фронте я особенно почувствовал человеческое бесправие. Как скотину, гнали нас на убой офицеры — сынки помещиков и капиталистов. Истребляли нашего брата, как мух.

Во всей окружающей обстановке мне

помогли разобраться фронтовики, передовые рабочие — большевики. С ними связала меня судьба, с ними я год находился в окопах.

Вернувшись в 1918 году домой, я не бросил винтовку, пошел защищать завоевания Великой Октябрьской Социалистической революции на красногвардейском бронепоезде.

Я горжусь, что меня, бывшего батрака, рабочие, трудящиеся нашего города выдвигают в депутаты Совета Союза. Такое доверие нашего советского народа обязывает меня работать еще лучше, давать самые высокие стахановские показатели.

(Из речи Я. Беззубова в Оренбургском военном училище им. Орджоникидзе).

ТКАЧИХА ХАЙРИКАМАЛ ТУХВАТУЛИНА

Великое счастье жить и работать в единственной стране, где навсегда покончено с эксплуатацией человека человеком, где трудящиеся всех национальностей объединены в одну братскую семью.

Вот почему с чувством глубокой радости народы, все трудящиеся Советского Союза первым кандидатом в Верховный Совет выдвинули нашего друга и учителя, великого вождя народов, отца трудящихся всего мира Иосифа Виссарионовича Сталина. (*Бурные аплодисменты.*)

Я считаю большим счастьем выдвижение моей кандидатуры в депутаты Совета Национальностей от родной Татарской АССР. Я—беспартийная работ-

ница, ткачиха льнокомбината. До революции наша фабрика принадлежала казанскому купцу Алафузову. В тяжелых условиях, по 12 часов в сутки у Алафузова работали за гроши мой отец и моя мать.

Мне двадцать шесть лет. На производстве я с 1929 года. Работаю по стахановскому методу ткачихой и учу этому же методу молодых работниц, помогаю готовить молодые кадры.

Я благодарю за оказанное мне доверие. Я готова отдать все силы за дело рабочего класса, за дело партии Ленина—Сталина.

(Из речи Х. Тухватулиной на собрании избирателей во Дворце культуры казанского завода им. Ленина.)

МАШИНИСТ ИОСИФ ЯЦИНА

Слышал ли я когда-нибудь в старое время, чтобы рабочий человек избирал и был избранным в руководящие органы верховной власти?

Меня воспитала коммунистическая партия. Я отдал всего себя партии Ленина—Сталина, отдал себя производству, нашему транспорту. Мою работу оценило правительство и наградило орденом Ленина за то, что я не зазнавался, честно трудился, свои знания и опыт работы передавал другим.

Я, товарищи, оправдаю ваше доверие. Я отдам все свои силы, всю свою жизнь на благо нашей родины. Когда я получал из рук тов. Калинина орден Ленина, я дал Михаилу Ивановичу обещание, что буду работать на благо нашей родины еще лучше, еще настойчивее.

(Из речи И. Яцины на собрании избирателей в Полтаве.)

КОЛХОЗНИЦА МИННА ТАППО

...20 лет назад я была безграмотной, никому неведомой крестьянкой. До революции мне пришлось перенести много горя и лишений. И только в колхозе я нашла свое счастье. Коммунистическая партия и товарищ Сталин вывели крестьянство из вековой нужды и темноты к счастливой, радостной колхозной жизни.

Родная и любимая партия большевиков и товарищ Сталин воспитали и вырастили меня до передового человека нашей прекрасной социалистической родины. Правительство наградило меня

орденом «Знак почета». Благодаря стахановской работе я близко видела родного, любимого Сталина, — была делегатом Чрезвычайного VIII Всесоюзного Съезда Советов.

Нет и не было никогда такой страны, где бы так ценили человека, где труд давал бы почет и славу. Не найти таких слов, чтобы выразить благодарность великому учителю, другу, творцу новой жизни — товарищу Сталину.

(Из речи М. Таппо на предвыборном совещании в Пороховском районе, Ленинградской обл.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА ИЛЬЯ ДОЛИДЗЕ

Радостно жить и работать в колхозе! Молодежь даже не представляет себе, как тяжела была прежняя жизнь. Наша семья ютилась в землянке. Всеми этими землями владел князь Гуртели. Мой отец больше половины своих доходов отдавал князю, оплачивая арендованный клочок земли. Оставшихся средств и продуктов хватало семье на 2—3 месяца, не больше. И поневоле приходилось снова итти на поклон к Гуртели, просить у него какой-нибудь работы.

Своей новой, счастливой жизнью мы обязаны великой партии Ленина — Сталина.

С большой радостью узнал я, что трудящиеся Чохатаурского избирательного округа выдвинули меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Для большевика нет лучшей награды, как доверие трудящихся масс. Благодарю вас за это доверие и обязуюсь всей своей жизнью, всей своей работой полностью его оправдать! (*Аплодисменты. Возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Да здравствуют сталинские колхозы!»*).

(Из речи И. Долидзе на собрании избирателей в Очамурском совхозе.)

РАБОТНИЦА ГЛАФИРА СЕМУШИНА

...Кем была бы я при царизме? Рабой, угнетенной, бесправной женщиной, какой была моя мать, какими были миллионы других женщин.

Я родилась в бедной рабочей семье. Отец был пильщиком и рабочим шубноовчинного завода, мать — прачкой. Нищенский заработок при большой семье, вечная нужда и голод делали жизнь невыносимой. После смерти родителей мы остались совершенно без средств.

Революция спасла меня, как и миллионы других женщин нашей страны. Я росла и воспитывалась в рабочем коллективе сначала спичечной фабрики, а затем меховой фабрики «Белка». Партия учила меня работать, обеспечила все условия для моего политического и культурного роста.

(Из речи Г. Семушиной на собрании избирателей в Слободском районе Кировской области.)

КОМБАЙНЕР ФЕДОР КОЛЕСОВ

На мою долю выпало, товарищи, счастье быть запевалой в советской деревне и участвовать в создании нового, социалистического земледелия. Я делал в своей жизни то, чему учит нас великая партия Ленина — Сталина. И если мне удалось достигнуть некоторых успехов и убрать комбайном 2 690 га, то этим я обязан партии, которая растет, воспитывает, учит каждого, кто стремится честно работать на благо своей родины.

Мне пришлось не раз наблюдать, с какой заботой и любовью товарищ Сталин выращивает передовых людей советской деревни. Под руководством товарища Сталина я участвовал в работе комиссии по выработке устава сель-

хозартели. Одно мое предложение товарищ Сталин поддержал, и оно было внесено в устав. На совещании комбайнеров товарищ Сталин узнал меня и встретил восклицанием:

— Старый знакомец, здравствуйте!

Чтобы быть достойным доверия избирателей, надо многому учиться и много работать. Надо до конца раскорчевать вражеские гнезда и ликвидировать последствия вредительства. Я обещаю быть верным сыном партии большевиков, воспитавшей меня и ведущей советский народ вперед!

(Из речи Ф. Колесова на районном предвыборном собрании в Бузулуке, Оренбургской области.)

ПОДВОДНИК ПАВЕЛ ЗАМЯТИН

Я родился в 1911 году в деревне Телегино бывшей Костромской губернии.

В ноябре 1933 г. я с радостью пришел в Черноморский флот, был зачислен в команду подводников, прошел курс обучения, и с тех пор я служу на одной из подводных лодок. В 1935 году за успехи в овладении сложным искусством военно-морского подводного дела был награжден орденом Ленина.

Мы, военные моряки Черноморского флота, свято храним революционные

традиции 1905 года и боевые традиции легендарных годов гражданской войны.

Я обещаю вам приложить все свои силы, всю энергию, чтобы оправдать высокое доверие, которое вы мне оказали, выдвинув меня кандидатом в депутаты Совета Союза.

Да здравствует любимый вождь народов великий Сталин! (*Аплодисменты.*)

(Из речи П. Замятина в рабочем клубе в Джанкое.)

КОЛХОЗНИЦА ДОРИМА НАМСАРАЕВА

... После смерти родителей я осталась десяти лет круглой сиротой. Куда деваться, какой искать выход? Выход был один и напрашивался сам собой — итти в кабалу к кулаку. Четыре года я гнула спину на работе у местных кулаков-эксплоататоров, не имела ни одной свободной минуты.

Но вот в 1929 году в нашем селе Харьястаи организовался колхоз имени Сталина, в который я вступила первой. Сначала работала рядовой колхозницей, а теперь, уже четвертый год, заведую крупной овцефермой.

За хорошую работу на овцеферме я награждена орденом. Сейчас я удостоена чести быть выставленной кандидатом в депутаты Совета Национальностей по нашему Кяхтинскому избирательному округу. Заверяю вас, товарищи избиратели, что ваше доверие оправдаю с честью. Вместе с другими депутатами буду управлять страной так, как учит товарищ Сталин. (*Бурные аплодисменты.*)

(Из речи Д. Намсараевой на собрании избирателей в г. Кяхте, Бурят-Монгольской АССР.)

ЛЕТЧИК СЕМЕН СКОРОБОГАТОВ

Я, сын трудового народа, вышел из бедняцкой крестьянской семьи. Я воспитан великой партией Ленина — Сталина. (*Аплодисменты. Возгласы: «Ура товарищу Сталину!».*)

С 1924 года я нахожусь в рядах Рабоче-Крестьянской Красной армии, которая дала мне знания, выковала из меня сознательного бойца, готового вести беспощадную борьбу с врагами народа. Экзамен на политическую зрелость я держал в борьбе с басмачеством. За успешное выполнение боевой операции я был награжден правительством орде-

ном Красного Знамени. И теперь, если враги, откуда бы они ни появились, попытаются напасть на нас, я, как и вся наша Красная армия, не щадя своей жизни, буду защищать великие завоевания социалистической революции.

Да здравствует могучая и непобедимая партия большевиков! Да здравствует вождь народов товарищ Сталин! (*Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, возгласы «Ура!». Все встают.*)

(Из речи С. Скоробогатова на предвыборном собрании в Гусь-Хрустальном.)

За рубежом

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Г. МЕЗЕНЦЕВ

Капитан теплохода „Комсомол“

На родине

Итак, мы снова на родине, мы вернулись домой, мы у себя. Могучая страна социализма твердой рукой вырвала своих сынов из когтистых лап зверя, имя которому — фашизм. Знали и знаем: не будь у нас нашей чудесной родины, мы давно бы уже стали трупами и лежали на дне моря вместе с красавцем «Комсомолом».

Мы вернулись! К этой радостной перемене, казалось, не привыкнуть никогда. В первые дни возвращенной свободы, просыпаясь утром в одной из гостиниц Парижа, каждый из нас боялся шевельнуться, чтобы не нарушить чарующего сновидения. Казалось, вот-вот запищит противная дудка, неизменно поднимавшая нас командой «встать» в шесть утра в Санта-Мария, и начнется очередной тюремный день, до безумия похожий на все предыдущие.

Сегодня, когда мы уже на родине, когда видишь вокруг только родные и милые лица, когда всюду встречают тебя дружеской улыбкой и спешат пожать руку, когда в родном порту узнаешь каждый камень, каждый якорь, и кажется, что и они, бесчувственные, тебя узнают, — ловишь себя на мысли, что фашистский застенок был только сном, длительным и кошмарным сном, а теперь настало пробуждение.

Но нет, не сон это. Еще болят руки от стягивавших кисти железных наручников. Еще не все вернулись из тех, кто отправился с нами в тот последний рейс.

И возвратились мы оттуда сухопутьем, и нет, главное, нашего милого теплохода. Его флаг на корме, окутанный дымом, озаренный двойным пламенем пожара и солнечного заката, в последний раз полоснув по зеленой волне, опустился в морскую пучину.

Крейсер по корме

Было это так.

Возвращаясь из Валенсии, куда мы доставили подарки женщин и детей Советского Союза для населения республиканской Испании, мы еще в Мраморном море получили приказ идти к Кавказу, в порт Потти, для приемки руды в Бельгию, в Гент.

2 декабря мы уже были в Потти. Грвзились, как всегда, быстро. Годовой план нами был выполнен еще осенью, теперь предстоял третий стахановский рейс сверх плана. Последний, как мы полагали, вкладывая в это слово самый торжественный смысл: из соревнования судов Черноморского пароходства мы этим рейсом выходили в победители.

5 декабря снялись в Гент. До острова Сицилии было спокойно. У Сицилии появился попутчик — наливное судно. Оно шло впереди, нас обогнало. Ночью у африканского мыса Бон мы с ним разошлись. Ночь была свежая, бурная. Судно ушло, оставив один риф с правой стороны. Я ушел в левую сторону. Никаких недоразумений не было.

На другой день, 13 декабря, около полудня, до траверза Алжира, появился по корме крейсер. Он долго не приближался. Я вышел на мостик, взял бинокль. Вижу, что судно будто умышленно не подходит. Погода была хорошая.

Вечером крейсер приблизился, взял в кильватер и шел за нами. Таким образом он шел часов пять. Я мог только установить, что это военное судно, и расхаживал, ожидая, на мостике.

Около 5 часов вечера оно приблизилось примерно до 1½ миль с правого борта от меня. Команда моя была совершенно спокойна. Подобные встречи случались и в прежние рейсы. Да и о чем нам было беспокоиться? Мы шли свободным морским путем, шли в нейтральную страну, имея на борту законно оформленный груз.

Словом, когда крейсер подошел к нам, я был абсолютно спокоен, а, как известно, по «улыбке капитана» бывает настроена и вся команда. Однако я удивился, заметив на корме крейсера английский флаг. Обычно все военные корабли держат свой флаг на гафеле мачты. И вдруг большой корабль «владычицы морей», которая строго придерживается морских традиций и правил и никого не боится в открытом море, имеет флаг на кормовом флагштоке. С другой стороны, тип этого крейсера был итальянский, о чем я тут же сказал стоявшему на мостике вахтенному помощнику Синицыну.

Вдруг сей крейсер — судно итальянского типа с английским флагом на корме — поднял сигнал. Увидев сигнал, я взял бинокль. Произошел следующий разговор флажными сигналами по международному своду:

- Ваше наименование?
- «Комсомол».
- Ваш груз?
- Руда.
- Ваше направление?
- Бельгия, порт Гент.
- Счастливого плавания.
- Благодарю вас.

Мы отсалютовали флагом, он ответил и ушел.

Сутки протекли благополучно. В ночь

на 14 декабря миновали траверз Алжира.

А днем я ходил по теплоходу и осматривал «Комсомол». Спустился в машинное отделение, приказал выкрасить белой краской мостик, привести в порядок продуктовое помещение, чтобы оно выглядело, как хороший магазин «Гастронома». Ведь все было за то, что в соревновании мы займем первое место. Коллектив наш был молодой, дисциплинированный, крепкий, хороший, и всем хотелось вернуться из последнего плавания в отличном виде. Я даже приказал старшему помощнику снять спасательные круги и наново окрасить.

Последующее на всю жизнь врезалось в память.

Я находился в машинном отделении, где все сверкало, словно в салоне, когда подошел вахтенный и доложил, что виден крейсер. Я прошел в каюту, и едва успел надеть китель, как сообщили, что крейсер подходит.

Я быстро вышел и близко у борта увидел судно. Оно держало старый испанский флаг. На палубе было многолюдно, чехлы с орудий сняты, дула направлены на нас. Я понял, что разговор предстоит серьезный, если не окончательный.

Так и вышло. Взвился сигнал: «Оставить судно».

Сигнал недвусмысленный, но моя команда была совершенно спокойна. Каждый занимался своим делом.

Я немного подумал. В это время появился один из моих помощников, тов. Кульберг. Мы решили, что медлить ни минуты нельзя, ибо сигнал может оказаться повторным. «Сигнал вижу, но не разбираю» — ответил я, а сам приказал произвести подготовку к тревоге: «Оставить судно», чтобы не быть застигнутыми врасплох в случае неожиданного торпедирования. Дисциплина у моего экипажа всегда была отличная, и люди, словно на ученьи, начали быстро снаряжать шляпку. Я распорядился взять карты, компас, корабельный журнал, а также продовольствие. Крейсер находился с правого борта, наши приготовления велись на левом, и пи-

раты не могли заметить, чем мы заняты.

Между тем, не дожидаясь, пока я распознаю сигнал, они спустили шлюпку и направились к нам. В шлюпке был офицер, переводчик и десять матросов, вооруженных ружьями и револьверами. Все вооружение, как я заметил, было итальянское. На борт «Комсомола» вся эта банда поднялась по-пиратски, — офицер даже оттолкнул руку, которую, в соответствии с законами международной вежливости, протянул ему один из помощников, чтобы помочь взойти.

Немедленно выставили у кают караулы. Офицер потребовал грузовые документы, список экипажа, судовые книги.

— Судно ваше будет расстреляно, на спасение даем вам пятнадцать минут, — заявил офицер.

Переводчик был испанец, разговор велся на итальянском языке, отчасти на английском.

Предупреждение было категорическое. Мы успели осмотреть матросов Франко. Все они были очень скверно одеты, неряшливы, в парусиновых туфлях вместо обуви. Несытый был у каждого и вид, никакого сравнения с нашими моряками.

После того, как я предъявил документы, офицер приказал: «Явитесь на крейсер!..».

Медлить — судя по тону пиратов — не приходилось. Команда была готова ко всяким неожиданностям, хотя жизнь на теплоходе до последней минуты шла самая нормальная. Маленький, но характерный штрих. Когда нашей уборщице Марии Васильевне сказали, что есть распоряжение капитана оставить судно, она ответила, предполагая, что это очередная учебная тревога:

— Подождите, пол мне надо дотереть.

Так до самой последней минуты каждый занимался своим прямым делом.

Женщин — их было две: Мария Васильевна Фоменко и буфетчица Татьяна Васильевна Бодманова — спустили в шлюпку первыми, с кое-какими вещами, точнее сказать — с узелочками, где было запасное платье и белье. Остальные — мужчины — спускались сами, по

шлюпочным таям и без вещей, захватив лишь каждый свое пальто.

Посадка проходила образцово, без малейшей суеты и намека на волнение. Наблюдая за посадкой, я однако думал, что у них — у тех, кто на крейсере уже навел на нас орудийные дула, — часы будут обязательно спешить, а у меня отставать. Действительно, не прошло и трех минут, как поступил второй сигнал: «Немедленно оставьте судно».

Каждый моряк наизусть знает основные сигналы моря, и было ясно, что пираты стремились спровоцировать нас, внести панику. Разумеется, это им не удалось. Я твердо решил выдержать срок и не потерять людей. В шлюпке не было еще двоих, не считая капитана. Оказывается, те двое задержались в машинном отделении, чтобы на время нашей общей отлучки застопорить машины. Едва я их окликнул, как последовал третий сигнал о немедленном оставлении судна.

Крейсер был от нас в сотне метров. Его сигналы видел и понимал каждый. Тем не менее у нас все проходило благополучно: ни одного ушиба, ни единой царапины. В тягчайший момент оправдалось то, чем я всегда гордился: ни на иоту не пошатнулась дисциплина советских моряков.

Я спустился последним, и шлюпка отчалила от теплохода.

Как погиб „Комсомол“

Мы молчали, но никто не был подавлен. У каждого из нас была надежда, что командир крейсера отгонит нас от себя, предоставив нашу судьбу морю. Со стихией мы справились бы и на шлюпке. Мы могли бы пристать к алжирскому берегу, до которого было всего 40 миль. И я считал самым худшим, если нам придется остаться на крейсере.

Когда мы подходили к нему, нас неоднократно фотографировали. Мы успели распознать покрашенную надпись на борту крейсера. Это был «Канариас». Потом спустили трап, приказали подняться. Команда крейсера держала себя разнузданно: хихикали, кричали, грозили кулаками. Только в глазах матро-

сов мы видели сочувствие к себе: моряки испытывали некоторую неловкость, зная, что нас захватили в нейтральной зоне с нейтральным грузом для Бельгии.

Когда мы поднялись на крейсер, начался досмотр. Но и тут я все еще думал, что этот обыск — пустое запугивание, что так или иначе, а нас отпустят. Но когда пираты бросили шлюпку, не дав возможности взять оттуда даже женские узелочки и продукты, когда шлюпка пошла по воле волн, мысль о том, что мы пленники, что нам уже не вырваться из этой пловучей тюрьмы, молнией пронзила мой мозг.

Обыскивали нас всех весьма тщательно. Отобрали перочинные ножи, табак, спички. У кого были какие-нибудь сувениры, отобрали и сувениры. Что касается спичек, то после мы видели их в судовой лавке в продаже.

Когда после обыска нас выстроили на полуяте, мы подумали, что нас собираются расстрелять. Подошедший офицер предложил мне составить список экипажа на английском языке. Я написал. Бегло просмотрев листок, офицер осведомился: кто еще остался на судне? Я ответил, что на «Комсомоле» никого нет. Зачем-то спросили меня о том же вторично и, конечно, получили тот же самый ответ.

Тогда они начали расстреливать «Комсомол», открыв огонь из бортовых срудий. Били залпами. Расстояние было небольшое, однако первые снаряды не попали в цель.

Содрогалось судно, содрогались и наши сердца, но не от страха за свою личную судьбу, а от гнева и беспредельной ненависти к этим пиратам.

Всего они выпустили до 35 снарядов.

Момент полного погружения «Комсомола» никто из нас не видел. Видели только, как снаряды попали в нефтяные танки (резервуары с горючим), и наше судно начало гореть. Честный, ничем не запятанный флаг страны Советов еще трепетал над начавшей опускаться кормой, когда нас окружили вооруженные солдаты и, держа винтовки наготове, повели в казематы.

Пловучая тюрьма

Нас разбили на две группы, а обеих женщин увели неизвестно куда. С теплохода я захватил карту и вахтенный журнал. Карту пираты забрали еще при первом обыске, но вахтенный журнал у меня остался. Сидя в каземате, мы в течение полутора часов прислушивались к орудиюному гулу и тяжким взрывам. Разгром продолжался. Крейсер отгонял все встречные суда, мешая им подойти к горевшему «Комсомолу».

Через час начался допрос. Меня вызвали первым. Допрашивал немецкий офицер, довольно глупо прикидывавшийся испанцем.

— Сколько раз вы были в республиканской Испании после июля месяца?

— Один раз.

— Какой у вас был тогда груз?

— Продукты, подарки женщинам и детям Советского Союза женщинам и детям республиканской Испании.

Он помолчал.

— У вас было оружие, — сказал он вдруг.

Я ответил, что никакого оружия у нас не было, что мы разгружались в Аликанте и Валенсии на глазах английской, итальянской, французской, аргентинской и других эскадр. Военные моряки видели, что мы разгружали муку, сахар, другие продукты, а совсем не оружие.

В конце допроса немец показал мне фотографию «Комсомола».

— Это ваш? — спросил он.

— Да, — ответил я. — Это наш.

После меня допрашивался старший помощник.

Пока шел допрос, в каземат спустилась личность, в которой мы узнали «переводчика». Личность поинтересовалась, кто из нас говорит по-немецки. Все дружно отказались, хотя никто и не сговаривался об этом. Для сговора у нас не было времени, да и место для этого было не совсем подходящее. Но капитан первый ответил, что по-немецки не говорит, и этого было достаточно. Снова я порадовался за своих ребят, а «переводчик» ушел недовольный.

На крейсере мы провели восемь суток в полной неизвестности. Кормили нас скверно, так что мы не раз вспоминали свою кухню и порядком отощали. Сидя под замком, мы дважды слышали стрельбу из орудий. После узнали, что то был пиратский обстрел незащищенных сел и деревень республиканской Испании.

На восьмой день нам объявили, что скоро прибываем в Кадикс, где нас сдадут властям. Надо сказать, что к концу нашего пребывания на крейсере мы установили кое-какие связи. Все матросы сочувствовали нам. Нам дружески подмигивали, а когда не было видно никакого начальства, то показывали поротфронтovski сжатые кулаки. Как-то ночью, провожая одного из наших моряков в галюн, матрос поднял кулак и, тыча себя в грудь, пробормотал: «Рохо, рохо!» (т.-е. я красный, красный!). Когда же на стенах нашего каземата показались подтеки, а на полу появилась вода, другой матрос дал нам тряпку, а один из механиков — без ведома начальства — накачал в помещение свежего воздуха.

22 декабря прибыли в Кадикс. Крейсер встречали флагами, салютовали ему. Должно быть, приветствовали по случаю победоносного потопления мирного, абсолютно безоружного корабля.

В порту стояли долго. Я попросился в галюн и оттуда, заглянув в иллюминатор, заметил у причалов три немецких парохода. Один из них был большой океанский, обычно перевозящий пассажиров, и два грузовых, — эти были поменьше.

Явившиеся вечером жандармы предложили нам одеваться, так как предстоит сойти на берег. Сборы были недолгие: ведь наш багаж лежал вместе с грузом на дне моря. Все же, спускаясь по трапу первым, я взял на руку свое пальто и форменную фуражку с красным флажком на гербе с изображением серпа и молота.

Серп и молот

На берегу нас сразу же окружили пьяные жандармы и вооруженные сол-

даты. Один из них сорвал с меня фуражку. Увидев серп и молот, жандармы загудели: «А, большевик!». После этого, небрежно насунув на меня фуражку, с проворством бывалых тюремщиков надели железные наручники.

Я полагал, что этим и ограничится. Но, сковав таким же манером моего соседа, матроса Павленко, они связали мою правую и его левую руки выше локтя веревками. То же самое проделали с остальными 34 моряками.

Это была ужасная картина. Оголтелая банда не сделала исключения даже для женщин.

Фашисты, закручивая веревки, кричали свой любимый лозунг: «Да здравствует смерть!».

Из порта нас повезли в неизвестность. Город остался где-то в стороне. Кругом была ночь. Ехали долго, потом остановились у слабо освещенного изнутри здания. То были казармы.

Жандармы нарочно остановились тут, чтобы показать нас солдатам. Солдаты подходили к автомобилю, молча рассматривали нас. Жандармы хвастались чем-то, они были поголовно пьяны и знаками показывали, что везут нас на расстрел. Потом, обращаясь уже к нам, вытаскивали из кобур револьверы, показывали на патроны и смачно причмокивали.

Санта-Мариа

Под утро нас привезли к большому замку, очень мрачному. То была андалузская тюрьма Санта-Мариа. Смеясь, жандармы называли ее «Палас Франко». У этого «дворца» нас выстроили под самой стенкой. Застучали приклады, защелкали затворы. Началась инженеровка готовящегося расстрела.

На некоторых из моих ребят были хорошие кожаные пальто, да и вообще каждый из нас одет был прилично. И вот началось методическое отворачивание воротников: фашисты искали валенсийскую марку на одежде, им хотелось «доказать», будто мы были одеты за счет «красного правительства» республиканской Испании. Разумеется, «доказать» ничего не удалось. Зато, увидев

марку Москвошвея, узнав, что кожанки, ссобо их пленившие, сделаны в Советском Союзе, жандармы не смогли скрыть своего крайнего удивления.

Неожиданно вышла из ворот тюремная охрана. Помахивая резиновыми палками, охранники ввели нас в тюрьму. Жандармы что-то кричали вслед, но те не слышали, торопясь с «обыском». «Обыск» свелся к тому, что нам, пленникам, очистили все карманы. У меня, например, забрали недурные часы, вечное перо и даже носовой платок. Ничем не побрезговали и у остальных. Походило на фокус,—с такой быстротой исчезали даже крупные вещи.

После обыска нас рассадили по камерам. Сажали по-трое, капитану дали одиночку. Там же мне учинили длительный допрос. Разумеется, столь же безрезультатный, как и на крейсере.

Наутро в мою камеру зашел офицер, и объявил «правила поведения». Их было много, этих правил, но все сводилось к слову «нельзя». Мешая итальянские слова с испанскими, а больше мимикой и жестами, офицер объяснил мне, что в тюрьме нельзя петь, нельзя читать, писать, курить, нельзя свистеть, подходить к окну, шить, а также лежать и полулежать в течение дня.

— Значит, нельзя сообщить даже консулу? — задал я вопрос.

— Какому консулу? — поднял бровь тюремщик.

— Английскому, например, — ответил я.

Офицер смолчал, но позже, когда меня уже соединили с мотористом Ковальчуком (нас было тридцать шесть, обе женщины сидели отдельно в женской тюрьме), я получил разрешение написать письмо. В письме к английскому консулу я кратко изложил наше положение, просил довести о нем до сведения нашего посла в Лондоне, но к консулу письмо не попало, осталось в тюрьме.

День нового года прошел, как остальные. Мы были в полной неизвестности о своей судьбе. Но в ночь на 3 января явилась пьяная орава и стала что-то кричать. Потом стихли, и нас

стали выводить одного за другим. Куда? Я успел спросить об этом у помощника директора тюрьмы — толстопузого, краснощекого человечка. Он ответил неопределенно:

— Распоряжение генералиссимуса Франко!

То была очередная инсценировка расстрела. Нас выводили по-одному, строили, потом отвели в новые камеры для одиночного заключения. Теперь мне понятно, что этой банде очень хотелось нас расстрелять, да нехватило смелости, побоялись возможных осложнений.

Прошел месяц. Кормили нас хуже, чем собак. Кроме гнилой чечевицы и крохотного кусочка хлеба, ничего не полагалось. Мутная похлебка обычно кишела червями. Сперва мы вылавливали их и бросали, потом привыкли, ели и червячков. Утром нам давали «кофе» — мутную бурду без намека на сахар, — теплой воды не полагалось, мыла также никто не видел за все десять месяцев этого страшного плена.

— У вас вши есть? — то-и-дело справлялись наши тюремщики, боявшиеся, как видно, тифа. — Вши есть?

Вшей у нас не было. Культурные советские люди, мы делали все, чтобы сохранить человеческий вид. Ежедневно, утром и вечером, все, как один, мылись холодной водой. Проводили физкультуру. По двадцать раз на день убрали свои помещения — единственный труд, который разрешался в Санта-Мариа. Но и тут для работы выдавался маленький кусочек тряпки, сор же надо было подбирать руками.

Не знаю, считать ли трудом охоту на клопов. Этих паразитов в тюрьме было видимо-невидимо. По ночам они нападали на нас целыми полчищами, так что потом весь день зудела кожа. Днем же мы сами переходили в наступление и, подсаживая один другого, доставали их из щелей в верхних углах и с почерневших от времени потолков.

День у нас начинался в шесть часов утра. Поднимались по дудке, и по сигналу — два хлопка в ладоши — должны были выскакивать из камер, строиться и кричать: «Вива Испа-

ния!» — при прохождении офицера на утренней проверке.

С этого начиналась перекличка. Опоздавших принять соответствующий вид избивали чем попало. Позднее, когда мы стали желтеть, худеть, падать от истощения, когда даже фашистам стало ясно, что скоро они смогут только подобрать наши трупы, нас соединили по три человека в камере, были введены прогулки. Но и тут опоздавших на проверку продолжали бить, либо лишали прогулок на 7, 14 и даже 30 дней.

Прогулки неизменно обставлялись большими предосторожностями. Мы содержались в специальном корпусе, никто из заключенных не должен был нас видеть. Когда же нас выводили — маленькими группами — на тюремный двор, то обязаны были прятаться и сами тюремщики. Присутствовал лишь один офицер, до зубов вооруженный и молчаливый, как каменная гробница.

Неизвестность томила нас. Несколько раз наш корпус посещали какие-то люди. Директор молча показывал им наши камеры, а у моих дверей коротко кидал: «Здесь капитан». Гости смотрели на меня, как на зверя в клетке, смеялись и выражали удивление, что капитан такой молодой. При последнем визите гостей среди нас уже было десять человек больных, но их не показывали.

Тюремные знакомцы

В течение 8½ месяцев мы не имели никакой информации о внешнем мире. Мы не сомневались, что наше правительство заботится о наших семьях, помнит о нас и сделает все необходимое, чтобы нас спасти. Но мы знали и то, в чьих лапах находимся. Слова М. М. Литвинова о собаке, которая не всегда считается с волей хозяина и кусает в припадке бешенства, могли получить классическую иллюстрацию. Уцелеем ли? Останемся ли живы? Что будет с нами, если фашистам придется уходить отсюда, — возьмут ли они нас с собой, прикончат ли, или что другое? Дважды мы слышали гул моторов. То были воздушные налеты республикан-

цев. Но разве знали они о нас? А если бы и знали, то чем могли помочь?

Чтобы не лишиться рассудка, мы вели между собой беседы. Брали определенную тему и по ней вспоминали: с'езды советов, водный транспорт раньше и теперь, тяжелая индустрия, легкая промышленность и т. п. Не затрагивалась — по вполне понятным причинам — лишь пищевая промышленность.

Игр не полагалось, но в одной из камер все-таки смастерили шашки, а в другой даже шахматы. Шашки были из зерен: белые — горох, черные — чечевица, а шахматы вылепили из обрывков жеваной бумаги, причем основания фигур для прочности прошили нитками. Что касается доски, то она была размечена на тыльной стороне тюремной миски. Играли, конечно, с опаской, прислушиваясь к каждому шороху.

И все-таки однажды попались. Люди были жестоко избиты, фигурки растоптаны. Избили и за обломок грифелечка, найденный в одной из камер.

Так жили.

29 июля неожиданно зашел в мою камеру директор с двумя немцами. Один из немцев держался, как хозяин, то-и-дело отдавая распоряжения директору. Проведя меня по коридору, ввели в какой-то застенок.

— Как вы сюда попали? — спросил у меня немец. — Ведь, вы сами потопили теплоход?

Это был настолько нелепый вопрос, что я пожал плечами и сказал, что топить свой собственный теплоход нам было незачем, а, кто потопил, он, очевидно, сам отлично знает.

— Что вы везли? — задал немец новый вопрос.

— Это записано в журнале, — ответил я.

Он потребовал журнал.

Позже, при уходе из тюрьмы, директор тюрьмы показывал мне расписку, выданную этим немцем. По расписке немец забрал и журнал, и мой диплом капитана дальнего плавания. Весь допрос был поверхностный и даже беспорядочный. Чувствовалось, что фашисты в чем-то попались и теперь изворачиваются.

Надо сказать, что к этому времени у нас, несмотря на каторжный режим, установились кое-какие связи.

Началось с отдельных тюремщиков. Конечно, мы не пыгались их агитировать. За это они бы нас просто избили. Но мы иногда заговаривали с ними об искусстве, о литературе, и раньше всего, конечно, об испанской. Узнав, что в СССР «Дон-Кихот» издается даже для детей, они были очень удивлены. От Сервантеса перешли к другим писателям, к замечательным пьесам Лопе-де-Вега, пользующимся большим успехом у нас на советской сцене. Нас слушали и увлекались до того, что даже забывали дать в зубы, когда в качестве иллюстрации мы насвистывали тот или иной мотивчик.

Но, вообще говоря, били нередко. За свист, за пение, за улыбку, за серьезный взгляд, за громко сказанное слово, за найденный обрывок бумажки, за то, что сразу, вприпрыжку, как зверь, не выскочил на проверку. Не били только за «Вива Испания». Эти два слова мы кричали громко, вкладывая в них свой собственный смысл, далекий от понимания тюремщиков.

Иной была наша связь с заключенными. В половине августа Санта-Мариа стала наполняться тысячами испанцев. Ввиду «жилищного кризиса» их держали на тюремном дворе, где они гуляли от семи утра до семи вечера. Пользуясь узким окошком, мы установили двухстороннюю связь. О ее технике помолчим. Пусть она остается секретом изобретателей — республиканских бойцов и командиров.

Так или иначе, но мы, хотя и с опозданием, узнали о Гвадалахаре, о героической обороне Мадрида и о многом другом, что еще больше укрепило наше мужество.

Надо сказать, что кое у кого из моряков было стремление расширить связи, войти в более тесный контакт с заключенными испанцами, а там, глядишь, и с революционным подпольем, в существовании которого никто не сомневался. Но что могли нам дать эти связи? Свободу? Нет. Смерть? Возможно. Вот почему я требовал сугубой осто-

рожности. Записки получал только я, — это было железным законом для всего экипажа. Письменных ответов избегал даже я, — это было вторым законом, который столь же свято соблюдался.

Был в моем экипаже грузин Иракли, прирожденный конспиратор. Иракли способен был часами наблюдать за тюремным двором, находить там нужных людей и разговаривать с ними исключительно глазами.

Занятие было опасное. Мы сидели в железных клетках за двумя запорами. Примерно треть камеры была отгорожена от внутренней стены толстой железной решеткой. Коридор, по которому прогуливались наши тюремщики, не был виден нам: стена была глухая, вторая дверь глухая, в ней лишь «глазок», открыть который мешала нам решетка. Зато тюремщики в любой момент могли накрыть нас. Ходили они в мягких туфлях, шагов не было слышно, «глазок» открывался бесшумно, в первые дни — до сотни раз в сутки.

Иракли ухитрялся не попадаться. Был ли то инстинкт или человек располагал особо изощренным слухом, но только Иракли отскакивал от окна буквально за единое мгновение до того, как сверкнет и вновь закроется «глазок».

Но немые переговоры не удовлетворили моего Иракли. По его тоскующим глазам, по отдельным репликам я догадывался, что ему страстно хочется завести переписку, связаться с «волей», устроить, быть может, побег..

Побег!..

О воле мечтал каждый из нас, но рисковать так безрассудно жизнью я не мог никому позволить. Если бы мы были испанцами, мы постарались бы бежать из испанской тюрьмы. Но мы да же не пленники, мы — незаконно захваченные граждане нейтрального государства, — как же истолкуют наш побег, даже если он и удастся?

Хладнокровие, спокойствие, большевистская выдержка до конца! Нас не так-то легко уничтожить. Мы — граждане великой, могучей Советской державы. О нас думает правительство страны, партия, лично товарищ Сталин. Может быть, уже есть официальная бу-

мага о нашем немедленном освобождении, только мы об этом еще не знаем, узнаем завтра. Может быть, нас пожелают судить эти бандиты Франко. Тогда мы расскажем все, мы заявим, что нас не за что судить. Но пусть даже нас осудят фашисты, даже расстреляют, — весь мир узнает правду, и эта правда будет не на пользу палачам.

Эти и другие подобные доказательства в конце-концов убедили Иракли, и он не нарушал железного закона о связи.

А, ведь, сколько было искушений!

Когда у большинства из нас появились признаки цынга, нам дали врача — рвать зубы. Это был еще не старый испанец. В Санта-Мариа его держали только год, но человек поседел, как лунь, в своей страшной одиночке. Вошел он к нам с равнодушным видом, но, когда офицер отвернулся, врач так сверкнул глазами, что мы поняли, до чего он ненавидит фашистов. «Русс, русс!» — пробормотал врач, и после не раз высказывал свое удивление, почему это никто из нас не кричит, когда рвут зубы.

Был еще один сиделец, регулярно нас навещавший. Смуглый великан, которого мы прозвали почему-то Иисусом. Он десятый год отбывал наказание то ли за убийство из ревности, то ли за покушение на убийство и был за свою исключительную молчаливость и даже мрачность характера приставлен к нашим камерам как раздатчик хлебных порций.

Раздача происходила единожды в день, в следующем порядке. Каждое утро распахивалась глухая дверь, тюремщик оставался у входа, раздатчик с корзиной на голове делал шаг вперед. Мы, пленники, должны были вскочить еще раньше и стать в центре камеры, лицом к решетке, руки по швам. Убедившись, что все в порядке, раздатчик делал еще два шага вперед и проворно клал против каждого из нас по ломтику кукурузного хлеба. Клад, конечно, не на стол, которого не было, а на горизонтальную балку, скреплявшую железную решетку. Так кладут в зоопарке пищу зверям, так клали и нам. Подой-

ти и взять свою порцию до того, как уйдет раздатчик, считалось преступлением.

И вот этот великан обнаружил к нам неожиданную симпатию. Через месяц он перестал класть куски на решетку. Нет, он подходил к решетке вплотную, протягивал всю корзину и говорил: «Бери, бери. Все бери». Конечно, каждый брал лишь один кусок, — взять два значило бы оставить на весь день кого-то из своих же товарищей без порции, — но этот человеческий подход трогал нас, и сейчас, вспоминая великана, я от души желаю ему свободы и счастья.

Кстати, о хлебе. Табак у нас был отобран еще на крейсере, курить в тюрьме не полагалось, и некоторые мои ребята слепили себе из хлеба четки, чтобы, перебирая их, меньше думать о куреве. Но четки — вещь, а вещей в камере, кроме казенной обстановки, не полагалось, и четки на ночь — на случай ночных обысков — приходилось прятать. Однажды я предложил выкинуть четки совершенно и в ответ услышал грустное замечание соседа:

— Георгий Афанасьевич, не надо, прошу вас: все-таки это — хлеб.

Осенью, когда стали кормить особенно скверно, были съедены и четки...

...Так жили...

Кожавый ремень

Две задачи поставил я перед собой после того, как стало ясно, что фашисты нас так скоро не отпустят.

Еще в первые дни пребывания в Санта-Мариа, когда нас всех остригли наголо, мы поняли, что обречены на длительные сиденье, если только не хуже. Принудительная стрижка угнетающе действовала на отдельных ребят. Скрежет парикмахерской машинки перемежался со скрежетом зубов. Но что мы могли сделать? «Правила» запрещали даже тихо напевать, и когда кто-либо, забывшись, затягивал что-нибудь родное, в камеру врывались тюремщики и принимались избивать.

— Тут вам не театр! — орали наши палачи. — Санта-Мариа — не опера!

И били, как самых последних каторжников.

Я понимал, чего добивались избиениями фашисты. Потопив мирный корабль, захватив в плен его экипаж, они стремились найти хоть какое-нибудь оправдание своему злодеянию. Как были бы счастливы прохвосты, если бы хоть один человек из нашего экипажа, подавленный одиночеством, потерял на время душевное равновесие и наплел на себя всякой ерунды!

И вот первейшей задачей в тюрьме я поставил перед собою — сохранить наш советский коллектив, сохранить во что бы то ни стало, сохранить, не взирая на все трудности, на все ловушки, какие то-и-дело ставились для нас тюремщиками.

Жизнь показала, что с этой задачей удалось справиться. Наши моряки держались с достоинством и на допросах, при ночных обысках, и в те страшные минуты, когда пьяная банда организовывала инсценировку расстрела. Ни одного жалобного возгласа не услышали от нас тюремщики и жандармы.

Но это мужество приходилось в людях поддерживать. Через свои связи я узнавал, кому нужна поддержка, кого надо подбодрить, успокоить, кому даже приказать, умел это делать, и делал порой так, словно находился не в заключении, а у себя на теплоходе.

Большую роль сыграли в данном случае прогулки. К каждой из них я тщательно готовился: нельзя было допустить, чтобы капитан советского корабля выходил на тюремный двор расстроенным, подавленным. Каждый матрос, каждый помощник должен был видеть своего капитана таким, каким привык видеть его на мостике, видеть в нормальной обстановке.

И здесь пригодилась мне моя выдержка. После, когда мы уже очутились на родной земле, отдельные товарищи говорили мне, что их всегда подбадривал мой бодрый и независимый вид. «Все было на месте, только борода отросла через край» — шутили они.

Словом, я старался оставаться и быть советским капитаном.

И, только вернувшись в свою камеру, в изнеможении опускался на кончик тюремной койки: истощенному, полубольному пленнику не так-то легко сохранить свою капитанскую выправку.

Второй задачей было — удержать в памяти хотя бы важнейшие события нашей тюремной жизни, не исказить их бессознательно, не перепутать дат и отдельных фактов. Если нас не расстреляли, — рассуждал я про себя, — то могут и вообще не расстрелять. Если сегодня мы живы, то через какой-то срок можем обрести и свободу. А раз так, то прямой долг каждого из нас, советских моряков, сохранить в памяти события, чтобы когда-нибудь правдиво и с возможной полнотой о них рассказать.

Однако, как быть с датами, с хронологией? Ни у кого из нас не было ни бумаги, ни карандаша для ведения хотя бы кратких записей. Да и попадись такой дневник тюремщикам, не одобровать бы его автору. Тем и страшна, между прочим, одиночка, что в ней ты предоставлен самому себе, что разговаривать можешь лишь сам с собою и про себя, что отсутствуют объективные измерители времени, прожитый день похож на вчерашний, и часто мучишься не от того, что не знаешь своей судьбы, своего завтра, а от того, что не можешь вспомнить, какое сегодня число.

Тут-то и помог мне мой кожаный ремень, единственный предмет туалета, оставленный мне тюремщиками сверх законенного комплекта.

Не знаю, на что они тут рассчитывали. Возможно, питали надежду, что в минуту отчаяния русский капитан сделает себе петлю, и тогда им легче будет превратить экипаж большевистского теплохода в сборище людей, друг с другом не связанных, друг другом не интересующихся, думающих каждый о своем, личном, а не о коллективе.

Если так, то я не оправдал фашистских надежд. Вспомнив из истории, что первыми книгами древних были книги кожаные, я приспособил свой ремень для нанесения на его внутреннюю сторону важнейших дат нашей жизни в Санта-

Мариа. Осломком иглы я выцарапывал на ремне цифры месяцев и чисел, не забывая при каждой новой записи повторить все предыдущие, вспомнив связанные с ними события и даже подробности.

Этот ремень у меня сохранился. Это, можно сказать, единственный манускрипт, который, если исключить память, является «первоисточником» настоящей литературной работы.

Но я отвлекся в сторону.

Разговор глазами

Переполнение Санта-Мариа новыми заключенными началось в конце лета 1937 года. Тут были и пленные, и просто испанцы, заподозренные в сочувствии республиканскому режиму. Особенно много было рабочих из Севильи и Малаги. Их мы узнавали сразу. Оборванная одежда, истощенный вид и пылающие огнем ненависти глаза резко отличали их от рядовых обывателей.

Характерно, что рабочие первыми узнавали в нас русских. Как ни старались изолировать советских моряков фашистские тюремщики, рабочие очень скоро доискивались, кто мы такие, сколько нас, при каких обстоятельствах были захвачены. С нашей стороны этому помогал Иракли, целыми днями простаивавший у узкой щели, заменявшей окно. Начав с разговора глазами, он постепенно перешел к жесту, а потом открыл даже своего рода «морзе», при этом «морзе» без всякого стука.

До чего трудно было переговариваться, показывает хотя бы пример предварительного обмена приветствиями.

Как живой, встает передо мной один из пленных республиканских командиров, уже знавший, что я капитан теплохода, и пожелавший со мной поздороваться на глазах у тюремщиков. Встретившись со мной глазами, он занес свою правую руку на затылок, точно хотел снять с шеи соринку, на затылке же сжал пальцы в кулак, а потом, передвигая кулак к уху, по ротфронтовски отсалютовал.

От испанцев же мы узнали, — и тоже в выразительных жестах, — кто

«запущен» в среду пленников в качестве провокатора, кого надо опасаться, а на кого твердо полагаться, что не выдаст.

Позже пришла папираса, развернув которую, мы нашли первую записку. В ней сообщалась радостная весть о новом Капоретто — о разгроме итальянских корпусов республиканцами под Гвадалахарой.

Эти связи, маленькие связи после 9-месячной абсолютной оторванности от всего мира бесконечно радовали нас.

Но уже проходила осень, в нашей судьбе не было никаких перемен к лучшему, а тюремный быт все ухудшался и ухудшался. Надвигалась зима, а у нас не было даже иголки, чтобы починить свои лохмотья. Ведь все хорошие вещи были отобраны еще в декабре, никто из нас не имел смены белья, и когда шла стирка (без мыла, конечно, и в холодной воде!), то оставались, в чем мать родила.

И вдруг у кого-то обнаружился кусочек бритвы «жиллет», застрявший в подкладке и по счастливой случайности не отобранный при обысках. Все воспрянули духом, узнав на прогулке о ценной находке. Вскоре нашли на дворе проволочку, пронесли ее в одну из камер, согнули вдвое и принялись осторожно пилить в точке сгиба.

Так было сделано ушко будущей иглы. Мы острили, что у нас налаживается собственное производство иголок. Нитки же для шитья брали из штанин, либо распарывая незаметно матрацы. Именно такой иглой я и починил свою рубашку, которая лезла по швам.

Готовились мы к зиме из последних сил. Половина людей была больна, о судьбе обеих женщин не было никаких сведений. Знали только, что они живы, о чем под большим секретом сообщил мне один надзиратель.

— Я — не фашист, нет! — с чувством сказал надзиратель. — Мои братья, моя мать — т а м. Но, ради бога, никому ни слова, иначе...

Он жестом показал, что тогда ему перережут горло.

Это не было простой трусостью. Мы уже знали, что в армии Франко доста-

точно ненадежных в фашистском смысле элементов, в том числе и среди офицерства. Но эти элементы не организованы. Ненавидя оккупантов, они не особенно доверяют друг другу, боясь предательства, так как и армия Франко, и флот кишат провокаторами.

— Какой же вы партии? — спросил я однажды у этого офицера.

Он только помахал рукой, потом подул — сперва направо, потом налево, давая понять, что его «партия», это — куда ветер дует.

В общем, то был обыватель. Однако, самый факт, что обывателю в мундире доверена охрана пленных большевиков в одной из самых мрачных тюрем фашистской части Испании, порадовал нас. Плохо с кадрами у «генералиссимуса», не изучил он своих кадров, как следует.

Путь к свободе

Если бы у меня в тюрьме была краска, то одну из дат на своем ремне я обязательно обвел бы кружочком.

Эта дата — 24 сентября 1937 года, памятный день, когда первая группа советских моряков — в составе одиннадцати человек — после девятимесячного пребывания в Санта-Мариа переступила ее порог уже в обратном направлении.

Произошло это так.

После утреннего «завтрака», состоявшего из кружки тепловатой бурды, я стоял и делал себе «маникюр», то-есть грыз ногти. Никаких ножниц в тюрьме не полагалось, и ногти на руках мы обычно отгрызали, а на ногах обламывали, иногда до крови. Вдруг раскрылась дверь, и меня повели к директору тюрьмы. Вижу, что ведут и других — человек шесть или семь. Никто, разумеется, не знает, в чем дело, а спрашивать не полагается.

Когда нас построили, вышел директор. Вид у него был торжественно-напыщенный, но в то же самое время и недоумевающий.

— Генералиссимус Франко вас освобождает, — объявил директор. — Сегодня вы поедете... э-э... во Францию...

Видимо, ожидая благодарственных излияний, он сделал паузу.

Мы дружно смолчали. Никто не верил ему, и, как потом выяснилось, у каждого мелькнула мысль, что раз нас увозят куда-то, то надо попрощаться с товарищами.

— Освобождаются одиннадцать человек, — закончил свою речь тюремщик. — Можете объявить всем.

Вернувшись в свои камеры, мы с нетерпением ждали прогулки. Дадут ли нам теперь выйти во двор? Не увезут ли просто в ту «Францию», откуда нет возврата? А может быть, этот прием у директора — очередное издевательство над советскими моряками, и нас никуда не повезут?

На прогулке я объявил товарищам, что таких-то и таких-то освобождают. Свои сомнения я, конечно, скрыл, чтобы никого не расстраивать. Какое ликование поднялось вокруг! Жали друг другу руки, целовались, мешая слезы с радостными возгласами. Рыжий уголовник, обычно приносивший нам пищу и долгие месяцы не говоривший ни слова, бросился ко мне на шею и бормоча: «Капитан! Русс-капитан...», едва не задушил в своих объятиях.

Все были убеждены, что нас действительно освобождают, что произошло нечто особенное, чему мы обязаны своей свободой. Однако я считался со всякими неожиданностями и, прощаясь с остающимися, предупредил их, что если они не будут через три дня освобождены, то старшиной останется у них механик тов. Коваленко, и пусть они все, как один, держатся по-большевистски стойко и терпят до конца.

— Что бы с вами ни случилось, — сказал я товарищам, — скажите, что о нас думает вся страна, о нас не перестает заботиться наше правительство, нас носит в своем великом сердце тот, чье имя — знамя трудящихся всего мира...

Уводили нас уже под вечер. Тысячи ласковых глаз провожали нас. Тысячи заключенных испанцев, гулявших во втором внутреннем дворе, расступились, чтобы дать нам дорогу. И вдруг вся эта масса шарахнулась в сторону, точ-

но напал на нее тигр. Люди бежали, спотыкались, падали, давили друг друга, и все это — без шума, без лишнего звуков, молча, точно в немом фильме. Страшней всего было то, что никто не крикнул. Крик в тюрьме, это — бунт.

Я оглянулся. Посреди опустевшего двора стоял субъект с плетью. Фуражка у него была сдвинута набок. Он был пьян и чем-то взбешен. Я узнал помощника директора Санта-Мариа, с которой мы расставались.

У выхода из тюрьмы на нас опять надели железные наручники, связали попарно и под усиленной охраной жандармерии повели по пыльной и каменной дороге.

Таковы были первые минуты свободы. Оборванные, истощенные, не смеющие перекинуться словом на родном языке, с цепями на руках, в окружении жандармов, шли одиннадцать советских моряков с потопленного бандитами теплохода по выдавшей виды старой андалузской дороге.

И все-таки мы были почти счастливы. Над нашими головами простиралось небо, впереди открывался горизонт, ветер близкой Атлантики обвевал наши лица, в душе мерцала искорка надежды, что мы еще увидим море, увидим родину, милую родину, которая вызволила уже нас и вызовет скоро всех остальных.

Нас привели на вокзал, посадили в подошедший вскоре поезд и через три часа доставили в Севилью. Города мы не видели, так как нас сразу же посадили в закрытый автомобиль и помчали в севильскую тюрьму. Режим и там был каторжный, но теперь нас это не смущало.

Утром 25 сентября нас снова связали, посадили в поезд и повезли на северо-восток. Ехали долго — около сорока часов, и на каждой станции нас усиленно рассматривали солдаты. То были исключительно итальянцы. «Дружественные» Франко господина Муссолини и Гитлер поделили «зоны влияния» во избежание «дружеских» столкновений.

Наконец, привезли в город, представляющий из себя чуть ли не одни развалины. Мы узнали Ирун, все мужское

население которого давно ушло к республиканцам.

С вокзала в город нас доставили не сразу. Сопровождавшие нас одиннадцать жандармов, видимо, хотели продлить свои суточные и не торопились. Двое из них отправились выпить и закутить, остальные, отведя нас в сторону, тихонько переговаривались. О чем? Это нас меньше всего интересовало. Трудно было допустить, что в Ируне нас расстреляют. Для этого не стоило везти людей через всю страну.

Нам очень хотелось кушать. Воздух и движение за сорок часов у кого угодно вызовут чертовский аппетит, а мы были истощены еще и до этого путешествия.

В этот момент и появился кривой марокканец. Откуда он взялся на вокзале, не знаю. Нам было не до наблюдений, большинство дремало, стараясь забыться. И вдруг резкий гортанный клетот, затем чей-то грубый смех, и снова тот же голос.

Открыв глаза, я увидел группку испанцев, среди которых было двое трое солдат, и высокого худого марокканца, кушавшего черный виноград и в промежутках о чем-то ораторствовавшего. Не столько из его слов, сколько из жестов и мимики я понял, о чем он говорил. Ударяя себя в грудь, показывая на страшную впадину вместо глаза, марокканец явно стремился привлечь к себе внимание.

На войне он лишился глаза. Он много-много воевал, многих убил, он смел и отчаян. Он и еще будет убивать. Зачем только берут в плен, когда надо казнить?

Врацая своим единственным глазом, он пальцем указывал на нас и явно стремился понравиться публике.

Но его почти никто не слушал. Даже в глазах жандармов не было ничего, кроме вокзальной скуки ожидания. А один из солдат нарочито громко зевнул, фыркнул и вместе с товарищем повернулся к оратору, точно к лошади, спиной. Видимо, они не считали его за человека.

И тут-то разыгрался эпизод, о котором невозможно забыть. То ли марок-

канец обиделся на своих собратьев по оружию, то ли обратил внимание на наш истощенный вид, но только после короткого раздумья он вдруг шагнул к самому крайнему из нас и предложил ему кисть винограда.

Положение было критическое. Взять? Подачка. Не брат? Человека обидишь. А что, если ласково поблагодарить, дружелюбно улыбнуться, а винограда все-таки не брат? Эта мысль мелькнула у многих из нас и мгновенно была осуществлена тем, кому было предложено угощенье.

— Спасибо, — сказал он по-русски, — кушай сам на здоровье.

Марокканец замер с кистью в руке. Он был огорчен, он растерялся. Ласковый ответ не гармонировал с отказом. Белый человек смотрит таким добрым взглядом, а не берет...

И кисть задрожала в руке кривого, когда он вновь протянул её.

Посоветовавшись с тов. Кульбергом, я решил, что надо взять, и кивнул своему парню.

Надо было видеть, как оживился после этого марокканец. Лицо его засияло, губы раздвинулись в широкой улыбке, глаз утратил свое свирепое выражение и даже затуманился. Передав кисть, он крикнул одно только слово, и сейчас же из-под товарного вагона вынырнул чернявый парнишка с высокой и узкой корзинкой.

То был продавец винограда. Купив у него не меньше двух килограммов, марокканец принялся оделять всех нас. Жандармы не препятствовали. То, что мы приняли угощение из рук черного человека, вызвало у них, видимо, настолько сильное презрение, что они не сказали ни слова. А может, и у жандармов нашлась крошка совести, ибо за всю дорогу они нам выдали лишь по кусочку хлеба. Так или иначе, а мы подкрепились.

В Ируне

В Ирун нас повели с вокзала днем. День был солнечный, теплый, приятный, но народу почти не попадалось, — все взрослое мужское население давно

бежало к республиканцам, либо было перебито, — и только бедно одетые женщины с худыми детишками, встречаясь с нами, останавливались и испуганно глядели на жандармов, с жалостью и тревогой — на нас.

В городе нас сдали фалангистам, состоявшим при коменданте пограничного пункта. С любопытством осмотрев нас, они попробовали произвести очередной «обыск» и были явно разочарованы, не обнаружив не только часов, но даже зубочисток.

— Завтра поедете туда, — сказал комендант, ковыряя в зубах спичкой. — Имейте в виду: явитесь во второй раз — плохо вам будет...

Мы не стали дискутировать. Теперь, когда свобода была так близка, ни у кого из нас не было желания спорить с субъектом, от которого отнюдь не зависит, будем ли мы дальше плавать на торговых судах, или поплывем на других, более устойчивых и внушительных кораблях, встреча с коими едва ли обрадует фашистов.

На пограничном пункте, отведенные на сей раз в общую камеру, мы неожиданно встретились с моряками теплохода «Смидович». То были первые земляки, да вдобавок еще моряки, и легко себе представить, как мы друг другу обрадовались. Дружеские рукопожатия, взаимные расспросы, воспоминания о только-что пережитом и светлые мечты о возвращении на родину, — все смешалось в этой встрече. Сейчас даже трудно вспомнить слова, осталась только радость, что мы, наконец, будем вырваны из лап фашистской банды.

Однако, прошел день, а нас не освобождали. Прошли еще сутки, а желанная граница была так же далека, как и в день приезда в Ирун. На третий, не то на четвертый день в нашу камеру заявили двое немцев. Один из них был вооружен фотоаппаратом, другой — блокнотом и вечным пером. Назвавшись журналистами, немцы осведомились, кто из нас капитан «Комсомола».

Не вставая, впервые за эти девять месяцев не вставая перед посетителями,

я сказал, что капитан советского теплохода «Комсомол», потопленного в Средиземном море 14 декабря 1936 года, находится в данный момент перед ними.

Гости замялись. Хорошо владея русским языком, они, видимо, рассчитывали на большое интервью.

— Как вы тут живете? — спросил тот, у которого было в руках вечное перо. — Как жилось вам до этого в Андалузии?

Я смерил его взглядом.

— Кажется, вы сами можете видеть, как мы тут живем, — ответил я. — Что касается дальнейшей беседы, то считаю ее лишней.

Моряки закричали от удовольствия, а кое-кто до того выразительно глянул на обоих фашистских щелкоперов, что они, сделав два-три снимка, поспешили удалиться.

— Скатертью дорога, — напутствовали их, — подробности в «Правде» прочитаете!

На другой день мы перешли, наконец, французскую границу. По странной иронии судьбы случилось это 1 октября, в тот самый день, когда Франко праздновал годовщину своего «прихода к власти». По сему поводу даже в таком маленьком городке, как Ирун, была назначена «демонстрация».

— Можете посмотреть, — предложил комендант. — Погода хорошая.

Мы пошли, но едва только свернули за угол, как нас догнали четыре машины. Решив, что это какой-то трюк, так как до площади было меньше сотни шагов, мы ехать отказались. Ухмыльнувшись, комендант самолично вывел нас на площадь. Народу там собралось около двухсот человек, причем преобладали военные чиновники и какие-то типы, одетые на один манер, — видимо, фашистские шпики. У края площади чернела возвышенность — место давнишнего пожарища, — комендант повел нас туда, чтобы мы могли лучше видеть «демонстрацию».

Вдруг послышалось пение, довольно заунывное и гнусавое. Повернувшись на голоса, я увидел забавное для советского человека шествие. Размахивая легкими хоругвями, шли попарно попы,

облаченные в свои средневековые балахоны. Тут же шли подростки в кружевных стихарях, неся миски с водой. Главный поп время от времени макал туда свой помазок, потом брызгал на все четыре стороны.

— Sancta Maria! — завывали попы, обращаясь не иначе, как к самой богородице. — Sancta Maria, dominus tecum...¹

Стоявший со мной рядом моторист злобно фыркнул.

— Посидели бы в этой самой Санта-Мариа, как мы сидели, так не то бы запели, дьяволы, — шепнул он мне на ухо.

Неожиданно раздался резкий свист. То комендант, желая привлечь к нашей группе внимание знакомых ему попов, подал им сигнал, и божественное окончательно смешалось с мирским.

После крестного хода, в котором участвовали одни лишь попы, прошел оркестр, за ним отрядик из 30—40 рекетистов, кучка ребятишек, включая и шестилетних, с деревянными ружьями. В таком же порядке — сначала взрослые, потом дети — прошли фалангисты. У этих не было даже оркестра, шли под барабан, и весьма нестройно.

Этим «парадом» и закончилась фашистская «демонстрация». Народ отсутствовал, кроме некоторых женщин, которых согнали на площадь жандармы Франко.

Через час после этой комедии нас вывели в вестибюль, построили, и вошедший комендант, успевший уже основательно выпить, бросил нам одно единственное слово:

— Идите.

Мы пошли... Ах, вот он какой, этот мост, призванный избавить нас от страшного плена! Мост был достаточно широк даже для проезда, но мы пошли бы даже по лезвию ножа, пошли бы и над бездонной пропастью, лишь бы вырваться, лишь бы вновь увидеть свою родную страну.

А на той стороне уже ждут, встречают. Тверже, тверже шаг! Выше голову! Смело, товарищи, в ногу!

¹ Святая Мариа, господь с тобою.

Никто не прибавил шагу, никто и не убавил, когда кончился мост и затопали ноги советских моряков по земле дружественного государства... Вот советский наш консул. Он целует каждого из нас, а мы готовы обнять его разом, и родная русская речь звучит для нас, как самая чудесная музыка.

— Отдыхать, отдыхать! — добродушно командует консул. — Мыться, бриться, переодеваться, — я же все щеки о вас исколол, голубы вы мои!..

И вот после десяти месяцев мы впервые входим не под тюремную крышу. Маленькая гостиница, но такая чистенькая, светленькая, уютная. С наслаждением принимаем горячую ванну, с наслаждением переодеваемся, стрижемся и бреемся, вдыхаем аромат поднесенных нам цветов, пьем настоящий, такой душистый и вкусный кофе, обедаем за чистыми скатертями и с обилием всяких яств, курим сигаретки, поем и свистим, спорим и хохочем, смотрим в окна и садимся в качалку, словом, делаем тысячи вещей, которые еще сегодня утром были запретными либо недоступными.

Твердь

Следует ли описывать дальнейшее? 2 октября мы уже прибыли в Париж, город для моряков незнакомый, новый, неожиданный, поскольку к нему не имеют доступа большие морские суда. В Париже нас тепло встретила советская колония. Считая, что мы порядком расстроили себе нервы, нас стремились развлечь экскурсиями и прогулками.

Побывали, разумеется, и на Всемирной выставке, видели все ее чудеса. Впрочем, не будь их, выставка привлекла бы нас уже одним своим советским павильоном. Это был кусочек нашей великой родины, чудесное зеркало, в котором отражены наши достижения и победы, наша Сталинская Конституция и весь социалистический строй.

Но раньше всего мы посетили Стену Коммунаров на историческом кладбище Пер-Лашез. Мы возложили на могилу борцов Коммуны венок из алых роз. Я сказал маленькую речь, и все мы по-

клялись беззаветно бороться за СССР, за свою родину, за коммунизм. Другой венок был возложен на могилу великого друга нашей страны — французского писателя Анри Барбюса. Это славное имя, как и прекрасный памятник на могиле, исполненный нашими уральскими мастерами, еще раз напомнили нам о родине, о которой мы истосковались.

Но теплоход «Андрей Жданов», который должен был принять нас на борт в качестве пассажиров, еще не прибыл в Гавр, и мы девять дней провели в столице Франции.

Как-то, делая покупки, пришлось встретиться на улице с греческими моряками. Вид у них был жалкий. Они тоже только-что освободились из фашистского плена, однако никто о них не позаботился, не встретил, не обладал. Неизвестно даже, встречал ли их греческий консул, а главное — не придется ли им по возвращении пополнить армию безработных, которая не иссякает и растет в странах капитала.

Это был наглядный урок политграмоты на тему: «Труд у них и у нас»: их моряки скитались по незнакомому городу, советские моряки — жили в одной из лучших парижских гостиниц, получили сполна свою заработную плату за проведенные в плену девять с половиной месяцев и могли не только сами полностью экипироваться, но и купить подарки для своих жен, друзей и детей.

В Париже среди тысячи новостей узнали мы и о награждении нас орденами Советского Союза. Награждение состоялось еще в те дни, когда нос «Комсомола» бодро резал зеленую волну Средиземного моря, но только теперь мы узнали, что правительство почтило высшей наградой стахановскую работу своих моряков.

Наконец, пришла долгожданная депеша. «Андрей Жданов» пришвартовался в Гавре. Сборы были недолги, и уже 10 октября, прибыв в Гавр, мы ступили на палубу родного корабля. Море было беспокойно, корабль покачивало, но впервые за десять месяцев мы уснули крепким сном. Для настоящего моряка борт родного судна — самая надеж-

ная твердь. А мы к тому же возвращались на родину, сумевшую спасти своих сынов.

Наша молодость

Свежий ветер, порывисто врываясь в окно, шевелит стопку исписанных листов, будто хочет поторопить с окончанием.

Ярко светит декабрьское солнце. Здесь, на Кавказе, оно и в декабре способно еще греть. Стоя у окна, замечаю людей, которым жарко в драпе, и они на все пуговицы расстегнули свои пальто. Почти не верится, что всего два дня назад валил хлопьями снег и царила настоящая зима. Сейчас она отступила к горам, окаймив хребты белой сверкающей лентой. Месяцем позже зима, бесспорно, перейдет в наступление, — еще будут свирепствовать слепящие мутные бураны, но кончится эта битва торжеством молодой весны, веселой пляской горных водопадов, пестрыми хороводами ярких цветов, золотыми ласками солнца.

Но разве не пройдет оно и туда, на крайний запад Европы, разве не осветит и тех мрачных стен, за которыми еще томятся семеро из моих ребяток?

Где они, что с ними, — эти вопросы не перестают сверлить мне мозг, омрачая радость возвращения на родину. Первая наша группа — одиннадцать человек — приехала в Ленинград 17 октября 1937 года. Вернувшись в Одессу, в порт, к которому был приписан наш погибший теплоход «Комсомол», мы несказанно были обрадованы сообщением об освобождении из фашистского застенка еще восемнадцати товарищей. Но эти семеро — почему не освобождены они?

От этих мыслей я порой прихожу в ярость. Фашизм должен заплатить, и он еще заплатит по счету, который каждый день, каждый час готовит ему история. Войдет в этот счет и пиратское потопление «Комсомол», и плен тридцати шести советских моряков в Санта-Мария, войдут и страдания тех, кого они еще продолжают держать в своих грязных лапах.

Друзья все время советуют нам не волноваться. Они говорят, что виной всему нервы, что мне, как и остальным с «Комсомолом», необходимо подправить сердце, а все прочее, мол, приложится. Но волнуясь ли я, и так ли уж плохо мое сердце? Об'ективного расширения нет, а субъективно я не волновался даже в наиболее страшные минуты нашего плена. Когда нас дважды выводили на расстрел, я, подобно остальным, только сильнее стискивал зубы. Когда в тюрьме нас избивали, я тоже молчал, — били же лично меня дважды, соответствующие даты хранит ремень.

Там, в Санта-Мария, я разучился только смеяться. Все тридцать шесть, мы разучились там смеяться. В Париже на нас, говорят, было больно и страшно смотреть, когда мы пробовали улыбаться. Еще бы полгода, и наши тюремщики добились бы у своих пленников полной атрофии важнейших лицевых мускулов.

И все же настал день, когда я оказался по-настоящему взволнован, когда величайших усилий стоило мне удержать намернувшуюся на глаза слезу и когда я впервые после долгого перерыва засмеялся натуральным, естественным, абсолютно никого не пугающим смехом.

Это было в Москве, на Красной площади у гранитных трибун, по соседству с мавзолеем, в знаменательный день двадцатилетия Великой Октябрьской Социалистической революции.

Я решил, что на первых порах самым правильным видом отдыха для меня будет поездка в столицу родной страны, а лучшим лекарством — присутствие на военном параде, поскольку военных парадов в самой Москве мне никогда еще видеть не приходилось.

Теперь я присутствовал, как гость, на этом всенародном торжестве. Нужно ли описывать свои личные переживания? Опуская всякие тонкости чисто литературного порядка, на которые я совсем не мастер, скажу только, — и надеюсь, простой читатель меня поймет, — что там, на площади, я, капитан дальнего плавания, человек, видевший десятки морей и сотни портов, впервые забыл о

своим званием, забыл обо всем, что было связано с личной жизнью и личной судьбой.

Там, на Красной площади, я увидел Корабль, каких нигде нет больше в мире, увидел капитанский Мостик, каких нигде нет больше в мире, — наконец, увидел Капитана, единственного из всех водителей кораблей, который четко представляет себе и путь Корабля, и ближайшие порты посещения, и ту великую солнечную гавань, чьи огни и причалы тысячелетиями лишь в снах и грезах видело человечество.

То был исключительно пронизательный Капитан, не боящийся штормов и бурь, но и не обманывающийся предательским спокойствием полного штиля.

То был великий Капитан, отлично знающий сложные законы морских течений и ветров и умеющий всякий раз повернуть руль так, чтобы и противный ветер пошел в дальнейшем на пользу Кораблю, его пассажирам и экипажу.

А потом я увидел и море, которое вместе с своим неповторимым Кораблем стремилось в чудесную гавань грядущего.

Будто шопот легкого прибоя, зазвучали шаги стрелков-пехотинцев в стальных шлемах и с винтовками, обращенными штыками вперед к незримому врагу. Шопот перешел в рокот, похожий на тот, какой бывает всякий раз, когда волна у берега начинает всасывать в себя мелкую гальку, — то мчались пулеметные тачанки, скакала конница, грохотала артиллерия, и, слушая их, я чувствовал учащенное биение своего сердца.

Когда же пошли, наконец, танки, — начиная с маленьких и кончая форменными сухопутными кораблями, — рокот перерос в грохот, в сплошной прибой, в наступление могучего океана, — и тогда-то я почувствовал то внутреннее волнение, о котором сказано выше. Пан-

цырный океан нес свои стальные волны, и ни одна из них не сокрушалась, не слабела, не выходила из строя — могучее движение боевых машин, ведомых людьми из народа и руками народа созданных!

Сунулись бы вот против этого гнусные бандиты Франко и оккупационные корпуса его германо-итальянских хозяев! Попробовали бы не то, что уничтожить, а хотя бы только задержать, приостановить движение этих башен, вращающихся со своими орудиями! Фашистская мразь была бы растоптана еще до того, как поняла, с кем она имеет дело. Это не то, что топить мирные торговые корабли и после издеваться над безоружным экипажем.

Но вот хлынули колонны демонстрантов. Яркое, веселое, праздничное море! Музыка и песня, пляска и смех, казалось, расширили древнюю площадь, заставили поголубеть туманившееся с утра небо, согрели самый воздух, которым дышали сейчас счастливые и радостные люди.

И тогда-то я рассмеялся радостным смехом. После стольких переживаний я мог, наконец, по-человечески смеяться, и я улыбался нашей молодости, нашей силе, нашим знаменам. Точно алые паруса, надутые свежим бризом, они двигались над головами демонстрантов. Не было ни края, ни конца этим знаменам, этим волнам человеческим, этому счастью!

И тогда же мне стало ясно, что потопление нашего красавца «Комсомола» есть лишь эпизод из начавшейся еще двадцать лет назад решающей всемирной схватки двух миров. Из этого последнего боя наш молодой мир — мир социализма — выйдет победителем. Надо только работать, закаляясь для новых славных дел и походов, для новых свершений на суше, на небе, на море, — везде, куда пошлет родной народ, куда укажет наш великий Капитан, родной, любимый Сталин.

Вожди и герои китайского народа

ЭДГАР СНОУ

ОТ РЕДАКЦИИ

Недавно, в Лондоне, вышла в свет книга английского буржуазного журналиста Эдгара Сноу, корреспондента лондонской газеты «Дейли геральд», в которой автор изложил свои впечатления о национально-освободительной борьбе китайского народа. Несколько раньше очерки Сноу, вошедшие теперь в книгу, появлялись в английской и американской прессе.

Эдгар Сноу побывал в советских районах Китая и беседовал с руководящими деятелями коммунистической

партии и народно-революционной армии о современных проблемах Китая и о личном опыте этих людей, долгие годы возглавляющих борьбу китайского народа с японским империализмом.

Здесь мы приводим перевод отрывков из книги Э. Сноу, в которых даны зарисовки вождей китайского народа, а также характеристика перспективы всенародной войны с агрессором на основе единого национального антияпонского фронта.

МАО ЦЗЕ-ДУН

На северо-западе Китая много маленьких и больших деревень, но сколько-нибудь значительные города встречаются редко. Если не считать промышленности, организованной красными, это — аграрный район, местами полупастушеский. Поэтому я был сильно удивлен, когда я вдруг увидел перед собой в зеленой долине древние стены Баоаня, что означает «Защищенный мир».

Некогда, во времена династий Тан и Цин, Баоань был пограничной крепостью, защищавшей Китай от северных кочевников. Сейчас в багряных лучах заходящего солнца высились руины этих укреплений, блокирующих узкий проход, сквозь который некогда в эту долину влились легионы монголов. Здесь еще сохранились внутренний город, в котором некогда располагались гарнизоны, и высокая оборонительная каменная стена, в последнее время укрепленная красными и обнимающая про-

странство в одну квадратную милю. Эта стена окружает нынешний город.

Вскоре по приезде я встретился с Мао Цзе-дуном. Это был сухощавый, немного похожий на Авраама Линкольна человек, роста выше среднего, несколько сутулый, с длинными черными волосами и большими пронизывающими глазами, прямым носом и выдающимися скулами. Первое впечатление подсказало мне, что передо мной человек высокоинтеллектуального склада. В следующий раз я увидел его, когда он гулял по улицам, разговаривая с двумя молодыми крестьянами и оживленно жестикулируя. Сам я его не узнал, мне указали на него другие, — он беззаботно двигался среди других пешеходов, не смотря на то, что враги оценили его голову в 250 тысяч долларов.

Много вечеров провел я, беседуя с ним по самым разнообразным вопросам. Я слышал десятки рассказов о нем от

солдат и командиров. Он рассказывал мне о своем детстве и молодости, о том, как он стал одним из вождей национальной революции, почему он стал коммунистом и как росла красная армия. Он рассказал мне много историй о других красных, начиная с Чжу Дэ и кончая тем юношей, который в течение всего Великого похода красной армии из Центрального Китая (провинция Цзяньси) на северо-запад страны (провинция Ганьсу) нес на себе два железных ящика, в которых хранились архивы правительства советских районов.

В Мао, несомненно, чувствуется огромная волевая сила. В ней нет ничего быстрого или сверхающего, но какая-то изначальная твердая жизненность. Чувствуется, что все то необычное, что есть в этом человеке, растет из его исключительной способности обобщать и выражать жизненные потребности миллионов китайцев и, в частности, китайских крестьян — нищих, голодных, эксплуатируемых, но великодушных, храбрых и в настоящее время мягечно настроенных людей, из которых состоит огромное большинство китайского народа.

В настоящее время (1937 г.) Мао Цзе-дуну сорок четыре года. Он пользуется в коммунистическом мире Китая, пожалуй, наибольшим влиянием. Однако, хотя его все знают и уважают, вокруг него не создано никакого ритуала. Совершенно очевидно, что роль его личности в народном движении огромна.

Мао и его жена жили в двухкомнатном домике, с голыми, бедными, увешанными лишь картами стенами. Ему случалось жить и в гораздо худших условиях. Главным предметом роскоши, которым они хвалились, была сетка от москитов. В других отношениях жизнь Мао почти ничем не отличалась от жизни рядовых солдат красной армии. После того, как он в течение десяти лет стоял во главе красных, после сотен конфискаций собственности помещиков, чиновников и сборщиков налогов он владел лишь своими одеялами и несколькими предметами личного имущества, включая два комплекта обмундирования из бумажной ткани. Хотя он не только председатель правительства,

но занимает в армии пост, равный командующему, он носит на воротнике своего мундира только две красные полоски, обозначающие рядового солдата.

Несколько раз я вместе с Мао бывал на митингах крестьян, красных курсантов и в красном театре. Ничем не выделяясь, он сидел среди толпы и наслаждался во-всю. Я помню, как однажды, в антракте, в антияпонском театре публика потребовала, чтобы Мао Цзе-дун и Линь Бяо, двадцативосьмилетний начальник Красной академии, а раньше известный офицер в штабе Чан Кай-ши, спели дуэт. Линь покраснел, как школьник, и вызволил их обоих тем, что обратился к женщинам-коммунистам с просьбой спеть вместо них.

Мао ел то же, что и все, но, будучи хунаньцем, обладал свойственной южанам любовью к перцу и даже просил запекать перец в хлеб. Однажды вечером, за обедом, я слышал, как он излагал теорию о том, что люди, любящие перец, являются революционерами. В качестве примера он привел свою собственную провинцию Хунань, знаменитую вышедшими оттуда революционерами. В подтверждение он назвал Испанию, Мексику, Францию, но со смехом вынужден был признать свою ошибку, когда кто-то упомянул о всем известной любви итальянцев к красному перцу и чесноку.

Одна из наиболее занятых песенок красных называется «Горячий красный перец». В ней рассказывается о том, как перец возмущается своим бессмысленным растительным существованием, когда в будущем ему предстоит всего лишь быть кем-то съеденным, и как он высмеивает довольство капусты, бобов и шпината своей участью. Песенка кончается тем, что перец организует восстание овощей. «Горячий красный перец» — любимая песенка Мао Цзе-дуна.

Я не заметил в Мао никаких признаков тщеславия и мании величия, но он обладает глубоким сознанием собственного достоинства, и в нем чувствуется способность в случае необходимости принимать беспощадные решения. Я ни разу не видел его сердитым, но слышал от других, что бывали случаи, когда он приходил в сокрушающую ярость. Гово-

рят, что в такие моменты он владеет средствами иронии и разоблачения классически и мастерски.

Мао работает по тринадцать-четырнадцать часов в день. У него, повидимому, железное здоровье. Он относит это за счет годов, проведенных им в юности в деревне, у отца, и за счет периода своего учения в школе, когда он с несколькими товарищами создали нечто вроде спартанского клуба. Они постились, уходили на долгие прогулки в лесистые горы Южного Китая, купались в ледяной воде, без рубах ходили под дождем и снегом, чтобы закалиться.

Однажды Мао провел целое лето, бродя по своей родной провинции Хунань, нанимаясь в батраки. Был и такой период, когда он питался только грубым сортом бобов, запивая их одной лишь водой, — опять-таки для того, чтобы «закалить» желудок. Друзья, приобретенные им во время юношеских скита-

ний, оказались очень полезными, когда десять лет спустя он начал организовывать тысячи хунаньских крестьян в знаменитые крестьянские союзы, которые стали затем основой советов.

Мао произвел на меня впечатление человека, отличающегося большой глубиной чувств. Я помню, как раза два глаза его увлажнились при воспоминаниях об убитых товарищах или о случаях в молодости, связанных с рисовыми бунтами и голодом в Хунани. Тогда много крестьян было обезглавлено за то, что требовали пищи. Один солдат рассказывал мне, что видел, как на фронте Мао отдал свою шинель раненому бойцу. Говорят, что он отказывался носить обувь, когда ее нехватало для красных бойцов.

За исключением нескольких недель, когда он хворал, большую часть Великого похода он проделал пешком, как рядовой солдат.

ВОСПОМИНАНИЯ МАО ЦЗЕ-ДУНА

Детство

Я родился в деревне Шаошань, Сянганьского уезда, в провинции Хунань.

Отец мой был бедным крестьянином и еще в молодые годы вынужден был вступить в армию, куда его погнала кабальная долги. Много лет он провел в солдатах. Впоследствии отец вернулся в родную деревню и, понемножку скапливая деньги на мелочной торговле, умудрился выкупить свою землю.

Мы имели пятнадцать му земли. С этого клочка родители собирали 60 пикблей риса в год. Пять едоков, составлявших нашу семью, потребляли 35 пикблей, оставалось 25. Продавая эти остатки, отец скопил небольшой капитал, с течением времени прикупил еще семь му, что поставило нашу семью в разряд «богатых» крестьян. После этого отцовская земля давала уже целых 84 пикбуля риса в год. Когда мне было десять лет, семья наша состояла из пяти человек — моего отца, матери, деда, младшего брата и меня самого. После того как мы приобрели еще семь му зе-

мли, умер мой дед, но зато родился младший брат. Все же оставался ежегодный избыток риса, и постепенно увеличивалось благосостояние отца.

Еще будучи середняком, отец начал заниматься перевозкой и торговлей зерном, что тоже давало ему небольшой доход. Превратившись в «богатого» крестьянина, он посвящал почти все свое время этому делу. Он нанял батрака и заставил работать в поле детей и жену. Я стал трудиться в хозяйстве отца еще в шестилетнем возрасте.

Учиться я начал в местной начальной школе, когда мне было восемь лет, и оставался там до тринадцатилетнего возраста. Рано по утрам и вечерами я работал в поле. Наш учитель придерживался методов сурового воспитания. Он был груб и резок и часто бил своих учеников. Из-за этого я убежал из школы, когда мне было десять лет. Вернуться домой я боялся из страха побоев и направился в сторону города, который, как мне казалось, был расположен где-то в долине. Три дня бродил я, пока наконец семья не нашла меня.

Однако, к моему удивлению, дома обстановка стала для меня лучше. Отец и учитель стали вести себя спокойнее. Результат моего протеста оставил у меня наилучшее впечатление. Так произошла моя первая успешная «забастовка».

Отец захотел, чтобы я начал вести торговые книги, как только я изучил несколько первых иероглифов. Он хотел, чтобы я научился пользоваться счетами. По настоянию отца я стал по ночам вести расчеты. Он был суровым хозяином. Он раздражался, если я ничем не бывал занят, и когда не надо было вести записи в книгах, то заставлял меня работать по хозяйству. Это был вспыльчивый человек, он часто бил меня и моих братьев. Денег никогда нам не давал, а пищу — очень скудную.

Особенно вспоминается мне один случай. Когда мне было уже тринадцать лет, отец пригласил к нам много гостей, и в их присутствии между нами возник спор. Отец обесчестил меня перед всем собранием, обозвав лентяем и бездельником. Это меня разгневало. Я обругал его и покинул отчий дом. Мать побежала за мной следом, умоляя вернуться. Отец тоже бежал за мной, увещевая и ругая. Я добежал до берега пруда и крикнул ему, что, если он посмеет сделать еще один шаг, я брошусь в воду. Отец требовал, чтобы я извинился и в знак капитуляции преклонил колена. Я соглашался преклонить только одно колено и то при условии, если он обещает не бить меня. Я почерпнул из этого случая урок: когда я защищал свои права в открытом восстании, отец отступал, когда же я проявлял кротость и покорность, он ругал и бил меня еще больше.

В семье я считался «ученым». Я знал классиков, но не любил их. Нравилась же мне былины о древнем Китае и особенно рассказы и книги о восстаниях, несмотря на всяческое сопротивление моего старого учителя, ненавидевшего эти крамольные книги и называвшего их нечестивыми. В школе я читал их, прикрывая сверху книгой классиков, когда подходил учитель. Мне думается, что, прочитанные в юном возрасте, эти книги оказали на меня большое влияние.

Однажды я заметил, что во всех этих повестях есть одна странность — в них ничего не говорилось о крестьянах, возделывавших землю. Героями были воины, чиновники, ученые; ни разу не прочел я о крестьянине-герое. Два года размышлял я обо всем этом, а затем проанализировал содержание всех этих повестей и убедился, что они прославляли воинов и властелинов, которым не приходилось обрабатывать землю, так как они владели ею и, повидимому, заставляли работать на себя крестьян.

Мы много ссорились с отцом, и, наконец, я бежал из дому. Я поселился у безработного адвоката и проучился у него полгода, а затем стал заниматься у старого китайского ученого.

В это время в Хунани произошел случай, оказавший влияние на всю мою жизнь. Однажды за оградой нашей школы мы, ученики, увидели процессию торговцев бобами, возвращавшихся из Чанша. Мы спросили, почему они все вернулись. Они рассказали о большом восстании в городе.

В том году был жестокий голод, и в Чанша тысячи жителей остались без пищи. Голодающие отправили делегацию к гражданскому губернатору, умоляя его о помощи, но он высокомерно ответил: «А почему у вас нет пищи? В городе ее хватает. Мне, вот, всегда хватает». Когда народу передали ответ губернатора, люди очень разозлились, они собрались на митинги и организовали демонстрацию. Они напали на резиденцию маньчжурского губернатора, срубили флагшток, символ власти, и прогнали губернатора. После этого чиновник по внутренним делам, по имени Чжан, появился верхом на лошади и сказал народу, что правительство примет меры помощи голодающему населению. Может быть, Чжан искренно давал обещание, но императору это не понравилось, и он обвинил Чжана в тесных сношениях с «толпой». Чиновника убрали. Прибыл новый губернатор, который тотчас же приказал арестовать главарей восстания. Многие из них обезглавили, и головы их выставили напоказ на шестах как предостережение будущим «мятежникам».

В течение многих дней в нашей школе только и говорили об этом случае. На меня он произвел глубокое впечатление. Большинство студентов симпатизировало «повстанцам», но только как сторонние зрители. Они не понимали, что все это имеет прямое отношение и к ним самим. Я же запомнил эти события навсегда.

Затем на меня также оказал влияние учитель, «радикал», преподававший в нашей школе. «Радикалом» он считался потому, что выступал против буддизма и требовал ниспровержения богов. Он убеждал людей превратить храмы в школы. О нем повсюду говорили. Я преклонялся перед ним и разделял его взгляды. В тот период у меня до некоторой степени пробудилось политическое сознание, особенно после того, как я прочел брошюру о расчленении Китая; и поныне я помню, что брошюра начиналась с фразы: «Увы! Китай будет покорен!». В брошюре говорилось о захвате Японией Кореи и Формозы, о ликвидации независимости Индо-Китая, Бирмы и т. д. Прочтя все это, я опечалился насчет будущего моей родины, но уже понимал, что долг всех людей — помочь ее спасению.

Отец решил определить меня учеником в рисовую лавку в Сяндане, к знакомому купцу. Но вот я узнал об открытии новой, необычной школы и, несмотря на противодействие отца, поступил туда. Школа была в Сянсянском уезде, где проживали родные моей матери. Там меньше уделяли внимания классикам и больше учили «новому знанию», принесенному с Запада. Методы воспитания также были радикально изменены.

Жизнь в Чанша

Я стал мечтать о поездке в Чанша, великий город, столицу провинции, расположенный в ста двадцати ли от моей деревни. Говорили, что это очень большой город, в котором очень много людей, множество школ и резиденция губернатора. К крайнему моему удивлению, я был принят там в одну из школ без особых трудностей. Но политические события совершались быстро, и в

школе мне пришлось пробыть всего около полугода.

В Чанша я впервые прочел газету «Сила народа» («Минлибао»), национально-революционный орган, поведавший мне о Кантонском восстании против маньчжурской династии и о мученической смерти семидесяти героев, предводительствуемых неким хуаньцем по имени Ван Син. Эта повесть произвела на меня очень глубокое впечатление, и вообще в этой газете я нашел массу интересного. Редактором газеты был Ю Ю-жен, ставший впоследствии лидером гоминьдана. Страна была накануне первой революции. Я был настолько взволнован, что написал статью, которую вывесил на стене школы. Это было первым выражением моих политических взглядов, кстати сказать, несколько путанных.

После Уханьского восстания, во главе которого стоял Ли Юань-хун, в Хунани было объявлено военное положение. На политической арене события совершались быстро. Однажды в школу явился революционер и с разрешения директора произнес зажигательную речь. Человек шесть-семь студентов выступили вслед за ним с речами, направленными против маньчжурской власти, и призывали к деятельному участию в установлении республиканского строя. Все слушали с напряженным вниманием.

Несколько спустя после этой речи я решил вступить в революционную армию Ли Юань-хуна. Вместе с группой товарищей я решил отправиться в Ханькоу, для чего мы собрали немного денег среди учеников. Узнав, что в Ханькоу на улицах очень мокро и что там надо ходить в калошах, я отправился занять несколько пар калош к одному знакомому солдату в часть, расквартированную за городом. Меня остановили часовые. Там царил большое оживление, солдатам впервые роздали боевые патроны, и они наводняли улицы военного городка.

Повстанцы приближались к городу по Кантон-Ханькоуской железной дороге; начиналось сражение. За стенами города Чанша разыгралась крупная битва, в то же время произошло восстание в городе, и китайские рабочие штурмом

взяли ворота. Через одни из ворот я вернулся в город. Там я забрался на высокое место и следил за битвой, пока наконец не увидел, что над резиденцией губернатора взвился китайский флаг белого цвета с иероглифом «Хан», что означает Китай. Наша школа оказалась под военной охраной. Назавтра было создано правительство с военным губернатором во главе. Среди найденных революционерами документов маньчжурских властей были копии петиции об открытии парламента. Оригинал петиции собственной кровью написал Су Де-ли; впоследствии он стал комиссаром просвещения в советском правительстве. Чтобы продемонстрировать свою искренность и решимость, Су Де-ли отрезал себе палец. Его петиция начиналась словами: «Ходатайствуя об открытии парламента, я приветствую отбывающих (делегацию в Пекин от провинции), отрезая себе палец».

Новый военный губернатор и вице-губернатор, из числа руководителей общества «Кэ Лао», продержались недолго; они были неплохие люди, с некоторыми революционными намерениями. Помещики и купцы были ими недовольны. Спустя несколько дней, когда я прибыл в Чанша повидать одного моего друга, я видел на мостовой трупы этих людей. Восстание против них организовал Тан Ен-кай, выступавший в качестве доверенного лица хунаньских помещиков и милитаристов.

В то время множество учеников вступало в армию, была создана особая студенческая армия, в ее рядах был и Тан Шен-чжи¹.

Студенческая армия мне не понравилась, смысл ее существования был мало понятен. Я решил вступить в регулярные войска.

Жалованья мне платили семь долларов в месяц, из них два доллара я тратил на пропитание. Кроме того, мне приходилось покупать воду у водовозов. Остаток моего жалованья уходил на га-

зеты, которые я читал с жадностью. Среди газет того времени, писавших о революции, были «Сянцзянские ежедневные новости». Там обсуждались вопросы социализма, откуда я впервые и узнал самый этот термин.

Судьба революции еще не была решена. Династия Цин целиком еще не отказалась от власти, а в гоминьдане шла борьба за руководство. В Хуани говорили, что война неизбежно будет продолжаться. Для борьбы с маньчжурами и Юань Ши-каем было сформировано несколько армий, в том числе хунаньская, но как-раз в момент, когда хунаньцы готовились начать действия, Сун Ят-сен и Юань Ши-кай пришли к соглашению. Война не состоялась, Север и Юг были «объединены», и нанкинское правительство было распущено. Полагая, что революция закончена, я ушел из армии и решил вернуться к книгам. В солдатах я прозел полгода.

Я стал просматривать объявления в газетах. В тот период открывалось много школ, и путем объявлений они старались набрать новых учеников. Твердого суждения о школах у меня не было.

Побывав в нескольких школах, я стал серьезно задумываться над своей «карьерой» и едва не решил, что лучше всего мне стать учителем. Я снова погрузился в чтение объявлений. Внимание мое привлекло объявление хунаньской Нормальной школы; обучение там было бесплатное, школа предоставляла дешевый стол и жилье.

В течение пяти лет я был студентом Нормальной школы и сумел удержаться от всех прочих рекламных соблазнов. Наконец, я и в самом деле получил диплом. За эти годы в моей жизни было много происшествий, и в этот же период стали формироваться мои политические взгляды. Здесь я почерпнул и первый опыт общественной деятельности.

Учитель по имени Тан давал мне газету «Минбао», которую я читал с глубоким интересом. Из нее я узнал о деятельности и программе общества «Тунмын». Однажды я прочитал в газете рассказ о двух китайских студентах,

¹ Впоследствии Тан Шен-чжи стал командующим национальными войсками уханьского правительства Ван Цзин-вэя (1927 год). Он предал и Ван Цзин-вэя и коммунистов и устроил знаменитую резню крестьян в Хуани.

проделавших путешествие через весь Китай и добравшихся до Тацэнлу, в Тибете. Их пример воодушевил меня. Я захотел ему последовать, но у меня не было денег, и я решил сперва попытаться совершить путешествие по Хунани.

На следующее же лето я пустился пешком через провинцию и пересек пять уездов. Моим спутником был студент Сяо Юй. Путь через пять уездов мы проделали, не потратив ни единого медяка. Крестьяне кормили нас и давали ночлег; повсюду с нами обращались приветливо и ласково.

Обуреваемый жаждой деятельности и испытывая потребность в соратниках, я в один прекрасный день поместил объявление в газете, выходящей в Чанша, приглашая связаться со мной молодых людей, тяготеющих к трудам на пользу родине. Я обращал свой призыв к закаленным и исполненным решимости юношам, готовым к самопожертвованию. В ответ на объявление пришло три с половиной отклика. Один пришел от Лю Чян-луна, который в дальнейшем вступил в коммунистическую партию, а потом предал ее. Два отклика поступили от молодых людей, впоследствии ставших яркими реакционерами. «Половинный» отклик пришел от одного осторожного юноши. Он молча выслушал мою речь и, не дав определенного ответа, ушел.

Постепенно я все же сколотил вокруг себя группу студентов, которая образовала ядро будущего общества «Синь Минь Сюэ». Оно имело впоследствии большое влияние на судьбы Китая. То была группка глубокомысленных людей, не желавших тратить время на обыденные вопросы. Каждое их слово должно было определяться конечной целью. У них не оставалось времени для любви или «лирики»; они считали, что в наступившие критические времена потребность в знании стала такой настоятельной, что недопустимо говорить о женщинах и о личных делах. Меня женщины не интересовали. Родители женили меня, когда мне было четырнадцать лет, на девушке двадцати лет, но с нею я не жил ни тогда, ни после.

Мы с друзьями стали яркими поклон-

никами физической культуры. Зимой по праздникам мы отправлялись на прогулки в поле, карабкались на горы, шагали вдоль городских стен, перебирались через ручьи и реки. Когда шел дождь, мы снимали рубашки и называли это дождевой ванной. Когда палило солнце, мы тоже снимали рубашки и называли это солнечной ванной. Когда начинали дуть весенние ветры, мы громкими криками провозглашали рождение нового вида спорта — «ветряных ванн». Мы спали под открытым небом, когда уже наступали заморозки, и еще в ноябре купались в холодных водах реки. Все это называлось закалкой организма. Весьма возможно, что этому образу жизни я обязан той выносливостью, которая сослужила мне большую службу в моих многочисленных походах через Южный Китай и особенно в Великом походе нашей красной армии из Цзянси на северо-запад.

Я завязал обширную переписку со многими студентами и друзьями в других городах. Со временем я почувствовал необходимость в создании более крепко сколоченной организации. В 1917 г. вместе с группой друзей я участвовал в создании общества «Синь Минь Сюэ» («Ученое общество новых людей»). Оно насчитывало семьдесят—восемьдесят человек, часть которых впоследствии стала выдающимися деятелями китайского коммунистического движения и всей истории китайской революции. Большинство членов общества «Синь Минь Сюэ» было убито во время контрреволюционного переворота в 1927 г. Примерно в то же время было создано «Общество социального благоденствия» провинции Хэбэй, весьма напоминавшее общество «Синь Минь Сюэ». Многие члены этого общества в дальнейшем тоже стали коммунистами.

В то время мое сознание представляло своеобразную смесь из идей либерализма, демократического реформизма и утопического социализма. Меня обуревали несколько смутные чувства по отношению к «демократии XIX века», утопизму и старомодному либерализму, но я определенно был антимилитаристом и антиимпериалистом.

Я поступил в колледж в 1912 г. и окончил его в 1918 г.

✱

В последний год моей учебы умерла мать, после чего у меня совсем пропало желание возвращаться домой. Я решил отправиться в то лето в Бэйпин, тогда еще Пекин.

Жизнь в Пекине оказалась для меня не по средствам. До столицы я добрался, заняв денег у друзей, а по приезде мне тотчас же пришлось пуститься на поиски заработка. Ян Чжен-ци, мой прежний школьный учитель этики, стал профессором Пекинского национального университета. Я обратился к нему с просьбой помочь в поисках работы, и он познакомил меня с университетским библиотекарем. То был Ли Дачжао, впоследствии основавший коммунистическую партию Китая, а еще позже казненный Чжан Цзо-лином. Ли Дачжао взял меня в качестве помощника библиотекаря, за что мне было определено жалованье в размере восьми долларов в месяц.

Мое служебное положение было таким ничтожным, что люди игнорировали меня. Одной из моих обязанностей было записывать имена людей, приходивших читать газеты, но для большинства из них я, как человек, не существовал. Среди тех, кто приходил читать, я узнавал имена прославленных лидеров движения возрождения, которые вызывали у меня глубокий интерес. Я пытался заговаривать с ними на политические и культурные темы, но это были очень занятые люди. Им некогда было выслушивать помощника библиотекаря, говорившего на южном диалекте.

Но меня это не обескураживало. Я вступил в философскую и журналистскую корпорации для того, чтобы получить доступ на университетские лекции.

Мой интерес к политике продолжал расти, и я все больше становился радикалом. Я уже говорил о том, как это нарастало. Но в тот период я все еще был растерян и, как говорится, искал пути. Я прочел несколько брошюр об

анархизме и некоторое время был под очень сильным их влиянием. С одним студентом, по имени Чжу Сунь-бэй, мы часто говорили об анархизме и о возможности применения этого учения в Китае.

Условия моего собственного существования в Пекине были очень скверными, но прелести древней столицы в известной мере меня вознаграждали. Я жил в гостинице «Колодец трех глаз», в маленькой комнатке, где ютилось еще семеро. Когда мы все укладывались на нары, то становилось трудно дышать. Если же хотелось повернуться на другой бок, надо было предупреждать об этом соседей. Но зато в парках и в садах старинного дворца я мог наблюдать раннюю северную весну. Я видел, как слива покрывалась белыми цветами. Я видел ивы, свесившиеся под тяжестью ледяных игл, и вспоминал, как описывал этот пейзаж Чжен Чжан, поэт эпохи Тан, писавший о деревьях, покрытых зимними алмазами и напоминающих «десять тысяч персиков в цвету».

В начале 1919 г. я поехал в Шанхай. Билеты у меня были только до Тяньцзиня, я не представлял себе, как доберусь дальше, но, как гласит китайская поговорка, «Небо не задержит путешественника» — и десятидолларовый заем у приятеля-студента позволил мне приобрести билет до Пукоу.

Прибыв в Пукоу, я снова очутился без гроша в кармане и без билета. Занять денег было не у кого. Я не знал, как выбраться из города. Но самое страшное случилось, когда у меня украли мою единственную пару обуви! Возле железнодорожной станции я встретил старого друга из Хунани, поистине оказавшегося моим «ангелом-хранителем». Он одолжил мне денег и на покупку обуви, и на билет до Шанхая. Так я закончил свое путешествие — не спуская глаз с новых ботинок. В Шанхае я узнал, что удалось собрать довольно большую сумму денег для затеваемой посылки студентов во Францию; из этого фонда мне были даны средства на обратный путь в Хунань.

Во второй раз я отправился в Шанхай в 1919 г. Там я встретился с

Ху Ши, к которому обратился за содействием борьбе хунаньских студентов. Вернувшись в Чанша, я приступил к организации «Лиги реконструкции Хунани». Я стал учительствовать, продолжая одновременно работу для общества «Синь Минь Сюэ». Оно выдвинуло тогда требование «независимости» Хунани, что на самом деле означало автономию.

Я припоминаю эпизод, относящийся к 1920 г., когда общество «Синь Минь Сюэ» организовало демонстрацию в честь третьей годовщины Октябрьской революции в России. Полиция разогнала демонстрацию. Часть демонстрантов пыталась поднять красный флаг на митинге, но полиция помешала и этому. Тогда демонстранты заявили, что, согласно статье двенадцатой конституции (тогдашней), народ имеет право собраний, организации и слова, но на полицию это произвело слабое впечатление. Полицейские ответили, что они пришли не для того, чтобы слушать лекции о конституции, но чтобы выполнить приказание губернатора. С этого времени я все больше и больше убеждался, что только политическая сила масс, добытая посредством массового действия, может обеспечить реализацию коренных реформ.

Зимой 1920 г. я впервые приступил к политической организации рабочих, руководствуясь при этом марксистским учением и историей русской революции. Во время моего второго приезда в Пекин я много читал о событиях в России и тщательно выискивал ту скудную коммунистическую литературу на китайском языке, какую тогда можно было раздобыть. К лету 1920 года я стал теоретически и в некоторой мере практически марксистом, с того времени я и считаю себя марксистом.

В этом же году я женился на Янь Кай-гуй¹.

¹ В дальнейшем Мао больше не касался своей совместной жизни с Янь Кай-гуй. Судя по всем рассказам, она была замечательная женщина, окончила Пекинский национальный университет, впоследствии была руководителем молодежного движения в период Великой революции и являлась одной из активнейших коммунисток.

Националистический период

В мае 1921 г. я ездил в Шанхай, чтобы участвовать в собрании, посвященном организации коммунистической партии. Под руководством Ли Да-чжао, я в качестве помощника библиотекаря Пекинского национального университета быстро прошел путь к марксизму. На историческом первом собрании коммунистической партии в Шанхае присутствовали Чжан Го-тао, Бао Гуй-ын, Чжу Ху-хай и другие. Всего нас было двенадцать человек. В октябре того же года в Хунани была создана первая провинциальная организация коммунистической партии, и я был среди ее членов. Вслед за тем организации коммунистической партии были созданы и в других провинциях и городах.

Почти в то же время многочисленная китайская коммунистическая партия была организована во Франции рабочими-студентами. Среди основателей этой партии были Чжоу Энь-лай, Шан Чжэнь-ю, жена Цай Го-шэна, единственная женщина среди основателей партии. Несколько позднее китайская коммунистическая организация была создана и в Германии. Среди ее членов были Го Ю-хань, Чжу Дэ (ныне главнокомандующий красной армии) и Чжань Шэн-фу (ныне профессор университета в Цзинхуа). К маю 1922 г. хунаньская организация партии, секретарем которой я тогда был, организовала уже более двадцати профессиональных союзов среди углекопов, железнодорожников, муниципальных служащих, печатников, рабочих монетного двора и др. Зимой 1922 г. началось мощное рабочее движение. Свою работу коммунистическая партия сосредоточивала тогда главным образом среди студентов и рабочих. Очень мало внимания уделялось крестьянам. В профсоюзы были вовлечены рабочие почти всех крупных шахт и фактически все студенты.

Зимой 1922 г. гражданский губернатор Хунани, Чжао Хэн-ти, приказал казнить двух хунаньских рабочих — Хуан Ай и Бан Юань-цина. Меня делегировали в Шанхай для участия в организации движения против Чжао

Хэн-ти. На зиму 1922 г. в Шанхае был назначен второй с'езд партии, на который я хотел попасть. Однако я забыл название места созыва с'езда, не нашел ни одного из товарищей и пропустил с'езд. Я вернулся в Хунань и энергично взялся за работу в профессиональных союзах. Весною следующего года вспыхнуло много забастовок с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда и признания профессиональных союзов. Большинство забастовок прошло успешно. Первого мая в Хунани была проведена всеобщая стачка, что явилось признаком небывалого усиления рабочего движения в Китае.

Третий с'езд коммунистической партии состоялся в Кантоне и принял историческое решение о вхождении в гоминьдан, о сотрудничестве с ним и о создании единого фронта против северных милитаристов. Я перебрался в Шанхай и стал работать в центральном комитете партии. Весною 1924 г. я поехал в Кантон, где участвовал в первом национальном конгрессе гоминьдана. В марте я вернулся в Шанхай и стал одновременно работать в политбюро ЦК коммунистической партии и в исполнительном комитете гоминьдановской организации.

Прежде я недостаточно понимал значение классовой борьбы крестьянства, но после событий 30 мая 1925 г., сопровождавшихся большой волной политической активности масс, хунаньское крестьянство прониклось боевыми настроениями. Я вернулся в Хунань и начал вести организационно-политическую кампанию в сельских местностях. За несколько месяцев мы создали более двадцати крестьянских союзов, чем вызвали гнев помещиков, потребовавших моего ареста. Чжао Хэн-ти выслал войска для моей поимки, и мне пришлось бежать в Кантон. Прибыл я туда как раз в тот момент, когда слушатели академии Вампу нанесли поражение юньнаньскому милитаристу Ян Си-мину и гуансийскому милитаристу Лу Цзун-вэю. В городе и в гоминьдановской организации в связи с этим царил дух оптимизма.

Я стал редактором «Политического еженедельника», органа политического отдела гоминьдана. Впоследствии этот журнал играл активную роль в разоблачении правого крыла гоминьдана, руководимого Дай Цзи-тао. Вскоре по приезде в Кантон я стал руководителем агитационно-пропагандистского отдела и кандидатом в члены центрального комитета гоминьдана.

В тот период я все больше и больше занимался литературным трудом, и на меня была возложена ответственность за работу коммунистической партии среди крестьян. На опыте теоретической и практической организационной деятельности среди хунаньских крестьян я написал две работы: «Анализ различных классов китайского общества» и «Классовая база господства Чжао Хэн-ти и наши задачи». Чэнь Ду-сю был не согласен с первой моей работой, проповедывавшей радикальную земельную политику и решительную организацию крестьянства под руководством коммунистической партии; он запретил печатать эту работу в центральных органах партии. Впоследствии она была опубликована в «Крестьянском ежемесячнике», выходившем в Кантоне, и в журнале «Китайская молодежь». Вторая работа была в виде брошюры опубликована в Хунани. Я начинал выступать против правооппортунистической политики Чэнь Ду-сю, бывшего секретарем ЦК компартии, и постепенное расхождение между нами становилось все больше, хотя высшей точки наша взаимная борьба достигла только в 1927 г.

Работу в кантонской организации гоминьдана я продолжал примерно до того момента, когда, в марте 1926 года, Чан Кай-ши в первый раз попытался совершить переворот. После примирения левого и правого крыльев гоминьдана и восстановления единства действий гоминьдана и компартии, я весною 1926 года отправился в Шанхай. В Шанхае я руководил крестьянским отделом ЦК коммунистической партии и от туда был послан в Хунань для обследования крестьянского движения. Тем временем под знаменем единого фронта гоминьдана и коммунистической партии

осенью 1926 года начался Северный поход.

В Хунани я обследовал крестьянские организации и политическую обстановку в пяти уездах (Чанша, Лилин, Сянган, Хуньшань и Сянсян) и в своем докладе центральному комитету настаивал на проведении новой линии в крестьянском движении. В начале весны 1927 г., прибив в Ухань, я участвовал в межпровинциальной крестьянской конференции, где обсуждались мои предложения о широком перераспределении земли. Конференция постановила передать мое предложение на рассмотрение пятой конференции коммунистической партии, однако Чэнь Ду-сю отверг эти предложения.

Когда в 1927 г. в Ухане состоялась пятая конференция партии, Чэнь Ду-сю все еще продолжал играть руководящую роль в партии и все еще настаивал на уступках уханьскому гоминьдану, хотя уже начинались контрреволюционные выступления. Невзирая на сопротивление, с каким была встречена его линия, он продолжал правоопортунистическую мелкобуржуазную политику.

Чэнь Ду-сю не понимал роли крестьянства в революции и в высшей степени недооценивал его возможностей в тот период.

К весне 1927 г. крестьянское движение в Хэбэе, Цзяньси и Фуцзяни, и особенно в Хунани, приобрело поразительно боевой характер. Правительственная бюрократия и генералитет стали требовать подавления этого движения, называя крестьянский союз «союзом бродяг» и определяя его деятельность и его требования как эксцессы. Чэнь Ду-сю отозвал меня из Хунани, привлек меня к ответственности за тамошние события и резко выступил против моих предложений.

В апреле в Нанкине и Шанхае вспыхнула контрреволюция, начавшаяся массовой резней среди организованных рабочих. То же произошло в Кантоне. 21 мая в Хунани произошло восстание Сю Ко-сяна. Реакционеры расстреляли сотни крестьян и рабочих. Вскоре после этого «левый» гоминьдан в Ухане порвал соглашение с коммунистами и «исключил» их из гоминьдана и из пра-

вительства, которое быстро после этого прекратило свое существование.

Части коммунистических лидеров партия приказала тогда покинуть пределы страны, отправиться в Шанхай и другие безопасные места. Мне было приказано отправиться в Сычуань.

Советское движение

1 августа 1927 г. Двадцатая армия под командой Хэ Луна и Е Тина вместе с Чжу Дэ подняла историческое Наньчанское восстание. Так было положено начало тому, что впоследствии стало красной армией. Спустя неделю, 7 августа, чрезвычайный пленум центрального комитета коммунистической партии сместил Чэнь Ду-сю с поста секретаря ЦК. Я был членом политбюро ЦК начиная с третьей конференции партии, состоявшейся в 1924 г. в Кантоне, и принимал активное участие в вынесении этого решения. Партия выработала новую политическую линию. Я был послан в Чанша для организации движения, названного впоследствии Осенним восстанием сборщиков урожая.

Уже в сентябре нам удалось через крестьянские союзы Хунани организовать широкое восстание, и тогда же были созданы первые ячейки рабоче-крестьянской армии. Армия пополнялась из трех источников: крестьянство, ханьянские горняки и повстанческие войсковые части гоминьдановской армии. Эти первые вооруженные силы революции были названы «Первой дивизией первой крестьянской и рабочей армии». Первый полк был составлен из ханьянских горняков, второй — из крестьян пинцзянского, люянского, лилинского и двух других уездов провинции Хунань, а третий — из революционных частей уханьского гарнизона.

В процессе организации армии и собирания ханьянских горняков и крестьян я был захвачен наемниками буржуазии. Белый террор достиг тогда крайних пределов, и тех, кого считали коммунистами, расстреливали сотнями. Меня приказано было отправить в штаб белых на расстрел. Заняв у одного товарища пару десятков долларов, я, было, попытался

подкупить конвой. Рядовые, принадлежавшие к числу наемников, не очень были заинтересованы в моей смерти и потому соглашались меня освободить, но унтер-офицер воспротивился этому. Тогда я решил попытаться бежать. Возможность представилась лишь в тот момент, когда мы были на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов от штаба белых. Улучив мгновение, я бросился бежать в поле.

Я добежал до холма, у подножья которого оказался пруд, окруженный высокими зарослями; там я прятался до захода солнца. Солдаты преследовали меня. Много раз они подходили совсем близко ко мне. И раза два так близко, что едва не коснулись меня. Но каким-то образом мне удалось остаться незамеченным, хотя надежда покидала меня уже раз десять, и мне казалось, что вот-вот я снова буду схвачен. Наконец, когда стемнело, они отказались от дальнейших поисков. Я тотчас же пустился по горам, ни разу не останавливаясь за всю ночь. Я был без обуви, и ноги мои были изодраны. По дороге я встретил крестьянина, который оказал мне помощь, предоставил ночлег, а потом проводил до следующего района. У меня оказалось при себе семь долларов, что позволило купить ботинки, зонтик и еду. Когда я, наконец, добрался до наших крестьянских отрядов, у меня оставалась в кармане всего пара медяков.

С созданием новой дивизии я стал председателем фронтового комитета компартии.

Маленькая армия, возглавлявшая крестьянское восстание, двигалась через Хунань на юг. Ей приходилось прокладывать себе путь сквозь многотысячные войска противника и участвовать в многочисленных боях. Дисциплина у нас была плохая, политическое воспитание бойцов находилось на низком уровне, а среди солдат и командиров было много колеблющихся элементов. После побега и измены командующего Юй Ша-ту армия реорганизовалась. Во главе оставшихся войск был поставлен Чжэн Хао, но и он впоследствии предал. Однако многие люди из этого первого отряда остались верными до нынешних дней, в том числе Ло Юнь-гуй, политический

комиссар первого корпуса, и Ян Ло-су, ныне командующий одной из армий. Когда маленький отряд забрался наконец на гору Цзинганшань, то насчитывал всего около тысячи бойцов.

Враги народа, проникшие при помощи Чэнь Ду-сю в ЦК компартии, использовали все наши затруднения, всячески клеветали на меня и на нашу маленькую армию. Я был выведен из состава политбюро ЦК и фронтового комитета. Хунаньский провинциальный комитет тоже выступил против нас, заявив, что наше движение — «это винтовочное движение». Тем не менее мы сохраняли нашу армию на Цзинганшани в твердой уверенности, что наша линия правильна; последующие события полностью это подтвердили. Появились новые добровольцы, и дивизия была снова восстановлена. Я стал ее командиром.

С зимы 1927 г. до осени 1928 г. Первая дивизия базировалась на Цзинганшань. В ноябре 1927 г. в Чалине, на границе Хунани, был создан первый совет и было избрано первое советское правительство. Председателем его был Ду Цзун-бин. В этом совете, как и в тех, которые стали возникать вслед за ним, мы проводили демократическую программу умеренной политики, основанную на медленном, но верном движении вперед.

В мае 1926 г. на Цзинганшань прибыл Чжу Дэ, с которым мы объединили наши силы. Совместно мы составили план организации советов на территории шести уездов, стабилизации и консолидации подлинно народной власти в пограничных районах Хунани, Цзяньси и Гуандуна, с тем, чтобы, базируясь на эту территорию, распространять наше влияние все дальше. Внутри самой армии мне и Чжу Дэ приходилось бороться с двумя крайностями: во-первых, с желанием немедленно наступать на Чанша; это мы расценивали как авантюризм. Во-вторых, с желанием отступить к югу от границы Гуандуна; это мы расценивали как «пораженчество». Мы считали, что две главные наши задачи — раздел земли и установление власти советов. Для того, чтобы уско-

рить этот процесс, мы считали нужным вооружить массы. Мы провозглашали свободную торговлю, великодушное обращение с пленными, а в общем — демократическую умеренность.

Осенью 1928 г. в Цзинганшани было созвано делегатское собрание, на которое прибыли также представители советских районов, расположенных к северу от Цзинганшани. В партийной среде советских районов все еще были некоторые разногласия по перечисленным выше вопросам. На этом собрании всяческие разногласия были тщательно взвешены. Меньшинство утверждало, что предлагаемая нами политика ограничивает перспективы движения, но большинство одобряло нашу политику, и когда была предложена резолюция, гласившая, что советское движение победит, ее приняли легко.

Мы с Чжу Дэ были вполне согласны с новой линией, провозглашенной съездом. С той поры прекратились разногласия между руководством партии и руководством советского движения в аграрных районах. Было восстановлено партийное единодушие.

Зимой 1927 г. в Западном и Восточном Хэбэе произошли восстания, создавшие базу для новых советских районов. На западе Хэ Лун и на востоке Сю Хай-дун начали формировать собственные рабоче-крестьянские армии. Сю Хай-дун действовал в районе Уйюани, где к нему присоединились Сю Сян-цан и Чжан Го-тао. Зимой 1927 г. на северо-восточной границе Цзяньси, примыкающей к Фуцзяни, под руководством Фан Чжи-мина и Сяо Ши-бина началось советское движение; в этом районе впоследствии образовалась мощная советская база. После провала Кантонского восстания товарищ Пэн Бай отвел часть оставшихся верными войск в Хайлуфын, образовал там совет, который, однако, вскоре был раздавлен белыми. Небольшой части этих войск под командой Гу Да-чжэна удалось выбраться из Хайлуфына и вступить в контакт с Чжу Дэ и со мною; этот отряд послужил ядром будущей XI красной армии.

Весною 1928 г. активизировались

действия партизан в районах Синго и Тунгу в провинции Цзяньси; партизанами руководили Ли Вэнь-лун и Ли Сяочу. Эти партизанские отряды впоследствии превратились в III армию, а самый район стал базой центрального советского правительства. Цзинганшань оказалась превосходной базой для той подвижной армии, какую строили мы. Там были хорошие естественные укрепления, а урожая хватало для снабжения небольшой армии. Длина окружности горы составляла пятьсот ли, а в диаметре — около восьмидесяти. Среди местных жителей гора была известна под названием Да Сяо Ву Цин (самая гора Цзинганшань высилась неподалеку и давно уже никем не была населена), которое происходило от пяти колодцев, вырытых на склонах горы — да, сяо, шань, ся и чун, что значило «большой», «малый», «верхний», «нижний» и «средний» колодцы. Пять деревенок, расположенных на горе, получили свои названия от этих колодцев.

После реорганизации наших сил на Цзинганшани была создана знаменитая IV красная армия, командующим которой стал Чжу Дэ, а я — политическим комиссаром. Зимой 1928 г., после восстаний и мятежей в белой армии, на Цзинганшань стали прибывать новые войска, из которых образовалась V красная армия; командующим армией стал Пен Дэ-хуай.

После прибытия на гору такого большого числа войск условия снабжения стали очень скверными. Войска не имели зимнего обмундирования, не хватало продовольствия. Месяцами мы фактически питались одною только тыквой. Солдаты изобрели собственный лозунг: «Долой капитализм и лопай тыкву!» — под капитализмом они подразумевали помещиков и помещичью тыкву. Оставив Пен Дэ-хуая на Цзинганшани, Чжу Дэ прорвался сквозь вражескую блокаду. Так, в январе 1929 г. закончился период нашего сотрудничества на осажденной горе.

IV армия начала на юге Цзяньси кампанию, которая развивалась быстро и успешно. Мы создали совет в Дунгу, где объединили свои силы с местными

красными отрядами. Разделившись на несколько колонн, мы продвигались дальше, — в Юн-ин, Шаньгын и Лун Е, где тоже установили советскую власть. Еще до прибытия красной армии в эти уезды там уже существовало боевое движение масс, это предопределило наш успех. Посредством массового аграрного движения и партизанских отрядов влияние красной армии распространилось еще на несколько уездов, но там советская власть прочно установилась лишь впоследствии.

Хотя к тому времени и материальные, и политические условия красной армии начали улучшаться, все же в ее рядах еще существовали вредные настроения. Например, «партизанщина» отображала недостаток дисциплины, извращенное представление о демократии и слабую организованность. Приходилось бороться и с настроением, которое мы называли «бродяжническим». Оно выражалось в нежелании заниматься серьезной работой по управлению районом, склонности к непрестанному движению, переманам и приключениям.

В основном эти настроения были преодолены после девятой партийной конференции IV армии, состоявшейся в декабре 1929 г. в Фуцзяни. Решения этой конференции заложили основы более высокого идейного руководства красной армией. Вплоть до девятой партийной конференции троцкисты пытались использовать описанные выше вредные настроения для подрыва мощи советского движения. После конференции мы повели против них решительную борьбу, причем кое-кого убрали с командных позиций. Выяснилось, что они собирались уничтожить красную армию, вовлекая ее для этого в невыгодные битвы с врагом; но после нескольких таких сражений планы предателей были разоблачены. Троцкисты яростно напали на нашу программу и на все наши предложения. В конечном итоге они были выброшены со всех ответственных постов и после партийной конференции в Фуцзяни окончательно утерjali остатки своего влияния.

Эта конференция подготовила почву для установления советской власти в

Цзяньси. Следующий год прошел под знаком ряда блестящих успехов: вся южная часть провинции Цзяньси была в наших руках. Была создана база центральных советских районов.

Рост красной армии

Рассказ Мао Цзе-дуна перестал быть автобиографичным и как бы сменился повестью о великом движении, в котором хотя он и сохранял первенствующую роль, но уже трудно было разглядеть за всем этим его как личность. Он уже говорил не «я», но «мы»; не Мао Цзе-дун, но партия, советы, красная армия; он делился не субъективными впечатлениями, вынесенными из единичного жизненного опыта, но давал объективное повествование человека, деятеля, заинтересованного в изменении судьбы человечества. (Э. С.)

*

Постепенно массовая работа в красной армии улучшалась, дисциплина укреплялась, развивались новые организационные методы. Крестьянство повсюду добровольно шло на помощь революции. Еще в дни Цзинганшани красная армия установила для своих бойцов три простых правила дисциплины: немедленное выполнение приказов, никаких реквизиций у крестьянской бедноты, и немедленная доставка непосредственно в распоряжение правительства всех товаров, конфискованных у помещиков. После конференции 1928 г. много сил было приложено, чтобы завоевать поддержку крестьянства, и к указанным выше трем правилам было добавлено еще восемь:

- 1) Покидая дом, поставь на место все двери¹.
- 2) Сверни и возврати хозяевам циновку, на которой ты спал.
- 3) Будь вежлив и обходителен с людьми и по возможности оказывай им помощь.

¹ Это приказание на самом деле не так загадочно, как оно звучит. Деревянные двери китайского жилища легко снимаются, кладутся на деревянные подставки и ночью используются как ложе.

- 4) Верни все, что ты занял.
- 5) Возмести стоимость всего испорченного.
- 6) Будь честен при всяких сношениях с крестьянами.
- 7) Плати за все, что покупаешь.
- 8) Соблюдай гигиену.

Последние два правила были добавлены Линь Бяо. Эти восемь правил с каждым днем соблюдались все лучше, и теперь еще они служат кодексом красноармейца. Но три первейших обязанности выполнялись неуклонно красной армией: во-первых, бороться с врагом не на жизнь, а на смерть; во-вторых, вооружать массы; в-третьих, собирать средства для нужд борьбы.

В начале 1929 г. несколько партизанских отрядов под командой Ли Вэньлуна и Ли Сяо-чу были реорганизованы в III армию, во главе которой в качестве командующего был поставлен Хуан Гун-ло, а политическим комиссаром — Чжу И. В тот же период восстала часть минтуаней (отряды помещиков) под водительством Чжу Бэй-дэ и присоединилась к красной армии. В коммунистический лагерь их привел офицер Ло Бин-гуй, который теперь командует 32-й армией.

Из фуцзяньских партизан и ядра регулярных красных войск была создана XII армия, с командующим Ву Чжунхао и политическим комиссаром Тай Цзун-лином. Впоследствии Вун Чжунхао был убит в сражении, и его заменил Ло Бин-гуй.

В это-то время и был организован I корпус, с Чжу Дэ в качестве командира и со мною в качестве политического комиссара. Корпус состоял из III и IV армий под командой Линь Бяо и XII под командой Ло Бин-гуя. Партийное руководство лежало на фронтовом комитете, в котором я председательствовал. К тому времени в I корпусе было уже более десяти тысяч бойцов, распределенных по десяти дивизиям. Кроме этих главных сил, существовало много местных автономных полков, красногвардейских и партизанских отрядов.

Помимо политической основы движения, успех военных действий в большой мере объясняется тактикой красных

войск. Еще на Цзинганшани было провозглашено четыре лозунга, которые служат ключом к пониманию методов военных действий наших войск. Лозунги эти такие:

- 1) Когда враг наступает, мы отступаем!
- 2) Когда враг становится лагерем, мы тревожим его!
- 3) Когда враг избегает боя, мы атакуем!
- 4) Когда враг отступает, мы преследуем!

Эти лозунги (по-китайски каждый из них обозначается четырьмя иероглифами) сперва встретили противодействие многих опытных военных, возразивших против подобной тактики. Но последующий богатый опыт доказал правильность этой тактики. В общем, всегда, когда красная армия отступала от этих правил, она успехов не одерживала. Силы наши были очень малы, раз в десять—двадцать меньше сил врага; источники продовольствия и боеснабжения были у нас ограниченными, и только благодаря умелому сочетанию маневренной тактики и партизанской войны мы могли рассчитывать на успех в войне с противником, обладавшим гораздо большими материальными возможностями.

Одним из важнейших приемов красной армии был и остается прием сосредоточения ее главных сил в нападении с последующим быстрым рассредоточением. Это означало, что позиционной войны надо избегать и все силы употребить на то, чтобы встретить живую силу врага в движении и уничтожить ее. На основе этой тактики развились изумительная подвижность и быстрая мощная «короткая» атака красной армии.

Осенью 1929 г. красная армия вступила в северную Цзяньси, оккупировала множество городов и нанесла многочисленные поражения противнику. Подойдя на расстояние одного перехода от Наньчана, I корпус круто повернул на запад на сторону Чанша. На этом походе корпус встретился и объединился с силами Пен Дэ-хуая, который уже однажды сумел занять Чанша, но вынужден был

покинуть город во избежание окружения превосходными силами противника. Пен Дэ-хуай вынужден был в апреле 1929 г. покинуть Цзинганшань и стал оперировать в южной Цзяньси, в результате чего его войска численно очень выросли. К Чжу Дэ и к главным силам красной армии он присоединился в апреле 1930 г. в Жуйцзине, где на совещании было решено, чтобы III армия под командованием Пен Дэ-хуая открыла действия на цзяньси-хунаньской границе, а Чжу Дэ двинулся в Фуцзянь. В июне 1930 г. III армия и I корпус снова соединились и начали второе наступление на Чанша. I и III корпуса были объединены в I армию с Чжу Дэ в качестве главнокомандующего и со мною в качестве политического комиссара. Во главе этих сил мы подошли к стенам Чанша.

Примерно в это же время был создан Китайский рабоче-крестьянский революционный комитет, председателем которого избрали меня. Влияние красной армии в Хунани распространилось почти так же широко, как и в Цзяньси. Мое имя было известно хунаньским крестьянам, так как за поимку меня живым или мертвым были обещаны большие награды, равно как и за головы Чжу Дэ и других товарищей. Мой земельный надел¹ в Сянтани был конфискован. Моя жена, моя сестра, жены двух моих братьев Мао Цзе-хуна и Мао Цзе-дана и мой сын были арестованы. Моя жена и младшая сестра были казнены. Слава красной армии докатилась до моей родной деревни Сянтань. Мне рассказывали, что тамошние крестьяне ждут моего возвращения домой.

Но второе наступление на Чанша успехом не увенчалось. Местный гарнизон получил крупные подкрепления; кроме того, в сентябре в Хунань стали вливаться все новые силы противника. За время осады произошло только одно значительное сражение, во время которого красная армия уничтожила две бригады противника. Все же взять го-

род Чанша красной армии не удалось, и спустя несколько недель она отошла в Цзяньси.

В сентябре 1931 г. для красной армии наступил период относительного мира и роста. 11 декабря 1931 г. был созван первый съезд советов, избравший центральное советское правительство и меня в качестве его председателя. Чжу Дэ был избран главнокомандующим красной армии. В том же месяце произошло знаменитое восстание в Нинду, в результате которого двадцатитысячное войско противника, взбунтовавшись, перешло на сторону красной армии. Ями командовали Дэн Цин-дань и Цзао Бу-шэнь. Впоследствии Цзао был убит в сражении, а Дэн командует ныне V красным корпусом.

*

Общенациональная политическая ситуация побудила нас принять решение о перенесении основных военных действий на северо-запад страны. Вслед за японским нашествием на Маньчжурию и Шанхай, в феврале 1932 г., правительство советских районов Китая формально объявило войну Японии. За этим последовал манифест, призывавший к созданию единого фронта всех вооруженных сил Китая для сопротивления японскому империализму. В самом начале 1933 года правительство советских районов заявило, что готово сотрудничать с гоминьдановской армией на базе прекращения гражданской войны, обеспечения гражданских свобод и демократических прав народа и вооружения народа для антияпонской войны.

В январе 1934 г. в Жуйцзине, столице советских районов, состоялся второй всекитайский съезд советов, где был подведен итог всем достижениям революции. На съезде я выступил с большим отчетным докладом; далее съезд избрал центральное правительство советских районов. Вскоре после съезда начались приготовления к Великому походу. Поход начался в октябре 1934 г.

В январе 1935 г. главные силы красной армии достигли Цуньи в провинции Гуйчжоу. Пришлось преодолеть множе-

¹ Речь идет о земельном наделе, принадлежавшем Мао Цзе-дуну, арендный доход от которого он использовал во время великой революции для нужд крестьянского движения в Хунани.

ство невероятных трудностей; армия прошла через длиннейшие и опаснейшие реки Китая, через высочайшие, почти недоступные горные проходы, через земли, населенные дикими племенами, через пустынные степи, сквозь холод и сквозь палящий зной, сквозь ветер, снег и ливни, преследуемая полчищами врага, сквозь территории провинций Гуандун, Хунань, Гуанси, Гуйчжоу, Юньнань, Сикан, Сычуань, Ганьсу и Шэньси. В октябре 1935 г. красная армия добралась до северной Шэньси.

Победный поход красной армии и триумфальное прибытие в Ганьсу и

Шэньси с сохраненной живой силой явились результатом, во-первых, правильного руководства коммунистической партии, во-вторых, величайшего искусства, мужества, решимости, почти сверхъестественной выносливости и революционной преданности основных наших кадров. Коммунистическая партия была, есть и будет верна марксизму-ленинизму и будет продолжать борьбу со всевозможными оппортунистическими настроениями и вражескими влияниями. В этой решимости заключено объяснение ее непобедимости и неизбежности окончательной победы китайского народа.

ЧЖУ ДЭ

В отличие от Шекспира, Конфуций считал, что имена людей имеют важнейшее значение. Как бы то ни было, имя Чжу Дэ полно значения. Оно подходит ему потому, что по странному совпадению два иероглифа, составляющие это имя, по-китайски означают «красная доблесть». Впрочем, любящие родители, которые так называли его, когда он родился на свет в далеком Нилуне, в провинции Сычуань, не могли предвидеть, какое политическое значение суждено было приобрести этому имени.

Самое замечательное в истории Чжу Дэ—это не то, что он отдал много лет своей жизни изнурительному труду и превратился затем в одного из первых защитников угнетенных. Свообразие его жизненного пути заключается в том, что он, уже в средних годах пользовавшийся властью, средствами, сумел отречься от всего, что его окружало, высшим усилием воли сумел отказаться от своей семьи и родных и посвятить всю свою жизнь революционному идеалу. Ради успеха этой миссии, которая потрясла и изменила всю его личность, он поставил на карту свою голову, которую враги оценили в 250 тысяч долларов.

Юношей Чжу Дэ был безрассуден, авантюристичен и храбр. На него повлияли народные легенды, рассказы о «вольных товарищах» из «Шуй Ху Чуань» и похождения героев из «Леген-

ды о трех королевствах», которые сражались на полях и в горах его родной Сычуани. Он, естественно, стремился к жизни военного. С помощью политических связей он был принят в Юньшаньскую военную академию и был одним из первых в Китае, кто получил современную военную подготовку.

Из академии он был выпущен в чине лейтенанта и стал служить в армии. Китайцы называли ее «Иностранной», потому что в ней применялись западные методы муштровки и тактического учения, она отправлялась в бой без оркестра и была вооружена «иностранными пиками» — винтовками с примкнутыми штыками.

Модернизованная юньнаньская армия играла видную роль в свержении династии Маньчжу в 1912 г., и Чжу Дэ, во главе батальона храбрецов, вскоре выдвинулся как борец за республику. В 1916 г., когда Юань Ши-кай пытался восстановить монархию, Чжу Дэ был уже бригадным генералом, и его юньнаньские солдаты первыми подняли знамя восстания, обрекшее на неудачу монархические замыслы Юань Ши-кай. С того времени Чжу Дэ стал известен в южных провинциях как один из «четырех свирепых генералов».

Казалось бы, Чжу Дэ достиг предела возможного — богатства, власти, почета — и спокойно мог взирать на буду-

шее. Но одна привычка кривела его к «падению». Он любил читать книги.

Под влиянием чтения, под влиянием разговоров со студентами, вернувшимися из за-границы, которых время от времени заносило в Юньнань, Чжу Дэ постепенно понял, что для народных масс революция 1911 г. осталась полной загадкой, ничего в их судьбе не изменив, что она лишь заменила одну бюрократию эксплуататоров другой. Чем больше он читал, тем больше он сознавал свое невежество и отсталость Китая. Он захотел учиться и путешествовать.

В 1922 г. Чжу Дэ покинул свою семью, родных. Для всякого, кто знаком с консерватизмом Китая и в особенности с закостенелыми феодальными нравами Юньнани, этот акт отказа от традиции кажется почти невероятным и сам по себе служит проявлением необычайно сильной индивидуальности. Из Юньнани он отправился в Шанхай, где познакомился с группой молодых революционеров. Тогда же он вступил в гоминьдан. Там он стал встречаться с левыми радикалами, которые сперва относились к нему свысока.

По совету друзей Чжу Дэ решил покончить с привычкой к опиуму. Это было не легко,—он курил опиум с детства. Но у этого человека оказалось в характере больше стали, чем предполагали его друзья. В течение недели он лежал почти без сознания, борясь со своим тяжелым недугом. Потом, боясь поддаться искушению, он сел на английский пароход, отплывавший в Ханькоу. На пароходе опиума нельзя было достать. И, вот, несколько недель Чжу Дэ раз'езжал вверх и вниз по реке, ни разу не сходя на берег, сражаясь в этой труднейшей битве своей жизни. Через месяц он ступил на берег, с ясными глазами, с цветущим румянцем на лице и с новой уверенностью в движениях. Он полностью излечился и начал подлинно новую жизнь.

Чжу Дэ было теперь под сорок, но здоровье его было в прекрасном состоянии, и мозг его жадно стремился к новым знаниям. Вместе с несколькими китайскими студентами он отправился в

Германию и некоторое время жил под Ганновером. Там он встречался с коммунистами и в этот период, повидимому, серьезно занялся изучением марксизма. Его влекли широкие перспективы, которые открывает эта теория социальной революции. Учителями его были главным образом китайские студенты, по возрасту годившиеся ему в сыновья. Они помогали ему, так как французского языка он никогда не знал и лишь кое-как объяснялся по-немецки. Один из его студентов-учителей рассказывал мне, каким Чжу Дэ был старательным, как терпеливо, упорно, трудолюбиво боролся он в водовороте идей, чтобы познать основные истины; как много интеллектуальных усилий затратил он, чтобы освободиться от всех предрассудков и ограничений своего традиционного китайского воспитания.

Так, он прочел несколько книг по истории мировой войны и ознакомился с европейской политикой. Однажды к нему зашел один студент и стал взволнованно говорить о книге под названием «Государство и революция». Чжу Дэ просил друга помочь ему прочесть эту книгу и таким образом заинтересовался ленинизмом и русской революцией. После этого он начал читать другие труды Ленина. Мощное революционное движение, развертывавшееся тогда в Германии, увлекло его, как и сотни других китайских студентов, на борьбу за мировую революцию. Он вступил в китайскую компартию.

«Чжу Дэ обладал опытным, дисциплинированным, практическим умом», — рассказывал мне один товарищ, знавший его по Германии. Он всегда был крайне простым человеком, скромным и нетребовательным. В Германии он вел простую жизнь солдата. Первоначальный интерес Чжу Дэ к коммунизму вырос из его сочувствия к беднякам, которое сперва привело его в гоминьдан. Одно время он крепко верил в Сунь Ят-сена, потому что тот требовал передачи земли крестьянам и ограничения частного капитала. Но, лишь после того, как он ознакомился с марксизмом, он начал понимать недостаточность программы Сунь Ят-сена.

Некоторое время Чжу Дэ проживал в Париже, где поступил в школу для китайских студентов.

После долгих путешествий Чжу Дэ вернулся в Китай. Он снова поступил к своему бывшему начальнику и товарищу, юньнаньскому генералу Чжу Пэй-дэ, власть которого в гоминьдановской армии уступала только власти Чан Кай-ши. В 1927 г. когда войска Чжу Пэй-дэ заняли ряд провинций к югу от Янцзы, он назначил Чжу Дэ начальником Бюро общественной безопасности в Чанша. Здесь он также принял командование полком военных курсантов и вступил в контакт с IX армией, расположенной дальше к югу. В IX армию входили отдельные соединения, которыми он раньше лично командовал в Юньнани. Так была подготовлена обстановка для Августовского восстания в Наньчане, в котором коммунистические войска впервые начали долгую открытую борьбу.

День 1 августа 1927 г. был для Чжу Дэ днем больших решений. Надо было либо выполнить приказ главнокомандующего Чжу Пэй-дэ и подавить восстание, либо присоединиться к восставшим, полностью порвав со своим прошлым и открыто объявив себя красным. Он избрал последнее и со своими отрядами выступил к югу, вместе с восставшими частями гарнизона. Городские ворота, закрывшиеся за ним, были как бы символом его разрыва с прошлым. Впереди лежали годы непрестанной борьбы.

Часть IX армии присоединилась к Чжу Дэ; отступавшие отряды революционеров откатились до Сватоу, захватили город, были изгнаны оттуда и снова отступили на Цзяньси и Хунань. В числе главных адъютантов Чжу Дэ в то время были Ван Эр-цзо и Цзянь Йи, слушатели академии Вампу, впоследствии убитые в бою, и Линь Бяо, ставший потом начальником Красной военной академии. После отступления из Фуцзяни армия Чжу Дэ из-за потерь в боях уменьшилась до 900 бойцов, вооружение которых состояло всего из 500 винтовок, одного пулемета и нескольких патронов на винтовку.

Находясь в таком положении, Чжу Дэ согласился присоединиться к генера-

лу Фань Ши-шэну, командовавшему расположенной в южной Хунани большой армией. Последний хотя сам не был коммунистом, но терпел коммунистов у себя в армии, рассчитывая использовать их в своей личной борьбе с Чан Кай-ши. Кроме того, как уроженец Хунани, Фань Ши-шэн склонен был предоставить убежище своим землякам. Здесь отряд Чжу Дэ был включен в 140-й полк, а сам он был назначен главным политическим советником Фань Ши-шэна. Здесь же ему пришлось подвергнуться величайшей опасности в его жизни.

В армии Фань Ши-шэна быстро начало усиливаться коммунистическое влияние. Вскоре же антибольшевистская фракция, образовавшаяся в армии, стала тайно готовить насильственное устранение Чжу Дэ. Однажды, остановившись с сорока своими приверженцами на постоялом дворе, он подвергся нападению отряда убийц. Завязалась перестрелка, но было темно, и убийцы плохо видели. Когда несколько убийц-заговорщиков направили на него револьверы, Чжу Дэ крикнул им: «Не стреляйте, я только повар. Не убивайте человека, который может готовить для вас!». Тронутые до глубины желудка, солдаты не стали стрелять и вывели Чжу Дэ наружу, чтобы лучше его разглядеть. Здесь его опознал один из жокаков заговорщиков: «Это Чжу Дэ! Убейте его!». Чжу Дэ выхватил револьвер, застрелил этого человека, вырвался из рук стражи и бежал. С ним вместе спаслось только пятеро его людей.

Вернувшись в полк, Чжу Дэ подал Фань Ши-шэну рапорт об отставке. Маленькая армия Чжу Дэ продолжала держаться исключительно благодаря личной преданности солдат Чжу Дэ и его ближайшим товарищам. Партийные дела были тогда крайне запутаны, определенной линии еще не было выработано и вопросы военной стратегии еще не были решены. Отряд Чжу Дэ все еще носил гоминьдановскую форму, но это были отребья; многие бойцы не имели обуви; из-за плохой пищи, а по временам из-за полного ее отсутствия участились случаи дезертирства. Некоторое воодушевление принесла весть о Кан-

тонской коммуне. Чжу Дэ разделил свой отряд на три «секции», назвав его в целом Крестьянской колонной, и выступил по направлению к границе провинций Хунань, Цзяньси и Гуандун, где он объединился с некоторыми отрядами, предводительствуемыми одним студентом-радикалом. Здесь Чжу Дэ приступил к осуществлению программы отмены налогов, перераспределения земли и конфискации собственности богачей. После кровавой борьбы был занят Ичанский уезд, где молодая армия кое-как провела зиму, питаясь тыквой.

В то время крестьянская армия Мао Цзе-дуна с тяжелыми боями прошла через Хунань, устроившись, наконец, на отдых на Цзинганшани. От стоявшей неподалеку рабоче-крестьянской красной армии Мао Цзе-дуна к Чжу Дэ прибыл в качестве делегата Мао Цземин (брат Мао Цзе-дуна). Он привез инструкцию партии об объединении сил и весть о принятии четкой военной и аграрной программы. Когда в мае 1928 г. обе армии соединились на Цзинганшани, они владели территорией пяти уездов с 50 000 жителей. Из них 4 000 были вооружены винтовками, 10 000 — пиками, мечами и мотыками, остальные же были невооруженные партийные работники и члены семей бойцов, в том числе множество детей.

Так было положено начало знаменитому объединению Мао Цзе-дун — Чжу Дэ, которому суждено было в ближайшие шесть лет делать историю в Китае. Последующие события хорошо известны. Мао Цзе-дун рассказывал, как выработывалась программа советов и как развивалась красная армия. Выдвижение Чжу Дэ в качестве грозного военного вождя следовало той же кривой роста советов.

На съезде советов в 1931 г. Чжу Дэ был единогласно избран главнокомандующим красной армией. За два года было создано четыре армейских корпуса, вооруженных 50 000 винтовок и несколькими сотнями пулеметов, большей частью захваченных в боях. Советы управляли обширными территориями в южной Цзяньси, Хунани и Фуцзяни. Началась усиленная политическая подго-

товка, построен был арсенал и по всей территории советов стали проводить в жизнь основные социально-революционные реформы; днем и ночью шла пошивка обмундирования для новых пополнений, вливавшихся в красную армию. Еще через два года силы красной армии удвоились.

За годы, проведенные на Юге, Чжу Дэ водил объединенные красные армии в сотни схваток, в десятки больших боев и отбил пять стратегических наступлений противника. Во время последней кампании ему пришлось лицом к лицу встретиться с противником, раз в десять лучше вооруженным (тяжелая артиллерия, авиация и механизированные соединения), чем Чжу Дэ. Однако, как бы ни оценивать исход столкновения, следует признать, что со стороны тактической изобретательности, поразительной подвижности и маневренного мастерства Чжу Дэ не раз доказал свое превосходство над всеми генералами, которых высылали против него, и неоспоримо утвердил высокие боевые качества революционных китайских войск. Несомненно, если бы красная армия была хотя бы чуть лучше оснащена техническими средствами, ее противник, вместе со своими фашистскими советниками из Германии, понес бы катастрофическое поражение.

С точки зрения военной стратегии и тактического руководства большой армией при отступлении, ничто в истории Китая не может сравниться с великолепным командованием Чжу Дэ во время Великого похода, описанного выше.

Только личному влиянию руководителя и тем редким человеческим качествам, которые вселяют в его последователей беззаветную веру, храбрость и готовность умереть за великое дело, — только этому можно приписать нерушимое единство, с каким силы, находившиеся под командованием Чжу Дэ, выдержали зиму осады и тяжелых лишений на ледяных плоскогорьях Тибета, питаясь исключительно мясом яков. Невероятно, чтобы военачальники противной стороны смогли в подобных условиях сохранить свою армию, не говоря уже о

том, чтобы после такого сурового испытания мощным наступлением прорвать оборонительные линии неприятельских войск, которые спокойно, в течение многих месяцев, готовились к отражению такого наступления. А ведь именно это сделал Чжу Дэ.

Неудивительно, что китайские легенды наделяют его всевозможными магическими способностями: способностью видеть на 100 ли во все стороны, способностью летать, знанием магии Дао (вроде умения вздымать перед неприятелем облака пыли, направлять против него ветер). Суеверные люди считают его неуязвимым, — ведь он уцелел под ливнем пуль и снарядов. Другие говорят, что он обладает способностью воскресать, — ведь врачи не раз объявляли его мертвым, приводя в мельчайших подробностях обстоятельства его гибели. Миллионы в Китае знают имя «Красная Доблесть», и для каждого это имя звучит угрозой или яркой надеждой, в зависимости от того, какое положение данный человек занимает в обществе. Но для всякого это имя вписано в страницы целого исторического десятилетия.

Все говорили мне, что Чжу Дэ на вид невзрачен — тихий, скромный, мягкий в разговоре человек, с большими глазами («очень добрыми глазами», как часто говорили), невысокого роста, но с железными мускулами. Теперь ему уже за пятьдесят. Но Ли Цзянь-линь, смеясь, говорил мне, что, сколько он помнит Чжу Дэ, тот твердит, что ему сорок шесть лет. Ли утверждал, что Чжу Дэ перестал считать свои годы с тех пор, как женился на своей нынешней жене — крепкой, крестьянской девушке, великолепно наезднице и снайпере, которая сама командовала партизанской бригадой и на себе переносила раненых това-

рищей, женщине, пышавшей здоровьем и отважной в бою.

Любовь Чжу Дэ к своим людям вошла в пословицу. С тех пор, как он принял командование армией, он живет и сдается, как рядовой солдат, делит с бойцами все лишения; вначале он часто и сам оставался без обуви, целую зиму питался тыквой, другую зиму — мясом яков, но никогда не жаловался и почти никогда не болел. Говорят, он любит бродить по лагерю, присаживается к солдатам, рассказывает им разные истории или играет с ними во всевозможные игры. Любой солдат в армии может обратиться с жалобой непосредственно к главнокомандующему, и люди часто пользуются этим правом. Обращаясь к своим бойцам, Чжу Дэ снимает шапку. Во время Великого похода он отдавал своего коня уставшим товарищам и большую часть пути прошел пешком, не обнаруживая признаков утомления.

В то же время люди, пострадавшие от красных, несомненно, считали его зверем в человеческом образе. Классовая война не знает жалости. Многие ужасы, приписываемые красным, разоблачены как ложь. Но наивно было бы предполагать, что Чжу Дэ не был вынужден, в силу революционной необходимости, посылать кое-кого на расстрел. Для того, чтобы его миссия была успешной, он должен всеми своими помыслами служить обездоленным, а потому не может быть более милосердным, чем массы, которым он повинуетя и которых хочет привести к власти. А в общем, беднотой, составляющей огромное большинство китайского народа, он горячо любим как человек, высоко поднявший факел национального освобождения, и его имя уже записано в ряду бессмертных имен тех, кто сражался за освобождение трудящихся в Китае.

ХЭ ЛУН

Ли Чан-лин был родом из Хунани и, когда началась Великая революция, учился в средней школе. Он вступил в гоминьдан и оставался в нем до переворота 1927 г., после которого перешел к

красным. Некоторое время он работал в Гонконге, под руководством Дын Фа, в качестве организатора рабочего движения. Впоследствии он отправился в советские районы Цзяньси, где стал ко-

мандиром партизан. В 1925 г. он был послан гоминьданом в составе специальной комиссии для переговоров с вождем «бандитов» Хэ Луном. На самом же деле Хэ Лун уже тогда был вождем масс, и его поддержка очень ценилась. Комиссии было поручено ответственнейшее задание: завоевать Хэ Луна на сторону гоминьдана.

— Уже тогда люди Хэ Луна не были бандитами, — рассказывал мне Ли, когда мы однажды отдыхали в тени деревьев, возле прохладного ручья. — Его отец был одним из руководителей общества «Кэ Лао», и Хэ Лун унаследовал его авторитет, так что имя его стало известно во всей Хунани, когда он был еще совсем молод. Жители Хунани до сих пор рассказывают много историй о его храбрости в годы его юности.

При династии Цин его отец был офицером и однажды был приглашен на обед своими товарищами офицерами. Он взял с собою своего сына Хэ Луна. Во время пирушки отец стал хвастать бесстрашием сына. Тогда один из гостей решил испытать его и выстрелил под столом из револьвера. Говорят, что Хэ Лун даже не сморгнул.

Когда мы с ним встретились, он уже занимал пост офицера в провинциальной армии. В его ведении была большая территория, через которую должны были проходить богатые караваны с опиумом из Юньнани в Ханькоу. Хэ Лун жил за счет обложения их пошлинами. Его соратники, в отличие от войск многих провинциальных военачальников, не чинили насилий, и командир не позволял им даже курить опиум. Винтовки свои они содержали в чистоте. Однако, по местному обычаю, гостям предлагали опиум. Хэ Лун сам не курил его, но, когда мы прибыли к нему, в комнату были принесены трубки для опиума. Так, покуривая, мы разговаривали о революции.

Руководителем нашей комиссии был Чу И-сун, коммунист, связанный с Хэ Луном какой-то степенью родства. Переговоры с ним продолжались три недели. В вопросах невоенных Хэ Лун был не очень образован, но и не был невежественным человеком. Он быстро понял значение революции, но долго раз-

думывал и совещался со своими войсками, прежде, чем дал согласие присоединиться к нам.

Далее Ли Чан-лин рассказал, что Хэ Лун вступил в компартию только после Наньчанского восстания 1 августа 1927 г. В течение короткого периода до этого восстания он сохранял верность уханьскому (гоминьдановскому) правительству, но, когда Тан Шен-чжи, Хо Цзянь и другие подавили антипомещичье движение и начали позорную резню крестьян, во время которой милитаристы казнили не только коммунистов, но тысячи руководителей крестьянских союзов, рабочих и студентов, Хэ Лун решительно стал на сторону красных. Он сам происходил из бедной крестьянской семьи, симпатии его целиком были на стороне бедняков, и эта резня вызвала в нем глубокое возмущение.

— Что произошло с Хэ Луном после Наньчана?

— Его войска потерпели поражение. Вместе с Чжу Дэ они подошли к Сватоу. Здесь они снова проиграли сражение. Остатки своей армии Хэ Лун отвел в глубь страны, а сам тайно пробрался в Гонконг, затем в Шанхай и оттуда, тоже тайно, вернулся в Хунань.

Про Хэ Луна говорят, что он организовал советский район в Хунани с помощью одного ножа. Это было в самом начале 1928 г. Хэ Лун скрывался в одной деревне, где он был в заговоре с членами общества «Кэ Лао». В это время там появились гоминьдановские сборщики налогов. Во главе небольшой группы крестьян Хэ Лун напал на них, убил их собственным ножом, а затем разоружил их охрану. Таким образом он приобрел достаточное количество револьверов и винтовок для вооружения своего первого крестьянского отряда.

Слава Хэ Луна в «Обществе старшего брата» простирается на весь Китай. Красные говорят, что он может невооруженным явиться в любую деревню страны, назвать свое имя членам общества «Кэ Лао» и — сформировать армию. Ритуал и язык общества очень сложны, и овладеть ими очень трудно. Но Хэ Лун достиг в этом высочайших

степеней. Говорят, ему не раз удавалось завербовать в красную армию целые отделения «Кэ Лао». Его ораторские способности хорошо известны. Ли сказал, что Хэ Лун может «мертвых поднять на бой».

Когда в конце концов II армия Хэ Луна отступила из советских районов Хунани, в ней, по слухам, насчитывалось более сорока тысяч бойцов. В Великом походе на Северо-Запад этой армии пришлось испытать еще большие лишения, чем главным силам, двигавшимся из Цзяньси. Тысячи погибли в снежных горах, тысячи умерли от голода, тысячи пали в боях. Однако личный авторитет и влияние Хэ Луна во всем крестьянском Китае были так велики, что его солдаты предпочли остаться с ним и рисковать жизнью. Тысячи бедняков по пути его следования вступили в ряды армии, восполняя ее потери. Наконец ему удалось достигнуть восточного Тибета, где он соединился с Чжу Дэ. К этому времени у Хэ Луна оставалось 20 тысяч бойцов, в большинстве босых, истощенных, умирающих от голода. Отдохнув несколько месяцев, они снова вступили в поход на Ганьсу.

— Опишите внешность Хэ Луна, — спросил я.

— Он крупный человек, сильный, как тигр. Хотя ему сейчас за пятьдесят, здоровье у него превосходное. Он никогда не устает. Рассказывают, что во время похода он часто нес на себе раненых бойцов. Даже когда он был гоминьдановским генералом, он жил так же просто, как его солдаты. Личная собственность его нисколько не интересует; но он страстный любитель лошадей. У него был прекрасный конь, которого он очень любил. Коня захватили как-то неприятельские войска. Хэ Лун бросился в бой, чтобы вернуть любимца, — и вернулся.

Хотя человек он очень импульсивный, но умеет слушаться. С тех пор, как он присоединился к коммунистам, Хэ Лун хранил верность партии и ни разу не нарушал партийной дисциплины. Он всегда просит, чтобы его критиковали, и внимательно прислушивается к советам.

Его сестра очень похожа на него. Она сама водила в бой красные отряды и на спине выносила раненых из огня. То же рассказывают о жене Хэ Луна.

Ненависть Хэ Луна к богачам стала легендарной по всему Китаю. Такая репутация восходит к тем дням, когда его красные партизанские отряды только начали формироваться и хунаньские советы еще не вполне руководились компартией. Многие крестьяне, потерявшие друзей или родственников во время резни крестьян, устроенной белым генералом Хо Цзянем, или испытавшие угнетение и побои со стороны помещиков в период реакционнейшего правления Хо Цзяня, присоединились к Хэ Луну, проникнутые духом сурового мщения. Рассказывают, что достаточно было только слуха о приближении Хэ Луна, чтобы помещики и дворяне удирали даже из местностей, хорошо охраняемых правительственными войсками.

Некоторое время тому назад Хэ Лун арестовал шведского миссионера, по фамилии Боссхард, которого военный суд приговорил к восемнадцати месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже, заключавшемся в том, что он передавал белым армиям сведения о силах и о передвижениях красных. Этим, кстати сказать, занимались многие миссионеры. Ко времени Великого похода Боссхард еще не успел отбыть срок заключения, а посему ему было приказано выступить вместе с армией. Наконец, во время самого похода миссионер-шпион был отпущен, когда истек срок его заключения. При этом шведу выдали деньги на дорогу до Юньнаньфу. К удивлению большинства людей, Боссхард впоследствии говорил очень мало плохого о Хэ Луне. Наоборот, ему приписывают такие слова: «Если бы все крестьяне знали, кто такие коммунисты, то ни один крестьянин не стал бы их опасаться».

Во время полуденной стоянки мы решили искупаться в заманчивом прохладном ручье. Мы растянулись на длинном плоском камне, лежащем посреди ручья. Вода, журча, обдавала нас мелкими холодными волнами. Несколько крестьян прошло мимо, погоняя большое стадо

овец. Небо над головой было чисто и сине. Все здесь дышало миром и красотой.

Вдруг я спросил Ли Чан-лина, женат ли он.

— Я был женат, — медленно ответил он. — Мою жену убили враги.

Понемногу я начал понимать, почему китайские коммунисты сражались так долго, так непримиримо, так необычно.

ПЕН ДЭ-ХУАЙ

Карьера Пена в качестве красного командира началась лет десять назад, когда он возглавил восстание в войсках генерала-многоженца Хо Цзяня. Пен вышел из рядовых, заслужил перевод в военную школу, сперва был направлен в Хунань, а оттуда в Наньчан. По окончании школы Пен Дэ-хуай стал быстро продвигаться по службе. К 1927 г., когда ему было двадцать восемь лет, он уже командовал бригадой и пользовался известностью во всей хунаньской армии как либеральный офицер, который советуется со своим солдатским комитетом. В июле 1928 г. со своим собственным полком в качестве основного ядра, к которому присоединились другие полки и курсанты военной школы, Пен Дэ-хуай возглавил Пинцзянское восстание и, объединившись с восставшими крестьянами, установил первое советское правительство Хунани.

Два года спустя Пен создал «Железное братство», насчитывавшее 8 000 членов, из которых образовался V красный корпус. С этим войском он атаковал и захватил огромный, окруженный стеною город Чанша, столицу Хунани, и разгромил 60-тысячное войско Хо Цзяня.

Во время Великого похода красной армии Пен командовал авангардом — I корпусом. Он прорвался сквозь 10-тысячную заградительную армию неприятеля, захватывая по пути своего продвижения важные центры, обеспечивая коммуникационные линии для основных сил, и наконец пробился в Шэньси, где части красной армии получили убежище в советских районах Северо-Запада. Солдаты из его армии рассказывали мне, что большую часть Великого похода (10 тысяч километров) он проделал в пешем строю, уступая своего коня уставшему или раненому товарищу.

Зная о его прошлом, я полагал, что Пен окажется усталым, утрюмым, фанатичным вождем, физической развалиной. На самом же деле он оказался человеком веселым, любящим посмеяться, обладающим превосходным здоровьем, если не считать болезни желудка. Дело в том, что во время Великого похода ему пришлось целую неделю питаться сырыми пшеничными зернами, травой и тому подобной пищей, а несколько дней он и вовсе ничего не ел. Ветеран десятков боев, он был ранен лишь раз, и то легко.

В Юваньбао я жил в доме, где помещался штаб Пена, и таким образом часто наблюдал его во фронтовой обстановке. Кстати, его штаб, откуда он руководил 30-тысячным войском, представлял простую комнату, обстановку которой составляли стол, деревянная скамья, два железных ящика, самодельные карты, полевой телефон, полотенце, таз для умывания и нары, на которых были растелены его одеяла. У Пена, как и у его солдат, было два комплекта обмундирования без знаков различия. Он по-детски гордился лишь одним из предметов своей одежды — курткой, сшитой из материала парашюта с вражеского самолета, сбитого во время Великого похода.

Пен поздно ложился спать и рано вставал, в среднем он спал четыре-пять часов в сутки. Казалось, он никогда не спешил, но всегда был занят. Помню, как я однажды утром удивился, когда I корпус получил приказ продвинуться на 200 ли вглубь неприятельской территории, к Хайюани; Пен отдал все нужные приказания еще до завтрака и пришел поесть вместе со мной. Сразу же после этого он выступил в путь, будто управляясь на загородную прогулку; он шагал вместе со своим штабом по улицам Юваньбао, остановился погово-

рить с мусульманскими священниками, собравшимися, чтобы пожелать ему счастливого пути. Казалось, его большая армия двигалась сама по себе.

Интересно отметить, что, хотя за Пена, живого или мертвого, были назначены награды до 100 тысяч долларов, его штаб охранялся всего одним часовым, и сам Пен разгуливал по улицам города без всякой личной охраны. В бытность мою там самолеты противника сбросили тысячи листовок, предлагая награды за головы Пен Дэ-хуая, Сю Хай-дуна и Мао Цзе-дуна. Пен Дэ-хуай приказал эти листовки сохранить. Они были опечатаны только на одной стороне, а в это время красная армия испытывала недостаток в бумаге. Чистая сторона этих листовок была использована для печатания красноармейской пропаганды.

Пен очень любит детей, и часто они ватагами ходят с ним. Многие из этих мальчиков, выполняющих роли подавальщиков снарядов, горнистов, ординарцев и денщиков, организованы в регулярные отряды, в группы Шао-нинь Сянь-фындун, т. е. «Юный авангард». Я часто видел Пена в обществе трех-четырех «красных дьяволят», поглощенного серьезной беседой с ними о политике или об их личных заботах. Он обращался к ним с большим уважением.

Однажды вместе с Пенем и частью его штаба мы отправились в один небольшой арсенал близ фронта и зашли в комнату отдыха рабочих — ленинский клуб. Там висела нарисованная рабочими большая карикатура, изображающая японца в кимоно, стоящего ногами на Маньчжурии, Жэхэ и Хэбэе и простирающего окровавленный меч над остальным Китаем. У японца был огромный нос.

— Кто это? — спросил Пен у «юного авангардиста», наблюдавшего за порядком в клубе.

— Это, — ответил юнец, — японский империалист.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Пен.

— А вы посмотрите только на его большой нос, — последовал ответ.

Пен рассмеялся и взглянул на меня. — Вот, — сказал он, указывая на меня, — иностранный дьявол, разве он тоже империалист?

— Он иностранный дьявол, это верно, — ответил авангардист, — но не японский империалист. Нос у него большой, но недостаточно большой для японского империалиста.

Пен захотел от восторга и потом в шутку называл меня Да-би-цзу — Большой нос.

Однажды мы побывали на спектакле антияпонского театра I корпуса. Вместе с солдатами мы уселись на траве перед импровизированной сценой. Повидимому, представление доставило Пену большое удовольствие, и он первым из публики потребовал исполнения одной любимой песенки. После заката стало холодно, и я плотнее закутался в свое ватное пальто. Посреди представления я вдруг заметил, что Пен снял с себя шинель и накинул ее на маленького горниста, сидевшего рядом с ним.

Я понял заботливость Пена к этим «дьяволятам» после того, как однажды вечером он, поддавшись моим уговорам, рассказал мне кое-что из своего детства. Испытания его юности могут поразить слух западного человека, но они типичны для того, чтобы понять, почему многие молодые китайцы видят теперь все в «красном свете».

*

Пен Дэ-хуай родился в деревне Сянтанского уезда, в 90 ли от Чанша, у берегов реки Сян, в зажиточной крестьянской семье. Сянтан — одна из красивейших частей Хунани — зеленая местность, покрытая рисовыми полями и зарослями высокого бамбука. Она густо населена. Более миллиона человек живет в одном уезде. Но хотя в Сянтане почва плодородна, большинство крестьян пребывает в кабале и жалкой нищете, по словам Пена, «немногим лучше крепостных». Помещики здесь все еще всемогущи, владеют лучшими землями и взимают непосильную арендную плату и налоги, ибо во многих случаях они же являются чиновниками.

Мать Пена умерла, когда ему было шесть лет; его отец снова женился. Мачеха возненавидела Пена. Она послала его в китайскую школу старого типа, где учитель частенько бил его. Пен, надо полагать, сумел защитить свои интересы, потому что во время одного из таких избиений он схватил стул, ударил учителя и бежал. Учитель подал на него в местный суд, а мачеха прокляла Пена.

В этой ссоре отец Пена держался нейтрально, но для того, чтобы не портить отношений с женой, отправил юного забияку жить к тетке, которую мальчик любил. Она поместила мальчика в так называемую современную школу. Здесь ему попался учитель «радикал», который не верил в сыновнее почитание. Однажды, когда Пен Дэ-хуай играл в парке, к нему подошел учитель и заговорил с ним. Пен спросил, почитает ли тот своих родителей и считает ли он, что Пен должен почитать своих. О себе учитель сказал, что не верит в такую чепуху.

— Мне эта мысль понравилась, — рассказывал Пен, — и, придя домой, я изложил ее своей тетке. Она ужаснулась и на следующий же день забрала меня подальше от пагубного «иностранныго влияния».

Услышав кое-что о возражениях молодого человека против сыновнего почитания, его бабушка, которая, повидимому, была кровожадным старым деспотом, начала молиться регулярно первого и пятнадцатого числа каждого месяца, а также по праздникам и в дождливые дни, чтобы небо поразило и истребило непочтительного ребенка.

А затем случилось необычайное происшествие, о котором лучше всего передать словами самого Пена:

— Моя бабушка всех нас считала своими рабами. Она была страстной курильщицей опиума. Я ненавидел его запах и однажды ночью, когда он стал нестерпим, я встал и сбросил с печки ее тазик с опиумом. Она пришла в ярость. Собрав весь клан, она потребовала, чтобы меня утопили, потому что я непочтительное дитя.

Весь клан готов уже был привести в исполнение ее требование. Моя мачеха

дала свое согласие на то, чтобы меня умертвили, отец мой сказал, что, если таково решение всей семьи, он возражать не станет. Тогда выступил мой дядя, брат моей матери, и сурово напал на моих родителей за то, что они не сумели меня воспитать. Он сказал, что это их вина и что в таких случаях ребенок не может нести ответственности.

Жизнь мою пощадили, но я вынужден был покинуть родной дом. Мне было девять лет, стоял холодный октябрь, все мое имущество состояло из надетых на мне куртки и пары штанов. Мачеха хотела отобрать у меня и это, но я доказал, что одежда досталась мне еще от матери.

Так Пен Дэ-хуай вступил в большой мир. Сперва он нанялся в пастухи, потом на угольную шахту, где ему приходилось по четырнадцать часов в день раздувать меха. Не вынеся такого долгого рабочего дня, он бежал с шахты и поступил учеником к сапожнику, где ему приходилось работать только по двенадцати часов в день, что было большим достижением. Жалованья он не получал и через восемь месяцев снова убежал, поступив на этот раз работать на рудник. Рудник вскоре закрылся, и Пену снова пришлось искать работу. Все еще не имея ничего, кроме тех лохмотьев, которые были на нем, он стал работать на постройке плотин. Здесь он имел «хорошую работу», действительно получал заработную плату и в два года скопил 1 500 кэш — около 12 долларов. Но он все потерял, когда со сменой правителей местная валюта полностью обесценилась. В отчаянии он решил вернуться в родную деревню.

К тому времени ему исполнилось шестнадцать лет. Пен решил навестить своего богатого дядю — того, который спас ему жизнь. У этого дяди только что умер сын. Дядя любил своего племянника, радушно встретил его и предложил остаться у него. Здесь Пен влюбился в свою двоюродную сестру; дядя благосклонно относился к их помолвке. Они вместе учились под руководством китайского учителя, вместе играли и строили планы своего будущего.

Этим планам не суждено было осуществиться из-за непреодолимой порывистости Пена. В следующем году в Хунани был большой рисовый голод, и тысячи крестьян стали нищими. Наибольшие запасы риса скопились у одного помещика-торговца, который скажочно на них наживался. Однажды возле его дома собралась толпа из 200 крестьян, требуя, чтобы этот купец продал им рис не по спекулятивной цене. Таков был традиционный долг добродетельного человека во времена голода. Богач отказался даже обсудить это дело, выгнал крестьян и велел запереть ворота.

— Я проходил мимо, — продолжал Пен, — и остановился посмотреть на эту демонстрацию. Многие из этих людей едва не умирали от голода. Я знал, что в закромах помещика огромное количество риса, а он вовсе отказывается помочь голодающим. Я пришел в ярость, стал во главе крестьян, и мы ворвались в дом. Крестьяне унесли большую часть его рисовых запасов.

Снова Пену пришлось бежать, спасая свою жизнь, но на этот раз он уже был достаточно взрослым, чтобы вступить в армию. Так началась его карьера солдата. Очень скоро после этого Пен Дэ-хуай стал революционером.

В восемнадцать лет он стал командиром взвода и принял участие в заговоре, целью которого было свержение губернатора Ху. Большое влияние на Пена оказал один студент, находившийся в армии и впоследствии убитый губернатором. Пену поручено было убить губернатора Ху. Он явился в Чанша, выждал его на улице и бросил в него бомбу. Бомба не взорвалась. Пен снова бежал.

Вскоре после этого генералиссимусом объединенных армий Юго-Запада стал Сунь Ят-сен, которому удалось разбить Ху, но затем он снова был изгнан из Хунани северными милитаристами. Пен бежал вместе с армией Суня. Посланный с тайным заданием, Пен вернулся в Чанша, но был выдан и арестован. Пен так описывает свои тогдашние испытания:

— Каждый день меня по часу пытали самыми разнообразными способами. Однажды мне связали руки и ноги за спину и на целую ночь подвесили за кисти рук к крыше. Потом на спину мне навалили тяжелые камни, а тюремщики, собравшись вокруг, били меня ногами и требовали, чтобы я признался, — они не имели никаких улик против меня. Много раз я впадал в обморочное состояние.

Пытки продолжались целый месяц. После каждой пытки мне казалось, что в следующий раз я признаюсь. Но всякий раз откладывал на следующий день. В конце-концов палачи от меня ничего не добились и, к моему удивлению, освободили меня. Чуть ли не самое большое удовлетворение в жизни я испытал, когда несколько лет спустя мы захватили Чанша, разрушили этот старинный застенок и освободили несколько сот политических заключенных, многие из которых были полумертвы от избиений, зверского обращения и голода.

После тюрьмы Пен вновь вступил в армию, вскоре был произведен в первый чин и послан в Хунаньскую военную школу. После выпуска он стал командиром батальона во 2-й дивизии, под командованием Лю Ди-пина, и был назначен для несения службы в свой родной округ.

Я спросил Пена, какие книги оказали на него влияние.

К 1926 г. Пен прочел «Коммунистический манифест», «Капитал» и много статей и брошюр, дающих материалистическое объяснение китайской революции. «Раньше, — говорит Пен, — я испытывал лишь неудовлетворенность обществом, но не видел почти никакой возможности для коренного улучшения дел. После прочтения «Коммунистического манифеста» я отбросил пессимизм и начал работать с новой верой в то, что общество может быть изменено».

Хотя до 1927 г. Пен не вступал в компартию, он пользовался услугами коммунистической молодежи в своих войсках, создал курсы марксистской учебы и организовал солдатские комитеты. В июле 1928 г. Пен организовал восстание, захватил Пинцзян. Так началась его долгая жизнь революционера.

Рассказывая мне эти эпизоды своей жизни и борьбы, он рассказывал по комнате, улыбаясь и подшучивая, с монгольской волосяной хлопущкой для мух в руках, которой он рассеянно взмахивал, когда хотел что-нибудь подчеркнуть. Явившийся посыльный принес це-

лый ворох радиограмм, и Пен, снова превратившись в серьезного командующего, начал их читать.

— Ну-с, это примерно все, — сказал он в заключение. — Этим можно отчасти объяснить, как человек становится «красным».

СЮ ХАЙ-ДУН

Придя как-то утром к Пен Дэ-хуаю, я застал еще несколько членов его штаба, задержавшихся после совещания. Меня пригласили войти и предложили дыню. Сидя за столом и сплевывая семечки на пол, я увидел одного молодого командира, которого прежде там не встречал.

Пен Дэ-хуай заметил мой взгляд и шутливо сказал:

— Это знаменитый человек. Разве вы его не узнаете?

Новопришелец покраснел и осклабился, обнаружив большую дыру на том месте, где должны были быть два передних зуба. Улыбка придавала ему детский, озорной вид. Все засмеялись.

— Это тот человек, которого вы так хотели увидеть, — прибавил Пен. — Он хочет, чтобы вы посетили его армию. Зовут его Сю Хай-дун.

Надо сказать, что из всех красных военных руководителей в Китае, пожалуй, никто не был так «известен», как Сю Хай-дун, и уже наверняка ни один не был окружен большей «таинственностью», чем он. Во внешнем мире о нем ничего не было известно, кроме того, что он некогда работал в Хэбэе, в горшечной мастерской. Противники называли его «язвой цивилизации». В одной из своих листовок они напечатали такой призыв:

«Убей Мао Цзе-дуна или Сю Хай-дуна — и мы дадим тебе 100 000 долларов».

И здесь, рядом со мною, над квадратными мальчишескими плечами возвышалась та голова, которую противник оценил, повидимому, не меньше, чем голову Пен Дэ-хуая.

Я выразил удовольствие по поводу знакомства, а про себя подумал, как

чувствует себя человек, жизнь которого может принести такое богатство любому его подчиненному. Я спросил Сю, могу ли я действительно принять его приглашение. Он командовал XV корпусом, штаб которого помещался примерно в 80 ли к северо-западу, в городке Юван Сянь.

— Я уже подготовил для вас комнату на колокольне, — ответил он. — Сообщите мне только, когда захотите приехать, и я вышлю за вами эскорт.

Мы тут же точно договорились.

И вот несколько дней спустя, вооруженный автоматическим револьвером, я отправился в Юван Сянь в сопровождении десяти красных солдат, вооруженных винтовками и маузерами, так как местами дорога вплотную подходила к линии фронта.

Через пять часов мы достигли Юван Сяня, в котором проживало около пяти сот семей, старинного мусульманского городка, окруженного великолепной стеной из камня и кирпича.

Пять дней пробыл я в XV корпусе, и каждый час был полон напряженного интереса. Я беседовал с Сю Хай-дуном каждый вечер после того, как он кончал работу. Вместе с ним я ездил на передовые позиции 73-й дивизии, ходил на представления Красного театра. От него я впервые узнал историю Хэнань-Аньхуэй-Хэбэйской советской республики, о которой прежде ничего не было достоверно известно. Как организатор первой партизанской армии этой огромной, занятой красными территории, уступавшей по величине только центральному советскому району Цзяньси, Сю Хай-дун мог подробно рассказать мне обо всем.

Сю открыто гордится своим пролетарским происхождением и часто, с улыбкой, называет себя «кули». Совершенно ясно, что он искренно считает, что китайские бедняки, крестьяне и рабочие — это хорошие люди, добрые, храбрые, самоотверженные, честные, — в то время как все пороки являются монополией богатства. Для него все это было просто, — он боролся за то, чтобы очистить страну от порока. Благодаря этой абсолютной вере его слова о его собственной храбрости и превосходстве его армии не отдавали тщеславием и самодовольством. Когда он говорил: «Один красный стоит пятерых белых», видно было, что для него это неоспоримый факт.

Его гордость была искренна, и в этом, возможно, заключался секрет той преданности ему, какую проявляли солдаты. Он крайне гордился своей армией, своими людьми. Он гордился их ленинскими клубами и художественно сделанными плакатами. Они и в самом деле были хороши. Он гордился своими дивизионными командирами, двое из которых были «кули, как он сам», а третьему, ставшему красным пять лет назад, было только двадцать шесть лет.

Сю Хай-дун очень высоко ценил всякое проявление физической доблести и сожалел о том, что восемь ран, полученных им за десять лет войны, слегка сковывали его движения. Но он не курил, не пил, обладал стройным телом, каждый дюйм которого, казалось, состоял из твердых мускулов. Он был ранен в обе ноги, в обе руки, в грудь, в плечо, в бедро. Одна пуля пробила ему голову под самым глазом и вышла за ухом. Однако он все еще производил впечатление крестьянского юноши, лишь недавно покинувшего рисовые поля, спустившего закатанные до колен штаны и присоединившегося к проходящему «свободному отряду» солдат.

Я узнал также историю его недостающих двух зубов. Это случилось с ним во время верховой езды. Однажды, когда Сю галопом скакал по дороге, его конь копытом задел солдата. Сю повернулся, чтобы посмотреть, что случилось с солдатом. Лошадь шарахнулась и

ударила Сю о дерево. Когда две недели спустя он пришел в сознание, он убедился, что его два передних зуба остались возле злополучного дерева.

— Не боитесь ли вы, что когда-нибудь вас сильно ранят? — спросил я его.

— Не очень, — рассмеялся он. — Меня били еще с детских лет, к этому я привык.

Сю Хай-дун родился в 1908 г. в уезде Хуанби, близ Ханькоу. Семья его на протяжении многих поколений занималась гончарным промыслом и во времена его деда владела землей, но потом вследствие засух, наводнений и налогов полностью опролетаризировалась. Его отец и пятеро братьев работали в гончарной мастерской в Хуанби и зарабатывали достаточно на жизнь. Все они были безграмотны, но лелеяли честолюбивые мечты в отношении Хай-дуна, самого младшего брата, талантливого ребенка. Вшестером они наскребли достаточно денег, чтобы отправить Сю Хай-дуна в школу.

— На четвертом году обучения в школе, когда мне было одиннадцать лет, я ввязался в драку «богатых против бедных» и был загнан в угол толпой «богатых сынков». Мы бросались палками и камнями, и одним из камней я рассек голову сынку богатого помещика. Мальчик с плачем ушел и, спустя короткое время, вернулся со своей семьей. Отец мальчика сказал, что я «забыл о своем рождении», и избил меня. После этого я убежал из школы и отказался туда вернуться. Это случай произвел на меня глубокое впечатление. С той поры я перестал верить в то, что бедняк может добиться справедливости, — рассказывал Сю.

Сю поступил учеником в горшечную мастерскую и первые годы обучения работал бесплатно. В шестнадцать лет он уже полностью овладел своим мастерством и стал самым высокооплачиваемым горшечником из числа 300 рабочих. «Я могу изготовить горшок быстрее любого китайца, — улыбаясь, хвастался Сю. — Так что, когда революция будет завершена, я все еще смогу быть полезным гражданином».

Он вспомнил еще один случай, после которого его любовь к помещикам отнюдь не усилилась.

— В нашу местность приехала бродячая театральная труппа. Рабочие отравились посмотреть представление. Там же были жены помещиков и чиновников. Естественно, рабочие с любопытством глядели на тщательно охраняемых жен великих мира сего, восседавших в ложах. Тогда помещики приказали минтуаням выгнать рабочих из театра, в результате завязалась драка. Потом нашему хозяину пришлось дать банкет в честь «оскорбленных» дворян и пустить в их честь фейерверк, чтобы компенсировать «испорченную чистоту» тех женщин, на которых смотрел народ. Хозяин хотел было удержать из нашей заработной платы стоимость банкета, но мы пригрозили ему забастовкой, и он отказался от своего намерения. Таково было мое первое впечатление о роли организации в защите бедняков.

Когда ему минул двадцать один год, Сю поссорился с родными и покинул дом. Он пешком добрался до Ханькоу, потом до Цзяньси, где проработал год в качестве горшечника, скопил немного денег и собирался вернуться в Хуанби, но заразился холерой, и, пока болел, все его сбережения растаяли. Стыдясь вернуться с пустыми руками, он вступил в армию, где ему обещали платить 10 долларов в месяц. На самом же деле он получал «одни только побои». В это время началась революция на Юге, и коммунисты повели свою пропаганду в частях, где служил Сю. Несколько из них казнили, и Сю заинтересовался их учением. Возмущенный армией милитаристов, он дезертировал с одним из офицеров, бежал в Кантон и вступил в IV армию, под командование генерала Фа-гуя. Там он оставался до 1927 г. и получил чин взводного командира.

Весной 1927 г. среди гоминьдановских сил началось расслоение на правые и левые группировки. Этот раскол был особенно силен в армии Чжан Фа-гуя, которая в то время стояла возле реки Янцзы. Сю, занявший радикальную позицию, вынужден был бежать и тайно

вернулся к себе домой, в уезд Желтого Склона. Но к тому времени, под влиянием студентов-пропагандистов, он примкнул к коммунистам и тотчас же начал создавать в Хуанби местную организацию компартии.

В апреле 1927 г. произошел переворот, организованный правыми, и коммунистическая партия была загнана в подполье. Тогда Сю организовал большинство рабочих-горшечников и часть местных крестьян. Из них он набравал «Первую рабоче-крестьянскую армию» Хэбэя. Вначале эта армия насчитывала всего семнадцать человек, у которых был один револьвер и восемь патронов, принадлежавших лично Сю Хай-дуну.

Таково было ядро будущей IV армии, насчитывавшей 60 000 человек, которая в 1933 г. держала под своим контролем советскую территорию размером с Ирландию. Она имела свою собственную почтовую систему, кредитную систему, монетный двор, кооперативы, текстильные фабрики, а в общем хорошо организованное хозяйство, управляемое выборным правительством. Главнокомандующим армией стал Сю Сян-чен, выпускник военной академии Вампу и бывший офицер гоминьдановской армии, а председателем правительства стал Чжан Го-тао, один из крупнейших вождей китайского культурного ренессанса.

*

В течение трех дней, по несколько часов, днем и по вечерам, я расспрашивал Сю Хай-дуна и его сотрудников об их биографиях, об их войсках, об истории Хэбэй-Аньхуэй-Хэнаньских советских районов. Я был первым иностранным корреспондентом, которому удалось интервьюировать этих людей. Они не имели никаких, специально подготовленных для прессы историй, никаких красиво сформулированных речей, и мне приходилось вырывать у них всякие сведения при помощи настойчивых расспросов. Очень приятно было получать в ответ прямые, неприкрашенные заявления. Чувствовалось, что их словам можно верить.

Поэтому, когда я задал Сю Хай-дуну вопрос: «Где ваша семья?» — его ответ был так прост, так непосредствен, что я не мог усомниться в его правдивости.

— Весь мой клан убит, за исключением одного брата, который служит в IV армии.

— Вы хотите сказать — убиты в бою?

— О, нет, только трое моих братьев служили в красных войсках. Остальные члены моего клана казнены генералами Тан Янь-по и Ша Ду-йин. Всего они убили шестьдесят шесть членов клана Сю.

— Шестьдесят шесть! — повторил я, не веря своим ушам.

— Да, двадцать семь моих близких родственников были казнены. Кроме того, казнены тридцать девять дальних родственников из Хуанби, носивших

имя Сю. Убивали старых, молодых, женщин, детей и даже грудных младенцев. Весь клан Сю уничтожен, за исключением моей жены, троих братьев, служащих в красной армии, и меня самого. Два моих брата были потом убиты в боях.

— А ваша жена?

— Не знаю, что стало с ней. Она была захвачена в 1931 г., когда белые войска заняли Хуанби. Впоследствии, я слышал, что она была продана в качестве конкубинки одному купцу. Обо всем этом я узнал от братьев, которым удалось бежать.

Заметив, как я потрясен, Сю сухо улыбнулся.

— В этом нет ничего необычного, — сказал он. — Так случилось с кланами многих красных офицеров, но мой клан понес наибольшие потери.

НА ВОЙНУ С ЯПОНСКИМ ИМПЕРИАЛИЗМОМ!

16 июля 1936 г. я сидел на квадратном табурете в комнате Мао Цзе-дуна. Это было после девяти часов вечера. Отбой уже прозвучал, и почти все огни были потушены. Стены и потолок жилища Мао были сложены из камня, пол вымощен кирпичом. Окна наполовину были завешены марлей, а на некрашеном столе, покрытом красным сукном, горели свечи. В соседней комнате жена Мао готовила компот из диких персиков. Мао сидел, поджав ноги, в нише, высеченной в каменной стене, и курил папиросу.

Мао стал отвечать на мои вопросы о политике коммунистов по отношению к Японии.

Вопрос. — При каких условиях, по вашему мнению, китайский народ сможет разбить и истощить силы японского империализма?

Ответ. — Наш успех будет гарантирован тремя условиями; первое: установление национального единого фронта против японского империализма в Китае; второе: создание мирового анти-японского единого фронта; третье: революционные действия угнетенных народов, ныне страдающих от японского империализма. Необходимейшим из этих

условий является объединение самого китайского народа.

Вопрос. — Как долго, по вашему мнению, сможет продолжиться такая война?

Ответ. — Это зависит от силы китайского национального фронта, от многих привходящих факторов в Китае и Японии, от размеров интернациональной помощи Китаю и от размаха революционного движения в Японии. Если китайский национальный фронт будет силён и монолитен, если он будет правильно организован, если Китаю будет оказана значительная помощь со стороны тех правительств, которые сознают угрозу японского империализма их собственным интересам, тогда война будет короткой и победа будет быстрой. Если же достигнуть этих условий не удастся, тогда война будет долгой, но в конце концов японские империалисты все же будут разбиты. Но жертвы будут значительны, и это будет мучительный период для всего мира.

Вопрос. — Как будет развиваться такая война?

Ответ. — Это зависит от политики иностранных держав и стратегии китайских армий.

В настоящее время японская континентальная политика уже хорошо известна. Те, кто воображают, что дальнейшим умалением суверенитета Китая, дальнейшими экономическими, политическими или территориальными компромиссами и уступками можно задержать наступление Японии, занимаются утопическими фантазиями. Нанкин в прошлом придерживался ошибочной политики, основанной на такой именно стратегии. Достаточно взглянуть на карту Восточной Азии, чтобы увидеть ее результаты.

Но все мы достаточно хорошо знаем, что не только Северный Китай, но и низовья долины Янцзы и наши южные морские порты уже включены в японскую континентальную программу. Кроме того, столь же ясно, что японский военный флот стремится блокировать китайские моря и захватить Филиппины, Сиам, Индо-Китай, Малайские острова и Нидерландскую Индию. В случае войны Япония попытается превратить их в свои стратегические базы, отрезав от Китая Англию, Францию и Америку и монополизировав воды южной части Тихого океана. Все это входит в японские военно-морские стратегические планы, копии которых мы видели. И эта военно-морская стратегия Японии будет координирована с ее стратегией на суше.

Многие считают, что Китай не мог бы продолжать сражаться с Японией, если бы последней удалось захватить определенные стратегические пункты на побережьях и установить блокаду. Чепуха! Чтобы опровергнуть это, достаточно обратиться к истории красной армии. В определенные периоды наши силы численно были в десять — двадцать раз меньше сил гоминьдана, которые к тому же технически были оснащены лучше нас. Их экономические ресурсы тоже во много раз превосходили наши, и они получали материальную поддержку извне. Почему же тогда красная армия насчитывала одну победу за другой и не только survives до настоящего времени, но даже увеличила свою мощь?

Объясняется это тем, что красная армия и правительство советских районов

создали среди народа на своих территориях твердокаменное единство. Потому что каждый человек на территории советов готов был драться за свою власть, против угнетателей; каждый человек добровольно и сознательно сражался за свои интересы и за то, что он считал правым делом. Во-вторых, у красных во главе народа стоят способные, сильные и решительные люди, вооруженные глубоким пониманием стратегических, политических, экономических и военных нужд своего положения. Красная армия одержала свои многочисленные победы, начав всего с десяти винтовок в руках решительных революционеров, потому что ее прочная опора в массах привлекала друзей даже из среды белых войск. С военной точки зрения, враг бесконечно превосходил нас, но политически он не был мобилизован.

В антияпонской войне на стороне китайского народа будут гораздо большие преимущества, чем те, которыми пользовалась красная армия в своей борьбе с гоминьданом. Китай — очень большая страна, и для того, чтобы сказать, что он покорен, надо, чтобы каждый дюйм его территории очутился под пятой иноземного врага. Если бы японским империалистам даже удалось оккупировать большую часть Китая, с населением в 100 или даже 200 миллионов, все же мы были бы далеки от поражения. Мы все еще располагали бы огромной силой для борьбы против японской военщины, которой, кроме того, пришлось бы вести тяжелую и непрерывную войну в своем тылу.

Что касается военного снаряжения, то японцы не могут захватить наши арсеналы, расположенные в глубине страны, точно так же, как не могут помешать нам захватить большие количества снаряжения и оружия у них самих. Красная армия подобным образом вооружилась за счет гоминьдана; за последние девять лет войска гоминьдана были нашими поставщиками снаряжения. Какие же бесконечно большие возможности откроятся перед нами для использования подобной тактики, если весь китайский народ объединится против японского империализма!

Экономически Китай, конечно, не объединен. Но неравномерное развитие китайского хозяйства тоже является преимуществом в войне против высокоцентрализованного и высококонцентрированного хозяйства Японии. Например, отделение Шанхая от остального Китая не является столь катастрофичным для страны, как было бы, например, отделение Нью-Йорка от США. Кроме того, Япония не может изолировать весь Китай; Китайский Северо-Запад, Юго-Запад и Запад не могут быть блокированы Японией, которая в основном является морской державой.

Поэтому центральным вопросом по-прежнему остается мобилизация и объединение всего китайского народа и создание единого фронта, за который компартия непрестанно борется, начиная с 1932 года.

Вопрос.—Считаете ли вы, что в случае китайско-японской войны в Японии произойдет революция?

Ответ.—Японская революция—это не только вероятность, но неизбежность. Она неизбежно и быстро начнется при первых суровых поражениях, понесенных японской армией.

Вопрос.—Является ли немедленной задачей китайского народа возвращение всех территорий, захваченных японским империализмом, или только изгнание японских империалистов из Северного Китая и со всех китайских территорий к северу от Великой стены?

Ответ.—Немедленной задачей Китая является возвращение всех наших потерянных территорий, а не только защита нашего суверенитета к югу от Великой стены. Это означает, что Маньчжурия должна быть возвращена. Мы не включаем, однако, Корею, в прошлом китайскую колонию, но, когда мы восстановим независимость потерянных территорий Китая, если корейцы захотят порвать цепи японского империализма, мы с энтузиазмом протянем им руку в их борьбе за независимость. То же относится к Формозе. Что касается Внутренней Монголии, которая населена и китайцами, и монголами, мы будем бороться за то, чтобы изгнать оттуда Японию и

помочь Внутренней Монголии создать автономное государство.

Вопрос.—Как практически смогут правительство советских районов и красная армия сотрудничать с армией гоминьдана в войне против Японии? Для войны против иностранной державы все китайские армии должны подчиняться централизованному командованию. Согласится ли красная армия, в случае если она будет представлена в верховном военном совете, подчиняться его решениям как в военном, так и в политическом отношениях?

Ответ.—Да. Наше правительство будет охотно подчиняться решениям такого совета при условии, что последний действительно будет сопротивляться Японии.

Вопрос.—Согласится ли красная армия не вводить свои войска на территории, занятые гоминьдановскими армиями, без согласия или решения верховного военного совета?

Ответ.—Да. Мы, конечно, не будем вводить наши войска на какую-либо территорию, занятую антияпонскими армиями, равно как мы не делали этого и в прошлом. Красная армия не станет оппортунистически использовать какую-либо ситуацию военного времени.

Вопрос.—Чего потребует компартия в обмен на такое сотрудничество?

Ответ.—Она будет настаивать на ведении решительной и до конца борьбы против японской агрессии. Кроме того, она потребует соблюдения пунктов, выдвинутых в призывах к созданию демократической республики и правительства национальной обороны.

Вопрос.—Как лучше всего вооружить, организовать и обучить народ для участия в такой войне?

Ответ.—Народу должно быть предоставлено право самому организовываться и вооружиться. В этом праве в прошлом ему было отказано. Однако это противодействие не всегда было успешным, как мы видим на примере красной армии. Кроме того, несмотря на суровые репрессии, в Бэйпине, Шанхае и других местах студенты начали объединяться и политически уже подготовились. Но все же студенты и анти-

японские массы еще не имеют свободы, не могут быть мобилизованы, не могут быть обучены и вооружены. Когда будет достигнуто обратное положение — когда массам будет дана экономическая, социальная и политическая свобода, их мощь увеличится в сотни раз, и только тогда нация полностью развернет свои силы.

Красная армия своей борьбой завоевала себе свободу от милитаристов и стала непобедимой силой. Антияпонские добровольцы завоевали себе свободу действий против японских угнетателей и вооружились таким же путем. Если китайский народ будет обучен, вооружен и организован, он сможет точно так же стать непобедимой силой.

Вопрос. — Какой стратегии и тактики надлежит, по вашему мнению, придерживаться в этой освободительной войне?

Ответ. — Это должна быть стратегия маневренной войны, вдоль растянутого, меняющегося и неопределенного фронта; стратегия, успех которой будет зависеть от высокой степени мобильности в условиях трудной местности, и основными чертами ее должны быть быстрые нападения и отходы, быстрая концентрация и рассредоточение.

Это не означает отказа от жизненных стратегических пунктов, которые могут защищаться позиционными методами до тех пор, пока это выгодно. Но стратегической осью должна быть маневренная война, и в значительной мере надлежит опираться на партизанскую тактику. Можно использовать и методы войны на укрепленных позициях, но такие методы будут иметь лишь подсобное и второстепенное стратегическое значение.

Известные генералы Бай Чжун-си, Ли Цзун-жэнь, Хань Фу-цзюй, Ху Цзун-нань, Чжен Чэнь, Чжан Сюэ-лянь, Фын Юй-сян и Цай Тин-кай придерживаются того взгляда, что единственная надежда Китая на победу должна основываться в конечном счете на лучшем маневрировании больших войсковых масс, разделенных на подвижные соединения, и способности поддерживать длительную оборону на огромных территориях, охваченных партизанскими методами войны. Таким образом, постепенно

Японию можно будет сперва разбить экономически, а затем и в военном отношении.

Мао Цзе-дун продолжал:

— Кроме регулярных китайских войск, мы должны создать, руководить и политически и в военном отношении снарядить большое число партизанских отрядов крестьян. Успехи антияпонских добровольческих отрядов этого типа в Маньчжурии служат лишь иллюстрацией скрытых сил сопротивления, которые могут быть мобилизованы среди революционного крестьянства всего Китая.

Не следует забывать, что война будет вестись на территории Китая. Это значит, что японцы будут целиком окружены враждебным китайским народом. Японцы будут вынуждены ввозить все свои припасы и охранять их, расставляя войска вдоль всех своих коммуникационных линий и создавая крупные гарнизоны на своих базах в Маньчжурии, а также и в самой Японии.

Огромный резервуар человеческого материала, каким является революционный китайский народ, будет непрерывно поставлять людей, готовых сражаться на передовых линиях даже тогда, когда японский империализм уже потерпит полное крушение на скрытых рифах китайского сопротивления.

Японских солдат, захватываемых в плен, мы будем разоружать и хорошо обращаться с ними. Мы не будем убивать их. Мы будем по-братски обращаться с ними. Мы используем всевозможные методы для того, чтобы все японские солдаты-пролетарии, с которыми нам ссориться не из-за чего, восстали против собственных фашистских угнетателей. Нашим лозунгом будет: «Объединяйтесь и вставайте против общих наших угнетателей — фашистских вожakov!», «Антифашистские японские солдаты — наши друзья, и наши цели не противоречивы».

Был уже третий час ночи, я был измучен, но лицо Мао не носило никаких признаков утомления. Он то вставал и шагал по комнате, то садился, ложился, опирался на стол и читал очередные донесения из штабов дивизий, корпусов, с участков фронта.

Литература и искусство

1. В. КИРПОТИН — Великий русский поэт. 2. ИВ. АНИСИМОВ — Байрон. 3. Ал. ЗОТОВ и П. СЫСОВЕВ — Успехи советской живописи. 4. К. СИТНИК — Выставка грузинского искусства

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ

(К 60-летию со дня смерти Н. А. Некрасова)

В. Кирпотин

В славе и росте влияния Некрасова нередко видели умаление славы и влияния Пушкина. В 1880 году, на торжествах, связанных с открытием памятника А. С. Пушкину в Москве, Тургенев говорил:

«Мирозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной, славе — устарелым, его классическое чувство меры и гармонии — холодным анахронизмом. Поэт-эхо, по выражению Пушкина, поэт центральный, сам к себе тяготеющий, положительный, как жизнь на покое, — сменился поэтом-глашатаем, центробежным, тяготеющим к другим, отрицательным, как жизнь в движении... Вслед за скоро прерванным голосом Лермонтова, когда Гоголь стал уже властителем людских дум, зазвучал голос поэта «мести и печали»...».

Поэт мести и печали — это, конечно, Некрасов. В смене влияния Пушкина влиянием Некрасова Тургенев видел кризис, болезнь — пусть неизбежную — и призывал слушателей вновь вернуться к самодовлеющим законам искусства, к искусству, как примиряющей силе, к Пушкину, как символу чистого искусства.

Теоретический лидер народничества, Михайловский, вступился за честь Некрасова. В «Литературных заметках»

1880 года он отвечал Тургеневу, принадлежавшему к политическому лагерю либералов:

«... Наша эпоха политическая по преимуществу, даже слишком односторонне-политическая... Жизнь наша течет тревожнее, чем когда-нибудь. Откуда же, из какой почвы может тут вырасти усиленный запрос на поэта «положительного, как жизнь на покое»? Поживем — увидим, а пока немножко рано начал хоронить Тургенев «музу мести и печали».

Михайловский был равнодушен к Пушкину и высоко ценил творчество Некрасова; Тургенев, наоборот, пренебрежительно относился к Некрасову и восторженно к Пушкину. Оба, и Тургенев, и Михайловский, впадали в односторонность, оба были ограничены узостью своего политического кругозора.

Пушкин и Некрасов — это две вершины в русской поэзии. Оба они — величины разные и оригинальные, но не оторванные друг от друга. Некрасова нельзя назвать учеником Пушкина в тесном смысле этого слова. У него своя школа, но Пушкин, как родоначальник новой русской литературы, явился родоначальником процесса, подготовившего появление поэзии Некрасова.

В чем же проявляется связь творчества Некрасова с творчеством Пушкина



Н. А. НЕКРАСОВ

Портрет работы художника И. Н. Крамского

на? Прежде всего, в отношении к языку поэзии. Пушкин отказался от условного, книжного языка предшествовавшей ему литературы. Он перешел к «просторечию», к живому разговорному языку. Чем дальше, тем больше и больше черпал он из неиссякаемых запасов русского фольклора.

Некрасов смело и до конца пошел по этому же пути. Фольклорная основа по-

эзии Некрасова бросается в глаза. Некрасов решительно и последовательно учился языковому складу у русских крестьян. Некрасов так обильно прибегал к словарю живого, разговорного языка, к «просторечию», что его поэзию нередко обвиняли в чересчур обильном употреблении прозаизмов. В творчестве Некрасова не осталось и следа от «высокого стиля», который в начале

XIX столетия считался в литературе обязательным.

Преобразование литературного языка на началах народности имеет огромное значение. Без общедоступного народного языка само искусство не может быть народным. Сохраняя всю свою оригинальность, все своеобразие лексики и интонации стиха, Некрасов и Пушкин не расходились между собой, а шли в одном направлении.

Родственны Пушкин и Некрасов и в основных, решающих принципах художественного метода. Пушкин явился родоначальником реализма в русской литературе. Он отверг условные, искусственные правила ложноклассицизма. Романтизм Пушкин рассматривал только как ступень к реализму. Чем более мужал гений Пушкина, тем более реалистичным становилось его творчество. Творчество Некрасова реалистично от начала до конца. Его реализм — реализм сознательный и последовательный.

«Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, — писал Некрасов Л. Н. Толстому 2 сентября 1855 г., тогда еще начинающему писателю, — правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе».

Пушкин, в особенности после поражения декабристов, чрезвычайно интересуется взаимоотношениями помещиков и крепостных. При этом особенно привлекает его внимание крестьянин-бунтарь, восстающий на господ. Вспомним «Пугачева», «Дубровского». Сочувствие тяжелому положению крестьянина, отрицательное отношение к крепостному праву многое объясняет в антагонизме Пушкина с классом дворян, к которому он принадлежал по рождению.

Крестьянство же являлось центральной темой творчества Некрасова. Где бы он ни был, о чем бы он ни думал, перед Некрасовым всегда встает образ угнетенного, обездоленного крестьянина. Всякое явление действительности он оценивает, сопоставляя его с жизнью крестьянина. Следя за великолепным исполнением русской пляски в балете, он слышит в глубине души голос своей крестьянской, мужицкой музыки:

На уме у тебя мужики,
За которых на сцене столичной
Петипа пожинает венки,
И ты думаешь: Гурня рая!
Ты мила, ты воздушно легка,
Так танцуй же ты «Деву Дуная»,
Но в покое оставь мужика!
В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,
Весь заиндевел, сам за себя
В эту пору он пляшет довольно,
Зиму дома сидеть не любя.
Подстрекаемый лютым морозом,
Совершая дневной переход,
Пляшет он за скрипучим обозом,
Пляшет он — даже песни поет!..

В глубоком интересе к крестьянской теме есть несомненное сходство между творчеством Пушкина и творчеством Некрасова. Но здесь же коренится и существенное различие между обоими поэтами. Пушкин интересовался крестьянской проблемой, как основной проблемой своей эпохи. Он глубоко сочувствовал угнетенному положению крестьян. Некрасов же не только сочувствовал мужицкому горю, он перешел на сторону крестьянства в классовой борьбе его времени, он стал идеологом крестьянской революции, поэтическим выразителем дум и чувств мужика, встающего на защиту своих прав против царя, против помещиков.

В поэзии Некрасова нет адресованного к социальным верхам филантропически-сочувствующего изображения народного горя. Не смягчат ли они по доброй воле участь крестьян? Нет, Некрасов, в отличие от многих своих современников народолюбцев-филантропов, с радостью и надеждой воспеваает процесс революционирования крестьянства. Во времена Некрасова большинство крестьян еще не осознало своих интересов, но уже и в его время были крестьянские бунты, были непокорные, смелые люди, предпочитавшие гибель или каторгу рабскому смиренью. Некрасов воспевал крестьянскую непокорность с пропагандистской целью, с тем, чтобы побудить смиренных пойти по стопам восстающих. Некрасов много и часто останавливается на теме крестьянского мятежа, на теме расправы крестьян над лютым помещиком. И каждый раз его сочувствие выражено совершенно откровенно.

Пушкина страшила кровь, проливаемая в народных восстаниях. Некрасов же понимал, что без крови не может совершиться народное освобождение.

Поэт революционного крестьянства звал к восстанию, звал огнем и мечом прогнать угнетателей-помещиков. Надо помнить, что Некрасов писал в середине XIX века, писал в злые времена Николая I и в обстановке жестокой реакции, проводимой правительством Александра II, писал под придирчивым надзором цензуры, в атмосфере травли и недоброжелательства. Несмотря на все это, он откровенно ярко и остро разрабатывал такие рискованные темы, как расправа крепостных над помещиком, над немцем-управителем. Некрасов шел на риск, ибо иначе он писать не мог. Его творчество было призывом к революции, его муза была музой народной мести.

Некрасов подслушал самые искренние народные надежды, он выразил подлинные интересы масс, он уловил то, что в его время зрело подспудно, вырываясь наружу в разрозненных крестьянских бунтах. Поэзия Некрасова — голос обездоленных, эксплуатируемых, лишенных прав, но не сломленных, не сдавшихся, готовых к борьбе за свободу и счастье народа.

Вместе с трудовыми массами крестьянства Некрасов ненавидел не только помещиков, но и деревенского кровопийцу-кулака. В сознании народа кулачество — великий грех. Замолить этот грех можно только великим подвигом: раздачей имущества, нищенской жизнью. Это отношение к кулачеству Некрасов выразил в стихотворении «Влас», как и в других своих произведениях.

Зато какой любовью, каким сочувствием согреты стихи Некрасова о мужике-бедняке, как глубоко он проник в экономическую безвыходность его положения:

Раньше людей Ермолай подымается,
Позже людей с полосы возвращается.

Разбогатеть ему хочется пашнею.
Правит мужик свою нужду домашнюю,

Да и семян запасает порядочно —
Тужит, земляцы ему недостаточно!

Сила меж тем в мужике убавляется,
Старость подходит, частенько хворается. —

Стало хозяйство тогда поправляться:
Стало земли от семян оставаться!

Кулак так же, как и барин-помещик, так же, как и купец-накопитель, — бесчеловечен. Для кулака деньги важнее естественных движений человеческого сердца. Наоборот, образ бедняка, голодного, раздетого, всегда согрет у Некрасова теплым, лирическим изображением глубокой человечности его переживаний. Некрасовский бедняк не теряет присутствия духа в беде, бодрости в нужде. Ничем не прикрашенная картина его положения пронизана у Некрасова ласковой, ободряющей иронией. Бедняк, несмотря на все свои бедствия, сочувствует страданиям других. Он дружно живет в семье, он жалеет других обездоленных, жалеет даже скотину.

Во времена Некрасова Россия делала первые шаги на путях капиталистического развития. К его времени относится начало процесса возникновения рабочего класса. Кадры первых русских пролетариев вербовались из рядов разорявшегося крестьянства. Некрасов, чутко улавливавший все процессы, совершавшиеся в глубине народной жизни, изобразил первые шаги рождающегося русского пролетариата. Голод гнал крестьянина из деревни на железную дорогу, на фабрику, в ночлежку безработного. С какой потрясающей силой нарисовал Некрасов этот процесс отрыва от деревни и формирования первых отрядов русского рабочего класса в «Железной дороге»:

В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели стоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
Сколько их!..

Некрасов видел, как вокруг русских городов вырастают фабрики и заводы. Он первый русский поэт, принесший в поэзию изображение фабричного предместья:

Свечерело. В предместиях дальних,
Где, как черные змеи, летят
Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят
Красных фабрик громадные стены,
Окаймляя столицу кругом, —
Начинаются мрачные сцены.

Первые шаги промышленного капитализма везде и всюду ознаменованы беспощадной, зверской эксплуатацией детского труда. Некрасов не обошел и этой темы:

В золотую пору малолетства
Все живое — счастливо живет...
Только нам гулять не довелось
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим! —
... Впадая в иступленье,
Начинаем громко мы кричать:
— Погоди, ужасное круженье!
Дай нам память слабую собрать!
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит! —

Со своей способностью проникнуть в самую глубину народной психологии Некрасов пишет «Думу» безработного, в которой выражены недоумение и тоска сильного, здорового человека, способного на любую работу, но остающегося без дела:

Уж как нет беды кручиннее
Без работы парню маяться,
А пойдешь куда к хозяевам —
Ни один-то не нуждается!..
... Эй, возьми меня в работники,
Поработать руки чешутся!

Органическая связь поэзии Некрасова с жизнью трудящихся масс, ее народные, глубинные корни делали прочной и последовательной революционность его поэзии.

Некрасов начал писать в 40-х годах, когда подготовлялся общественный революционный подъем 60-х годов. Процессы классовой дифференциации носили еще тогда, в 40-х годах, зачаточный характер. В дружеской обстановке встре-

чались люди, оказавшиеся в дальнейшем нередко во враждебных политических лагерях. Классовый, политический раскол 60-х годов остро сказался в «Современнике», журнале, руководившемся Некрасовым. В «Современнике» сотрудничали Тургенев, Толстой, с которыми Некрасов был связан узами личной дружбы и которые тянули в сторону либерально-правительственного реформаторства; в нем сотрудничали Чернышевский и Добролюбов, исходившие во всей своей деятельности из необходимости революционного свержения самодержавия. Чернышевский и Добролюбов были для Некрасова людьми новыми. Тем не менее Некрасов — ученик Белинского — в столкновениях внутри «Современника» стал на сторону Чернышевского и Добролюбова. Ряд сотрудников «Современника» во главе с Тургеневым, бывшим тогда самым знаменитым писателем в России, заявил, что, если Некрасов не порвет с Чернышевским и Добролюбовым, они уйдут из журнала. Однако Некрасов был тверд в своих революционных позициях. Всеми силами защищал Некрасов Чернышевского:

«О том, что в ваших письмах, — писал он Л. Н. Толстому 22 июля 1856 г., — хотел бы поговорить на досуге. Но ни с чем я не согласен. Особенно мне досадно, что вы браните Чернышевского... Вам теперь хорошо в деревне, и вы не понимаете, зачем злиться, вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть только в здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, — т. е. больше будем любить — любить, не себя, а свою родину».

Любовь к родине соединялась у Некрасова с революционной ненавистью к существующему порядку вещей. Так же, как и Чернышевский, Некрасов встретил крестьянскую реформу 19 февраля 1861 года с негодованием, со злобой:

«В тот день, когда было обнародовано решение дела, — вспоминал Чернышевский, — я вхожу утром в спальную Некрасова... Он лежит на подушках головой... В правой руке — тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали, глаза потуплены в грудь... При моем входе он встрепнулся, поднялся с постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил:

— Так вот что такое эта «воля!» Вот что такое она!».

В обстановке, когда революционеры представляли ничтожное меньшинство, окруженное стеной враждебности или апатии, в поэзии и биографии Некрасова неизбежны были колебания, проявления слабости из-за боязни правительственных репрессий. Враги Некрасова злобно и несправедливо раздували немногочисленные факты политических колебаний Некрасова. Они хотели дискредитировать поэта, подорвать его авторитет. Меж тем, беспристрастно изучая биографию Некрасова, необходимо признать, что колебания эти случайны, что его общественную сущность в основном определяет революционная последовательность. Редактируемые им журналы — «Современник», а затем «Отечественные записки» — он, несмотря на реакцию и репрессии, вел в революционном духе. В самый разгар разгрома движения 60-х годов он напечатал в «Современнике» роман Чернышевского «Что делать», в котором открыто пропагандировались социалистические идеи и в котором звучал призыв к революции.

Не изменял Некрасов и характера своей поэзии. Революционные ноты в ней не только не ослабевали, но, наоборот, усиливались. Его поэма «Кому на Руси жить хорошо» призывала к революционному восстанию, так же, как и «Что делать» Чернышевского. В то время как большинство радикальничавших литераторов 60-х годов резко повернуло вправо, в то время как народники во имя своей реакционной утопии готовы были вовсе отказаться от политической борьбы, Некрасов никогда не

отходил от позиций политической борьбы с самодержавием.

Источником революционности Некрасова был не интеллигентский радикализм, подверженный самым причудливым зигзагам, а крестьянские интересы, крестьянский протест. Это и делало революционность Некрасова относительно самой прочной, максимально последовательной для литературных кругов его времени. Ленин в своих высказываниях о Некрасове подчеркивал, что «все симпатии его (Некрасова. — *Ред.*) были на стороне Чернышевского», а Чернышевский был главой революционной партии в России середины XIX века. Указание Ленина означает, что все симпатии Некрасова были на стороне крестьянской революции. Некрасов вместе с другим великим русским писателем, Салтыковым-Щедринным, беспощадно разоблачал крепостническое нутро либералов, стремившихся красивыми фразами отвлечь народ от революции:

«Еще Некрасов и Салтыков, — писал Ленин, — учили русское общество различать под приглаженной и напояженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов...».

В то время, когда вся казенная историография вопила о мнимых изменениях и предательствах Некрасова, Ленин подчеркивал единство позиций Некрасова и Чернышевского и полную противоположность их позициям либералов.

Невеселое время переживала Россия в те годы. Краткий революционный подъем 60-х годов сменился все нарастающей реакцией. В обществе царили скука, уныние, апатия, бездушие. Трудно было писать в такой обстановке, мучительно было издавать журналы под гнетом цензуры и общественной апатии, горько было от сознания, что улучшение положения народных масс не продвинулось вперед, но Некрасов не терял бодрости. Уж он ли не пел горе народное! Уж он ли не представлял себе его размеры:

... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,

Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?

Уж Некрасов ли не издевался над банкротством своего поколения, в котором большинство принадлежало к праздно болтающим либералам:

Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

Тем не менее Некрасов верил в освобождение русского народа, верил, что народ устроит свою жизнь на справедливых началах, в довольстве и радости:

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!

Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Как бы ни надрывалось сердце поэта от муки, в нем никогда не заглушался голос бодрости и оптимизма.

В трудное время, задолго до победы революции в нашей стране, Некрасов до конца связал свою поэзию с идеалами народа. Это спасло его от уныния и безверия, народ заменил ему изменившихся друзей, народ не дал ему согнуться, в нем он нашел источник веры в будущее, несмотря на неприглядность окружающей действительности.

Социально-политические позиции Некрасова определяли и его эстетические воззрения.

Некрасов сравнивал свою музу не с прекрасными греческими богинями, а с русской крестьянкой:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «гляди!»
Сестра твоя родная!»

Некрасов смотрел на поэзию, на литературу как на средство политического воспитания и просвещения народа. Назначение писателя было в его глазах назначением учителя и заступника народных масс:

«Я люблю еще в вас великую надежду русской литературы, — писал он Толстому 3 сентября 1856 г., — для которой вы уже много сделали и для которой еще более сделаете, когда поймете, что в вашем отечестве роль писателя — есть прежде всего роль учителя, и по возможности заступника за безгласных и приниженных».

Это было представление о литературе и роли писателя, выработанное Белинским в последний период его деятельности и развитое Чернышевским и Добролюбовым.

Искусство популяризирует и широко распространяет правильные политические и социальные взгляды. Искусство должно служить революции и политическому просвещению народа, должно служить средством разоблачения самодержавия. Совершенно таких же взглядов придерживался на искусство и Некрасов. Эстетический манифест Некрасова выражен им в стихотворении «Поэт и гражданин»:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойной
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимущий хлеба
Не стоит вещей струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! служи искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Все-обнимающей Любви;
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоём труде заблещут сами
Их животорные лучи.

Поэтические формулировки Некрасова по настроению и по своему прямому смыслу совершенно созвучны теоретическим требованиям Чернышевского и Добролюбова. Не даром Чернышевский, заменявший отсутствовавшего Некрасова

в качестве редактора «Современника», поспешил перепечатать в журнале стихотворение «Поэт и гражданин» (опубликованное ранее в сборнике стихотворений поэта), что вызвало возмущение у цензора.

Эстетическая теория и литературная практика передового лагеря 60-х годов были едины. Даже идеал красоты в литературном движении того времени являл собой поразительное единство теории и практики. То, что Чернышевский — руководитель движения 60-х годов — провозглашал в качестве теоретического закона, Некрасов, силой гениального художника, воплощал в образную ткань искусства. Разрушаемой дворянско-либеральной эстетике Чернышевский противопоставлял эстетику материалистическую и крестьянскую, народную.

Например, идеалу изнеженной барственной красоты он противопоставил идеал крестьянской красавицы.

«... У поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям... Светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли»... В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе» — писал Чернышевский.

Разве не этот идеал народной русской крестьянской красавицы воплощен в образе Дарьи из поэмы «Мороз, красный нос»:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
«Посмотрит — рублем подарит!..»

По будням не любит безделья.
Зато вам ее не узнать,
Как стонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.
Такого сердечного смеха
И песни, и пляски такой
За деньги не купишь. — «Утеха!»
Твердят мужики меж собой.
В игре ее коннгий не словит,
В беде — не сробеет, — спасет.
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Теоретические воззрения Чернышевского потому находили живой отклик в творчестве Некрасова, что они были органически связаны с народными массами, с революционизирующимся крестьянством, с его чаяниями, с его идеалами и устремлениями.

Некрасов имел много врагов. В политике, в литературе, в искусстве господствовали дворяне. Народившаяся русская буржуазия пресмыкалась перед самодержавием. Естественно, что представители господствующих классов ненавидели Некрасова и его поэзию — за революционность, за демократизм, за народно-крестьянский характер эстетического идеала. Господствовавшие классы старались всеми способами дискредитировать Некрасова.

Враги Некрасова клеветали на его поэтическую и журналистскую деятельность. Они пытались очернить его, распространяя слухи о его будто бы нечестности, корыстолюбии. На деле же Некрасов оздоровил русскую журналистику, оздоровил ее быт и нравы. Он выдвигал молодые дарования и сразу ставил их в максимально хорошие материальные условия, насколько это только было возможно для частного журнала. Некрасов платил больше всех, платил вперед, сам повышал гонорары, не дожидаясь просьб. Некрасов сделал опыт издания книжек для народа (так называемые «Красные книжки»), отказавшись не только от обычной коммерческой прибыли, но и от гонорара за свои произведения.

Когда закрыли «Современник», Некрасов, сам испытывавший в связи с закрытием журнала материальные затруднения, прежде всего позаботился о тех своих товарищах, которые с закрытием журнала оставались без заработка, — Некрасов выплатил им значительные суммы из своих личных средств.

Некрасов показал, как нужно заботиться о принципиальной выдержанности литературно-политического печатного органа. Когда в 1862 году был приостановлен выпуск «Современника», Некрасов взял обратно свое согласие печататься в журнале Достоевского «Время». Он боялся, что факт появления его стихов в момент закрытия «Современника» в другом журнале будет истолкован как отступничество, как предательство делу Чернышевского. В 1867 году Некрасов отказывается от статьи о «Дыме» Тургенева, предложенной для «Современника» Писаревым, потому что писаревская оценка творчества Тургенева расходилась с оценкой «Современника». А Некрасов ценит критическое дарование Писарева и был заинтересован в его участии в «Отечественных записках».

Вражда к Некрасову была классовой враждой. Некрасов пел ненависть к врагам народа, он призывал к борьбе за народное освобождение. Всеми силами старался он приблизить победу над самодержавием. За это ненавидели его враги, за это клеветали на него.

Советская власть впервые дала народу подлинного Некрасова.

Творчество Некрасова десятилетиями подвергалось искажениям царской цензуры. Цензура выбрасывала из стихотворений Некрасова огненные, революционные слова.

В отрывке из «Пьяной ночи», в стихах:

Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди — стоят три дольщика:
Бог, царь и господин —

последняя строка не могла быть напечатана в царское время. Теперь известен полный и подлинный текст Некрасова, в котором вражда к самодержавию звучит открыто.

Даже в изображении русского пейзажа Некрасов, под насильственным воздействием чужой, враждебной руки, вынужден был смягчать краски. В стихотворении «Перед дождем», в четверостишии:

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И «пошел!», привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит —

слово «жандарм» было заменено словом «денщик», что искажало смысл, смазывало политическую направленность стихотворения.

Читатель не мог знать, что слова: «славься, народу давший свободу», обращенные к Александру II, Некрасов вставил в поэму «Кому на Руси жить хорошо» со скрежетом зубовым, против воли, подчиняясь насилью. В советских изданиях эти чужие, не некрасовские слова выброшены из текста. Революционный смысл поэмы Некрасова звучит теперь не затемненно, ярко, без всяких двусмысленностей.

Советская власть очистила текст Некрасова от искажений царской цензуры. Советская власть восстановила огненные строки, в которых Некрасов обращался прямо и открыто к своему народу и родине, против самодержавия и помещиков. Только при советской власти оценка творчества Некрасова освободилась наконец от влияния дворянско-либеральной клеветы.

Мы чествуем память Некрасова как великого революционного поэта-гражданина, как поэта — соратника Белинского, Чернышевского и Добролюбова, как великого сына русского народа, поэта — патриота своей родины, творчество которого связано с освободительным-революционным движением в России.

БАЙРОН

(К 150-летию со дня рождения)

Ив. Анисимов

«Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции».

Пушкин.

Байрон не писал и пятнадцати лет. Но написал он колоссально много потому, что был «настоящим титаном», «бурной и вулканической натурой», как хорошо сказал о нем Писарев. Гете называл Байрона «рожденным себе на муку талантом». Едва начав свою сознательную жизнь, Байрон оказался в резком противоречии с буржуазно-дворянской Англией, а затем и со всей европейской реакцией времен «Священного Союза», времен меттерниховщины. Он был английский аристократ и лорд, но это не помешало ему сделаться отщепенцем и изгнанником, подобно Стендалю и Гейне. С замечательным мужеством Байрон выступил против преступлений дворянско-буржуазной Европы, он поднял свой голос в защиту угнетенных народов, стал смелым разоблачителем дворянско-буржуазного общества.

Байрон занял свое место в палате лордов только для того, чтобы произнести там свою знаменитую речь в защиту ноттингемских ткачей, разрушавших машины, которые лишали их хлеба и крова. «Мне пришлось, — сказал тогда лорд Байрон, — проехать через весь театр военных действий на Пиренейском полуострове, я побывал в наиболее угнетенных провинциях Турции, и нигде при самом деспотичном из всех нехристианских правительств я не видел столь ужасающей нужды, какую мне пришлось наблюдать по возвращении в самом центре христианской страны». Эта речь Байрона является как бы прологом его поэтического творчества. Очень скоро Байрон приходит в столкновение с буржуазно-дворянской Англией и уже в 1816 году

покидает свою родину. Хотя лорд Байрон сел на корабль в Дувре довольно, но это было самое настоящее изгнание.

Восемнадцатое столетие — духовная родина Байрона. В его произведениях постоянно встречаемся мы с вдохновенной апологией «разума», понимаемого так же, как понимали его «просветители». Но если духовные учителя Байрона не видели того, что «это царство разума было всего лишь идеализированным царством буржуазии» (Энгельс), если они в большинстве своем не понимали всей ограниченности подготавливаемой ими буржуазной революции, то Байрон выступает как-раз тогда, когда впервые становилась очевидной и наглядной эта ограниченность. Можно сказать, что Байрон весь вырастает из отвращения к тому общественному порядку, который установился после буржуазной революции. Как действительно великий художник он не мог не отразить «разочарования в революции», которое переживали народы Европы, увидевшие, что буржуазная революция обманула их стремления и надежды и закрепила социальное неравенство в новой форме.

Произведением, которое впервые прославило Байрона, которое заставило внять его голосу, был «Чайльд Гарольд». Автор не случайно называет своего героя «фиктивной личностью». Не создание характера было здесь задачей, поэт стремился лишь к тому, чтобы возможно полнее и шире высказать свои суждения о наполеоновской Европе. «Будем мыслить смело. Отречение от прав мысли позорно для ума». «Вскипать негодованьем» — вот



Джордж Байрон

С картины английского художника Чеппея.

стремился сделать характеры, вроде Конрада, возможно более жизненными, «взятыми из действительности».

Эти намерения Байрона оказались несуществимыми. Его Лары и Конрады,

его героические разбойники остаются крайне абстрактными фигурами, весьма далекими от действительности, они не способны стать реальным, убедительным, действенным противопоставлением

буржуазно-дворянскому обществу, т. е. тем, чем должен был бы стать подлинный положительный герой Байрона. Лары и Конрады, выступавшие в окружении роскошных экзотических декораций, действовали в безвоздушном пространстве. Как и сам Байрон, они оказывались трагическими одиночками, резко выраженными индивидуалистами, не знавшими, как претворить свое негодование в настоящее и эффективное действие.

Восточные поэмы Байрона гуманистичны, в них выражена с огромной силой жажда человеческого достоинства, жажда «подлинности». В героинях этих поэм — Медора, Зюлейка, Паразина — Байрон дает чудесную гамму прекрасных и чистых чувств. Это тоже гуманизм, но гуманизм абстрактный, то, что Пушкин назвал «высотой парения». Безвыходность, обреченность обычно характерны для патетических бунтарей, выступающих в восточных поэмах Байрона. В восточных поэмах уже раскрывается важнейшее противоречие Байрона: этот гневный разоблачитель не видит вокруг себя живых сил, он чудовищно одинок. «Для нас одно убежище — мышление».

«Проклятая страна» мстит Байрону, как может. Его произведения расходятся в больших тиражах, и обедневший лорд поправляет свои пошатнувшиеся дела литературными гонорарами. Но его дожимает продажная критика, его форменным образом травят за «аморальность», поднимают целую тучу грязных сплетен вокруг его неудачной женитьбы. Байрон покидает Англию, как изгнанник.

Полгода он живет в Швейцарии, здесь начинается его дружба с Шелли. В Швейцарии написан «Шильонский узник», одно из самых поразительных произведений Байрона, третья песнь «Чайльд Гарольда», а также «Тьма». В последнем стихотворении выражено все разочарование Байрона. В этой мрачной фантазии, в предвидении космической катастрофы, которая уничтожит человечество, Байрон дал необычайно глубокое и мощное выражение столь свойственного ему пессимизма.

Нетрудно различить элементы пессимизма, чувства безнадежности в произведениях, написанных ранее «Тьмы», но в «Тьме» дана какая-то необычайная концентрация этого пессимизма. Ни в Швейцарии, ни в своих дальнейших скитаниях по Европе Байрон не становится примирившимся, он не перестает «вскипать негодованием», но «дух его одет в черный цвет» (слова Шелли).

В Швейцарии Байрон начинает писать «Манфреда». В этой поэме Байрон попытался во весь рост показать фигуру бунтаря и отщепенца. Великое мужество Манфреда, воля, титаническая сила чувств его, смелость мысли, всегда превозносимая Байроном, замечательно показаны в звучных и суровых стихах трагедии, являющейся скорее одним великолепным монологом Манфреда. Но до чего неясны стремления этой титанической личности! Как ощутимо несоответствие между намечающейся действительностью этого характера и тем, что он обречен на полное бездействие. Байрон вводит нас в мир чистейших абстракций. И затянувшийся бурный монолог Манфреда превращается в какой-то кропотливый самсанализ, — титанический герой погружен в самосозерцание.

В ноябре 1816 года Байрон приезжает в Венецию. В Венеции, Равенне, Пизе, Генуе протекают семь самых плодотворных лет жизни Байрона. В этот итальянский период созданы замечательные произведения; Байрон приходит в соприкосновение с национально-освободительным движением в Италии, что явилось важнейшим событием его жизни. В Венеции был окончен «Манфред» и написана последняя песнь «Чайльд Гарольда». Она резко отличается от третьей (швейцарской) песни, где господствовала «природа-мать», где величавая естественность природы противопоставлялась, совсем в духе Руссо, уродливости и испорченности «цивилизации». От этой пантеистической грезы (Стендаль говорил, что Байрон — это «Руссо англичанин») мы переходим в область реального:

В ничтожество тупое погружаясь,
Бредет весь мир в глубоком разложении...

Словами, полными негодования, клеймит Байрон современное ему варварство. Зброшенные и оскверненные могилы трех великих поэтов Италии — Данте, Петрарки, Боккаччио — напоминают ему о том, как беспощадно расправляется это варварство с теми, кого мы называем теперь — «мастера культуры». С горечью говорит поэт о поруганной памяти Боккаччио: «Самый гроб его запрятали, озлясь, ханжи, гиены...». Вся песнь обращена к тому, что нашел Байрон в Италии, она представляет патетическое сопоставление большого прошлого этой страны с тем упадком, который видел вокруг себя поэт, она переполнена страстными призывами разрушить «козни тирании» и «мстить немумолимо», — пусть «царьки задрожат в своих столицах!» Таким образом, заключительная часть «Чайльд Гарольда» выливается в гимн свободе:

«Свобода! Реет твое растерзанное знамя, подобно грозе, несется оно против ветра. Трубный звук твой, хотя бы он и замер на время, все же сильнее бури».

Этот гимн свободе подхватывается и в «Оде к Венеции», написанной почти одновременно. Поэт приветствует народ, который хочет «скорее в прах разбить свою тюрьму», утолить «жажду вековую», напиться «из источника свободы». Он предвидит недалекий день, когда под стягом свободы «поколенья встанут молодые» и счастливые «города засияют красотой».

В финале «Чайльд Гарольда» совсем не чувствуется присутствия героя поэмы, превратившейся в монолог самого Байрона, — «фиктивная личность» забыта. С невиданной откровенностью, мужественно заявляет поэт о том, что звонкое слово его отныне будет словом возмездия угнетателям, что отныне он всегда будет носить «меч в сердце» своем. Он обращается к Немезиде — богине возмездия:

За грех отцов иль мною совершонный
Когда б удар нанес мне правый меч, —
Я б перенес рубец окровавленный,
И кровь могла б неудержимо течь.

Теперь же я хочу ее сберечь
И посвятить тебе, — и ты возьмешься
В отмщение возмездие облечь.
Пусть я молчал, — ты, верно, отзовешься!
Пусть даже я усну, ты за меня проснешься!

И если мой раздался голос, — в нем
Нет жалобы на бремя испытанья.
Видал ли кто, чтоб я поник челом
И чтоб мой ум ослабило терзанье?
Мои слова — залог воспоминанья;
Их ветер не развеет никакой,
Хоть я умру; придет пора сознанья,
И грянет стих глубоко вещей мой
На головы людей проклятия горой!

Два года спустя, приветствуя революцию в Испании, Шелли берет эпиграфом для своей «Оды к свободе» два «вещих стиха» Байрона, два стиха о знамени восстания.

Байрон знакомится с деятельностью итальянских патриотов-писателей. Он завязывает тесные отношения с подпольными кружками карбонариев и становится, таким образом, участником национально-освободительного движения. Его дом в Равенне служит складом оружия и местом для тайных встреч карбонариев. Шпионы Меттерниха проявляют исключительную энергию в наблюдении за Байроном. Итальянский перевод четвертой песни «Чайльд Гарольда» конфискован. «Пророчество Данте» преследуется, как революционная прокламация. Лорд Кестлери, английский министр, «считает необходимым» специально предупредить Меттерниха, чтобы он «не выпускал из вида поведение и переписку лорда Байрона, ибо получены новые известия о заговоре карбонариев, подготовляющемся в окрестностях Милана».

Байрон проявляет исключительную активность. Его суждения о подготовке восстания против угнетателей итальянского народа отличаются большой практичностью и обдуманностью.

«Если человек не может бороться за свободу своей родной страны, пусть добывает он вольность иному народу; пусть становится на защиту свободы, где только может». В этих строчках хорошо передано умонастроение Байрона. В «Пророчестве Данте» Байрон с поразительной силой изображает трагическую историю страны, угнетавшей-

ся из века в век. Эти мрачные видения истории он вызывает в памяти для того, чтобы призвать «сынов Италии» к борьбе с угнетателями.

«Пророчество Данте» и в наши дни сохраняет свою актуальность. Огненные терцины Байрона кажутся обращенными против фашистской диктатуры Муссолини:

... Свой престол
На Палатине, осененном славой, —
Воздвигла Смерть. Рим кровью изошел
У ног ее, и в воздухе отравой
Кровь жертв людских дымится —

разлита,
И желтый Тибр течет волной кровавой.

Этот период был подлинным расцветом Байрона. Он отмечен созданием лучших образцов его политической поэзии. Это самый жизнерадостный период жизни Байрона, годы поисков полновесного и мужественного реализма. В эти годы написаны венецианская повесть «Беппо» и первые песни «Дон-Жуана».

В эти годы найденного равновесия Байрон очень оптимистичен. «Беппо» имеет новую и неожиданную интонацию. В этой шутке много света и чудесной иронии. Она празднична и жизнерадостна, как тот венецианский карнавал, на фоне которого протекает забавная история Лауры, ее мужа и ее верного чичисбея. Вместе с тем «Беппо» — это кусок настоящей жизни: описание быта, характеры — все это очень реально. Байрон считал, что его новая «поэма полна резкости и политики», — к этой справедливой оценке надо прибавить, что «Беппо» — поэма реалистическая и мажорная. В этом особое ее значение. Она открывает новый период в творчестве Байрона. Вот почему нет ничего странного, что Байрон называет величайшее свое произведение, своего «Дон-Жуана» — «вещицею в стиле «Беппо».

«Эпической поэмой», поэмой «новых характеров» называет Байрон «Дон-Жуана». Неоднократно на протяжении этого грандиозного романа в стихах Байрон говорит о намерении дать широкое и всеобъемлющее изображение эпохи.

Байрон пронизывает свой эпос лирическими и публицистическими отступлениями, используя их для того, чтобы придать повествованию крайнюю остроту, сделать «Дон-Жуана» политическим романом в полном смысле этого слова. Сатирический прием широко используется в романе, представляющем необычайно глубокое и беспощадное разоблачение буржуазно-дворянской Европы.

В этом смысле «Дон-Жуан» — самое законченное произведение Байрона. Это — итог.

В первых частях романа развернут поразительный контраст между уродливой, серой и плоской действительностью «века, не способного на героизм», и той обетованной землей, где Дон-Жуан нашел свою единственную любовь, свою Гаиде. «Духом древней Эллады» овеяно все романтическое приключение Дон-Жуана на острове пиратов. Среди байроновских героинь Гаиде — самое полное выражение его гуманистического идеала больших, непосредственных и чистых чувств. В «одряхлевшем, полном мрака мире» Гаиде может быть только мечтой, и перед тем, как познать все уродство и всю фальшивость этого мира, Дон-Жуан должен встретить свою Гаиде; это позволит ему понять всю глубину падения «цивилизованного» общества. Байрон проводит своего героя через это удивительное романтическое приключение, чтобы стало понятным, сколь чудовищной показалась ему действительность, с которой он позже сталкивается.

Об «удивительном шекспировском разнообразии» этой поэмы говорил Пушкин.

Байрону никогда не удалось полностью преодолеть свою трагическую двойственность. Даже в описанный нами период он не освободился от тяжелых сомнений. Они проглядывают и в «Дон-Жуане» («увяло лето жизни для меня...»), о них мы узнаем из его дневников. В январе 1821 года он записывает в дневник: «Должна бы существовать всеобщая республика — и я думаю, что так и будет», а несколькими страница-

ми дальше рассуждает о том, что его настроение «мрачно и становится все мрачнее день ото дня» («это безнадежно... чувствую, как во мне растет лень и отвращение, более могущественные, чем безразличие»).

21 января, в канун дня, когда ему исполнилось 33 года, он делает запись: «Иду ложиться с тяжелым сердцем от мысли, что прожил так долго и с такими малыми результатами... но я жалею об этом не столько из-за того, что я делал, сколько из-за того, что я мог бы сделать».

Гейне писал в свое время о «байроновской разорванности» и давал ей свое объяснение: «Ах, любезный читатель! Если ты вздумаешь горевать об этой разорванности, пожалуй лучше, что самый мир разорван из конца в конец. Ведь сердце поэта — центр мира; как же не быть ему в настоящее время разорванным? Кто хвалится своим сердцем, что оно осталось у него цело, тот только доказывает, что у него прозаическое, оторванное от всего мира сердце. По моему же сердцу прошел большой мировой разрыв, и в этом я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокой милостью в сравнении с другими и сочла достойным поэтического мученичества...». Гейне прав в том, что причину противоречий, раздиравших Байрона, следует искать в обществе. Он дает проникновенную формулу умонастроения Байрона: «поэтическое мученичество», — в нее полностью укладывается в частности опубликованная в конце 1821 года мистерия «Каин».

Разгром революционного движения в Пьемонте, Венеции, Романье, катастрофа, постигшая его друзей-карбонариев в Равенне, произвели на Байрона тяжелое впечатление. Сам Байрон подчеркивает, что «Каин» есть какое-то повторение пройденного: «метафизический сюжет, что-то в стиле «Манфреда». Снова перед нами весьма титаническая и весьма абстрактная личность, «гордая в своем отчаянии». Каин бросает вызов богу, он не хочет «унизительного счастья», он проклинает «покорность». Безграничная вера в разум, являющаяся эхом восемнадцатого сто-

летия, наложившего свой отпечаток на все творчество Байрона, получает в образе Каина очень яркое выражение. Кроме всего, эта «мистерия» была направлена и против религиозного догматизма, что в частности встревожило Вальтер Скотта, которому «Каин» был посвящен.

На свое новое произведение Байрон возлагал большие надежды. Он склонен был рассматривать его, как стремительный шаг вперед, как нечто, бесконечно возвышающееся над более ранними его произведениями. В ответ на травлю критики, поносившей «еретическую» трагедию, Байрон писал: «Вы видите, что значит метать бисер перед свиньями. Покуда я писал преувеличенные бессмысленности, которые развращали вкус читателей, они аплодировали и вторили мне, словно эхо, а теперь, когда я дал за последние три-четыре года вещи, которым нельзя дать умереть, все стадо рычит и ворчит, и рвется назад в свое болото. В конце-концов я наказан поделом за то, что портил их, потому что ни одна душа на свете не сделала столько, сколько я в моих первых сочинениях, для того, чтобы распространить этот стиль, преувеличенный и фальшивый».

Это — ответственнейшая декларация, признание необходимости вступить на новый путь. Это — обещание стать реалистом. В новой, грандиозной перспективе многое из того, что было создано ранее, кажется Байрону «бессмысленным» и «фальшивым». Но если «Дон-Жуан» представляет великолепное осуществление новой программы, то о «Каине» сказать этого нельзя. Это произведение чисто «манфредовское» и потому, что оно поражающе абстрактно, и потому, что оно проникнуто мрачной безысходностью, неверием, сознанием обреченности.

После некоторого перерыва Байрон возвращается к «Дон-Жуану». Шестая песнь рассказывает о приключениях в гареме турецкого султана. Седьмая и восьмая рассказывают о турецком походе Суворова и взятии Измаила — волею судеб Дон-Жуан оказывается

участником этих событий. Еще Пушкин с иронией отмечал некоторые неточности в описании знаменитой битвы. Можно присоединить сюда и то, что Байрон не написал правильно ни одной русской фамилии. Эти детали не имеют значения. Байрон создал полную жизни, потрясающую реалистическую картину. Почти всегда критики говорят здесь о пацифизме Байрона, что является грубым искажением его замысла. Байрон с негодованием говорит о кровавых войнах, которые ведут угнетатели народа, но он бесконечно далек от сентиментального и слащавого пацифизма. Как героический подвиг воспевае он «войну за свободу», для него — «поле битвы за свободу священно». И он зовет народы вступить в бой с угнетателями. Он предвидит, что близок срок этой решительной схватки. Он предвидит полную победу народа.

Но все ж и короля, и королей
Храни, господь! Им в тягостные годы
Не сдобровать без помощи твоей!
Я думаю, что верх возьмут народы;
Брыкается и кляча, если ей
Невмоготу. Народ, ища свободы,
Устанет наконец, забит и сер,
Брать с Иова в терпении пример.

Начнет сперва роптать, потом —
браниться,
Потом — швырять камнями в господ
И, наконец, с оружием устремится,
Когда его отчаянье возьмет, —
И грозной бурей схватка разразится.
Не знаю, так ли будет и вперед,
Но только революцией одною
Земля одержит верх над Сатанюю.

В девятой песни мы видим Дон-Жуана при дворе Екатерины, — это превосходная сатира на царские самодержавие. Байрон здесь столь беспощаден и откровенен, что только революция сделала возможным появление этих полных яда страниц в русском переводе. Как и всегда, в «отступлениях» — переполюющих поэму до того, что развитие сюжета отступает часто на второй план, становится как бы несущественным, — Байрон широко раздвигает рамки своего повествования. В сатирических изображениях встает меттерниховская Европа, бичующий смех Байрона направлен против «шакалов» и «дву-

ногих пауков» европейской реакции. Байрон называет вещи своими именами, бьет прямо в лоб, беспощадно расправляется с «шакалами» всех мастей:

Веду войну покуда на словах
(А доведется — поведу на деле),
Противу тех, кто мысли топчет в прах.
А у тиранов только эти цели.

С болью говорит он о народах, при-
давленных пятой тирании:

Придется помянуть нам скоро в тризне
Ирландию, — пред нею чаша бед.
Голодный край сдержать не может стона;
Насытится ль он славой Веллингтона?

Сквозь все повествование проходит патетический, настойчиво повторяемый призыв к восстанию, к возмездию:

... О, народ, восстань!
(Скорей — народы) станьте дружно в ряд!

В написанных одновременно сатирах «Видение суда» и «Бронзовый век» (последняя представляет отповедь конгрессу заправил «Священного Союза», состоявшемуся в Вероне) Байрон идет таким же путем: уничтожающая сатира, которою он клеймит кровавые преступления меттерниховщины, сатира с поразительно точным направлением удара, постоянно переходит в патетический призыв к борьбе с тиранией английских Георгов и российских Александров. Так, в «Бронзовом веке» Байрон с великолепным воодушевлением говорит о борьбе испанского народа за независимость. Эти огненные строки, как, впрочем, многое у Байрона, читаются сейчас, как будто они имеют в виду сегодняшний день.

И в каждом сердце ожил снова Сид.

В десятой песни «Дон-Жуана» рассказывается о том, как герой романа ехал из Петербурга в Лондон. В быстро сменяющихся путевых картинах (описание Пруссии предвосхищает здесь гениальную сатиру Гейне — «Зимняя сказка») замечательно показано, что меттерниховская Европа — вся на один образец. Это одна гигантская тюрьма.

Надо сказать, что Дон-Жуан играет весьма своеобразную роль в романе. Он как бы свидетель. Он не на первом плане. Основные удары наносятся помимо него. Он заметно отстает от стремительного, бурного развития повествования. Дон-Жуан значительно меньше романа. Но при всей неполноте, неразвитости этого характера, он все же выступает, как отчетливое противопоставление миру «шакалов» и «двуногих пауков». Этот мир, где «политики, герои и дельцы» превратились в «продажных тварей», где законник стал «моральным трубочистом», вызывает отвращение в Дон-Жуане. Ведь «Жуан огнем поэзии об'ят», ведь он «душой был чужд всего дурного»; его всегда «вели чистейшие намерения». Жуан не забыл о человеческом достоинстве. Правда, он совершенно пассивен и очень еще далек от того момента, когда он придет на баррикады французской революции (так предполагал закончить свою поэму Байрон). Но уже одним фактом своего существования этот «мечтатель о красоте», этот романтический возлюбленный Гаиде, красавицы с острова счастья, представляет убедительный контраст тому миру, который разворачивается перед ним, подобно чудовищной панораме дантова ада.

В последнем фантастическом произведении Байрона, в поэме «Остров или Христиан и его товарищи» (1823) с особой силой дано сопоставление мира — тюрьмы и мира — красоты и свободы. Первый — описан с суровой реальностью: это — лязг кандалов, звериная жестокость, кровь, человеконенавистничество. Над этим грязным кошмаром возникает жемчужная греза о счастливой «земле тубонайской», об острове мира, любви, красоты.

Крепок и страшен мир-тюрьма, о счастье и свободе приходится только мечтать, это еще очень отдаленно и недостижимо. Этот вывод делает поэму о «Христиане и его товарищах» печальной и горькой. В последних произведениях Байрона все чаще встречаешься с таким настроением. Оно накладывает

отпечаток и на заключительные песни «Дон-Жуана».

Начиная с одиннадцатой песни мы видим Дон-Жуана в Лондоне, в этом «могущественном Вавилоне» европейской цивилизации. Нет ничего труднее, как найти «честного человека» в мире, где властвует Ротшильд («вместе с истинным либералом Лаффином¹ они стали подлинными лордами Европы»), в этом уродливом царстве «золотого мешка» («все поклоняются здесь сейфу, набитому слитками золота и пачками долларов»), в этом мире «подлости, лживых газет и сутяжничества».

Чтобы дать полную и реальную картину, Байрон вводит в свой роман (он называет его «Комедией страстей») огромное количество деталей, касающихся политической и хозяйственной жизни. Имена, факты, исторические события насыщают рассказ. «Дон-Жуан» разрастается в грандиозную эпопею капиталистического мира. Разоблачающее слово Байрона приобретает огромную убедительность. Однако, все реже проявляется здесь тот великолепный пафос борьбы, которым всегда было сильно слово Байрона. Начинает господствовать скептическая ирония.

Все реже чувствуется буря в словах Байрона. «Если бы этих господ повесить вместо уличных фонарей, то человечеству сразу стало бы светло» — говорится в одиннадцатой песни о Лаффилах и Ротшильдах, но таких мест немного в заключительных главах «Дон-Жуана». Зато здесь очень много тоски и какой-то горестной безнадежности. «Печальный мой рассказ еще печальней оттого, что он заставляет смеяться; честный герой борется здесь за правду; его единственная цель ниспровергнуть зло и бороться против неравенства — в награду за это он получает только славу безумца!». Искания его выглядят весьма печально. Такими настроениями все больше проникается «реальный эпос» Байрона.

Поэту кажется порой, что «вещий стих его» ни до кого не доходит. «Я

¹ Парижский банкир — «истинным либералом» именует его Байрон, конечно, с издевкой.

утомил своих прежних читателей и не нашел новых».

Это сознание трагического одиночества, горький пессимизм и неверие в возможность переделать мир — не новы в Байроне. Великому английскому поэту, связавшему свою судьбу с борьбой угнетенных народов Европы, смелому обличителю буржуазно-дворянской реакции, никогда не удалось преодолеть своей «разорванности». Всем великим сердцем своим он ненавидел мир Меттернихов и Ротшильдов, но он сомневался в том, что этот преступный общественный порядок может быть уничтожен и что справедливость восторжествует. Всем великим сердцем своим он сочувствовал борьбе народов Европы, был «целиком на стороне угнетенных», но он никогда не мог преодолеть своего недоверия к тому, что иронически называл «царством демократии». Он много сделал своим творчеством для того, чтобы помочь угнетенным, но он всегда несколько страшился демократии. Он чувствовал себя бесконечно одиноким и тщетно искал спасения в героическом индивидуализме:

В мае 1823 года Байрон (он жил тогда в Генуе) получил от греческих патриотов предложение помочь греческому народу в освободительной борьбе. Байрон согласился без колебаний, проявил исключительную энергию в организации своей «греческой экспедиции» и 13 июля отплыл на корабле «Геркулес», груженном амуницией и оружием для повстанцев. В Кефалонии, а позже в Миссолунги протекают последние месяцы жизни Байрона. Со всею страстностью отдается он борьбе.

Встревожен мертвых сон, — могу ли спать?
Тираны давят мир, — я ль уступлю?
Созрела жатва, — мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

(Из дневника в Кефалонии.)

Байрон занимается организацией вооруженных сил повстанческого движения, он сколачивает отряды, заботится

об артиллерии, ружьях, порохе и госпиталях... Он готовит штурм турецкой крепости Лепанто. Подобно писателям, сражающимся в наши дни в рядах славной интернациональной бригады в Испании, Байрон берет в руки оружие и, как боец, защищает свободу угнетенного народа.

Силы Байрона подтачивает тяжелая болезнь. Как бы предчувствуя близкий конец, Байрон пишет 22 января 1824 года мужественное и трагическое стихотворение: «Сегодня мне исполнилось тридцать шесть лет». Это — завещание великого поэта. Он знает, что скоро его «сердце перестанет биться», ему горько, но он счастлив, что ему суждено «навекі успокоиться в солдатской могиле».

19 апреля Байрон умирает от приступа лихорадки. Он умер, как победитель, ему были отданы воинские почести, он был оплакан «воскресающей Грецией». Его смерть потрясла все передовое человечество.

«Он со славою пал в крестовом походе за свободу и человечность» (Вальтер Скотт).

«Великое сердце перестало биться! Оно было великое, и оно было сердце, а не мелкая яичная скорлупка чувств. Да, этот человек был велик, он в муках открывал новые миры...» (Гейне).

Гете воплотил личность Байрона в солнечном образе Эвфориона во второй части «Фауста».

20 лет спустя Энгельс писал о том, что «Байрон и Шелли читаются почти только низшими сословиями» (Письма из Лондона), а в другом месте: «Шелли, гениальный пророк Шелли, и Байрон со своим чувственным пылом и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего читателей среди рабочих» («Положение рабочего класса в Англии»). Эти слова показывают значение творчества великого поэта и разъясняют великий исторический смысл его творчества. Оно принадлежит народу. Оно принадлежит передовому и прогрессивному человечеству.

УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ

(К открытию выставки «Индустрия социализма»)

Ал. Зотов и П. Сысоев

Отмечая в 1935 году на совещании кинорежиссеров, писателей, композиторов и художников успехи советской литературы, кинематографии и музыки, Максим Горький говорил: «Хотелось бы то же самое сказать о живописи, но пока приходится воздержаться. Она слишком фотографична. Она уступает другим видам искусства в деле выявления своих сил, талантов и т. д. Хотя уже есть интересные молодые художники. Они, конечно, являясь в большом количестве и с большой яркостью талантов».

После выступления Горького прошло около трех лет, и положение в изобразительном искусстве коренным образом изменилось. Доказательством этого является готовящаяся к открытию выставка «Индустрия социализма». Можно смело сказать о большой победе социалистического реализма в живописи.

Стиль социалистического реализма находит выражение лишь в произведениях тех художников, которые глубоко понимают все характерные процессы нашей действительности, мастерски владея вместе с тем средствами живописного языка.

Выставка «Индустрия социализма» является показателем большого роста культуры и мастерства наших художников, овладевающих драгоценным наследством, лучшими традициями русской живописи XVIII—XIX столетий.

История русского изобразительного искусства знает немало имен, прославивших гений русского народа, обогативших сокровищницу мировой культуры. Боровиковский, Левицкий, Кипренский, Брюллов, Венецианов, Александр Иванов, Федотов, Перов, Крамской, Репин, Суриков, Серов, Левитан — блистательное созвездие, завоевавшее русскую живопись мировую славу.

В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин высказал следующую мысль: «Мы чересчур большие «ниспровергатели в

живописи». Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже, если, оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»?».

Художники, усвоившие это ленинское положение и сделавшие практические выводы из него в осуществлении сталинского лозунга социалистического реализма, стали зачинателями великого искусства страны Советов.

Народность — характерная черта советского искусства. Наше общество ставит художника в положение «инженера человеческих душ». Советский художник отражает в своем творчестве то, о чем думает, чем живет и дышит, о чем мечтает наш народ, его чаяния и устремления. Творчество нашего художника понятно и близко народу. Деятельность его принимает широкий общественный размах.

Мировоззрение и творчество широких масс трудящихся, внутреннее моральное и политическое единство советского народа — неиссякаемый источник идей и образов для художника. Величественные образы Ленина и Сталина, руководителей партии и правительства, общественных деятелей, знатых людей нашего времени, жизнь рабочего класса, многомиллионного колхозного крестьянства, коммунистическая молодежь и замечательная детвора нашей страны, — вот кто занимает главное место в творчестве советских художников.

Горячая любовь к родине и своему народу, ненависть к миру эксплуататоров пронизывают содержание картин на выставке.

Товарищ Сталин на выпуске академиков Красной армии в Кремлевском дворце сказал: «Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющих в мире, самым ценным и самым

решающим капиталом являются люди, кадры». Это — закон и для наших художников.

Обращение мастеров искусства к показу человека — гражданина великого Советского Союза, к показу его жизни и деятельности, мужества и душевной красоты есть явление глубоко положительное, радостное. Ведь и великие художники прошлых эпох стремились запечатлеть в своих творениях образы героических людей. Микеланжело, Рубенс, Веласкез, Рембрандт, Репин, Суриков утверждали человеческую красоту, жизнь и деяния человека.

Нашему искусству органически чуждо раскрытие образа человека в формах безобразных и антиэстетических. Безобразное и антиэстетическое характерно для средневекового христианского искусства, для новейшего буржуазного, формалистического искусства, уравнившего человека с пивной кружкой, наконец, для варварского фашистского «искусства» мракобесов.

Какой контраст с искусством социализма! Полотна выставки «Индустрии социализма» пленяют зрителя жизнерадостностью мироощущения, оптимизмом, глубиной переживаний, искренностью и теплотой в изображении человеческих лиц и действий.

В картинах А. Герасимова — «Серго Орджоникидзе на совещании работников тяжелой промышленности в 1936 г.», Ефанова — «Незабываемая встреча», С. Герасимова — «Новые люди социалистической деревни», Пименова — «Выступление юной делегатки», Коротковой — «В обеденный перерыв», Антонова — «Свадьба в рабочей семье» и т. д. показан новый человек, свободолюбивый, энергичный, уверенный в своих силах, жизнерадостный.

В огромном групповом портрете А. Герасимова изображен на трибуне Бусыгин. В его лице художник создает образ передового рабочего Советской страны. Имеет ли образ Бусыгина что-либо общее с теми пролетариями, которых показали художники Менье, Курбе в своих «Каменщиках». Касаткин в «Смене» и в «Шахтере-тягольщике»? Трудно найти что-либо общее. Произ-

шло это потому, что А. Герасимов показал образ рабочего социалистической страны, а Менье, Курбе и Касаткин создали типы пролетариев времен капиталистической каторги. В докладе о проекте Конституции Союза ССР товарищ Сталин с величайшей ясностью раскрыл разницу между пролетариатом буржуазных стран и рабочим классом СССР. Бусыгин — тип нового рабочего, который утвердил социалистическую собственность, борется за ее приумножение, чувствует себя хозяином великого государства.

Изменилась жизнь, навсегда покончено с эксплуатацией человека человеком, изменился коренным образом и тип рабочего социалистической страны. Этот замечательный процесс, коренное преобразование жизни трудящихся отразил в своем творчестве художник А. Герасимов.

Бусыгин — на трибуне. Он смело выступает на совещании большого государственного значения. Широкий, уверенный жест протянутой вперед руки, сосредоточенное, одухотворенное лицо, физическая сила Бусыгина позволили художнику создать типический образ рабочего Советской страны.

Советская живопись знает типы пролетариев старого времени, которые ближе и роднее Бусыгину, чем те, что дали Менье и Курбе. Для иллюстрации можно привести изображение рабочего в картине Б. Йогансона «На старом уральском заводе», показанной на выставке. В картине представлен наиболее совершенный и типизированный образ русского рабочего далекого старого времени. Родство этого образа с тем, что создано А. Герасимовым, — в его жизненной стойкости и способности постоять за дело трудящихся, за дело народа.

Типизация, отображение решающих типических жизненных явлений составляют основу в реалистическом искусстве вообще, и особенно в социалистическом реализме. Выставка «Индустрия социализма» дает в этом отношении много интересного и поучительного.

Традиция типического хорошо знакома русскому искусству, что сильно об-

легчает развитие и рост наших художников.

Перов умел замечательно вскрывать характерные черты в жизни русского крестьянства эпохи реформ 60 — 70 гг.

Репин создал изумительные образцы типизации — «Бурлаки» (1870—1873), «Протоиерей» (1877) и, наконец, его

«Боярыня Морозова» (1887) и др. его картины.

Серов показал в своих замечательных портретах типические черты русских буржуа и аристократов.

В пейзажной живописи типические черты русского пейзажа давали Васильев, Саврасов, Левитан.



На старом уральском заводе.

Художник Б. Иогансон.

шедевр в области типизации «Крестный ход в Курской губернии» (1881—1883), в котором показаны все классы и социальные группы пореформенной русской деревни.

Суриков вскрывал характерные черты в жизни старой России и ее представителей — «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меньшиков в Березове» (1883),

«Новый мир», № 1

Характер типизации в советском искусстве коренным образом отличается от того, что было в старом русском искусстве. Наши художники творят в новых условиях, которые дают возможность более глубокого осмысливания общественных явлений.

Для примера возьмем новую картину Б. Иогансона «На старом уральском за-

воде». О содержании этой картины художник написал следующее: «Главная идея, которую я хочу выразить в своей картине, заключается в том, чтобы в реальных, конкретных образах показать ужасы капиталистической эксплуатации и людей, которые боролись с капиталистами еще в прошлом столетии... Главная фигура — фигура рабочего (на первом плане), который отчетливо сознает, что такое хозяин, борется с ним и призывает других рабочих бороться. Это образ рабочего — представителя класса, за которым все будущее».

Такое отношение к социальным явлениям и понимание основной идеи произведения было не под силу художнику прошлого.

Художник Иогансон, выражает идею столкновения двух классов чисто рембрандтовскими приемами, когда сущность драматического столкновения раскрывается психологическим путем. Такими художественными средствами Иогансон показал непримиримые противоречия буржуазии и пролетариата, превосходство рабочего над капиталистом.

В фигуре рабочего, хотя он изображен сидящим, чувствуется устойчивость и непреклонность. Энергичное лицо, с сверкающими глазами, повернутое в сторону капиталиста, дышит сокрушительной силой и ненавистью к хозяину завода. Одежда и тело рабочего замечательно вылеплены цветом. Красивое, волевое и осмысленное лицо дано в состоянии величайшего душевного напряжения. В результате — перед зрителем типический образ могучего, интеллектуально развитого пролетария, который никогда не мирится с капиталистическими порядками.

Фигура буржуа композиционно выглядит иначе. Капиталист держится не твердо. Ноги немного согнуты, правая рука ищет опоры в палке. Во всей фигуре нет настоящей устойчивости. Богатая одежда так же превосходно вылеплена цветом. Лицо и руки рыхлые, покрасневшиеся, одутловатые. На лице выражение злости к рабочему — «смутьяну». Художник в своей типической характеристике обеих персонажей отра-

зил исторические судьбы двух классов.

Значительным вкладом в советское искусство является серия картин Кукрыниксов — «Старые хозяева». Художники раскрывают следующие темы: «Молебен на закладке фабричного здания», «Катастрофа», «Бегство фабриканта». Кукрыниксы на трех примерах показывают историческую судьбу русской буржуазии, характер капиталистической эксплуатации и положение пролетариата. Вскрывая существенные стороны общественной жизни старой России, художники показывают ее характерных представителей: фабриканта, попа, полицейского, фабричную администрацию, наймитов буржуазии. Воображение подсказало художникам очень многое, а свойственная Кукрыниксам подчеркнутость образов помогла раскрыть идею произведения до предельной ясности.

По степени овладения мастерством и художественной зрелости картины Кукрыниксов также представляют большой интерес. Композиционная продуманность, цветовая лепка, гармоничность тона выгодно отличают эти картины на выставке.

Вернемся к произведениям, показывающим нового, советского человека и новые общественные отношения.

После картины А. Герасимова необходимо выделить выдающиеся картины на выставке художников В. Ефанова — «Незабываемая встреча», С. Герасимова — «Новые люди социалистической деревни» и Пименова — «Выступление юной делегатки». В них много общих мыслей и настроений. Исключительная жизнерадостность человека, полнота жизнеощущений, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, — все эти черты, свойственные людям страны победоносного социализма, отражаются почти в каждой картине художников, рисующей нашу действительность. Лишь разная степень мастерства и таланта художников снижают или поднимают до большой художественной силы и выразительности раскрасные эти качества и переживания свободного творца новой, радостной жизни.

Человек — это звучит гордо, говорят

своими творениями наши художники. Только настоящему, большому искусству доступно такое прославление человека.

В картине В. Ефанова показан момент встречи жен работников тяжелой промышленности с руководителями партии и правительства. Как неизмеримо далеко ушли они от тех забытых, бесправных, страдающих женщин, которых

ки с аналогичными сюжетами отметили это выдающееся явление.

В самой солнечной картине на выставке — «Новые люди социалистической деревни» С. Герасимова — показано торжество колхозного крестьянства, победа нового строя в деревне, колхозное изобилие. Картина С. Герасимова страдает недостатком в разработке типажа, но она ярко, празднично передает ра-



Новые люди социалистической деревни.

Художник С. Герасимов.

изображали передвижники! Образ трудящейся женщины в картинах Ефанова и других советских художников прекрасен прежде всего своей возвышенностью и жизненным оптимизмом. В такой женщине виден человек, утверждающий новый общественный строй и выступающий полновластным хозяином своей жизни.

В картине Ефанова отражена еще одна, характерная для нашей действительности, черта — единение народа с руководителями партии и правительства, то, чего нет и не может быть в мире капитализма. Все полотна выстав-

достный прием желанных гостей в колхозе.

На выставке показаны картины художников: Грабаря, Юона, Богаевского, Нестерова, Петрова-Водкина, Кончаловского, Ряжского, Соколова-Скаля, Шегалы, Моравова, Серова, Гапоненко, Малаева, Бубнова, Антонова, Коротковой, Лукомского, Одинцова, П. Котова, Адливанкина, Евстигнеева, Малаева, Финогенова, Модорова, Богородского, Яновской, Вязьменского, Налбандяна, М. Тоидзе, Кацмана, Алехина, В. Яковлева, Денисовского, Дейнека, Сварога, Савицкого и др.

Правда, картины перечисленных художников отличаются степенью художественной выразительности и впечатляемости. Все в конечном итоге определяется талантом, культурой, а также художественным методом и характером восприятия действительности.

Нашим художникам необходимо еще много и упорно работать над искусством показа типического, как одной из решающих проблем художественного стиля социалистического реализма сталинской эпохи. Художник должен научиться видеть за случайными и мало характерными второстепенными явлениями нашей действительности главное и существенное, что определяет наше движение вперед.

Советские художники обязаны бороться за значительные темы с большим философским обобщением, с серьезной политической тенденцией, изгоняя вместе с тем ту назойливую тенденциозность и схематичность, которая так свойственна бездарным людям, подвижимым в искусстве.

Недостатком ряда картин на выставке является изображение малоудачных персонажей. В картинах некоторых московских художников из года в год повторяются одни и те же нехарактерные для сюжета лица. Эти художники забывают опыт Репина и Сурикова, тщательно и настойчиво искавших яркий и характерный типаж, пристально и долго присматривавшихся к натуре.

*

Заслуживают внимания пейзажи, представленные на выставке полотнами художников Рождественского, Б. Яковлева, Богаевского, Соколова, Нисского, Сварога, Модорова, Журавлева и др.

В области реалистического пейзажа показ типического играет также основную роль. Работая над «Крестным ходом», И. Е. Репин осуществил его в двух вариантах. В первом случае действие происходило в старое крепостническое время, во втором — в пореформенную эпоху. Для каждого из вариантов художник воссоздал и различный

пейзаж — наиболее характерный для той и другой исторической эпохи.

Сталинские пятилетки меняют лицо земли и природы. Достаточно сравнить волжские пейзажи Левитана и новую, современную Волгу, соединенную каналом с Москвой, чтобы увидеть эту перемену в пейзаже. Это и о в о е в нашем пейзаже должен прежде всего показывать советский художник. По этому пути должно идти развитие пейзажной живописи в нашем изобразительном искусстве.

Вот что говорил об изменении облика наших городов и сел товарищ Сталин:

«Изменился облик наших крупных городов и промышленных центров. Неизбежным признаком крупных городов буржуазных стран являются трущобы, так называемые рабочие кварталы на окраинах города, представляющие груды темных, сырых, большей частью подвальных, полуразрушенных помещений, где обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи и проклятая судьбу. Революция в СССР привела к тому, что эти трущобы исчезли у нас. Они заменены вновь отстроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами, при чем во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше, чем центры города.

Еще больше изменился облик деревни. Старая деревня с ее церковью на самом видном месте, с ее лучшими домами урядника, попа, кулака на первом плане, с ее полуразваленными избами крестьян на заднем плане — начинает исчезать. На ее место выступает новая деревня с ее общественно-хозяйственными постройками, с ее клубами, радио, кино, школами, библиотеками и яслями, с ее тракторами, комбайнами, молотилками, автомобилями».

В трактовке пейзажа художник должен избегать сухого документализма, когда широкие типические черты заслоняются массой случайных и приходящих подробностей. Такого рода пейзажи нередко встречаются на выставке.

Особо выделяется индустриальный пейзаж художника Нисского «Спуск военного корабля», дающий цельный и мощный образ социалистической индустрии.

*

Величайшие произведения реалистической живописи представляют образцы глубокомысленного и в то же время яркого образного языка. Творчество Веласкеса и Рембрандта, картины великих художников Возрождения, произведе-

В произведениях Б. Иогансона, А. Герасимова, С. Герасимова, П. Соколова-Скала, Кукрыниксов и др. имеется явное стремление к органическому соединению рисунка и цвета, линии и пятна, пластического и живописного начала. Особенно это заметно в обоих фигурах в картине Б. Иогансона. Обратив-



Бегство фабриканта. — Из серии «Старые хозяева».

Художники Кукрыниксы.

дения реалистов XIX века Курбе, Репина и Сурикова — все это громадное художественное наследие прошлого дает блестящие примеры органического слияния идеи и образа, логического и чувственного в изобразительном искусстве. Выставка «Индустрия социализма» показывает, что наши передовые художники уже начинают давать зрелые живописные решения, что они стремятся к созданию идейного и полнокровного образного живописного языка, отличительного признака великой эпохи в изобразительном искусстве.

шись к лучшим источникам художественной традиции в прошлом и в первую очередь к творчеству Репина и Сурикова, Б. Иогансон блестяще применил свойственные великим реалистам приемы цветовой лепки. Цвет берется им в чрезвычайно разнообразных соединениях. На полотне возникают богатейшие цветовые пятна со множеством трудно определенных оттенков. Свет и тени оказываются цветными. Цветная лепка сообщает предметам повышенную красочную живость. Положенные один на другой, или один возле другого, раз-

личные по тону красочные мазки создают впечатление неуловимых цветовых переливов. Густые мазки, когда на поверхности краски остаются следы от щетины кисти, создают многообразное преломление света в местах напластования краски, отчего получается впечатление тончайшей красочной вибрации, даже в пределах одного мазка.

Трактовка фона в картине Иогансона менее удачна. Здесь не все доведено до такой живописной законченности, в какой дана главная фигура рабочего.

Большой коллективный портрет А. Герасимова демонстрирует более гармоничную по цвету живопись, чем его предыдущие полотна. Однако в ряде случаев ему не удается еще соединить широкую манеру письма, свойственную большому полотну, с тонкой живописной проработкой материала. В творчестве С. Герасимова имеются приемы цветовой лепки в своеобразном преломлении. Талантливый живописец лепит объемы чрезвычайно обобщенно, добиваясь особой полновесности и цельности форм. Цвет берется у него большими интенсивными пятнами. Однако этот путь кажется рискованным. Упрощенная трактовка объемов уводит художника к традициям сезаннизма и влечет за собой известную угловатость в обрисовке форм. Несмотря на тонкую прочувствованность каждого красочного пятна, рисующего не только окраску предмета, но и ощущение атмосферы и цвета, у зрителя остается впечатление живописной сырости и даже некоторой деформации образов. Там, где С. Герасимов тщательно прорабатывает натуру, в цвете, получаются чудесные куски живописи. Таков, например, пейзаж в картине «Новые люди социалистической деревни».

Молодые художники — Бубнов, Малаев, Гапоненко, Лукомский, Вязьменский, Антонов и др. широко используют приемы цветовой лепки. Однако последняя еще не достигает у них такой тонкой и сложной разработки.

Анализируя отдельные картины на выставке, можно убедиться, что некоторые наши художники придерживаются главным образом пластического начала в

живописи. Все устремления сводятся к тщательной моделировке объема. Цвет не играет у них существенной роли в живописи. Он только окрашивает тела, получая разбелку в свету и зачернение в тени. Такая живопись ведет свое начало от академической традиции в искусстве. Академической живописи, хотя и считающейся в истории ряд блестящих примеров, свойственны известная холодность и отвлеченность в трактовке образов. Несмотря на тщательную проработку пластики человеческого тела, последнее лишается здесь того полнокровия и высшей жизненности, какая свойственна изобразительному языку больших реалистов.

Картина В. Яковлева «Стахановцы золотопромышленности» представляет образец законченного академического мастерства, которого так не хватает некоторым нашим художникам. Мастер освоил данные пластической анатомии; он моделирует человеческое тело на основе серьезных научных знаний. Но он не лепит цветом и не использует всех богатейших возможностей, которые дает в живописи краска. Он поглощен исключительно рисунком. Вместо живого человеческого тела, в котором течет горячая кровь, у него дается обычно холодное, безжизненное тело. Достаточно взглянуть на обнаженную спину рабочего в его картине «Стахановцы золотопромышленности», чтобы убедиться в правоте такого утверждения.

Изобразительная манера Е. Кацмана характерна таким же подчеркиванием объема. Художник сосредотачивается на разделке внешней формы тела, лишеного у него крепости и внутренней теплоты. Несмотря на тщательную разработку форм, изображение человека принимает у него черты известной условности. За внешней оболочкой не чувствуется порой живой человеческой плоти.

В творчестве такого художника, как Дейнека, имеется своеобразный вариант объемно-пластического живописного языка. Но пластика дается им намеками и в таких общих массах, что человеческая фигура неизменно деформируется. Изображение человека отличается край-

ним схематизмом. За красочным пятном не чувствуется подлинной материи. Выставка «Индустрия социализма» демонстрирует новые шаги Дейнеки от своеобразного модерна в сторону реализма. Однако эти сдвиги еще недостаточно решительны.

Наряду с рисовальщиками-пластиками выставка позволяет обнаружить и художников другого склада, идущих от положений импрессионизма. Эти художники кладут в основу своего изобразительного языка красочное пятно, значение которого разрастается до того, что объем предметов начинает у них растворяться в цвете. Предметы создаются нагромождением пятен. Они представляют обычно как бы красочные тени вещей. Цветовая лепка является настолько преувеличенной, что объективная окраска предметов теряется; на первое место выступает свето-атмосферные ощущения цвета.

Характерным примером такой живописи является «Обеденный перерыв» Коротковой. В этом полотне чувство материальности и объемности людей не показано с надлежащей силой.

Еще совсем недавно живописное пятно господствовало на картинах целого ряда наших художников в ущерб пластике. Выставка «Индустрия социализма» свидетельствует о глубоких изменениях в системе изобразительного языка нашего искусства. Схематизм и дряблость пластической формы заметно исчезает. Художники начинают отходить от традиции новейшего буржуазного искусства и обращаться к приемам великих реалистов прошлого.

Приемы цветовой лепки в духе реализма подводят наших художников к широким тональным решениям, когда краски приводятся в определенную гармонию, играющую большую роль в раскрытии содержания картины.

На первое место в этом смысле выдвигается картина С. Герасимова «Новые люди социалистической деревни». Все основные тона, которые можно найти на палитре, даны художником в полной силе. Краски как бы смеются на полотне, создавая многоголосый и радост-

ный перезвон. Картина колхозного праздника — торжества социализма в деревне — приобретает черты глубокой жизнерадостности и оптимизма.

Картина А. Герасимова «Серго Орджоникидзе на совещании работников тяжелой промышленности в 1936 году» создает яркую и благородную гармонию розово-красного, белого и коричневого, звучащую торжественно и сильно. Краски имеют здесь относительно большую эмоциональную содержательную роль, чем в «Первой Конной» этого же художника.

Произведение Б. Иогансона — «На старом уральском заводе» характерно своей подчёркнуто мрачной гаммой, соответствующей содержанию картины, рисующей сцену капиталистической торговли старого времени. Свет вспыхивает ярче всего на фигуре рабочего, как бы рассеивающего безотрадную угрюмость окружающего.

Как образец спорного решения содержательного истолкования цвета можно привести большое полотно Серова «Приезд В. И. Ленина в Петроград в 1917 г.». В этом произведении толпа, обступающая броневик, обрисована более горячими и насыщенными красками, чем фигура вождя, данная в холодных, голубоватых тонах. Такая цветовая трактовка снижает эмоциональную силу воздействия хорошей в основном картины Серова.

В произведениях Иогансона, А. Герасимова, С. Герасимова, Пименова, Кукрыниксов, П. Соколова-Скаля, Адливанкина, Евстигнеева, Бубнова, Ефанова, Малаева, Гапоненко, Вязменского и др. отчетливо видны намерения содержательного истолкования цвета, общающего произведению силу эмоционального выражения. Однако целый ряд наших художников не использует все возможности цвета в живописи. Одни из них без нужды расцвечивают свои полотна, другие, наоборот, пользуются глухими, не возбуждающими ярких эмоций тонами. Здесь сказываются прежде всего влияния старых формалистических и натуралистических течений, а также недостаточная живописная зрелость отдельных художников.

Обращаясь к приемам композиционного построения в творчестве наших художников, следует вспомнить принципы построения картин реалистической живописи в прошлом. В основу композиции у Репина и Сурикова кладется обычно определенный жанровый эпизод, конкретная жизненная ситуация. Эта ситуация до такой степени обработана и продумана творчески, что при ее посредстве раскрывается сложное и глубокое идейное содержание всей картины. Композиция в «Бурлаках» и «Крестном ходе» — Репина, в «Боярыне Морозовой» и «Меньшикове в Березове» — Сурикова включает моменты построения и продуманности, но в то же время она жизненно убедительна и конкретна.

Тяготение к такой композиции обнаруживает Б. Иогансон. В основу построения его картины лег простой и убедительный жизненный случай — осмотр предпринимателем своего завода в сопровождении приказчика. Хозяин уже готов покинуть заводское помещение. Подойдя к двери, он по указанию приказчика обернулся на сидящего поблизости рабочего. Взгляды их встретились, и в них отразилась непримиримая вражда двух классов — эксплуататоров и эксплуатируемых — самая существенная черта взятой коллизии. Такие же жизненно-конкретные и глубоко содержательные композиционные построения находим мы в и в картинах Кукрыниксов, П. Соколова-Скаля, Серова, Пименова и др.

В произведении Серова фигура Ленина на броневике возвышается над толпой, как монумент. Возле нее высится фигура Сталина. Подчеркивая композиционно величие вождей революционного народа, художник показывает в то же время их глубокое внутреннее родство, единство с массами, живо, восторженно откликающимися на слова Владимира Ильича.

Нашим художникам следует пожелать использовать в качестве единого стержня композиции мотивы мощного движения, которые можно наблюдать в лучших произведениях Репина и Сурикова. Такого рода динамичные, стройные и цельные построения позволяют

художнику находить композиционное решение для сложных и противоречивых сюжетных коллизий.

«Заседание парткома» — Лукомского — образец внешней композиции, в основу которой положена система равновесия элементов. Художник тщательно продумал размещение и группировку отдельных фигур на полотне. Однако это размещение преследовало цели внешней красоты в сочетании объемов и плавности в линиях. Художник сознательно уклонился от введения в картину яркого жанрового момента. Поэтому зритель все время ощущает в картине элементы некоторой нарочитости. Вся сцена кажется торжественно неподвижной.

Произведение Пластова — «Колхозное изобилие» демонстрирует построение другого порядка, когда в основу композиции кладется принцип жизненной непосредственности. Избегая впечатления преднамеренности в размещении и расстановке, художник избрал многочисленные фигуры и вещи в беспорядочном сочетании. Такая картина оставляет впечатление нагромождения и суматохи образов, в которой трудно отличить главное от второстепенного, основное от привходящего. Такое построение ведет свое начало от импрессионизма, придерживавшегося в композиции произвольного и случайного. Оно легко может привести художника к натуралистическому, пассивному отражению жизни.

Оба описанных нами принципа построения, характерные для тех или иных наших художников, страдают известной односторонностью и узостью. Проблема композиции большого реалистического полотна находит наиболее богатое и сложное решение у тех художников, которые сочетают в композиции наиболее ясное выражение идеи с жизненной убедительностью и конкретностью.

★

Успех советских художников на выставке «Индустрия социализма» является результатом двадцатилетней непримиримой борьбы партии Ленина—Сталина с буржуазными влияниями в искусстве,

с формализмом и плоским натурализмом, с вражескими антисоветскими троцкистско-бухаринскими происками и попытками сорвать расцвет социалистического искусства, затормозить правильный путь его развития. Все эти попытки были партией разоблачены и разбиты. Широкая художественная общественность осталась до конца верной боевому сталинскому знамени социалистического реализма. Лучшее, красноречивое доказательство этому — выставка «Индустрия социализма», искусства Грузинской ССР и готовящаяся к открытию выставка изобразительного искусства «XX лет РККА».

Рост культуры и развитие чувства прекрасного у нашего великого талантливого народа не будет иметь пределов. Перед советскими художниками стоит задача не только повседневного быстрого роста их культуры, но и овладения стилем социалистического реализма.

Старые реалистические школы вспыхивали и относительно быстро меркли. Так было с голландской школой живописи XVII века, так было с русским пе-

редвижничеством. Причина коренилась в самом существе эксплуататорской системы.

Совсем другое положение у художников социалистического реализма, творящих в стране, где интересы народа превыше всего, где созданы небывалые условия для расцвета талантов и дарований людей, где реалистическое искусство имеет глубокие социальные корни в народе.

Выставка «Индустрия социализма» подсказывает организацию большого отдела советского искусства в хранилище национальных художественных сокровищ — Государственной Третьяковской галерее в Москве. Тысячи посетителей галереи справедливо высказывают недовольство имеющимся маленьким отделом, совершенно не отражающим действительного положения вещей в советской живописи. Давно пора собрать все ценное, лучшее, что создают мастера социалистического реализма в искусстве. Советский отдел Третьяковской галереи должен отображать подлинное лицо нашего изобразительного искусства.

ВЫСТАВКА ГРУЗИНСКОГО ИСКУССТВА

К. Ситник

В ноябре месяце в Государственной Третьяковской галерее в Москве открылась большая выставка живописи, скульптуры и графики Грузинской ССР. Выставка пользуется большим и заслуженным успехом.

Она дает возможность проследить, как шло развитие искусства Грузии в прошлом и как с победой советской власти оно получило стимулы к новому, мощному расцвету, к полному раскрытию всех кроющихся в народе талантов. Достижения грузинского народа в области изобразительного искусства являются еще одним ярчайшим показателем победы ленинско-сталинской национальной политики, ведущей к расцвету национальной по форме, социалистической по содержанию культуры народов СССР.

Сердце выставки, ее основной раздел

составляют полотна, посвященные истории большевистских организаций Закавказья, героической борьбе грузинского народа против самодержавия, руководимой и вдохновляемой верным сыном трудового народа великим Сталиным.

Грузинские художники поставили перед собой ответственнейшую задачу огромной политической и художественной значимости, задачу запечатлеть образ вождя мирового пролетариата товарища Сталина в различные моменты его исторической деятельности, отобразить многогранную, неутомимую работу товарища Сталина по созданию большевистских организаций в Закавказьи, по подготовке закавказского пролетариата к штурму самодержавия и капитализма.

Историческая живопись, рисующая вождей пролетариата, должна быть про-

никнута глубочайшей народностью, реализмом, правдивостью. Маркс и Энгельс, говоря о портретах вождей революции, требовали, чтобы «люди, стоявшие во главе партии движения... были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной яркости». Историческая правдивость и конкретность, жизненная яркость изображаемых событий и лиц, связь с современной жизнью, вскрытие существенных и характернейших моментов событий, полноценное раскрытие индивидуальностей их участников, — таковы необходимые требования советской исторической живописи. Значительность и убедительность образов, монументальность их, раскрытие действий вождей, как выражения воли народа, его коренных стремлений и чаяний, — необходимые предпосылки успеха нашей живописи. Энгельс, говоря о будущей исторической драме, подчеркивал, что она будет строиться на полном слиянии большой идейной глубины, сознательного исторического содержания с шекспировской живостью и богатством действия. Эти требования целиком применимы к нашей исторической живописи. Художники, борющиеся за торжество социалистического реализма, должны создавать произведения, в которых осуществлялись бы эти указания.

Не все грузинские художники одинаково справились со своим заданием, не все смогли создать образы жизненной яркости; многие полотна страдают недоработанностью и схематизмом отдельных фигур, общей незавершенностью картин, слабостью рисунка, излишней темнотой красок.

Но, несмотря на эти недостатки, картины отдела, посвященного истории большевистских организаций Закавказья, являются ценным вкладом в советское искусство. Это первая коллективная работа, в которой с такой широтой, серьезностью и смелостью ставится проблема исторической живописи, показана вождей и руководителей социалистической революции.

На полотнах выставки перед зрителями раскрывается расположенный у подножья горы, увенчанной зубчатой

крепостью, живописный городок Гори, в котором родился и провел свое детство товарищ Сталин. В нескольких картинах, рисующих детство товарища Сталина, показана его дружба со сверстниками, его помощь им в учебе. В одной из картин изображается следующий эпизод из жизни товарища Сталина этих лет: однажды он пришел в соседнюю деревню навестить своего сверстника. Здесь он становится зрителем удручающей картины: в дом к крестьянам — родителям товарища явился староста со стражниками конфисковать их убогое имущество за неплату податей. Юный Сталин не выдерживает зрелища такой несправедливости, он бросается с кулаками на грабителей, но его удерживают окружающие. Этот эпизод запечатлен в картине М. Гойдзе «Товарищ Сталин выступает в защиту крестьян в Карталинии» (1895). Эту выразительную картину портит к сожалению, нарочитый колорит.

Последующие картины рисуют уже отдельные моменты революционной деятельности Сталина, как организатора и руководителя большевистских организаций Закавказья. Выступления на нелегальных собраниях, организация пропагандистских социал-демократических кружков, руководство забастовками, речи на маевках, агитация среди рабочих и крестьян, политические демонстрации, создание первого тбилисского комитета РСДРП, — вот темы картин второго зала. Выступление товарища Сталина на нелегальном собрании на Ходжеванском кладбище в Тбилиси в 1898 г. запечатлел художник А. Гиголашвили. Ночь, могильные плиты, памятники, несколько рабочих зорко смотрят вокруг по сторонам, нет ли поблизости шпика; товарищ Сталин, в тесно сомкнувшемся кругу товарищей, произносит речь.

Очень удачна картина А. Кутателадзе «Беседа товарища Сталина с крестьянами-аджарцами» (1902). На картине всего семь фигур — Сталин и шесть крестьян; пять из них окружили товарища Сталина, шестой следит за тем, чтобы не застала врасплох опасная неожиданность. Действие происходит на

берегу моря. Художнику очень хорошо удались фигуры крестьян, их позы разнообразны и убедительны, они напряжены и сосредоточены. Художник сумел передать выразительность и живость лиц крестьян-аджарцев и вместе с тем уловить общую их сосредоточенность, прикованность внимания к оратору. Сталин стоит посреди группы. Он обращен лицом к зрителю, его лицо

тической демонстрации в Батуми в 1902 г., создание батумского комитета РСДРП; несколько картин посвящено аресту товарища Сталина в 1902 г., пребыванию в тюрьме, нелегальному возвращению после побега из ссылки в Тбилиси в 1904 г., разоблачению товарищем Сталиным предателей-меньшевиков (1905 г.), агитации товарища Сталина среди крестьян, его знамени-



Политическая демонстрация батумских рабочих под руководством товарища Сталина (1902 г.).

Художник А. Кутателадзе.

полно энтузиазма, горящие глаза, а также выразительный жест рук, вся его поза ясно раскрывает в нем черты пламенного трибуна. От картины веет революционной взволнованностью, романтикой, мощью и энергией жизни, образы убедительны и монументальны. Картина Кутателадзе — наиболее яркое полотно на выставке.

В ряде картин товарищ Сталин запечатлен среди своих соратников и друзей: «Товарищ Сталин, Л. Кецохели, А. Цулукидзе» художника У. Джапаридзе, «Товарищ Сталин со своими соратниками» И. Вепхвадзе и др.

Работы третьего зала освещают кипучую революционную работу товарища Сталина в Батуми, организацию поли-

тому выступлению на похоронах А. Цулукидзе.

Необходимо выделить картину А. Кутателадзе — «Политическая демонстрация батумских рабочих под руководством товарища Сталина» (1902). Берег голубеющего моря, белые паруса лодок... Стремительной лавиной движется по берегу колонна демонстрантов. В первом ряду, посредине, немного выдавшаяся вперед, уверенная, непреклонная фигура товарища Сталина. Над колонной, на фоне голубого неба, развеваются яркие красные флаги. На первом плане изображены окончившие работу рабочие, с приветствиями вливающиеся в ряды демонстрантов. Полиция отступила и испуганно наблюдает движение рабочих,

боясь им чинить препятствия. Снова в картине Кутателадзе чувствуется мощь, сила движения, образы отдельных участников вылеплены с большой правдивостью и выразительностью. Следует отметить и картину С. Киракозова «Сталин и Хашим» (1902). Подпольная типография, в углу наборщик печатает на ручном станке прокламации, на переднем плане Сталин и старый Хашим, помогающий большевикам хранить прокламации. Сталин передает пачку только-что напечатанных листовок старику, который берет их и прячет в корзину с яблоками, глядя с лаской на своего молодого друга.

Большое полотно С. Надареишвили называется «Товарищ Сталин на митинге в Чиатурах разоблачает меньшевиков» (1905). Рудник, рельсы, тачки. Вдали видны горы. Митинг. С одной стороны — спокойно стоит Сталин, только-что он произнес пламенную разоблачающую меньшевиков речь. Тесной стеной окружают его рабочие, с кирками и лопатами в руках; с другой стороны — взбешенные меньшевики, один из которых в бессильной злобе бросается на Сталина, но его схватили за одежду рабочие, катящие тачку. Художнику своей композицией прекрасно удалось показать смысл происходящего события, показать полный разгром Сталиным меньшевиков, показать, что рабочие со Сталиным, против меньшевиков. Жалко, что художник не сумел придать всем участникам картины должной выразительности и законченности, как не сумел найти и общего выразительного колорита.

Сильное впечатление производит картина И. Вепхвадзе — «Товарищ Сталин произносит речь на похоронах А. Цулукидзе» (1905). Похороны замечательного большевика Цулукидзе вылились в мощную многотысячную политическую демонстрацию против самодержавия, на которой Сталин произнес свою речь. Момент произнесения Сталиным речи и запечатлен художником в картине. Взволнованная и выразительная фигура Сталина возвышается над огромной толпой, окружающей гроб. Толпа напряженно внимает пламенной речи. Худож-

ник отнесся с большим вниманием к характеристике отдельных участников демонстрации, и это сделало его персонажей жизненными и убедительными. Колеблющиеся от ветра деревья на фоне серого неба являются как бы аккомпанементом в взволнованной, напряженной атмосфере, которой дышит толпа, зажженная речью оратора.

В заключительном зале три картины показывают товарища Сталина вместе с В. И. Лениным в Таммерфорсе (1905), в Кракове (1913) и в Петрограде (1917). Картины эти, посвященные встрече двух гениальнейших вождей пролетариата, еще во многом не удались художникам. Наиболее ценной и значительной является картина П. Блеткина, изображающая делегатов совещания Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. с партийными работниками в Кракове (10 — 14 января 1913 г.), во главе с Лениным и Сталиным. Но, к сожалению, художник почему-то построил всю свою картину на однообразной коричневой гамме, что сильно обедняет общую выразительность вещи.

Удачно задумана картина В. Сидамани-Эристави «Товарищ Сталин на митинге бакинских нефтяников» (1908). Среди нефтяных вышек, у подножья одной из них расположилась группа забастовавших рабочих. Товарищ Сталин обращается к ним с речью.

Привлекает внимание картина Ш. Макашвили, изображающая товарища Сталина в камере Баилловской тюрьмы в Баку. Большой тюремный двор, обнесенный толстой каменной стеной, во дворе группа предназначенных к отправке на каторгу в Сибирь политзаключенных, закованных в кандалы, их сопровождают конные и пешие стражники. В одном из окон тюремного здания, через решетку, товарищ Сталин обращается с напутствием к уходящим политзаключенным. Они его знают, приветствуют. Они обратились в сторону Сталина. Стражники растерялись и беспомощно толпаются под окном, откуда говорит Сталин: «Берегите кандалы, они нам пригодятся для царского правительства». Заключенные принимают это напутствие с энтузиазмом.

В нашей стране совершилась под руководством Ленина и Сталина победоносная социалистическая революция. Годы лишений и преследований остались позади. «... Кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, ... она дала свои результаты». Вот Со-

Сталин изображен на фоне электростанции бурного Риона. Он беседует со строителями Рионгэса. Товарищ Сталин в белом костюме, с трубкой в руке, с улыбкой слушает рассказывающего о чем-то, оживленно жестикулирующего старика-строителя. Пейзаж удачно со-



Товарищ Сталин на Рионгэсе (1931).

Художник И. Тоидзе.

ветская Грузия. Раскинулись цветущие поля, сверкают белизной здания благоустроенных домов отдыха. Товарищ Сталин дружески беседует в кругу стариков-крестьян Грузии, которые дожили до радостной и счастливой жизни. Этой проникновенной встрече вождя народов с крестьянами посвящена картина М. Тоидзе — «Товарищ Сталин беседует с крестьянами в Цхалтубо» (1931).

На картине И. Тоидзе товарищ

четається с группой в органическое целое, и это как бы подчеркивает, что эти люди — победители природы. Последняя тематическая картина посвящена дружественной встрече грузинской делегации с руководителями партии и правительства во главе с товарищем Сталиным в Кремле. Вожди и народ радостно аплодируют друг другу. Эту картину написал В. Кротков.

В том же разделе представлен ряд живописных и скульптурных портретов

товарища Сталина. Лучший живописный портрет на выставке принадлежит кисти У. Джапаридзе. Сталин в своем рабочем кабинете стоит у стола и читает. Художнику удалось с большой теплотой запечатлеть образ вождя, передать его внутреннюю сосредоточенность и вместе с тем знакомую дорожную простоту его облика. С фигурой Сталина хорошо гармонирует простая, деловая обстановка его кабинета.

Из скульптурных портретов лучший — бюст «Сталин в 1905 г.» работы К. Мерабишвили. В этом портрете лицо молодого Сталина полно революционного энтузиазма. Художник пластическими средствами добился большой внутренней выразительности, создал яркий, запечатлевающийся образ. Скульптурные портреты Сталина дали также Я. Николадзе, бюст «Сталин в 1905 г.», и портреты в рост Р. Тавадзе и С. Какабадзе. С большой выразительностью и умением сделан бюст Ленина скульптором Я. Николадзе. Пластически выразителен портретный бюст С. М. Кирова работы Р. Тавадзе.

Следующий раздел выставки посвящен солнечной Грузии, с ее виноградниками и цитрусовыми плантациями, с ее цветущими городами, трудолюбивым и талантливым, жизнерадостным народом. Пейзажи, панорамы городов показывают новую Грузию, раскрепощенную и возрожденную социализмом. Многие работы этого отдела еще несовершенны, в них есть элементы натурализма, схематизма, но они свидетельствуют о непрестанном стремлении грузинских мастеров кисти стать на твердые реалистические позиции, в них дышит искренняя трогательная любовь к своей родине, к своему народу.

В этом разделе выделяется большое тематическое полотно Ираклия Тоидзе — «Лампочка Ильича» на котором изображена счастливая семья колхозников. Отец протягивает электрическую лампочку улыбающемуся и тянущемуся к ней ручонками ребенку, сидящему на руках молодой матери. Лампочку эту будет питать энергия виднеющейся вдали станции Рионгеса. Очень удачна «Колхозница» К. Кикнадзе. На широ-

ком просторе колхозных полей возвышается фигура красивой молодой девушки, с радостью обзирающей свои колхозные богатства.

Привлекает внимание зрителя картина П. Блеткина «Ночной карнавал в парке культуры и отдыха в Тбилиси», выдержанная на переходах ярких красных и зеленых тонов.

Из пейзажных работ следует указать оригинальную работу В. Багратиони «Странная птица». В зеленой долине застыли в испуге две молодые лани, увидев в небе неизвестную птицу — самолет. Интересны пейзажи Е. Ахведиани — «Площадь челюскинцев в Тбилиси», Д. Волгина — «Овцеводческий совхоз», В. Джапаридзе — «Мост челюскинцев в Тбилиси».

Наряду с талантливыми живописцами. Грузия обладает замечательными графиками. Особенно радуют работы трех мастеров — Тамары Абакелия, С. Кобуладзе и И. Тоидзе. В работах Абакелия привлекает сочетание большой пластической завершенности с замечательным даром декоративного обобщения, что придает ее работам большую жизненность и выразительность. Художница удачно использует наследие Ренессанса и национальные грузинские мотивы. Ее рисункам свойственна монументальность, и художница совершенно правильно взялась за монументальные росписи панно для фриза тбилисского филиала ИМЭЛ. Выставленные эскизы «Сельское хозяйство», «Батумские события» говорят о том, что художница здесь выйдет победителем. Из ее графических работ отметим прекрасный рисунок, сделанный с большой экспрессией, — «Товарищ Сталин среди партизан». Хороши большие листы — «Сбор чая» и «Счастливая семья». В своих иллюстрациях к «Поэмам» Важа Пшавела художница создала образы большой страстности, образы, соответствующие содержанию поэм. Сильное впечатление производят ее эскизы для кинофильма «Арсен».

С. Кобуладзе представлен прекрасными иллюстрациями к бессмертной поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Художнику удалось в своих

рисунках передать характер поэмы, ее героинку. Он нашел монументальные формы рисунка большой силы, передающего величавость и грандиозность событий, титанизм и неустранимость, отвагу и смелость героев поэмы, близкой и созвучной людям страны социализма, людям сталинской эпохи. Он показал все разнообразие характеров и событий, насыщающих поэму, ее жизнерадостный гуманизм, бесконечную веру в человеческие таланты. Художник создал образы большой пластической осязательности. Хороши иллюстрации Кобуладзе к «Так было» Лордкипанидзе.

И. Тондзе представлен большим циклом иллюстраций к поэме Руставели. Его рисунки, как и работы С. Кобуладзе, являются лучшими иллюстрациями из всего, что создано к этой поэме. В прекрасных портретах отдельных героев поэмы переданы характеры с большой убедительностью. Блестящие батальные сцены, сцены охоты и сражений. Здесь чувствуется ширь, размах Руставели, грандиозность его замысла.

Из работ других графиков отметим работы Е. Ахведиани, сделанные с чувством глубокого реализма — «Читка газет», прекрасные иллюстрации к поэме Лонгфелло «Песнь о Гайавате», иллюстрации к книге Квдиашвили «Приключения дворянина из Лахундари». С большим техническим совершенством выполнены иллюстрации И. Габашвили к «Шах-Наме» Фердоуси, на которых, правда, лежит печать стилизации под персидскую миниатюру. Больше непосредственной жизни в его иллюстрациях к народным сказкам. На стилизации же строит свои рисунки к «Тысяча и одной ночи» В. Гудиашвили. Романтической взволнованностью веет от гравюры на дереве В. Кутателадзе «Пушкин в Грузии».

В последнем отделе выставки представлено дореволюционное искусство Грузии, начиная с древнейших рельефов VII—X веков и копий с фресок, кончая работами живописцев начала XX столетия. Все эти работы свидетельствуют о своеобразии грузинского искусства, его неизменном тяготении к реализму и о высокой национальной культуре, которую грузинский народ отстоял в жесточайшей борьбе с иноземными поработителями. В начале XIX века безымянные мастера создали прекрасные, полные красоты и очарования портреты. Конец XIX в. ознаменован творчеством крупнейшего реалиста живописца Грузии Г. Габашвили, мастера горячего темперамента и большого размаха, творца прекрасных, богатых по колориту полотен, посвященных народу Грузии.

Выставка наглядно показывает, что только после Великой Октябрьской социалистической революции грузинский народ, талантливый и героический, получил возможность раскрыть все свои прекрасные дарования. Раньше только отдельным счастливым-одиночкам удавалось после большой борьбы выбраться на дорогу настоящего искусства, сейчас любому талантливому сыну народа открыты все пути, все дороги к полноценной творческой жизни.

Выставка свидетельствует об огромных возможностях многонациональной культуры нашей великой родины. Представляя ценный вклад в революционную историческую живопись и показывая основные этапы революционной борьбы вождя народов товарища Сталина и истории большевистских организаций Закавказья, выставка грузинского искусства исключительно глубоко захватывает зрителя, надолго запечатлевает в его памяти любимый образ товарища Сталина.

Ф. В. Гладков.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Редколлегия:

Ответственный редактор В. П. Ставский

Издательство: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Адрес редакции: Москва, 6, площадь Пушкина, дом 5.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1938 г.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

Н О В Ы Й М И Р

(14-й год издания)

В 1938 году БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПОЭМЫ и ПЬЕСЫ:

- ДЖАМБУЛ — Красная армия, поэма
В. ГЕРАСИМОВА — Новая повесть
Ф. ГЛАДКОВ — Энергия, роман, кн. 4-я
» — Детство, автобиографическая повесть
С. ДИКОВСКИЙ — Маска, Мужество и др. рассказы
Вс. ИВАНОВ — Кремль, роман
» — Чудо Бранденбургского дома, истор. повесть
Ал. КАРЦЕВ — Созидатели, роман
Вал. КАТАЕВ — Новые рассказы
А. КОРНЕЙЧУК — Богдан Хмельницкий, пьеса
Бор. ЛЕВИН — Новая повесть
Л. ЛЕОНОВ — Новая повесть
В. ЛИДИН — Ваня и другие рассказы
Ал. МАЛЫШКИН — Люди из захолустья, роман, кн. 2-я
П. НИЛИН — Все впереди, роман
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ — Капитан 1-го ранга, роман
» — Новые рассказы
К. ПАУСТОВСКИЙ — Северное лето, повесть
А. ПЕРВЕНЦЕВ — Возвращение, повесть
Ал. ТОЛСТОЙ — Хлеб (Оборона Царицына), повесть
К. ФЕДИН — Новый роман
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон, роман, книга. 4-я, окончание

В ЖУРНАЛЕ ПЕЧАТАЮТСЯ МНОГОКРАСОЧНЫЕ ВКЛАДКИ — РЕПРОДУКЦИИ
ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 1938 г.:

БЕЗ ПЕРЕПЛЕТА:				В ПЕРЕПЛЕТЕ:					
12	месяцев	—	36	рублей	12	месяцев	—	60	рублей
6	»	—	18	»	6	»	—	30	»
3	»	—	9	»	3	»	—	15	»
1	»	—	3	»	1	»	—	5	»

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Главной конторой Издательства «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» — Москва, 6, Пушкинская площадь, 5, отделениями Издательства «Известий»: в г. Ленинграде — Проспект 25 Октября, 19 и в г. Киеве — ул. Ленина, 30, а также: «Союзпечатью», всеми почтовыми конторами, письменноносцами, книжными магазинами Когиза, сборщиками подписки на предприятиях и на транспорте.